



Дружба народов

2/2023



В номере:

Прошлое в настоящем

«Жених направился к гардеробу. Он кивнул мне, проходя. И пожал плечами, словно уже нашел человека, с кем можно усмехнуться на равных по поводу всей этой суматохи. Маска у него была капитальная. (Ковидные времена. — Прим. ред.) Норковое кепи закрывало лоб, я видел одни глаза. Он едва успел разделаться с лишней одеждой, когда женщина в бордовом, в цвет декора, громко возгласила:

— Белицкая! Никаноров!

Лена перехватила букет, взволнованно отвела фату, сняла маску и, смеясь, посмотрела на жениха. Он тоже снял маску и широко и смущенно улыбнулся. Это был Александр».

В богатом на события романе Андрея ВОЛОСА «Облака перемен» у всех героев — своя история отношений с этим персонажем, а у него практически для каждого из них — свое имя. А происходит ли все это «на самом деле», то есть, в реальности, разворачиваемой перед нами автором, или на страницах одноименного романа, который сочиняет его главный герой, — разгадка за читателем.

Тот самый Белкин

Еще один «литературный» сюжет. Легкая, искрящаяся «Повесть о Белкине» Ирины МУРАВЬЁВОЙ — о том самом известном — и не известном — герое хрестоматийных пушкинских повестей. Кто он, Иван Петрович Белкин? Литературный персонаж? Герой мистификации Пушкина? Или реальный человек, автор простых и таких мудрых повестей? Взгляд и изложение Белкиным разных событий своей бурной жизни не всегда совпадают с узнаваемыми сюжетами и героями повестей Пушкина, и эти наложения и разночтения раздвигают художественное пространство повести Муравьевой.

«Ранит жало жалости прямо в сердце»

«Жалость — сестра страдания» — один из главных мотивов философской лирики Олеси НИКОЛАЕВОЙ, который в наше время достигает иных высот, и «жалость — сестра любви».

В стихах Евгения КОНОВАЛОВА раздумья на вечные темы — любовь и смерть, где звучит ироничное: «вся-то смерть — не более чем точка/ в переизбытке слов». Подборка стихов Ирины КОЛЕСНИКОВОЙ «Свидетельство о рождении» полна воспоминаний о картинах благополучного солнечного детства — «мамин сад, папин день рожденья», — которое, однако, отмечено семейной драмой.

«Тем, кому ещё жить да жить»

«Зачем я все это пишу? Кому интересна чужая инфантильная политносталягия?» — спрашивал себя Алексей МАЛАШЕНКО в эссе «Политика моего детства» («ДН», 2019, № 11). Надеемся, она интересна многим, в том числе молодым людям, для которых середина прошлого века — глубокая история и которым любопытно узнавать о тех временах и нравах не только из статей и исследований, но и из таких вот непосредственных, порой забавных детских и юношеских ощущений-воспоминаний очевидцев. И вот — новый их виток: «Тому повезло, кто во взрослой жизни иногда умеет возвращаться в детскую память. Порой нелепо-невозможным кажется, что такое бывало, зато весело верить, что такое не повторится. Хотя бывает, что и повторяется». Алексей Малащенко. «Васильки памяти».

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

2'2023

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.12.2022.
Подписано в печать 25.01.2023.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА
Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ
Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Олеся НИКОЛАЕВА. Жалость — сестра любви. <i>Стихи</i>	3
Андрей ВОЛОС. Облака перемен. <i>Роман</i>	8
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ. Любви и стихов. <i>Стихи</i>	71
Ирина МУРАВЬЁВА. Повесть о Белкине	75
Владимир ТРЕНИН. Вне времени. <i>Рассказы</i>	112
Евгений КОНОВАЛОВ. В парке на площади мира. <i>Стихи</i>	135
Тамерлан ТАДТАЕВ. Рассказы	139
Лада ЩЕРБАКОВА. Тётя Лошадь. <i>Рассказ</i>	157
Игорь КОРНИЕНКО. Волшебная кнопка. <i>Рассказ</i>	173
Владимир ПАНКРАТОВ. Лёша Козихин. <i>Рассказ</i>	181
Алексей ИВАНОВ. Иисусова молитва, или Старая бомжиха с рыжим котом на поводке. <i>Рассказ</i>	186
Ирина КОЛЕСНИКОВА. Свидетельство о рождении. <i>Стихи</i>	192

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Мюд МЕЧЕВ. Детство в Пуговичном переулке. <i>Фрагмент повести</i>	194
---	-----

НАЦИЯ И МИР

Алексей МАЛАШЕНКО. Васильки памяти	219
--	-----

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Ася УМАРОВА. Полка с чувствами	235
Ганна ШЕВЧЕНКО. Игра в слова	241

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Евгений ЯМБУРГ. Горевание. <i>Памяти Марианны Гончаровой</i>	245
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Снова обидно за поэзию	264
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Банный день	268
---------------------------------	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Азербайджанские художники Мелик Агамалов, Гусейнкули Алиев,
Эльшан Гаджизаде, Орхан Гусейнов, Мамедкерим Кулиев, Эльдар Мамедов,
Мухаммед Оруджев, Таир Салахов, Фархад Халилов

SUMMARY	272
---------------	-----

Олеся Николаева

Жалость — сестра любви

Россия спит

Россия спит с весны и до весны,
раскинувшись, цветные смотрит сны.
Живые с мёртвыми здесь разговор ведут,
а духи ушлые у них тела крадут.

Один представился мне дедушкой — сто лет
как умер он, но есть его портрет.
Полковник, удостоенный креста,
да выправка как будто бы не та...

Другой сказал, что он — философ: жжёт,
что падающих в бездну подтолкнёт.
А третий, хоть и гёкает, речист,
эсер по виду, по всему — бомбист.

А этот — вроде в рясу облачён
и в сани, а присмотришься — Гапон.
И вопиет царевич кровью всей,
двоясь в глазах: Димитрий — Алексей.

А тот знакомец — он пока живой,
точь-в-точь, но со свиною головой.
И рядом вьётся лстивым шепотком
подруга с рожками, прикрытыми платком.

...Ворочаясь, Россия смотрит сны,
где оборотни с явью сплетены,
где ворон каркает, чтоб здесь гнезда не вить
и рыбу вещую руками не ловить.

Николаева Олеся Александровна — поэт, прозаик, эссеист. Профессор Литературного института им.А.М.Горького. Автор многочисленных книг стихов, прозы и эссе. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной премии «Поэт» (2006). Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Переделкине.

Дурные сны, где всё наоборот,
где шлёт налево правый поворот.
Кривое зеркало, но как обострены
черты обыденности в образах вины.

Лишь иногда почувешь вдруг сквозь сон
глас хлада тонкого, чуть слышный перезвон,
очнёшься, вздрагивая, как от забытья:
царевна спящая, жива ль ещё?
А я?

Глаза, ослепшие от света, чуть красны.
Ногам, отвыкшим от дорог, пути тесны.
Речь неподатлива.
Такие вот дела,
коль Царство Божие едва ль не проспала.

Жалость

1

Небеса разверзлись, дрогнуло мирозданье,
и с высот обрушилась — горька, остра —
жалость.
Эта жалость — сестра страдания.
Жалость, эта жалость — стыда сестра...

Дождь, как гвозди в крышу, вбивает скерцо.
И поклясться хочется на крови:
ранит жало жалости прямо в сердце,
нацарапав: жалость — сестра любви.

2

...В ней живёт несбывшееся, снов и грёз лишая.
С ночи о предательствах орут петухи.
Там терзают девочку — даром, что большая, —
бедность беззащитности, юности грехи.

Там обиды детства, грубый хохот, топот
тёмных искусителей, шелест чёрных крыл.
Ничего не выгадал ей возраст,
взрослый опыт
панцирь безразличия не подарил.

И когда в ней всё болит, дух с душою в ссоре,
и земля под ней дрожит, и трепещет твердь,
я глотаю жалость, горькую, как море,
и всепоглощающую, словно смерть.

Рифма

Война рифмуется с виной,
и со страной, и со струной,
когда с надрывной скрипкой
встречается смычок больной...
Война рифмуется со мной,
растерянной и хлипкой.

Но рифма ведь — не просто так:
не только путь, не только знак
и звуков совпадение:
там свет вверх и тьма внизу
вдруг вспышкой сходятся в глазу
для нового виденья.

Владенья нового! Двоясь,
живой с живыми ищет связь —
дуэта, перебранки...
Глядишь — а мир как будто взвесь,
ан прикреплён к корням и весь
переплетён с изнанки.

...О, рифма! Как она порой
с напарницей вступает в бой:
и дразнит, и кошмарит.
Аж крови вкус на языке,
и в материнском молоке
козлёнка сдуру варит...

Войной — она идёт за мной,
пугая тёмной крутизной,
раскинутой кромешно.
И получается — война
срифмована, предречена
и — неизбежна!

* * *

Там Муза на холме пасёт моих драконов:
хватает страх за хвост, разит лукавый глаз.
А только ночь придёт — спускаются со склонов
шуршащий шёлк её и шепчущий атлас.

Всё шелестит вокруг, как будто сад — посредник:
то передвинет куст жасминовый к крыльцу,
то вести принесёт, то ловит в свой передник
жуков и мотыльков, и звёздную пыльцу.

А если нет её — она ушла к другому
на дальние холмы, меняя звукоряд,
драконы цепи рвут и мечутся по дому,
свет тушат, душат птиц и топчут старый сад.

Особенно один — он валит, поднатужась,
стропила, крепежи и крошит в решето.
Среди его имён я знаю только Ужас,
но иногда себя он сам зовёт Ничто.

И всё это не миф, не вымысел, не призма,
ломающая луч, корежащая вид,
а высший реализм,
и Первая кафизма,
псалом шестой, о том же говорит...

* * *

Когда какой-то тролль иль фрик
коверкает язык,
корёжит смысл, глотает звук
и кормит чёрных псов из рук
под скрип ночных басов
осоловевших сов, —
мне кажется, что прямо в кость
височную вбивают гвоздь.
Мне словно скамливают яд,
кладут ничком под кнут,
рвут печень, колют в глаз, язвят
язык и ноздри рвут.

Глагол хромающий облез,
спал синтаксис с лица
и ходит, прокажённый, без
креста и бубенца.
И беличий кровавых мех
мятётся по кривой,
а там трясёт беззвучный смех
безгубой головой.

Все эти «дыр-бул-щыл», «тыр-пыр»
ударом кулака
в расположение чёрных дыр,
на двор гробовщика
сгоняют бессловесный мир,
чтоб сдох наверняка.

Свобода

Прельстительно лукавая химера
свободой манит, в кулаке ж — пятак.
Ведь подлинной свободой только вера
владеет: «Sola fide!» Только так.

Мычит, мычит священной коровой
мирской свободы скучный саундтрек.
Лишь властною свободой Христовой
раб внутренний отпущен в вольный бег.

И смотрит он, как мелочен и мелок
век современный: яма, а на дне —
всё в кучу свалено и брошено вчерне:
собрание кукол, чучел, туш, безделок...
Когда-то там, в Голгофской вышине,
по баснословной купленных цене.

* * *

Век двадцать первый ступил тяжело:
вот он уже за чертой.
И повторяет, что золото — зло,
разве что век золотой...

Хочет забыть эту небыль и былъ,
ранит своё остриё:
всё обещено, втоптанно в пыль,
и обесценено всё.

И обесточено. Холод, темно:
глядь — а идёшь по телам.
Всё обезглавлено, всем всё равно,
все одурочены в хлам.

Обезображены. Угнаны в даль
чувства, а сердце — в золе.
И опрокинутая вертикаль
дух придавила к земле.

Даже когда загорелось, горит,
век двадцать первый — в дыму —
речь обесмысленную говорит,
вторя себе самому.

Андрей Волос

Облака перемен

Роман

Автор благодарит Вячеслава Григорьевича Игнатюка, без самоотверженной помощи которого эта книга не могла бы появиться на свет.

Пролог

На похоронах редко увидишь что-нибудь новенькое, всё заранее известно, разве что эпилептический припадок, как было на Мишиных с кем-то из Майиных, или тот случай у Веры Сергеевой, когда новоиспечённый вдовец собрался сказать слово о своей безвременно ушедшей: сказал одно, сказал другое, а на третьем упал, и через четыре дня беднягу самого выносили.

Поэтому и хорошо, что дело шло самым традиционным образом. Выбывалась разве что Ленина фата: даже когда уже расселись и стали наливать и накладывать, тёмное облако по-прежнему смазывало черты её осунувшегося лица и словно добавляло застолью полумрака.

Лена с самого утра была в ней. Когда я подошёл к моргу, она стояла, держа Марину под руку. Эта её фата меня удивила, но я не подал виду, произнёс положенное и отошёл в сторонку.

Я ожидал увидеть более значительное собрание: пышные букеты, венки в размер самолётного люка, чёрные приземистые машины с вышколенными водителями — всякое такое, что больше подошло бы к Лениному статусу, о котором говорила Марина.

Но собравшиеся ни числом, ни качеством не оправдывали ожиданий. Наверное, мы поместились бы и в «газель», во всяком случае, «пазик» оказался далеко не полон.

Марина переговаривалась с приятельницей на соседней лавке, Лена молча сидела рядом, и в ней было что-то от нахохлившейся чернопёрой птицы.

Волос Андрей Германович — прозаик. Родился в 1955 году в г. Душанбе (Таджикская ССР). Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Член Союза писателей Москвы. Лауреат международной литературной премии «Москва—Пенне» (1998), Государственной премии Российской Федерации за роман «Хурамабад» (2000), лауреат премий «Русский Букер» и «Студенческий Букер» (2013) за роман «Возвращение в Панджруд» и др. Постоянный автор журнала.

Предыдущая публикация — «Мешалда. Книга семейных рецептов» (2021, № 4—5; премия журнала «Дружба народов»).

При выезде на кольцевую машина ритуальных услуг попала в пробку. (Слово «катафалк» лично для меня навеки сцеплено с лафетом, я его инстинктивно избегаю.) Мощные рывки предварялись грозным хрюканьем в коробке передач. Гроб скрипел, слегка елозя по стальным полозьям. Солнце жарило в окна, в проёмы сдвинутых створок несло не столько прохладой, сколько гарью.

Но скоро выбрались, покатали веселее и минут через сорок въехали под ажурную металлическую арку, поверху украшенную серебряным полукругом с чёрными буквами топонима.

Снаружи было по-летнему хорошо: солнце, тёплый ветер. Такое случается в середине апреля: вчера ещё снежило, сегодня иные в шортах, завтра опять белые мухи полетят. Почки ещё и не думали разворачиваться, деревья сухо подрагивали чёрными ветвями, лишь несколько ближних к контуре берёз подёрнуло зеленью, как в середине лета подёргивает ряской воду в пруду.

Пока гурьбой шагали за каталкой, он, этот северо-западный, поначалу такой ласковый и тёплый, успел надоесть. Налетал будь здоров: умеренный, порывами, пожалуй что, и до сильного.

На полпути с крышки домовины сдуло несколько гвоздик (хоронили в закрытом), я подобрал, но не знал, можно ли положить обратно, так потом и нёс в руке эти четыре бледно-розовых цветка.

Ветер не унимался; вуаль омрачала её бледное лицо, и у могилы Лена занималась в основном тем, что что-то там подкалывала, как-то там её прищипливали, чтобы не очень трепалось. А снова распустила, когда всё кончилось: оставили цветы на бугре и вернулись к автобусу.

Я понимал, почему фата, да и все, наверное, понимали: что тут непонятного, куда уж прозрачней, со дня бракосочетания месяца не прошло. Так что хоть и траурной расцветки, а всё же по сути дела подвенечная. И само слово «венчание» нетрудно было подверстать, оно тоже обретало нужный смысл, примеров сколько угодно, *повенчан со смертью, калена стрела венчала* и так далее.

В общем, знаки прочитаны, иносказания поняты, аллегории разгаданы, всё ясно. Разве что в том некоторое несовпадение, что фата на Лене, а округиться с вечной разлучницей пришлось суженому.

Сонечка лопотала, тянула мокрый кулачок и всё норовила высвободиться, не концентрируясь на этом особо, а просто рутинно не оставляя попыток вольной жизни: ёрзала, упрямо дрыгая пухлыми ножками в белых колготках и алых пинетках. Но свобода не завоёвывалась, детские стулья нарочно так устроены, чтобы баловство не кончилось увечьем, — на пузике перекидаина, сзади высокая спинка.

Они втроём сидели на одной стороне стола и близко друг к другу — Марина, Лена, Сонечка, — и почему-то мне казалось, что, несмотря на строгую иерархию, существующую между ними — бабушка, дочка, внучка, — все три и теперь, и прежде, и впредь будут одного возраста, а может быть, само это понятие — возраст — в применении к ним вовсе лишено сколько-нибудь разумного содержания.

Гипюр мешал Лене подносить вилку ко рту, минут десять она упрямо с ним боролась, но потом всё же сдалась и сняла фату. Лицо её просветлело, и когда это произошло, стало понятно, чего не хватало, чтобы скорбная торжественность собрания окончательно растворилась в звуках не столь уж и безжизненного застолья.

Полязгивали вилки о тарелки, апельсиновая вода побулькивала, полня стаканы, цокали горлышки о рюмки, кто-то покашливал, кто-то нечаянно похохатывал. Марина твердила, чтобы не смущались, брали закуски: дескать, налетайте, скоро она

принесёт горячее — утром попросила соседку присмотреть за курицей с картошкой, и всё получилось: и упрело на славу, и остыть не успело. Давайте-давайте, вот она уже пошла, а вы пока тут позаботьтесь, надо же помянуть Шуру, ведь какой человек был хороший, только не чокаться, давайте-давайте.

Мы и не чокались, хотя и непривычно было не чокаться, рука всякий раз сама тянулась, приходилось смирять позыв усилием воли, а если кто-нибудь всё-таки нечаянно забывался, выставлял рюмку, дожидаясь соударения, то сосед шикал: ты что, мол, разве можно, — и всякий раз забывчивый так охал и так спохватывался, будто ещё мгновение, и всё бы пошло прахом, всё бы насмарку, спасибо, придержали.

Раз за разом прокатывались одни и те же давно всем известные фразы, встречаемые столь же привычными ответными словами, но ведь это не шутки были, чтобы называть их заезженными, тут не до шуток, дело серьёзное, а что до нового, так никто здесь нынче и не собирался сказать или услышать хоть крупицу чего-нибудь нового.

В общем, хорошо, что всё шло заведённым порядком, а то ведь всякое бывает.

Курили на балконе. Пробираться приходилось по неожиданно сложной траектории. Большею части предметов, загромождавших и без того-то тесную квартирку, явно требовалось иное пространство, чтобы показаться стильными и даже удобными. Не исключено, что их вызывающая никчёмность и там вызывала бы недоумение.

Высокое зеркало сложной формы с добавочными стеблями и листьями нержавеющей, прихотливо выющимися вокруг криволинейной рамы, — сама же рама в золотой арке на карданных шарнирах, позволявших, по идее, менять и наклон, и угол поворота в поисках верного ракурса отражения, — но тут негде было толком размахнуться. В углу рулон диких шкур, наружная как бы не зебрычья. Туземная этажерка, назначенная на роль Антея, хлипко кособочилась под каминными часами в виде земного шара.

Три холста, один другого шире, стояли лицом к стене, словно чего-то стыдятся; судя по массивности золочёного багета, за лаковые завитушки которого я несколько раз цеплялся пиджаком, протискиваясь, живопись была на исторические сюжеты.

Вся эта надрывная роскошь в хрущёвке меня озадачивала.

Но потом зашёл кое-что прояснивший разговор. Все находили слова посочувствовать, подруга Марины качала головой, повторяя: «Что за люди, уму непостижимо!» — Лена морщилась уязвлённо и стоически.

Дело и впрямь было из ряда вон: мало того, что мужа хоронить, так ещё и вывозить имущество как на пожаре.

Незадолго до свадьбы Шура снял для них огромную квартиру в новом элитном доме на Пречистенке, под Новый год Лена к нему переехала, а когда всё случилось, выяснилось, что за жильё ни разу не заплачено, даже аванса почему-то нет. И теперь никто из присутствующих не мог понять ни того, как вышла такая недостача, ни, тем более, как арендодателям хватает совести выкидывать на улицу молодую вдову — мать с ребёнком (правда, Сонечка всё это время оставалась с бабушкой).

— Я ведь от своей прежней квартиры отказалась, — поясняла Лена. — Теперь ещё найди подходящую... И куда мне было деваться?

— Ну изверги, просто изверги! — говорила Маринина подруга, расширяя глаза. — Как же так-то, господи!..

— Не верю я, что Шура за квартиру не платил! — вновь и вновь повторяла Марина. — Не такой он человек, чтобы за квартиру не платить! Он молодую жену в неё привёл, как же не платить?

— Вот именно, — поддержал Марину её брат. — Верно говоришь. Знаю я этих арендодателей! Как слух пошёл, так и изобрели, чтоб другой раз деньги сорвать. Ты документы у них требовала?

Лена отмахнулась:

— Дядя Клим, ну какие документы! Это у меня должны быть документы, что плачено! Ордера, переводы!.. А их нет! И что?!

— Совсем люди озверели, — печально констатировала другая Маринина подруга — Оля, не то Наташа, — которая с короткой стрижкой. Пока я запомнил, что Маринино брата зовут Климом, остальные сливались и путались, но шансы когда-нибудь ещё свидеться были невелики. Кроме того, я понял, что всё это были друзья и родственники Лены и Марины, а со стороны покойного, кажется, никого не было. — Слышала, что с Наташей Горенковой?

— А что с Наташей Горенковой? — удивилась Марина. — Я её тыщу лет не видела. Что с ней не так?

— Ты не знаешь? Ну, тогда, если вздумаешь повидаться, шуруй прямо на Домодедовское.

— Да ты что! — ужаснулась Марина. Она прижала ладони к щекам, скорбно качнула головой, а отняв, взяла обычный тон: — Ну, она же насколько старше была...

— Дело не в возрасте, — возразила другая подруга, тут же описав трагическую ситуацию Наташи Горенковой, вечная ей память. Все знали, что Наташина дочь давным-давно вышла замуж за какого-то немчуру и уехала в Германию, а Наташа переписала принадлежавшую ей квартиру на имя своей кровиночки, потому что мать есть мать. Много лет это не имело значения, но когда прошло время и немца попросили со службы, возникли какие-то проблемы с выслугой лет, так что чуть ли не без пенсии. Тогда дочка и вспомнила о своём имуществе. Наташа Горенкова сначала не поняла: а я где буду жить? Ну что ты, мама, удивилась дочка, у тебя друзей-то сколько!..

— Вот ничего себе! — всполошилась Марина. — Это каких же друзей?! Это мы, что ли, друзья?

— В общем, она её тут же в дом престарелых. И через две недели — аля-улю!..

— Да ты что!.. — ахнула Марина. — А квартира?

— Да что квартира? Говорю же: дочка продала квартиру!

— Дети есть дети, — со вздохом заметил Николай, не то Василий.

— Вот ты даёшь! — возмутился Клим. — А мать что же? А мать не есть мать?!

— Мама, что ты на меня так смотришь? — рассмеялась Лена. — Я не отдам тебя в дом престарелых!

Я невольно ждал, что острая на язычок Лена добавит в шутку что-нибудь вроде «разве что в психушку!», но обошлось.

К тому же Сонечка сказала долгое «тпру-у-у-у-у!», словно подводя итог дискуссии, и с размаху бросила на стол обслюнявленного утёнка.

— Зубки режутся у нас, — проворковала Марина. — Скоро будем совсем зубастые. Да, зайныка? Зубастые будем! Берегись тогда! Всех покусает! Да, чижик?

Девочка захныкала.

Марина извлекла утёнка из салатницы, отёрла майонез и вернула Соне. Соня снова с урчанием в него впиалась.

— Эх, Шура, Шура!.. — вздохнула Марина, с нежной улыбкой глядя на девочку. Её грустные слова спустили очередную пружинку.

— Да, да... чуточку...

— Ну что?..

— Ну-ка, протяни-ка...

— Мне на самое донышко...

— А к Сонечке он как относился! — воскликнула Марина. Голос зазвенел. — Как относился-то, господи! Какую полость подарил! Лена, помнишь?

— Помню, да, — кивнула Лена. — Шиншилловую. Я его ещё ругала тогда...

— И правильно ругала, — выкрикнула Марина. — Шиншилловую полость! Ведь какие деньги! Ничего не жалел, господи!.. Ну, давайте. Не чокаться!..

Об этой полости я уже знал, Марина обмолвилась, когда звала на свадьбу.

* * *

Честно говоря, я тогда удивился, услышав её голос, ведь мы года четыре не пересекались. Если не больше.

Собственно, мы могли бы и дальше не вспоминать друг о друге, и никто бы, думаю, не посетовал на забывчивость. Мы не были друзьями. Но, с другой стороны, были не просто знакомыми.

Когда Марина училась в аспирантуре, моя мама была её научным руководителем. С годами мамино руководство и Маринино ученичество, несмотря на разницу в возрасте, а может, и благодаря ему, перешло в тесное přátельство.

Можно сказать, мы дружили домами.

Маринин муж Миша Белицкий был спортивным врачом, супруги сплочённо стояли за подвижный образ жизни, чистоту энергий, открытость чакр и здоровое питание. В начале знакомства, когда я учился в школе, а их дочка Лена была совсем маленькой, Марина сопротивлялась попыткам мужа поставить их общую жизнь на правильные рельсы в отношении питания и движения. Однако с годами Миша преуспел в её перевоспитании и, более того, так разогнал жену на этом пути, что сам начал отставать. Дело руководства семейным здоровьем Марине пришлось взять в свои руки. Папа в этой связи говорил, что Марина стала святее папы Римского.

Мои родители не во всём соответствовали представлениям молодой пары о том, как именно следует идти по тропе жизни. Папу особенно раздражали озабоченные намёки Марины на роковые последствия лишнего веса. Возможно, она и не собиралась склонять его к важным и полезным переменам, а просто так иногда говорила. Но папа мало того что не склонялся, так ещё за глаза называл её «стрекулисткой». «Марину хочешь позвать?.. Хорошо, пусть приходят. Правда, она стрекулистка, ну да вечерок потерпим».

Мама на такого рода выпады внимания не обращала, а я не мог взять в толк, что он имеет в виду. Отец хмыкал: мол, что тут непонятного. Мои самостоятельные изыскания долго ни к чему не приводили: ни БСЭ, ни ещё несколько столь же авторитетных справочников прояснить дела не смогли. Искомое слово обнаружилось лишь в первом издании словаря Ушакова (в позднейших такой статьи уже не было). Но папа решительно отверг академические трактовки, заявив, что ни мелкой чиновницей, ни пронырой, ни женского рода ловкачом он Марину не считает. Всё не так, сказал он, в его понимании, слово «стрекулистка» означает нечто совершенно другое.

Возможно, жизнь подтвердила его правоту, а может, наоборот, опровергла, трудно сказать определённо, ведь всё зависит от того, какой смысл вкладывать в слова, а этого я так и не понял.

Кроме общего стремления к здоровью и долголетию, Марина уверилась в пользе и необходимости сыроедения, и много лет (не несколько, потому что несколько — это больше трёх, но меньше шести, а дело шло на десятилетия) они ему предавались все вместе. Даже кошка Маруся ела сырую свёклу, по словам Марины, с наслаждением. Лене, по настоянию лечащего, нисходя к её детскому возрасту, позволялось иногда что-нибудь варёное.

То ли Миша помнил о своих далёких еврейских корнях, то ли просто любил рыбу-фиш, но время от времени они всё же покупали и готовили щуку, мне самому несколько раз доводилось её отведать, чудная была вещь. Как-то раз Марина взвинченно пожаловалась маме за чашкой кофе: «Мишка упрямый как баран! Просто невыносим! Что ни говори, всё об стенку горох! Три года не могу заставить его чистить щуке зубы! Я даже щётку ему специальную купила!..»

Не знаю, это или что другое стало причиной их разрыва, но однажды Миша предал семью — и ушёл.

Если бы кошка Маруся ушла с ним, это тоже было бы предательством. Но кошка Маруся поступила ещё хуже.

Марина укладывалась спать, а Маруся сидела, как обычно, неподалёку на кресле. Дождавшись, когда погас торшер, она в густом мраке молча бросилась на хозяйку и стала рвать ей лицо когтями, будто кусок сырого мяса.

В целом Марине повезло: даже если Маруся и целила, то первыми ударами по глазам не попала, а потом Марина закрывалась одеялом.

Лена рассказывала, что, когда она вбежала в спальню, чтобы отшвырнуть от матери осатаневшую Марусю, обе они адски выли.

Вот что бывает, говорил папа, если годами кормить ни в чём не повинное существо сырой свёклой: даже мирная кошка озверела, что уж говорить о грозном муже.

Последующим усилиям косметолога не поддались лишь несколько мелких шрамов, самый приметный — на правом виске. Но если не знать и не присматриваться, они были практически незаметны.

Так вот, Марина позвонила, чтобы пригласить на Ленину свадьбу.

Это для меня стало неожиданностью. Ну в самом деле, не такие близкие мы друзья. И я сказал:

— Вот ничего себе! Лена выходит замуж!..

Человек поядовитее ответил бы вопросом: мол, если тебя приглашают на чью-то свадьбу, разве не понятно, что этот человек вступает в брак?

Но Марина была добрая женщина. Она вздохнула:

— Ну да, выходит. Дожили... Видишь, совсем я старая делаюсь.

Меня подмывало произнести следующую нелепицу, но я сдержался. Хотя опять же как посмотреть. Марина первым делом, минуты не прошло, сообщила, что она скоро год как сделалась бабушкой. В этом свете её сетования на свой возраст в связи с выходом Лены замуж были не совсем понятны. Может быть, конечно, она полагала, что дети детьми, а брак браком: детей женщины заводят по тем же причинам, по которым вороны несут яйца, и тут ничего не попишешь, а замужество и впрямь серьёзный шаг в жизни каждой девушки, неважно, обзавелась она к тому времени ребёнком или нет.

— Ты же знаешь, какая у меня Лена непростая, — сказала она. — Ей кого ни попадя и на дух не надо. Это я дурочкой замуж выходила...

Я мог бы возразить: всё-таки до Мишиного ухода они прожили в мире и относительном согласии чуть ли не двадцать лет, но сдержался. Да и Лену знать мне было неоткуда. Когда-то я слышал, что после школы она поступала на что-то гуманитарное: филология, не то философия... не то вообще какой-то институт культуры.

Но высказывание о том, что в эпоху собственного выхода замуж Марина была дурочкой, сбilo меня с толку и я уточнил:

— То есть Лена по твоим стопам пошла? Тоже в аспирантуре?

Вот ещё, фыркнула Марина. Зачем ей аспирантура? Разве на моём примере не понятно, чего стоят все эти аспирантуры. Нет, что ты. Разве я не говорила? Мы давно с тобой не перезванивались, вот в чём дело. Надо чаще встречаться. Лена ушла с четвёртого курса. Дело ведь не в том, чтобы штаны просиживать, верно? Она же умница, её почти сразу взяли в зебест...

— Это что — «зебест»? — спросил я вместо того, чтобы секунду подумать.

— Ну, The Best же! Глянцевый журнал. Style and beauty. Отделения по всему миру. — И мягко упрекнула: — Как можно не знать...

— А, — сказал я. — Ну да. The Best. Ничего себе.

— Да, — со сдержанной горделивостью согласилась Марина. — Леночка модой занимается. Всё хорошо, но мотаться ей приходится — ужас. Англия, Италия. Головной офис в Лондоне, но она больше в Милане. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал я.

Хотя, если честно, что я мог в этом понимать. Я ни модой никогда не интересовался, ни в глянцевом журнале не работал. Однако что такое понимание? — просто привыкание. Мода, значит. Ладно. Хорошо.

— Так что по её статусу кого ни попадя ей и на дух не нужно, — сказала Марина. — Да она ещё и по характеру переборчивая. Думала, так и не найдёт никого...

— А она?.. — спросил я, не пытаясь сообщать свои представления о жизни, ибо всякий раз жизнь оказывалась шире моих о ней представлений.

— А она нашла! — победно возгласила Марина. — По всем статьям подходит. У них там, знаешь, косо смотрят, если статус хромает. У них там, знаешь, лучше никак, чем как-нибудь. А Шура по-настоящему богатый. И всего на два года старше. И он хороший.

— Ну, отлично, — сказал я. — Гармония — большое дело.

— И к Сонечке он замечательно относится, — похвасталась Марина. — Прямо как к родной. Души не чаёт. Сейчас, погоди, сигарету возьму.

Она пошуршала чем-то. Потом чем-то стукнула. Потом всё совсем стихло. Я ждал.

— Прости... Едва нашла парочку. Думала, на угол бежать придётся.

Она снова замолкла, теперь по прикладной причине прикуривания: затянулась, выдержала мгновенную паузу, позволяя дыму как следует распространиться по организму, и продолжила с выхлопом:

— Хороший, да... Но вообще он какой-то странный.

Меня подмывало заметить, что такого рода определение никому ни о чём не говорит. Сказать «он странный» — всё равно что сказать «он двуногий». Нет, даже в таком больше толку, это позволяет по крайней мере отделить указанного субъекта от подмножества одноногих.

А «странный» — это совсем бессмысленно. Никого иного мне в жизни видеть не приходилось. Раньше или позже, но обо всех говорят, что они какие-то странные.

Причины разные, а вывод один. Меня и самого сколько раз странным называли. Даже в глаза.

Но это были бы чисто теоретические рассуждения, они мало что добавляли к нашему практическому разговору. Я рассчитывал, что Марина сообщит что-нибудь такое, после чего можно будет вести речь о вещах более конкретных.

Я пожал плечами, но она и этого не могла видеть.

— Вот зачем ей, спрашивается, полость из шиншиллы? — насмешливо спросила она.

— Полость, — осторожно откликнулся я, ещё не понимая, о чём речь.

— Ну да, полость. Чтобы Сонечка не мёрзла. Лена же гулять её вывозит. Так вот, чтобы не мёрзла. О ребёнке он заботится!

— Ах, в коляску полость, — сообразил я. — Ну да... и что же, она из шиншиллы?

— Вот представь! Она из шиншиллы! Ну, знаешь, наверное, это крыса такая... Подумать только! Тут на приличную няню не хватает. А тут тебе полость из шиншиллы. За сто миллионов. На кой ляд ей эта шиншилла?

— Шиншилла не крыса, — заметил я.

— Что?

— Они в темноте видят. Я читал где-то.

Я говорил заранее извиняющимся тоном: мол, ни на чём не собираюсь настаивать. Но это, кажется, не помогло.

— И что с того? — сухо спросила она. — Что ты хочешь сказать?

Я бы не удивился, услышав: странный ты какой-то.

— Видят, не видят... Какая разница, что они там видят, — буркнула Марина. — Что бы они там ни видели, всё равно лучше бы денег дал. Да бог с ним, что это я завелась. Так тебя ждать шестнадцатого?

— Шестнадцатого?..

— Что такое?

— Нет, ничего. Я часто в разъездах... но ничего, подстроюсь. Да, конечно. Я буду.

— В разъездах — это что? Бизнес?

— Примерно.

— Несчастные люди, — вздохнула Марина. — Ладно. Имей в виду: торжество состоится в Путевом дворце.

— Здорово, — сказал я. — Отличное место.

— Ты знаешь Путевой дворец? — удивилась она. И рассмеялась: — Тоже, что ли, там женился?

— Оттуда Наполеон на горящую Москву смотрел, — сказал я. — Такое не забывается.

— Ну ладно. — Кажется, Марина была немного разочарована, что не удалось обрушить столь статусную информацию на голову непосвященного. — Короче, ты знаешь, там женятся самые... м-м-м...

Мне подумалось, что она скажет «крутые перцы».

— Самые уважаемые господа, — сказала она.

— Да, я слышал, — кивнул я. — Хорошо. Буду соответствовать.

— Ну и всё тогда. Чмоки-чмоки-чмоки. Я ещё позвоню.

Глава 1

Лилиана

В ней не было ни красоты классических пропорций, ни даже той яркой смазливости, некоторые составляющие которой получают полное развитие в образе мартышки или поросёнка.

Однако и назвать её непривлекательной ни у кого бы язык не повернулся.

Невысокая и в целом вполне соответствующая параметрам, провозглашаемым в женских журналах, Лилиана не жаловала короткие юбки, подозревая, вероятно (и если да, то с несомненным основанием), что в них она немного похожа на тумбочку.

Зато платья *миди* шли ей необычайно: окутываемые подолом, плещущим вокруг икр и бёдер, её тяжеловатые ноги распространяли опасную прелесть.

Впервые мы увиделись у Нефёдова. Я с ним тогда дружил. Во всяком случае, я бы хотел считать, что мы дружим. Не исключено, что мы по-разному представляли себе наши отношения: с годами многое меняется, а он был значительно старше.

Общих дел у нас не было, были только представления, так что я заглядывал просто так, посидеть-потрепаться, без расписания и обязательств. И хватал шапку в охапку при первом его взгляде на часы: лучше заметить сожаление о безвременности ухода, нежели облегчение, что гость наконец-то сообразил удалиться.

Лилиана работала на его кафедре. Он сидел дома, а она зашла занести срочную бумажку.

Мы на секунду столкнулись в прихожей, и по лестнице я сбегал, забыв об этой встрече.

Понятно, что, когда через неделю мы столкнулись на какой-то сходке, я её не узнал: одета была по-другому и выглядела иначе. Но, должно быть, меня всё-таки что-то торкнуло. Я обратился с пустяком, а она тут же напомнила, что мы уже встречались.

Я сделал хорошую мину при плохой игре. Конечно-конечно, забалаболил я, вот о том и речь, чудный этот ваш Нефёдов... ах, вы не у него учились, ну что ж, а я бы с удовольствием... да хоть бы даже и уму-разуму, о вас-то этого никак не скажешь, а мне ума-разума в самые ответственные моменты катастрофически не хватает.

Слово за слово: какая славная погода и так далее.

Она всё взмахивала на меня ресницами, улыбалась и лукаво шурилась, когда я удивлялся, что её никто не сопровождает: в том смысле, что странно в наши дни видеть столь яркую красоту не обременённой никчёмным спутником. И по её затаённой усмешке я уже понимал, что не всё так просто.

Скоро выяснилось, что я угодил ровнёхонько в промежуток между двумя эпохами её жизни. Причём предыдущая фатально завершилась буквально позавчера.

Это она говорила так торжественно: завершилась фатально, полный крах, страшный в своей окончательности разрыв. В действительности они просто повздорили, рассорились, как это часто бывает, и если бы не моё участие, то очень скоро всё вернулось бы на круги своя.

Не исключено даже, что Лилиана хотела — сознательно или бессознательно — использовать меня в качестве временной отдушины. Примерно так подводники высовываются наружу глотнуть свежего воздуха, когда лодка всплывает, и тут же снова заdraивают люки, чтобы вернуться в места постоянного обитания.

Но я сделал всё, чтобы этот глоток затянулся.

Что бы там она ни говорила, я знал, что у неё кто-то есть. Тут не надо обладать особым даром прозорливости: у привлекательной женщины всегда кто-нибудь есть, и хорошо ещё, если кто-то один. Разумеется, дело было не в том, чтобы она дожидалась именно меня, не глядя по сторонам и не думая о счастье. Нужно было лишь ненадолго отбить ей память, чтобы она о нём — или о них — на время забыла, а для этого следовало беспрестанно говорить о своих чувствах.

Всё шло хорошо, но мои тайные надежды, что того, кто прежде был возле, тихо унесёт течением существования, не оправдались — он всплыл. Это на заводе следующая болванка подъезжает, когда предыдущая сточена в ноль, а в жизни всё сложнее.

Не знаю, кому больше ему хотелось досадить — ей, мне или, чего нельзя исключать, самому себе, — но некоторое время он упрямо маячил на горизонте, просто проходу не давал. Ревность — страшная сила, она пробуждает в людях звериное чутьё, да и круги общения не так широки, как может показаться, в итоге мы разве что в постели на него не натыкались.

К чести Лилианы следует заметить, что, когда я начинал топыриться и на павианий манер стучать в грудь кулаками, она утишала меня, как могла, уговаривала, мол, не надо ничего даже пытаться предпринимать, всё устроится само собой, время лечит, а раны затягиваются.

Всё это было так, но, чтобы началось то время, которое лечит и затягивает раны, прежнему времени нужно остановиться на стадии тихих сожалений, вроде тех, что испытываешь, когда, например, потеряв полдня в очереди, у самого окошка узнаёшь, что тебе надо было в другое.

Однако ревнивец не успокаивался. Я с тревогой замечал, что его настойчивость небесполезна, нелепые усилия не вовсе пропадают даром: Лилиана тихонько вздыхала, тайно грустила.

Отношения помимо моей воли вошли в новую фазу. Суть состояла в том, что она хотела проститься с ним по-человечески. Я не пытался добиться у неё уточнения, какой именно смысл она вкладывает в определение «по-человечески», мне это было интуитивно понятно; но делал всё, чтобы не позволить этому сладкому прощанию состояться, а не то что уж затянуться.

Пиком общей нервотрёпки стал период (к счастью недолгий), когда мы втроём взойшли на этот пик, оказавшись в состоянии неустойчивого равновесия.

С достигнутой совместными усилиями вершины Лилиане одинаково легко было соскользнуть как в долину прежних отношений, где её ждала не часто возникающая возможность покаяться перед любимым и даже, возможно, омыть слезами его исстрадавшиеся от её гадкой неверности стопы, так и на пажити новых, где бы она могла жарко доказать новому любимому, что вся её прежняя жизнь наполнена горестными ошибками (да что там, вся она — одна большая ошибка), но за ошибки нельзя винить, тем более что они никогда не приносили ей радости, а случались от того, что она ещё не знала, с кем именно возможно истинное счастье.

* * *

Первые дни, первые недели нашей любви мы без усталы болтали. То есть я-то по большей части помалкивал, лишь время от времени получая возможность вставить словечко, а Лилиана говорила, рассказывая о себе много и с удовольствием.

Немудрено, что скоро она стала несколько повторяться, всё-таки жизнь её (её жизнь трудно определить одним словом, точнее всего сказать, наверное,

«жизнь кабинетного учёного») была довольно бедна внешними событиями. Ну, детство, ну школа, ну институт, ну каникулы, ну Адлер или что там ещё.

Меня это не смущало, мне нравилось внимать её речам, я готов был слушать и по второму, и по третьему разу. Говорила Лилиана хорошо: образно, весело, со смешными сравнениями и забавными ремарками, а если принималась изображать происшествие в лицах, то и это славно удавалось.

Вскоре я стал замечать, что повторения, которые должны были бы являться подобно эстампам из-под одного камня, всё-таки друг от друга отличаются — и подчас довольно значительно.

Например, она говорила, что подрабатывает в издательстве, достоверно и со знанием дела описывала процесс, сетовала на въедливость заведующей редакцией, на её безграмотность и некомпетентность: сама чуть ли не корову пишет через ять, а когда Лилиана в какой-то рукописи, наверняка графоманской, поправила «бранспойт» на «брансбойт», так шуму до небес.

Но при этом издательства почему-то меняли названия, и то она трудилась в отделе прозы, где её ценили за начитанность, то занималась путеводителями, где начитанность не играла большой роли, зато требовалось знание английского. В следующий раз английский становился итальянским, а окончательно дело запутывалось тем, что Лилиана и в самом деле обоими владела — уж не знаю, в совершенстве ли, но точно, что мне самому на вечную зависть.

Или вот в ранней юности она дружила с одним большим художником, познакомилась на открытии его персональной выставки в ЦДХ. Потом обнаружилось, что выставка открывалась в Манеже, а ещё чуть позже — в залах Академии. Тем не менее сам художник оставался знаменит и величествен, что же касается профессиональной манеры, то сначала он был баталистом и много внимания уделял графическим работам, затем тяготел к «жречеству», далее становился одной из виднейших фигур концептуального искусства (в ту пору объектами его художеств были исключительно зайцы-русаки), а впоследствии и вовсе встал на путь акционизма, находя смысл искусства в проекции на белый экран круговых движений человеческих членов, — и я, пытаясь вообразить чередование разнообразных вех его творческой эволюции, недоумевал, об одном и том же художнике идёт речь или всё-таки их было несколько.

События раннего детства тоже являлись странно переменчивыми, словно она всякий раз тащила наугад карту из колоды и сама удивлялась, что это семёрка бубен, а не валет червей, как в прошлый раз.

Она была совсем маленькой, когда мама с папой по дороге на дачу попали в аварию. Это было ужасное, непереносимое событие: мама погибла. Обломки рухнувшего тогда мира вторгались в настоящее: глаза Лилианы становились большими и мокрыми, я сочувствовал и утешал, как мог.

Когда она впервые поделилась со мной несчастьем, то следующие полтора часа мы провели в совершенном трауре, а немного отвлечь её мне удалось, когда я предложил не ограничиваться кофе, а взять по салату, и она выбрала с крабами.

Во второй репликации мама летела к папе самолётом. Папа с киногруппой отправился раньше, она следом — и её самолёт не долетел, вот такая история.

Третья версия гласила, что случилась не авиакатастрофа, а ужасный удар лёгочного вируса. В Москве её бы, скорее всего, спасли, но дело было на съёмках папиного фильма, и там, где-то между Ташкентом и Фрунзе, дело закончилось самым плачевным образом...

Ничто из этого нельзя было даже в шутку назвать обманом, ведь обман преследует практические цели — нажиться или уйти от наказания, а Лилиана выдумывала совершенно бескорыстно. Казалось, она впадает в некое подобие транса и проговаривает то, что внушает ей некий горный голос, или описывает встающие перед мысленным взором картины, не управляя даже очерёдностью их появления. Понятно, что при попытке повторения и картины вставали чуть иные, и голос нашёптывал совсем не то, что бормотал прежде.

Короче говоря, её легко можно было поймать на расхождениях.

Господи, говорил я, смеясь и целуя её пальцы, это же просто дар! Настоящий, истинный дар! Зачем он тебе? Это мне, мне такой нужен, как бы он мне пригодился, ведь это я писатель, а не ты!

Лилиана усмехалась.

Ей и правда оставался один шаг до личного участия в литературе: ведь у неё было филологическое образование. Я мог лишь мечтать о том, что для неё давно стало рутиной. Её научили приёмам сравнения отдельных литературных явлений с целью выяснения тенденций их общего развития. Ей ничего не стоило разобраться в закономерностях рождения бессмертных шедевров, равно как и в причинах творческих неудач. Всё, что касалось расстановки разного рода «измов», было для неё открытой книгой, и ни один сколь угодно каверзный вопрос — хоть, например, откуда растут ноги романтизма, хоть каковы пути угасания реализма — не мог поставить её в тупик.

Лилиана третий год состояла ассистентом на университетской кафедре филологического направления, по мере сил сея в других то, что когда-то взойшло в ней самой. Было бы странно ей вдобавок к такому багажу знаний и опыта иметь какие-нибудь иллюзии, касающиеся литературы: слово «писатель» было для неё столь же обыденным, как для иного «сантехник» или даже «сковородка».

Кстати говоря, мы могли бы составить хорошую пару именно в литературном отношении: описать историю одной любви в двух разных книгах, каждый по-своему. Делали же такое Бенжамен Констан и Жермена де Сталь?.. или, кажется, Макс Фриш и Ингеборг Бахман... почему бы и нам не попробовать?

Если бы затея удалась, эти два романа были бы разительно не похожи: что в одном выступало главным, в другом бы едва угадывалось; а что в этом звучало мощными аккордами, в том слышалось бы разве что слабыми отголосками.

Увы: на бумаге Лилиане не удавалось связать даже пары слов без того, чтобы читающий не испытал недоумения. Весь её талант уходил в устное творчество, в остальном её хватало лишь на милое амикошонство: ну что, брат Пушкин...

Если мы об этом заговаривали, Лилиана со смехом признавала, что так и есть, ведь важную часть филологического образования составляют литературные сплетни разных эпох и народов, а они чрезвычайно способствуют тому, чтобы почувствовать себя на одной ноге с гениями: исподнее и впрямь у всех одинаковое.

* * *

Лилиана жила на два дома: чтобы не тратить лишнего времени на дорогу, она снимала милую квартирку неподалёку от университета, а выходные — плюс-минус библиотечные дни и отгулы за прогулы — проводила в Кондрашовке.

Так, по фамилии, назывался их семейный участок. Отец Лилианы сидел там практически безвылазно: давно на пенсии, в Москве делать нечего, зато на даче дел по горло.

До поры до времени вдаваться в детали у меня не было нужды. Мало ли под Москвой дачных мест: чёрта с два отличишь одно от другого, если самолично не прополот грядки, не окучил кусты смородины. Прежде фанерные скворечники на шести сотках, ныне намётанные тут и там россыпи безликих коттеджей на восьми.

Смутные образы насчёт того, легко ли сочетать судьбу отставного кинематографиста с хождением к колонке за водой и осенней копкой картошки, проплыли в сознании и растаяли, не сгустившись даже до такой степени, чтобы стать поводом для хотя бы минутного разговора.

Как обычно, жизнь оказалась шире моих о ней представлений.

Я понял это в тот же миг, когда такси остановилось перед воротами.

Несколько секунд я смотрел на них в тупом изумлении.

В силу своей величины и вычурности эти ворота выглядели взятым напрокат предметом реквизита. Золочёные завитушки, причудливо кудрявившиеся поверху и в изобилии украшавшие чугунный ажур каслинского литья, укрепляли в мысли, что как только эпизод будет завершён, дюжие молодцы снимут отчётную вещь с петель и погрузят в грузовик. Такой исход было легче вообразить, чем то, что сей образец неслыханной роскоши останется здесь без вооруженной охраны и после того, как съёмочная площадка опустеет.

Слева за оградой (тоже поверху золочёной и витой) виднелось строение, более всего похожее на оснащённый узким окошком железнодорожный контейнер. Когда я опустил стекло пассажирской дверцы, динамик под его плоской крышей хрипло, но вежливо спросил:

— По договорённости?

— Не знаю, — ошеломлённо сказал я. — Лилиана Кондрашова случайно не здесь живет?

— Здесь.

— Правда? Тогда по договорённости.

Он не потрудился отпустить кнопку переговорного устройства. Динамик продолжал вещать, хотя и значительно тише:

— Лилиана Васильевна? К вам гости... Как зовут?

Последнее было обращено ко мне.

— Николаев, — сказал я.

— Николаев, — повторил рупорок в сторону, а потом одобрительно хрюкнул: — Проезжайте!

Ворота раскрылись, мы въехали на участок и тронулись по асфальтированной дорожке.

Справа мельтешили сосны, за ними в отдалении блеснуло зеркало пруда; слева куртины чередовались со строгими, посыпанными гранитной крошкой аллеями и весёленькими лужайками, обсаженными кустами лигуструма.

Мы катили мимо сосен и скамей, мимо белёной беседки и кирпичного павильона, мимо каменной женщины на кубообразном постаменте, мимо других лужаек и других аллеек, других павильонов и других беседок.

Уже на середине пути я бы не удивился, приметив невдалеке возле заваливающего стожка пару-другую обутых в лапти крепостных с вилами или стайку румяных девок с ягодными лукошками.

По общему впечатлению от землевладения в конце пути нас должно было встретить что-нибудь наподобие замка Линдерхоф.

Однако двухэтажный дом с колоннами, к которому в итоге привела дорога, был хоть и величественен, но в целом без особых излишеств.

Лилиана стояла на крыльце — джинсы, майка, фиолетовая кофточка. Лицо почти целиком закрыто громадными чёрными очками.

— Привет, — сказал я.

— Привет, — весело ответила она, сдёргивая очки и щурясь. — Прошу!

Мы миновали прихожую и очутились в большой комнате, где пахло не то сеном, не то яблоками — как-то не по сезону, но приятно. Тут Лилиана сказала, глядя вверх.

— А вот и папа... Привет, пап!

Высокий, несколько грузный, седой и усатый человек лет семидесяти в тапочках на босу ногу тяжело переступал со ступени на ступень, неукоснительно заходя с правой.

Одет он был в просторный, цветастый и неровно обрезанный понизу стеганный халат.

— Мой отец, — сообщила Лилиана. (Я мельком подумал, что по возрасту он вполне мог бы приходиться ей дедом.) — Василий Степанович Кондрашов! Прошу любить и жаловать.

— Добрый день! — подал Василий Степанович густой голос.

Одной рукой он держался за перила, в другой нёс большую керамическую кружку.

— А это Серёжа Николаев. Он писатель.

— Писатель? — удивился Кондрашов с явно преувеличенным восхищением. — Ну надо же!.. Разумеется!.. Пренебрежительным образом!.. Так сказать, со всей искренностью!.. Отлично! Рад!..

Он тяжело ступил с последней ступени на паркет гостиной, поставил кружку на плоское навершие перил и стал одной рукой запахивать разошедшиеся полы архалука, одновременно протягивая другую для рукопожатия.

— Поговорите тут пока, — сказала Лилиана. — Сейчас вернусь, будем чай пить.

— Беги, доча, беги, — одобрил Василий Степанович. — Рад, рад! Так сказать, примите полностью... Со всем уважением!.. Давайте-ка вот сюда. Что мы тут, как неродные, честное слово. Сейчас нам чего-нибудь спроворят... Прошу, садитесь. Так вы писатель? Интересно. Очень, так сказать, очень!.. Со всей душой! Как, вы сказали, вас зовут? Отлично! И о чём же вы, дорогой Сергей, пишете?

Кружку Василий Степанович поставил на столик. Сами мы сели на просторный диван, одинаково отвалившись в его кожаные углы и закинув руки (он левую, а я правую) на мягкую спинку, и принялись рассуждать о творческих проблемах.

* * *

Узнать кое-какие подробности заранее не составило труда, достаточно было пошарить в интернете. Сообщалось, что в советское время Кондрашов В.С. снял восемь фильмов и долгие годы пользовался широкой известностью, занимая достойное место в ряду мастеровитых тружеников советского кино старшего, по сравнению с ним, поколения.

Затем Кондрашов В.С. погрузился в творческое молчание. Это и неудивительно: в начале девяностых, когда для многих открылись широкие творческие возможности, многое иное погрузилось в угрюмое молчание.

Название одной ленты в генеральном перечне произведений Кондрашова — «Солёный хлеб» — что-то мне смутно напомнило. Кажется, там было про рыбаков:

Сахалин, МРС, кошельковые тралы, любовь героя к судовой поварихе, азарт работы. Судно попадает в ураган, сильнейший шторм задаёт экзистенциальную планку: спастись можно, но придётся вывалить за борт грандиозный, небывалый по меркам обыденности улов минтая. Парторг, поддерживаемый большинством команды, стоит за сохранение добычи. Лишь несколько отщепенцев во главе с антигероем (в начале картины этот хлюст нагло подбивает клинья под прельстительную повариху) трусливо предпочитает рекордному минтаю спасение своей никчёмной жизни. В последний момент дело решает голос героя.

Финал благополучный: минтай сохранён, стихию удалось превозмочь, потрёпанный, но не сломленный бурей траулер подваливает к причалу с полными трюмами. Повариха и герой сливаются в многообещающем поцелуе, а за антигероем, подозреваемым в контрабанде жвачки, приходит милиция. Неплохой, в сущности, фильм, увлекательный, я в детстве с удовольствием смотрел и даже, как теперь оказалось, запомнил.

Но когда я нашёл картину на каком-то сайте, чтобы освежить в памяти, то первые же кадры обнаружили ошибку: лента Кондрашова В.С. «Солёный хлеб» была взглядом не на полную опасностей жизнь сахалинских рыбаков, а на будни ставропольских хлеборобов: горбушку присаливали не брызги свинцовых волн, а капли пахарского пота...

— Так о чём же пишете? Есть творческие проблемы? — спросил Кондрашов, улыбаясь одновременно и радушно, и озабоченно.

Радушие не требовало истолкований, что же до озабоченности, то её можно было объяснить разве что волнением за судьбу отечественной литературы, и я уже начал отвечать в этом ключе, когда Василий Степанович продолжил вопрос, заискивающе морщась:

— Под экранизацию ничего не имеете?

Это окончательно поставило меня в тупик.

С одной стороны, звучало лестно, с другой — возникло ощущение, что ему решительно всё равно, что я там себе пишу; неважно что, было бы хоть что-нибудь на бумаге написанное, а уж за экранизацией дело не станет.

Тем не менее мы исправно толковали о том о сём, вполне понимая друг друга. Правда, ещё один момент беседы оказался не совсем заурядным: безо всяких к тому предпосылок, что называется, на ровном месте, Василий Степанович вдруг присунулся ближе и спросил доверительно, с какой-то даже надеждой в голосе:

— Вы, сударь, часом не дворянин?

— Дворянин? — переспросил я, не сумев побороть мгновенного изумления. — Э-э-э... Ну, знаете... предки мои, насколько мне известно, не имели никакого отношения... следовательно и сам я... Нет, увы.

Ждал какого-нибудь продолжения, но Кондрашов молча принял к сведению и лишь покивал с некой затаённой скорбью.

— Ну так что? — вдруг сердито сказал он, заново цепляясь за свою кружку и озираясь с таким видом, будто если бы у него была палка, он бы сейчас шарахнул ею об пол. — Что у нас с чаем? Лилечка всем хороша. Но её, бедняжку, за смертью посылать!.. Я уже от жажды весь потрескался не хуже твоего такыра!.. Нет, дорогой Серёжа, жизнь просто устроена: если сам не сделаешь, так ничего и не будет. Посидите, пойду гляну...

* * *

Мне ничего не оставалось, как закинуть на спинку дивана вторую руку, вытянуть ноги и оглядеться.

Гостиная — на глазок метров шестидесяти, а то и восьмидесяти — была обставлена не густо, без тесноты, что позволяло во всей красе выступить наборному паркету.

Диван, на котором я сидел, соседствовал с тремя зелёными креслами.

В угол приткнулся концертный рояль — на этом просторе не производивший особого впечатления.

В некотором отдалении стоял обеденный стол о шести пузатых ногах. Он и в собранном состоянии выглядел весьма внушительно.

Близ него ещё один, в разы меньше, на нём газеты, журналы, несколько книжек.

Под картиной разместилось кабинетное бюро, верхняя часть с выдвигаемыми ящичками.

По обеим сторонам в обливных горшках на полу два рослых растения — пальма и фикус.

Кроме громоздкого полотна над бюро были и холсты поменьше: два над роялем, два над диваном, ещё несколько в простенках между окнами; всё натюрморты и пейзажи.

С другой стороны темнел зев здоровущего камина: витая чёрнёная решётка, на доске бронзовые часы, рядом ещё два кресла, эти бордовые, — вероятно, чтобы долгими зимними вечерами, вытянув ноги к огню, прихлёбывать портвейн.

Шесть окон — по три на двух соседних стенах, выдававшихся большим угловым эркером — были сейчас раскрыты настежь, и двухсветный зал весь распаивался наружу: в погожий день, в птичий гам и зелень, в лаковый блеск и шевеление.

Справа полуденное солнце брало помещение приступом: наискось валилось в проёмы и рушилось на мозаику паркета горящими прямоугольниками.

Слева — добавляло теней, рефлексов и движения: переменчивое сияние приплясывало на полу и стенах в прихотливом ритме переплесков листьев.

Длинные светлые занавеси, где-то прихваченные перевязями, а по большей части давно от них освободившиеся, трепетали на дуновениях заоконных просторов. Они волновались — и то бросались шарить по гляncy пола, то плескали полами, а то и вовсе взлетали широкими рывками чуть не до самых гардин и медленно падали, расправляясь волнистым течением белого муслина: для виду успокаиваясь, а на деле готовясь плеснуть ещё свободнее.

Высокие окна достигали бы уровня второго этажа... но самого второго этажа над гостиной не было, вздымалась пустота до самой крыши: второй этаж возникал на середине противоположной стены, начинаясь перилами, за которыми лежала сумрачная глубина дома.

На этих перилах вперекидку, мехом наружу, будто брошенные на просушку, висели зверьи шкуры. Чёрные лапы громоздкой медвежьей ниспадали тяжело, безвольно и устрашающе. Были и помельче: песцовые, лисьи, ещё бог весть какие, числом больше десятка.

С мощных, морёного дерева потолочных балок тоже спускались отороченные золотой бахромой парчовые полотнища каких-то не то гобеленов, не то знамён.

Я поднялся и подошел к картине.

Из прихотливо изукрашенной золочёной багетной рамы смотрела статная женщина. Широкая голубая лента пересекала её пышное одеяние наискось с правого плеча до талии. Мгновение назад она покойно сидела в кожаном кресле с оранжевой спинкой, а теперь чуть из него привставала, протягивая вперёд правую руку, — и если бы в руке была указка, её было бы легко принять за учительницу. Но она держала не указку, а скипетр, и была вовсе не учительница, а самодержица российская Екатерина Великая, портрет же принадлежал кисти живописца Рокотова.

Или, возможно, Левицкого, соображал я, роясь в тех залежах памяти, что могли иметь мало-мальское отношение к искусствоведению.

Бюро красного дерева с наборной столешницей из пластинок разных цветов — от почти белых до почти чёрных — относилось примерно к той же эпохе, что и портрет в его высокого качества литографической копии.

Сверху лежал раскрытый на середине внушительный том.

На левой странице разворота с самого верха написано быстрым наклонным почерком: «*Утверждаю*» — и длинная узкая петля, видимо, в качестве подписи. Справа, на том же уровне и тем же почерком, со строчной буквы: «*в Гатчине*» — и дата: «*26 Мая 1893 года*».

Ниже и во всю ширь — красочное изображение внушительно причудливого, изощрённого, избыточно пышного герба.

Под ним в три строки (почерк совсем другой, чем сверху, — круглый, разборчивый, писарский):

*Гербъ Графовъ
Воронцовыхъ-Дашковыхъ.
Описание герба.*

И само описание:

Щитъ четверочастный съ малымъ щитомъ въ середине. В первой и четвертой частяхъ гербъ графовъ Воронцовыхъ: в щитѣ, скошенномъ серебромъ и червленью, лилія, сопровождаемая двумя розами въ перевязь вправо, переменныхъ финифтей и металла, в черной главѣ щита золотое строило, обремененное тремя черными гранатами съ червленью пламенемъ и сопровождаемое тремя серебряными о пяти лучахъ звездами...

Звучный текст торжественно перетекал направо и опускался примерно до половины страницы.

После отстрочия, сиречь пробельной строки, следовал особый период:

Именнымъ Высочайшимъ Указомъ в Бозе почивающаго Императора Александра I, даннымъ Правительствующему Сенату 4 ч. Августа 1807 года, Всемилостивѣйше дозволенно племяннику Статсъ-Дамы Княгини Екатерины Дашковой, сыну покойнаго Камеръ-Юнкера Графа Ларіона Воронцова, Графу Ивану Воронцову присоединить къ фамиліи своей фамилію Дашковыхъ и потомственно именоваться «Графомъ Воронцовымъ-Дашковымъ».

Я ещё рассматривал причудливый, изощрённый в деталях герб, когда в гостиной бесшумно появилась пожилая женщина: в тёмном платье с длинными рукавами и застёгнутыми манжетами, в белом фартуке, с белой же кружевной наколкой-коронкой,

какие носили прежде буфетчицы, на собранных аккуратным пучком седеющих волосах, с большим подносом в руках.

Она сдержанно поздоровалась, аккуратно составила на сервировочный столик чашки, чайник, сахарницу, вазочку с конфетами, блюдо с кружочками лимона и, не подняв на меня взгляда, так же тихо удалилась.

* * *

Из всего, что могло происходить в Кондрашовке после моего отъезда, одна сцена виделась совершенно отчётливо, и я почти сутки не мог от неё отделаться.

«Ну и кто, скажи на милость, этот хлыщ?» — спрашивал Кондрашов. Лилиана пожимала плечами: «Вовсе не хлыщ. Это Серёжа Николаев. Он писатель. А что такое? Я просто не понимаю твоего тона!..» — «А что с тоном? — смиренно удивлялся Василий Степанович, прижимая к груди свою идиотскую кружку. — Ну извини... ты знаешь, это у меня голос такой. Он и сам сказал, ага. Так и так, говорит, Николаев-Нидвораев я, писатель». — «Какой ещё Нидвораев! — вспыхивала Лилиана. — Папа, перестань!» — «Да чего ты? — Василий Степанович простодушно тушевался. — Ладно, как скажешь. Тебе жить-то». — «Что — мне жить? Ты чего, в самом деле? Первый раз человека увидел — и пожалуйста: тебе жить! Папа, ты о чём?!»

Назойливость, с какой накатывало на меня это видение, была объяснима.

Вообще-то прежде я не жаловался на уровень самооценки, знал себе цену и даже, наоборот, парадоксальным образом ценил те щелчки, которыми судьба время от времени ставила меня на место.

Но если ты собираешься на дачу к любимой, то, зная, в какой цене на дачах рабочие руки, предполагаешь, что тебе предложат таскать навоз, рубить хворост или приводить в порядок покосившийся душ, бочка с которого грозит обрушиться на голову смельчака, решившегося принять водные процедуры.

Одеваешься соответственно ожиданиям: немолодые, протёртые в межножье джинсы, клетчатая ковбойка, растресканные кроссовки, выдавшая виды штормовка.

А когда тебя, вырядившегося для отбытия сельскохозяйственных повинностей, встречает имение, где отсутствие крепостных кажется досадным недочётом, а тут и там сияющие гербы графов Воронцовых-Дашковых — естественными приметами потомственной родовитости, поневоле горько задумаешься, верно ли сложилась твоя жизнь...

Однако, когда мы с Лилианой увиделись во вторник вечером, выяснилось, что я произвёл на Кондрашова самое благоприятное впечатление.

Папа в восторге, сказала она. Кажется, у него на тебя большие планы.

Я удивился.

Не спрашивай, сказала Лилиана, я не знаю. Да он бы и не сказал, он не любит языком трепать, тот ещё тихушник. Просто туманно намекнул: какие-то творческие планы.

Творческие, повторил я, недоумевая.

Ну, может быть, не в том смысле творческие, что прямо творческие, сказала Лилиана, но близко к тому. Кажется, он хочет писать роман.

Я так ужаснулся, что Лилиана в свою очередь всполошилась: она точно не знает, может, ей просто показалось, ну что так убиваться, откажешься в крайнем случае, вот и всё.

Но я и правда был огорошен. Мало сказать, что перспектива общего с Кондрашовым романа меня не привлекала — она представлялась просто чудовищной.

Я заранее придумал несколько отговорок, но всё же в электричке тихо тосковал. Отговорки, конечно, непрошибаемые, мрачно думал я. То есть в теории выглядят непрошибаемыми... а каково-то окажется на практике!..

Лилиана, как на грех, уехала в Вознесенское, и Кондрашов воспользовался её отсутствием: взял меня под локоток и повёл вдоль куртин.

Вот оно, обречённо подумал я.

Вы человек занятой, говорил Василий Степанович, несколько заискивающе глядя в глаза и доверчиво моргая припухшими веками. Совсем, совсем не хочу оказаться вам в тягость с дурацкими своими разговорами. Но всё-таки вот о чём с вами, Серёжа, хотел бы посоветоваться. Вы лучше меня понимаете: в литературе главное — форма. Я что имею в виду? Бывает, пустяки описаны — а не оторвёшься. А бывает, жизнь прям как у меня, полная, куда ни сунься, свершений и трагедий! — да так всё коряво, что прямо с души воротит.

Поначалу я не понимал, куда он клонит, и не мог отделаться от смутных подозрений. Но скоро всё, слава богу, прояснилось.

— Господь с вами, Серёжа! — воскликнул Василий Степанович, когда я задал вопрос в лоб. — Какой роман? Не хочу я никакого романа!

Он всего лишь хочет заняться воспоминаниями. Так сказать, мемуарами. Но, не имея, увы, соответствующего опыта и навыков, предлагает мне должность, грубо говоря, наставника по литературной части. Который взял бы на себя труд внимательного читателя и редактора. И, так сказать, консультанта.

— Одному-то в этом деле очень трудно! — сказал он.

— Это правда, — вздохнул я, немного успокоенный.

— Заниматься будем два раза в неделю. На всё про всё вместе с перекусами... ну, сколько? Ну, скажем, три часа. Плюс дорога. Получать — как угодно: хоть за каждый раз, хоть помесечно. Возьмётесь?

— Я, собственно, и так могу вам помочь, — начал было я. — Не обязательно вам...

Кондрашов резко меня остановил:

— Вот этого не надо! Вопросы дружбы и дружеских одолжений — об этом не будем! Ваше время денег стоит, а я бы хотел иметь основания чего-то от вас требовать. Насчёт кабалы не бойтесь. Если дело не пойдёт, договор расторгается по первому вашему требованию. Согласны?

Делать было нечего. Да и условия, как ни крути, сравнительно неплохие.

Потом было даже смешно вспомнить, как я боялся, что Кондрашов нагрузит меня своим романом. А ведь следующие примерно полгода передо мной разворачивалось их целых три.

Во-первых, это был длинный роман жизни Василия Степановича.

Во-вторых, сравнительно куций, но увлекательный роман жизни Лилианы (точнее, той её части, что предшествовала нашей встрече), который она пролистывала передо мной на прогулках или в иных ситуациях.

И, в-третьих, мой собственный — или, опять точнее, наш с ней роман.

Скажу сразу, что из всех трёх наш был наименее интересен, но до поры до времени наиболее приятен.

* * *

В связи с новыми обстоятельствами жизни мне пришлось перестроить дела.

Делами этими я занимался третий год. Занимался без радости: дело как таковое было туповатое, как всякое дело, смысл которого не выходит за рамки заработка.

Можно сказать, у меня был бизнес, пусть и не очень надёжный. Но какая надёжность может быть в бизнесе? Ветер подул с другой стороны, тучи разбежались, клиент перестал зонтиками интересоваться, вот тебе и катастрофа. Но всё же я работал добросовестно, поскольку работал на себя.

При этом всякому, кто в этом понимает хоть на воробыный хвост, известно, что если дело как-то идёт — а у меня оно как-то шло, — нужно думать лишь о нём, неустанно ища способы расширения. Тогда, при удаче, удастся сохранить всё как есть.

Если же придерживать коней, уменьшать обороты и сдвигать всю его тяготу, нервотрёпку и головную боль с первого места в жизни на второе, норовя, как в моём случае, выкроить время на поездки в Кондрашовку для мемуарной болтовни пусть даже и за гонорар, дело неминуемо начнёт скукоживаться.

А потом и сам не поймёшь, почему оно схлопнулось: в один прекрасный день просыпаешься — а у тебя уже и нет никакого бизнеса, да так крепко нет, будто никогда и не было.

Но я, безумец, всё же предпринял кое-какие деятельные меры для руинирования материальных основ своего существования. Грезилась некие туманные перспективы того, что может появиться взамен... Опять же Лилиана.

Я приезжал по вторникам и пятницам. Место было недалёкое — по московским меркам просто козырное. Но как ни спеша, а раньше начала двенадцатого не явишься. К счастью, Кондрашов вставал не по-стариковски поздно, так что выходило в самый раз.

От станции можно было пешком, но утром я из экономии времени предпочитал автобус. А когда минут через пятнадцать выходил на остановке «дер. Колесово», первый же вдох доказывал, что Москва с её иссушенным электричеством воздухом окончательно отстала.

В благоухание подсыхающей травы вплеталось многое. Тут было и веяние лесной сырости, и смолистый аромат прогревающегося сосняка на косогоре; если ночью перепал дождичек, от обочины тянуло размягчённым запахом прибитой пыли. Сотни струй потоньше прокатывались волнистыми пунктирами: то полоска лугового разнотравья, то ленточка древесного дымка, то вдруг праздничное веяние мятой клубники.

Звенели насекомые, птицы стайками порхали по придорожным кустам, в глубине леса печалилась кукушка, ветерок вольно прохаживался по кронам лиственных, путался в лапах хвойных. Луч солнца из прорехи листвы то падал зря и терялся в траве, а то без промаху попадал в самую гущу ажурного кружения мошкеры — и тут же вылачивал каждую козявку в драгоценную крупичу.

Ворота были видны почти от самой остановки: сначала блики, пробивающие листву, потом поблескивание контуров; когда же они вставали передо мной во всём сверкании своей роскоши, я нажимал кнопку звонка. Обычно охранник и без того дистанционно щёлкал замком, отпирая калитку: все уже друг друга знали.

— Привет, — говорил я в приоткрытую дверь вагончика.

— Привет, привет... На службу?

— На неё, — отвечал я. — Ладно, бывай.

Василий Степанович ждал меня на террасе. Он был в синих трусах до колен, просторной футболке и широкополой панаме защитного цвета на лысине. Я снимал с плеча сумку, мы здоровались, перекидываясь начальными, ничего особо не значившими словами.

— Садись, садись, — говорил Кондрашов и повышал голос. — Василиса! Ты где? Серёжа приехал! Кофе-то готов?

Не спеша удостоить его ответом, Василиса Васильевна составляла с подноса кое-какие мелочи. Скоро мы выходили с террасы на лужайку. В моей кружке были остатки кофе. В Кондрашовской тоже что-то плескалось.

Надо сказать, его кружка долго томила меня своей неразрешимой загадочностью.

Например, во время самой первой нашей беседы Кондрашов время от времени брал её в руки, но ни разу не отхлебнул, — и уже тогда я рассеянно думал, что означают его манипуляции.

Я и в другие разы осторожно принимался, пытаюсь разгадать содержимое, однако не преуспевал. Я не мог взять в толк, что в ней плещется и почему он с таким постоянством носит кружку с собой. А спросить язык не поворачивался: дело всё же довольно интимное...

Мысль об алкоголе явилась первой — и первой же была отвергнута, ибо иных примет тайного пьянства Кондрашова не наблюдалось: ни перегара, ни заплетающегося языка, ни шаткой походки и неловкости в движениях. Я склонялся к идее, что, возможно, в кружку налит некий мощный стимулятор, без которого старик не может продержаться и минуты: настойка женьшеня или отвар лимонника, а то и что-нибудь позабористей, маковое молочко или компот из конопли. Тогда понятно, почему я никогда не вижу, как он пополняет содержимое: делает это из основного запаса и в одиночестве, он же не сумасшедший, чтобы такое афишировать. Но почему в таком случае я не застаю хотя бы моментов, когда Василий Степанович отхлёбывает?..

Как это часто бывает, в действительности не было ничего ни таинственного, ни даже интересного. Кондрашов носил кружку просто по многолетней привычке. На дне плескался опивок крепкого чаю. Я даже не знаю, был ли это каждодневно новый или один и тот же, потому что, если кружка пустела, он и пустую таскал с тем же постоянством. В этой связи я припоминал собственного деда. Он тоже владел чайным сосудом в размер бадьи и в обращении с ним проявлял хоть и совсем иные, но в чём-то похожие пристрастия: любил накрошить в чай яблочек или надавить малины и поставить на подоконник. Когда к вечеру питьё начинало ощутимо бродить, он оценивающе принимался и говорил с интонацией, в которой показное отвращение мешалось с неподдельной гордостью: «Ну ты смотри, а! Живой сифилис!!»

— Ну вот, ну вот, — говорил Василий Степанович, прохаживаясь и помахивая на ходу кружкой. — Да... так на чём мы, собственно?.. Вы, Серёжа, не помните?

Таким образом мы уже начинали работать: гуляли по лужайке и, то попадая в тень, то снова оказываясь на солнце, рассуждали, как лучше Василию Степановичу приступить к созданию своих воспоминаний: какого пути следует ему придерживаться для достижения наилучшего результата.

Я склонялся к хронологическому принципу. На мой взгляд, он просто напрашивался: начать с как можно более раннего начала и плыть по естественному течению времени, оглядывая берега.

Но не отрицал я и возможной плодотворности иной схемы. Например, не сосредоточиваться на том, чтобы сохранить строгую последовательность происходившего, а, наоборот, поддаваться прихотливым велениям свободных ассоциаций и вытягивать из мешанины прошлого то, что само ложится в руку.

Такой подход, говорил я, может привести к созданию чего-то более интересного, чем просто описание случившихся друг за другом событий. Не исключено, что вам удастся выявить какие-то пути судьбы, которые не согласны ходу времени,

а, напротив, пересекают поток, противятся ему своей волей, режут, сопротивляясь общему течению, преодолевая его — примерно как паром, когда он силой перерезает реку, совершая путь от одного берега к другому.

— Вот! Вот! — кивал Василий Степанович. — Правильно говоришь, Серёжа! Именно как паром! Именно поперёк! Вот она, мысль-то! Молодец!

Однако, озабоченно замечал я, и при таком подходе нужно иметь какой-то план работы в целом, пусть самый общий.

Обычно Василий Степанович и с этим соглашался.

Под конец прогулки мы почти неизбежно сваливались в конкретику будущего, то есть рассуждали о выборе наиболее подходящего издательства, которое смогло бы взять на себя публикацию труда, а также о тиражах будущей книги.

Тут мнения расходились. Я упирал на качество рукописи — дескать, нужно постараться, чтобы она была хорошей, тогда не будет трудностей публикации.

Позже Кондрашов вовсе перестал реагировать на мои замечания по этому поводу, а я, соответственно, прекратил попытки их высказать, но первые два или три раза они становились предметом оживлённой дискуссии или, точнее, провоцировали Василия Степановича на обширные лекции, касавшиеся устройства как жизни вообще, так и искусства в частности. Иных сфер изящного он касался бегло, о кино же и литературе, как об областях досконально им изученных, говорил подробно.

— Я вам, Серёжа, просто удивляюсь! Рукопись! Ну какое, какое это имеет значение?!

— Но как же!

— Да подождите! Вы сколько книг издали?

— Василий Степанович, при чём тут? Я вам уже говорил. Положим, я не издал ещё никаких книг, но...

— Видите! Вот где собака-то!.. Вы нет — а я восемь! Во-семь! Это одних полнометражных! А ещё документалка!.. Есть разница?

— Да что же тут общего? Сейчас-то вы не фильм собираетесь снимать, а писать мемуары!

— Ну и что? Вот вы чудак, честное слова. Вы подумайте. Как божий день. Нет, со всей откровенностью. Например, приносят вам десять сценариев. Из них семь совсем никуда, два ни шатко ни валко, а один просто как для вас писали. Вы какой возьмёте?

— А какие могут быть сомнения? — удивлялся я, с неприятным чувством подозревая, что Кондрашов заманивает меня в ловушку. — Этот вот и возьму, который как для меня!

— Ага! — хохотал Василий Степанович, грозя пальцем. — А если вам трижды из Госкино позвонили насчёт одного из тех, которые никуда? А?.. То-то! Я, конечно, со всем сердцем. Но всё-таки!..

* * *

Почти так же сильно, как форма его будущих воспоминаний, Василия Степановича заботило состояние погоды.

Он то и дело задира голову, рачительно оглядывая небосклон, и всякий раз затем отзывался о недавних прогнозах либо с одобрением и даже гордостью: «Правильно мы вчера говорили!..» — либо с нескрываемо уничижительной иронией: «Ну и где ваш циклон, лапти?»

На обратном пути, когда я подрёмывал в электричке, Василий Степанович, бывало, являлся мне в моих секундных грёзах. Вздвогнув, я с усмешкой думал, что если бы добавить Кондрашову худобы (точнее, убавить корпулентности) и облечь в чёрную мантию, он бы сделался чистым Мерлином из романа Марка Твена: тот грозный волшебник, растеряв все умения, кроме метеорологических прогнозов, да и то через раз промахиваясь, в случае удачного попадания ликовал: «Обратили ли сэры внимание, какие стоят погоды? Погоды стоят предсказанные!»

В его голове, то и дело загораясь собой воздушно-хрустальные вагоны мечтаний о славных мемуарах, непрестанно двигались глубоко эшелонированные, тяжёлые товарняки земных представлений: о дожде и вёдре, о стрижке газона и кустов, о сборе смородины, крыжовника и яблок, о покосившейся после вчерашнего ливня водосточной трубе, — и ещё, и ещё, и ещё. Поводов для такого рода размышлений у него, как у землевладельца, находилось великое множество, ибо, по его собственным словам, ничто не доставляет человеку столько хлопот, как серьёзная недвижимость.

— Как бы дождичка не натянуло, — озабоченно говорил Василий Степанович. — Ну хорошо. Верно, верно ты давеча сказал, Серёжа, форма — она того... Но давай-ка сейчас вот что... Давай маленько промнётся, надо за порядком присмотреть.

На том лугу, что за Бугром, два таджика должны были косить траву. От дома превосходно слышалось, как исправно жужжат их триммеры, но свой глазок смотрок.

Завидев барина, таджики глушили движки и кланялись. Василий Степанович шумно здоровался, похохатывал, говорил по-свойски, как с равными, без высокомерия, но и не допуская панибратства. Кажется, у него имелся богатый опыт такого рода общения: он входил в детали, интересовался семьями, был не прочь помочь советом и даже пособить в поисках работы.

Далее мы следовали на почти противоположную сторону участка: там на сегодня была намечена чистка Малого пруда. По пути Василий Степанович посвящал меня в детали плана: тину вывезти в парники, а если её паче чаяния окажется слишком много, то и удобрить окрестные лужайки.

Вопреки ожиданиям, на пруду ничего и никого не было: ни колёсного трактора с драгой, ни подрядчика, ни бригады.

Крепко высказавшись, Василий Степанович вынимал из кармана трусов мобильник и с кряхтением усаживался на горячие от солнца мостки.

Переговоры занимали известное время.

Не особо прислушиваясь, я зачарованно следил, как водомерки рисуют круги, чтобы сбить с толку глупых мальков.

Кондрашов требовал какого-то Млекоевича.

Не добившись его в одном месте, он звонил в другое; там просили позвонить в третье; Василий Степанович чертыхался и снова набирал.

Я бы плюнул, но Кондрашов был не таков. Он не оставлял стараний, в итоге получал заслуженную награду и обрушивался на тщившегося ускользнуть Млекоевича всей мощью накопившегося гнева.

— Так дело не пойдёт!.. Вы что там, в самом деле!.. Если сию же секунду!.. нет, ты послушай!.. сию же секунду если не будет трактора!.. слушай, говорю!.. драги и трёх трезвых рабочих!.. Что значит «где возьмёшь»? Что значит «не знаешь»? Я поставлю вопрос о возвращении аванса!.. иск вчиню!.. в суд со мной пойдёшь!.. Как за что?! За моральный ущерб и упущенную выгоду!..

Водомерки упрямо соревновались в абсурдности чертимого.

— То есть что значит — «родишь»?! — кричал Василий Степанович. — Какая мне

разница, как ты там родишь!.. Да как же завтра, если обещали сегодня?! Да какая же полумка, когда всё должно быть на мази?..

Завершив переговоры, а затем по инерции боя вывалив на меня некоторые соображения о тёмных сторонах человеческой натуры — о необязательности, о позорной безответственности, о вековой готовности даром сорвать деньги, — Василий Степанович поднимался с горячих досок и задира л голову, доброжелательно глядя на торчавшее уже в самом зените светило.

— Что ж это делается, — говорил он. — Совершенно некогда работать.

Мы шагали к дому.

У Василисы Васильевны всё было готово.

Когда накрывалось в комнатах, нас ждала каша, а то и две на выбор, творог, сметана (я шутил, не ожидаются ли и девки со свежей малиной, а Василий Степанович всякий раз почему-то хмурился), варенец или мацони и выпечка к чаю.

Если же по особой жаре мы садились на террасе, со стола смотрели супницы с ботвиньей или окрошкой (на квасе или кислом молоке по желанию), белорыбица двух-трёх сортов в нарезке (сёмгу Кондрашов не жаловал, величал инкубаторской), непременно разделанный вяленый лещ в качестве лакомства под кислое.

Закусывали мы замечательно, а вот мемуарист из Василия Степановича оказался как из морковки мыльница. Спеша поведать о зрелых годах, он пренебрегал событиями детства и юности — то есть той почвой, в которую, как мне казалось, должны были уходить корни его таланта.

Вытрясать из него сведения приходилось по крупницам. Всё, что мне удалось узнать, я узнал благодаря собственному упорству.

Поэтому, если бы со страниц воспоминаний Василия Степановича поднялась фигура, безусловно требующая увековечивания, из истукана Кондрашова должен был по справедливости тайком выглядывать мой собственный портрет — как мрачный лик Бенвенуто Челлини таится в изваянии Персея на площади Синьории.

Но Василий Степанович своих воспоминаний так и не написал.

Кондрашов

Он родился в Унгенах.

— Да, так и говорят, — настаивал он. — По-молдавски — Унгень, по-русски — Унгены. Они туда из Алексеевки переехали, когда мама на сносях была. Едва успели. А потом я вырос и поступил во ВГИК. Ну и все. Как, нормально?

— Просто отлично, — говорил я. — Так в печать и отдадим?.. Нет, Василий Степанович, давайте разбираться!

Многоярусная башня всякого человеческого рода погребена в слежавшейся толще времени. Обычно только на двух или трёх верхних её этажах светятся тусклые огоньки: дед учился в университете... прабабушку привезли из Италии... прадед был, наверное, калекой, потому-то мы и Беспаловы.

Корабль родословия затонул в непроглядной глубине. Можно лишь воображать, как струятся над ним воды Леты.

Некоторые невнятные слухи, достигшие ушей малолетнего Кондрашова, представляли собой не семейные предания, а, скорее, потерявшие былую остроту сплетни.

Бабушка Фаина Павловна (девичьей фамилии Кондрашов не знал) была из простой крестьянской семьи села Дубова.

Село стояло близ тогдашней румынской границы. В одной его половине большую часть составляли румыны, в другой перевешивали украинцы. В которой жила Фая, достоверно не известно.

Ей было девятнадцать, когда в сентябре тридцать девятого года начался освободительный поход Рабоче-крестьянской Красной армии.

Дело шло вдаль от Дубова, на полтысячи километров севернее. Ломти разделённой Польши стали там Западными Украиной и Белоруссией, присоединившись к Украинской и Белорусской ССР соответственно. А ещё один кусок, часть Виленского края, причалил к новообразованной Литовской Республике.

Фая интересоваться незачем было, да и некогда, своих забот хватало. А кто побездельней, те вечно торчали у тарелки громкоговорителя на крыльце сельсовета, из которой неслись торжественные сообщения, гром и уханье маршевой музыки, взвизги плясовой.

Потом в село стали наезжать военные. И скоро в чистом поле за околицей расквартировалась небольшая часть. Поначалу сельчан помоложе тянуло поглазеть на грузовики и палатки, но скоро привыкли.

Фая была черноглазая хохотушка, по всем статьям пригожая — глаз не отвести. А молодой политрук РККА в гимнастёрке с портупеей, кобурой на ремне и блистательных, ценой невесты каких жертв добытых хромовых сапогах, — он и вовсе неотразим.

Можно было бы сказать, что любовь между ними вспыхнула подобно пороху, если бы она не рванула наступательной гранатой.

Оба были молоды, оба хороши собой, оба, в сущности, передовые советские люди, Фаина политическая безграмотность погоды не делала. Соединению препятствовало лишь то, что регистрацию по-сельсоветски Фаин батя называл кобелячьей свадьбой. А юный политрук Гордеев, истово прижимая к груди пудовые кулаки и стуча ими так, словно собирался от отчаяния проломить грудную клетку, твердил, что, как хотите, хоть на куски режьте, а в церкву он ни ногой. Ибо его потом из партии мокрыми тряпками, а ему что партбилет на стол, что сразу в петлю.

Но всё-таки это противоречие, поначалу казавшееся неустранимым, как-то разрешилось (как именно, Василий Степанович не знал, но склонялся к мысли, что, выбирая между обветшалыми нормами и скорой свадьбой, батя предпочёл последнее, ибо сбыть дочку с рук всякому хочется).

К лету выяснилось, что не зря тут и там мельтешат военные. Советский Союз взялся за решение бессарабского вопроса, и как Господь за шесть дней создал всё сущее, так и он за те же шесть дней вернул себе земли, незаконно оккупированные Румынией аж с восемнадцатого года.

Прошло ещё некоторое время, и Гордеев, обременённый уже не только женой, но и крохой-дочерью, по службе перебрался на сто с лишним километров западнее, в Бельцы.

Городок оказался маленький, но шумный. Ни румынской, ни украинской, ни тем паче русской речи не слышать, зато идиш и иврит с лихвой восполняли недостачу: громогласно выплёскивались за пороги лавочек и щедро лились из распахнутых окон невзрачных домишек. Рынок ими певуче гомонил, а у дверей синагог они вулканически клокотали, то бессильно стихая, то снова взрываясь негодованием...

Новая власть вводила новые порядки: еврейские организации закрылись, сионистская деятельность объявлена вне закона, школы на иврите прекратили своё существование, но идиш почему-то не подвергся преследованиям.

Ночи стали беспокойные: то тут то там что-то гудело и топало, лязгало и грюкало, и стучало прикладами, и вскрикивало, и плакало, и голосило, и шикало. Ничто по отдельности не наводило на мысль, что это такое может быть, — а это было чмокание и сёрбанье, с каким гигантская ночная жаба схлюпывала ещё одного врага Советской власти. Напрасно тот хотел утаиться; тщетность его подлых усилий доказывалась тем, что скоро враг — когда в одиночку, а когда и со всей семьёй, — становился насельцем влекущегося на восток вагонзака...

Меньше чем через год началась война — и наступили такие времена, по сравнению с которыми жестокость советских выглядела милой щекоткой.

Как именно бабушка Фаина переживала румынскую оккупацию, Василий Степанович в своё время не поинтересовался, теперь же спросить давно было не у кого.

* * *

Что касается Гордеева, то ему и правда удалось дойти до Берлина.

История умалчивала, каких именно чинов он достиг.

Василий Степанович по обыкновению разводил руками и пырхал междометиями. Правда, имелись точные сведения, что по окончании войны Гордеева направили в Киевскую ВППШ. Исходя из этого и используя самые общие знания жизни, мы с Василием Степановичем решили, что он закончил войну майором. «Лейтенанта бы не послали, — рассуждал Василий Степанович. — И полковнику там делать нечего. Капитан? Не знаю... Майор он был, как пить дать майор!»

Следовало заключить, что военная судьба Гордеева повернулась благоприятно: и жив остался, и карьеру сделал.

Что же касается Фаины, то её доля по любым меркам складывалась несчастливо.

До войны всё было хорошо. И ребенок у неё рос, и муж на виду, хотя служба у него была, конечно, нервная.

Когда же началась война, всё обрушилось так быстро, что они и проститься толком не успели.

Ни о чём таком Гордеев прежде ей не говорил. Да никто ни о чём подобном прежде и подумать не мог. Все знали, что в случае чего Красная армия остановит вероломного врага, после чего перейдёт в безусловное наступление.

Ординарец ждал с лошадьми у ворот, Гордеев целовал её, успокаивал, обещал непременно вернуться через сутки-двое, чтобы обнять как следует. Потом-то они долго не увидятся: месяца два, небось, а то и три. Нужно понимать: победный поход — это ведь не так себе прогулочка, стоит на карту глянуть, оторопь берёт, сколько топать до того Берлина, до прочих столиц главных капиталистических государств!

А потом бац — недели не прошло, и они с Лидочкой обнаружили себя на заново оккупированной румынами территории.

С той поры ей, безмужней жене, пришлось пережить все тяготы, на какие обрекает людей громадная, чёрная, нескончаемая война.

Всё это время Фая прилеплялась к дочке, к Лиде, — она одна была у неё в настоящем единственная своя, любимая, живая и тёплая.

Хорошо ещё, что с самого их переезда в Бельцы у военных были сумбур и неразбериха. В командирском городке жилья семейству не хватило, Гордеев сердился,

что приходится временно бытовать на съёмной хате у тётки Аглаи: все, дескать, там душа в душу соседствуют, а они тут, на отшибе, обсевками. Но впоследствии, когда сигуранца начала всерьёз рыскать и до каждого докапываться, Фае удалось скрыть, что муж красный командир и политрук: тётка Аглая её не выдала, а из военного городка, где квартировали командирские семьи, многих женщин похватали.

Долго всё это было, долго и тягостно.

Но в марте сорок четвёртого года накатило дальнейшее гроыхание. Двое суток гудело и ухало, а после суточного затишья в Бельцы вошли советские войска.

Стало ясно, что немец не вернётся. Те недобитки, что остались, теперь ни у кого не вызывали страха. Их спозаранку приводили в город колоннами с южной окраины, из лагеря военнопленных, и дотемна они копошились в руинах, разбирали завалы. Вечером тем же строем гнали обратно. Несколько раз Фаина видела, как живые молча несут мёртвого. Говорили, им, будто в насмешку, позволяют хоронить только на еврейском кладбище. Провожая взглядом их, оборванцев, спотыкающихся со своей тяжкой ношей в охраняемой колонне, Фаина не могла сдержатъ слёз: вспоминала о своём.

До освобождения она о Гордееве старалась не думать. Хотя думалось, конечно, беспрестанно.

А уж когда Бельцы снова стали советскими, думать о нём и вовсе не стало нужды, кой толк был теперь о нём думать.

То есть думать, в смысле жалеть и горевать она продолжала, а думать в смысле «ждать и надеяться» — нет. Душу травить, а толку никакого. Под немцами это имело хоть какой-то смысл: можно было надеяться на чудо. Но когда немца прогнали, всё окончательно прояснилось: если бы Гордеев был жив, он пришёл бы к ней с теми солдатами, что их освободили.

Так говорило сердце.

Ум тоже время от времени пытался возвысить свой слабый голос: окстись, дескать, о чём ты, не вся же Красная армия двигалась через твои несчастные, богом забытые Бельцы! Когда со столба на рынке снова заговорил советский громкоговоритель, трижды в день ликующе озвучивая сводки Совинформбюро, она узнала, на скольких фронтах идёт война...

Но соображения ума были не в счёт, ей и сердца хватало.

А потом пришло письмо. Гордеев сообщал, что воюет, называл её женой, хотел знать, жива ли, и, разумеется, спрашивал о Лиде.

Немыслимо!.. Это было то самое чудо, на которое она, собственно, и надеялась, потому что в действительной, простой и не волшебной жизни не оставалось ничего, что могло бы подарить ей хоть краешек надежды.

Было понятно, почему он так скуп на слова: зачем они, если нет уверенности (да, пожалуй, и надежды почти нет), что записка найдёт адресата.

Счастье клокотало в ней, бурлило, кипело. Она то прижимала сложенный треугольником листок к груди, то выпускала из рук, чтобы снова посмотреть на него изумлённо и недоверчиво, — и так плакала, что срывалась в рыдания.

А Лида никак не могла понять, что за страшная бумажка, почему мама так её испугалась.

— Что ты, доченька, это я от радости! — повторяла Фаина, целуя её. — Папино письмо, папино!

Лида множество раз слышала слово «папа». И хоть не знала толком, что это такое, но всё же и ей было приятно, она тоже улыбалась.

У кого бы теперь повернулся язык назвать Фаину несчастной? Она — несчастная? Да как же: у неё муж с фронта вернулся! Редкое исключение из правила, а не само правило.

Остаток военного времени она думала о нём ежеминутно, ежесекундно; а победные залпы (в Бельцах не было никаких залпов, но если кто хотел, мог слышать московские по радио) ознакомили не только окончание войны, но и возможность для неё всерьёз увериться, что с этого дня с Гордеевым ничего страшного не случится.

Но именно после победных залпов, когда война наконец кончилась и настало время долгожданной встречи, Гордеев как сквозь землю провалился.

Дело было и томительное, и страшное: а что если всё-таки погиб! — но вдобавок и загадочное: если бы погиб, пусть и в последние дни, пусть и в самый последний день, пусть даже, как вон пишут в газете, и днём позже довелось кому-то встретиться с осатаневшим от отчаяния фрицем, — всё равно была бы похоронка!..

Однако похоронки нет, а значит, жив, — а если жив, так почему ни весточки?

По прошествии нескольких месяцев напрасного ожидания её в сельсовете надоумили предпринять поиски.

Честно сказать, она уже и не надеялась, принялась из упрямства, из чувства долга. И многоступенчатая череда запросов завершилась неожиданно успешно: последняя бумага с казённым штампом извещала, что её муж Гордеев жив-здоров и проживает в городе Киеве в качестве слушателя Высшей партийной школы.

Господи, счастье-то какое!..

Но и совсем всё стало непонятно: жив — и что?

Фаина не могла знать, а в жизни Гордеева было, кроме тягот и опасностей, ещё одно военное обстоятельство: на фронте он нашёл себе новую жену. Причём эту женщину даже нельзя было назвать походно-полевой: походно-полевые жёны прекращают быть таковыми по окончании походов и перевода военной полевой жизни на мирные рельсы. А Гордеев со своей не расстался и повёз с собой в Киев.

Может быть, такое Фаине и в голову не могло прийти. А может быть, наоборот, она что-то подозревала. Во всяком случае, Фаина не стала досаждать почтовому ведомству новыми письмами, а недолго думая собрала дочку и поехала наводить мосты явочным порядком.

По мнению Кондрашова, будучи обнаруженным, Гордеев пытался и дальше морочить Фаине голову: объяснял своё безвестное невозвращение в семью необходимостью учёбы в ВПШ и говорил, что оно временное. Пусть Фаина ещё чуточку потерпит. Война вон четыре года была, и ничего, а трёхлетняя учёба пролетит — вовсе не заметишь. И тогда он вернётся к ним во всём сиянии новой славы. Вероятней всего, что вместе с дипломом ему дадут важное назначение, и они уедут на новое место всем своим наконец-то воссоединившимся семейством.

Возможно и такое, что Гордеев не до конца был уверен в перспективах новой жизни и оставлял себе пути к отступлению. «Дочь есть дочь, что тут скажешь, — вздыхал Василий Степанович. — Бабушка Фая всё равно бы его к себе приняла».

Но кто бы что ни думал о будущем, а вышло вот как: Фаина предварительно развела в ВПШ, где живёт слушатель Гордеев, приходящийся ей законным мужем, и для наведения мостов явилась прямо в общежитие.

Вахтёрша, пожилая женщина в шерстяной кацавейке, услышав просительный вопрос Фаины, не стала скрывать своих подозрений. Да и к чему ей было их скрывать, её тут не деликатничать посадили, она на посту, а мужское общежитие есть мужское общежитие, какому бы ведомству ни принадлежало, порядки в нём известны какие, против природы не попрёшь.

Но поглядев затем на девочку, что крепко держалась за мамину юбку, испуганно озирая невиданную роскошь общежитского холла, и прикинув, что какая блядь ни будь, а с малолеткой по мужикам таскаться не станет, эта добрая женщина пошарила в журнале и нашла нужную фамилию.

«Ого! — сказала Фаина, ощутив прилив объяснимой гордости. И подмигнула Лиде, чтобы приободрить: — Папка-то какой! Слышишь? Целую комнату занимает!..»

Они поднялись на третий этаж и смело постучали. «Сейчас папулечка нам откроет, — прерывающимся голосом сказала Фаина. — Лишь бы дома оказался!..»

Но открыл им не папулечка, открыла незнакомая тётя, которая, судя по тому, как сощурились её кошачьи глаза, с первого же взгляда всё о них поняла...

Что думала теперь Фаина, также выходило за рамки приблизительных сведений, в целом имевшихся у Кондрашова об этой истории.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво говорил Василий Степанович.

— А по-моему, всё понятно, — возражал я. — Нормальное женское поведение. Ей же хотелось вернуть мужа!

— Разве так возвращают? — фыркал Василий Степанович. — Мужа трудно вернуть. Не всем удаётся... Но допустим, что так, хотела вернуть. Тогда зачем заявление?

Это и правда было не совсем понятно. В заявлении на имя руководства ВПШ Фаина подробно и не скупясь на эпитеты, то есть красочные определения, описала моральный облик Гордеева, с которым судьба ошибочно связала её узами брака.

Возможно, в той ситуации скупое изложение голых фактов говорило бы о Гордееве больше, чем её запальчивые обвинения. Но Фаина не собиралась прятать правду. Она писала, что фронтовые награды Гордеев получил не благодаря проявленным им качествам командира и политрука, а посредством интриг и, возможно, предательства. Так что дело было за арестом и следствием, по окончании которого подсудимому предстояло понести суровое наказание по самым безжалостным законам военного времени.

— Это бабушка сама мне рассказывала, — кивал Василий Степанович. — Я маленький был, но запомнил, очень уж необычно звучало. Вот, говорит, Вася, слушай, какой подлец у тебя был дедушка!.. — И горячился: — И что? И зачем? Чего она своей глупой цидулей добилась? Что Гордеев бежал от неё как от огня? А чему удивляться? Конечно! Побежишь тут! Его по этому заявлению из ВПШ отчислили — каково? Катастрофа ведь!.. Правда, задним числом отчислили, чтоб анкету не портить. Справку в зубы, что слушал курс, — и в Адыгею, на Северный Кавказ, зерносовхозом руководить. Этого она хотела?..

* * *

Караванов был родом из России, из города Балашова. Он тоже прошёл войну, служил в лётных войсках. Но в сталинские соколы не вышел, самолётов не поднимал, состоял по технической части. Не то даже по интендантской, точно Василий Степанович не знал, а теперь (я уже привык к этой формуле) и спросить было не у кого.

В мирной жизни Караванов принадлежал к прослойке руководителей среднего звена, не поднимаясь выше, но и не опускаясь ниже неких номенклатурных границ: телеателье было под его началом, банно-прачечный комбинат, иные предприятия такого же калибра, небольшим мясокомбинатом заведовал.

Василий Степанович звал его дедушкой Каравановым. Это бабушка Фая так поставила: не просто дедушка, а вот именно дедушка Караванов или хотя бы дед

Караванов. Наверное, чтобы всякий раз тем самым отмечалось, что у Васи есть и настоящий дедушка, какой ни будь он предатель и подлец. Вероятно, так причудливо переплетаются подчас распоряжения судьбы с представлениями о порядке кровной родственности.

Подростком Василий Степанович застал последнюю должность деда Караванова, с которой тот вышел на пенсию, — директор Октябрьского рынка.

Даже сделавшись пенсионером, Караванов на всякого производил серьёзное впечатление. Он никогда не повышал голос — наоборот, о чём бы ни шла речь, говорил с мягкой вкрадчивостью, не употреблял ни бранных, ни даже просто грубых выражений и всегда был прилично одет, то есть в костюме и при галстуке. «Представляете, Серёжа, — качал головой Василий Степанович, — даже если на помойку с ведром, и то без изъятий! Железный был человек!..»

И во взгляде Караванова не было ничего пугающего: спокойный взгляд серых, всегда мягко сощуренных глаз.

И всё же было в его взгляде нечто такое, что, где бы Караванов ни тянул лямку, у подчинённых не возникало даже малой мысли о прекословии.

Припоминая облик и повадки деда Караванова, Василий Степанович часто запинался, искал новые слова, чтобы точнее выразить то, что его по-настоящему в нём удивляло. Новых не находил и повторял заново:

— Суровый был человек... ой суровый!.. — И тут же поправлялся: — А ведь так-то и не скажешь... по разговору-то. Разве злой?.. Совсем нет. И смотрит хорошо... Даже ласково смотрит... Я его не то чтоб боялся, что мне было бояться?.. родной по сути человек... но побаивался точно. Вот даже не знаю почему. Никогда ничего от него плохого... Что в нём было? Военная закалка? Время его таким сделало?.. — Недоумённо качал головой и завершал неожиданно: — Настоящий был коммунист!..

А ещё, говорил Василий Степанович, выйдя на пенсию, Караванов взял за правило писать. Василий Степанович по этому поводу неоднократно шутил: мол, может, в нём самом эта тяга от деда, пусть и неродного. Но оговаривался: у него-то тяга застарелого эстетического свойства, а дед Караванов писал в инстанции, добиваясь порядка. Тогда принято было писать: чуть что не так, всякий за перо, вот и он тоже. Не в жилконтору, значит, в исполком, не в газету, так в прокуратуру.

А писал Караванов хорошо: крупно, ровно, строка к строке, просто загляденье, будто печатал, а не писал, — буква к букве. Заполнив страницу, тщательно перечитывал, выискивая ошибки, и если таковых не находилось, приступал к расстановке знаков препинания.

При этом, как казалось малолетнему Кондрашову, на последнем этапе дед Караванов руководствовался не синтаксическими, а некими пространственными, геометрическими и, по сути, тоже эстетическими соображениями: расставлял запятые и точки, чтобы итоговый документ радовал глаз соразмерностью, а не так, чтобы где-то густо, а где-то пусто.

* * *

Фаина встретила с ним в начале зимы сорок шестого года.

Было пасмурно. Большие снежинки торжественно летели с неба — опускались без суеты и спешки, нисходили, не теснясь, предоставляя зрителям возможность рассмотреть каждую в отдельности и восхититься её чудным сложением. Ах, если бы они явились чуть раньше, всего несколько лет назад!..

Как бы им радовались дети! Как бы привставали на цыпочки, протягивая ручонки, как ловили, а, осознав ошибку, подставляли бы уже не тёплые ладошки, а холщовые рукава и, бережно отнеся на сторону, кричали и хвастали друг перед другом: «Смотри, у меня самая большая!.. Нет, у меня!..»

Но кружево небес опоздало.

Ныне не было никого из тех, кто стал бы задирать к ним головы, встречая и приветствуя.

Снежинки разочарованно падали на неживую, замусоренную землю: на кирпичный щебень — свидетельство бывшего существования крепкого дома, на древесную щепу — свидетельство бывшего существования бревенчатой избы.

В самом начале войны несколько немецких и румынских авиационных налётов разрушили большую часть городка.

Что уцелело, безмолвствовало.

Певучая еврейская речь, гортанные цыганские восклицания если и блуждали кое-где в руинах улиц, то лишь призраками, неслышными переливами умолкших голосов. Люди же, некогда ими обладавшие, тысячами и сотнями тысяч лежали во рвах близ Тирасполя, на Вертюжанах и в Секуренах, в Косоуцком лесу, в десятках иных мест...

Фаина шла к рынку, а в одной из развалин какой-то человек в шинели хватко, со скрежетом и пылью ворочал каменюки, норовя что-то из-под них вытащить. Вот рванул со всей дури — и кирпичный осколок, стрельнув снизу, угодил Фаине в плечо.

— Ой! — вскрикнула она от неожиданности. — Гражданин! Вы что? Вы же меня ударили!

Человек распрямился и сказал, утирая лоб:

— Ну что вы! Я никогда не бью нежного женского тела.

Голос у него был негромкий, даже какой-то вкрадчивый, а взгляд такой, что Фаина просто оторопела.

* * *

Дед Василия Степановича по отцу Фёдор Кондрашенко забогате́л на службе у румынского генерала.

Это было всё, что, со слов отца, знал о нём Василий Степанович. Подробностей не существовало. «Я же ясно говорю! — раздражался Кондрашов. — Румынский генерал! Что непонятного? Обыкновенный румынский генерал!»

Напрасно я толковал, что определение «румынский генерал» ничего не говорит и не может сказать тому, кто хоть краем уха слышал о Первой мировой, обо всей сумятице, что внесла она в жизнь Европы, о той дикой мешанине границ и понятий, в которой терялись представления не только о государственных, но даже и о национальных принадлежностях.

Мои рассуждения Василия Степановича не урезонивали, а только пуще заводили. «И что теперь, Серёжа? — вопрошал он, иронично на меня глядя. — Будем учебники истории переписывать? Фальсифицировать начнём?»

Я, в свою очередь, не мог взять в толк, что он разумеет под «переписыванием учебников». Но вопрос повисал в воздухе, и я вынужденно смирялся.

Тем не менее общими усилиями мы пришли к заключению, что генерал вышел в отставку. Должно быть, служба позволяла ему иметь денщика за казённый счёт, а содержать такового за собственный он посчитал нецелесообразным.

Прослужив у него много лет, сделавшись благодаря этой службе по крестьянским

меркам богачом, а с уходом генерала со службы тоже выйдя в тираж, Кондрашенко поднял семью и вернулся в родное село.

Появление Кондрашенки во всём блистании богатства там, откуда он когда-то сбежал оборванным мальчишкой, произвело немалый шум и породило множество вопросов.

Фёдор не тянул с ответами. Он купил земельный надел и капитально обустроился: построил дом и завёл конюшню.

Лет через пять его лошади, побывав на нескольких ярмарках, получили известность в округе под названием «кондрашенковские» и начали приносить заводчику неплохой доход.

Кондрашенко жадно интересовался коневодством, всем иным — по мере необходимости, а политикой — никак.

Поэтому, когда двадцать шестого июня тысяча девятьсот сорокового года Вячеслав Молотов вручил румынскому послу требование советского правительства о передаче СССР Бессарабии и Буковины, это не стало для Фёдора громом среди ясного неба. Возможно, он вообще никогда не узнал о дипломатических обстоятельствах дела.

Утром двадцать седьмого Румыния в ответ объявила всеобщую мобилизацию. Но ближе к вечеру король Кароль II решил удовлетворить советское требование и мобилизация прекратилась. По этому поводу позже ходили кое-какие слухи, преимущественно радостного характера, — но Фёдор и в них особо не вникал, ибо сам для армии был староват, а дети, наоборот, ещё не доросли. Хотя старшие уже подтягивались.

Зато, когда двадцать восьмого Красная армия начала занимать спорные территории, Кондрашенко сделался прямым участником событий, ибо по окончании быстрой и бескровной операции вся жизнь вокруг начала стремительно меняться.

Пусть его косяки не шли ни в какое сравнение с табунами настоящих заводов и имели исключительно областное значение, но всё же прежде Фёдор гордо называл себя коннозаводчиком. Однако уже к Новому году сорок первого его горделивость потеряла всякие основания: его единым духом превратили в рядового колхозника.

Дом тоже был утрачен — в хоромине поселился Алексеевский крестьянский клуб. А семейство Кондрашенок — сам Фёдор, жена и шестеро детей (рожала-то Анна восемнадцать, да не все выжили) — получило милостивое разрешение обременить собой шаткую сторожку на краю участка.

Многие недоумевали, отчего и Кондрашенок не присовокупили к пассажирам тех двух или трёх куцых обозов в несколько телег каждый, что, сопровождаемые бойцами НКВД, увезли кое-кого в Калараш, на ближайшую станцию железной дороги.

Понятно было, почему в числе арестованных оказался отец Митрий с женой и детьми: всё равно службы прекратились, а требы батюшка кое-как совершал, пока церковь не закрылась окончательно; не могло быть двух мнений насчёт семейства Галицких — известные на всю округу богатеи; не вызывал вопросов и Петру Ракаш, отъявленный мироед; а с чего бы коннозаводчика Кондрашенко со всем семейством оставили? — просто умом разойдёшься.

Может быть, случай: кто-то промашку дал, не проявил должной бдительности, спустя рукава обязанность исполнил; а может, ещё какие обстоятельства сыграли роль.

Так или иначе, а дальше всё покатилося, будто так и должно было: человек ко всему привыкает и находит новую форму своего существования.

Вот только делать Фёдору стало совсем нечего, и некоторое время он маялся, не находя себе места.

Но чем от века хорош этот край, хоть Румынией зови, хоть Молдавией, так это тем, что уж чего-чего, а выпить всегда найдётся.

Последние несколько лет Фёдор провёл в таком состоянии, будто к самым его глазам поднесли неотступную лупу титанических крат. Благодаря её несуразному, ни с чем не сообразному увеличению всё кругом размывалось в цветные пятна и становилось уютным маревом. Из мешанины линялых красок нельзя было извлечь конкретных деталей. Он не хотел — да и не мог ничего взять в толк: ни того, что началась война, ни что снова явились румыны, ни что потом и немец заскакивал, ни что ноги ему отказывают, ни что голова отчего-то стала трястись...

Бывшая колхозная конюшня давно пустовала (ещё с тех пор, когда советский красный командир, отступая, реквизирует сколько было лошадей на предмет пополнения артиллерийских упряжек), но запах оставался. Фёдору проще было завалиться в пустые ясли, чем искать пятый угол в семейственной сторожке.

Там он однажды и упокоился.

* * *

От румын повзрослевшие братья Кондрашенки каким-то образом уворачивались.

А в сорок четвёртом, когда советские войска освободили Алексеевку, всем лицам семейства первым делом выдали учётные бумаги. Записали при этом на русский лад — Кондрашовыми. Вдова Фёдора, мамка Анна, пыталась возражать против нововведения, но с ней не очень-то рассусоливали: по сю пору неграмотна, тётка, крест поставь где надо и не умничай, тут лучше знают, кого как писать. А хлопцы, хоть и недоросли, а уже всякого навидались, наслышались и того больше; лишь бы до печей дело не дошло или газовых камер, а там хоть и горшком зовите, — ничего, можно.

После этого четверых старших забрали добивать фашистов. Полгода спустя взяли в армию ещё одного, а потом и младшего Степана.

Степану повезло: война кончилась, он служил в оккупированной Австрии, причём в самой Вене, в двадцать втором районе.

Все оставшиеся в живых братья (какой ни куцый хвост войны им выпал, а всё же двоих не досчитались), воротившись к родному пепелищу, двинулись ясной крестьянской дорогой: иных мыслей у них не водилось, и взяться им было неоткуда.

Но Степан на срочной сделался комсоргом роты, а в Алексеевке как раз комсомольского-то активиста и не хватало.

Австрийский дембель вообще-то желал бы ближе к механизации. Но председатель, прочтя характеристику, сказал так: слушай сюда, отставной ефрейтор Кондрашов. Старая механизация приказала долго жить, новая ещё не завелась. Разве что на танках пахать, да все они горелые по буеракам — ещё не вывезли за труднодоступностью. И потом: на трактор где сядешь, там и слезешь. Если хочешь настоящей перспективы, берись ячейкой командовать. Дело живое, на виду. За трудодни не волнуйся, колхоз со всем пониманием, не поскупимся. Дай лишь из разора проклятого выйти, а там уж развернёмся.

Степан для виду побряхтел, а потом согласился, и правильно: сразу видно, когда человек себя находит.

* * *

Что же касается Лиды, то, пока она не познакомилась со Степаном, её жизнь тоже складывалась не просто.

До встречи с Каравановым Фаина понимала себя преимущественно её матерью, матерью любимой дочки Лидочки.

Даже те полтора года, что она прожила (точнее, пробыла) в статусе жены, который вроде бы возвратился к ней с письмом Гордеева, не изменили её понимания. Когда же после поездки в Киев и окончательного разрыва унялось кипение её несчастной души (и обида, и оскорбление, и ненависть, и — было и такое — зависть к гадине-разлучнице), она ощутила одиночество острее прежнего.

И вцепилась в единственную свою Лидочку как в спасательный круг.

Первое время просто ни на шаг от себя не отпускала, то и дело вскидывалась: «Доча! Доча! Ты где подевалась?!»

Но потом она встретила Караванова.

И когда он оцепенил её своим необыкновенным взглядом, оказалось, что Фаина способна к такой любви, какой прежде в себе и не подозревала.

Они сошлись быстро и зажили хорошо.

Разумеется, Лида была при них, и год за годом Караванов относился к ней как к своей. Так что не его вина, что после шестого класса Фаина решила отправить дочку к Гордееву.

Караванов удивлялся и недоумевал, говорил мягко, даже вкрадчиво, даже смотрел в упор, что было последним средством убеждения, — но сладить не смог.

Он причин такого решения не понимал. А Фаине было стыдно признаться, что она просто хочет остаться с ним вдвоём. Ну, месяца на три хотя бы.

Таков был её план.

Однако папаша Гордеев столь куцега плана не понял. На его взгляд, три месяца было дело пустое, только на дорогу тратиться.

Письма порхали туда-сюда.

Поначалу, войдя с ним в переписку на самом холодном тоне, Фаина сообщила, что какава он сволочь ни будь (это лишь подразумевалось, на письме она бранных слов себе не позволяла), а всё же девочке отец. И что она понимает его чувства: обидно, наверное, что дочь растёт на стороне совсем без него. Но если она тут ошибается, а в действительности он как был бездушной сволочью, так ею и остался (это тоже только подразумевалось), то пусть просто скажет. Так и так, мол, видеть Лидочку у него нет ни желания, ни времени. И дело с концом, никто никогда больше его не потревожит.

Фаина старательно путалась в словах, пытаясь высказаться как можно определённое. И что-то, вероятно, терялось в этой путанице, а что-то, возможно, наоборот, проговаривалось помимо её желания.

В целом дело было неясное, возникали подозрения, не поймёт ли Гордеев её превратно, не подумает ли, получив письмо, что она пишет одно, а думает другое, что говорит о дочери, а на деле подбивает клинья, втайне желая не мытьём так катаньём повернуть его жизнь на прежнюю дорогу.

Поэтому ей хотелось бы выразиться яснее.

Но, конечно, у неё и в мыслях не было прояснить всё до какой-то там окончательной ясности. Такая бывает исключительно в романах, а в жизни всё как было мешаниной, так мешаниной и остаётся. Да и романов Фаине на её веку читать не довелось, не до того было.

И, конечно, глупо было бы думать, что она решила от дочки избавиться, потому что разлюбила. Просто маленькая уже стала девочка, дела пошли вон какие, всё за то, что скоро ей своих рожать, так что ж ей у мамкиного подола безотрывно, можно ведь и на свет глянуть.

Тем паче она и самостоятельная, полдома точно на ней: Караванов с темна до темна на службе, Фаине в садике от детишек тоже не оторваться (она для этого год отучилась на педкурсах). Лидочка сама шустрит: и на рынок сбегает, и борща наварит, и картошки начистит. Ну и так далее.

Но Караванову было неприятно, что есть какой-то там Гордеев. К которому теперь зачем-то нужно отправлять Лиду. И он Фаину всё-таки добил: она от своей идеи отказалась.

Каково же было общее изумление, когда вдруг обнаружилось, что у Лидочки к тому времени образовалось собственное мнение, которое она решительно и бескомпромиссно выказала: хочу к Гордееву (она его иначе не звала), и всё тут! Сами говорили, а сами вон чего! Он же уже написал, что ждёт! Мне эти ваши Бельцы вот где! Я в Адыгею хочу! В зерносовхоз! Ну пожа-а-а-алуйста! В Бельцах ваших сами видите как, а там я на одни пятёрки буду, обещаю!..

* * *

— Вот её и отправили. А там...

— Подождите, Василий Степанович! — бывало, останавливал я Кондрашова. — Куда вы так спешите? Ну вот сами послушайте, что сейчас сказали! «Её отправили, а там...» У вас между двумя словами самое главное потерялось.

— Прости, Серёжа, что главное? — недоумевал он.

— Дорога! Где дорога? Дорога — это же и есть в жизни самое главное. Вы представьте! Девочка, тринадцать лет, едет одна бог знает в какую Адыгею!.. Общие вагоны, чужие люди, пересадки, толчея, чемоданы да узлы!.. В те-то годы из Молдавии в Адыгею... с десятью, небось, пересадками!..

— Мама говорила, с двумя, — ворчал он.

— Будто ребёнку этого мало! Проводница поначалу почти враждебно: это куда же тебя, такую пигалицу, одну-одинёшеньку!.. А суток не прошло, полустанках, может, на двадцати всего постояли, так она уже и ласково: Лидочка, деточка, пойдём-ка, супчику похлебаешь, а то что же всё всухомятку... А поезд тянется и тянется, и такие же, как она, пассажиры вокруг... о чём она с ними говорила? О чём думала?

— Вообще-то да, — признавал Василий Степанович, кривя ус. — Это правда, мама именно эту свою поездку всю жизнь вспоминала. У Гордеева-то всё довольно обычно оказалось... Ну, Адыгея... ну, зерносовхоз. Работа да заботы, вот и все дела. Гордеев спозаранку директорствовать, она в школу... Мачеха её, правда, невзлюбила, вот ведь какое дело... Да...

Василий Степанович замолкал, хмурясь, потом вдруг заново оживлялся:

— О диване ещё говаривала, вот что! Гордеев поселил её в своём кабинете, там стол хороший — уроки делать. Так вот спать ей пришлось на кожаном диване. Она о нём прямо с ужасом: твёрдый, говорит, скользкий, простыня сползает, два года она с той простыней билась... С другой стороны посмотреть — не такая уж и трагедия... А вот сама поездка!..

— Вот видите! Поездка! Вот бы где повспоминать-то по-настоящему! — говорил я. — Вот в чём покопаться!

— Да что вспоминать, — он пожимал плечами. — Я-то что могу вспомнить? Что я знаю? Ну, доехала она до нужной станции... Станция — одно слово что станция. Пустырь, домишко у самых рельс — вокзал. Никто не встречает. Полдня толклась. То в тенёчке посидит, то пройдётся. А куда идти-то ей? Карагач, да кусты, да бурьян на пустыре... Мальчик коз пригнал, сел неподалёку с хворостиной. Пока они щипали, всё на неё поглядывал, а она прикидывала: заговорит, не заговорит... Через часок пришла ему пора дальше животин гнать — так и не осмелился, молчком ушёл... Дело к обеду — приезжает «Победа». Выходит кто-то из машины, озирается. Лида к нему — Гордеев? Она же отца не видела никогда, только на молодых фотографиях с мамой, откуда ей знать, какой он. Нет, говорит, я не Гордеев, я шофёр. А если ты Лида Гордеева, тогда садись, к папке поедem. Восемь классов там кончила — и в Сороки махнула, в медучилище.

* * *

Судя по всему, Степан и впрямь обладал природной склонностью к организации: успевал и подбелдыкнуть отстающих, и ободрить передовиков, и подначить тружеников на соревнование, и заорать насчёт нашей бучи боевой кипучей, и когда пригрозить проработкой, а когда посулить участие в коллективной поездке за мануфактурой. Что бы ни стояло на повестке дня, Стёпка брался за дело с огоньком, с задором, с искренним комсомольским энтузиазмом — и всё ему так или иначе давалось, обо всём он мог отчитаться положительно.

По-боевому работал, не зря же то и дело кто-нибудь из комбайнёров грозил ему набить морду: он дёргал их то по взносам, то на протест военщине и в защиту мира.

Через пару лет его ввели в состав комитета комсомола районного центра Унгены, и Стёпка стал зваться Степаном Фёдоровичем.

А Лида Гордеева приехала заведовать Алексеевским ФАПом, то есть фельдшерско-акушерским пунктом.

Лиду направили сюда сразу по окончании Сорокского медучилища. Несмотря на свою ярко проявлявшуюся во внешности молодость и объяснимое отсутствие опыта, она справлялась со службой. Врач из Унген наезжал не чаще раза в месяц: задним числом одобрить совершённые действия консультативного характера (но в некоторых случаях и родовспомогательного, и хирургического) и прояснить вопросы на будущее.

Стали заглядывать к ней два молодых человека.

Визит по-боевому настроенного Степана производил на Лиду большее впечатление, чем появление умного школьного учителя Кузовченко: Степан частенько изловчался, чтоб подбросили на председатelsком газике, а Кузовченко притопывал на своих двоих.

Когда умный учитель Кузовченко осознал, сколь малы его шансы на взаимность, то в отчаянии перестал пользоваться даже пешим, единственно доступным ему способом передвижения.

А Стёпа и Лида той же осенью сыграли свадьбу.

— Ну и вот, — спешил Василий Степанович закончить с очевидно неинтересной частью пока ещё устных воспоминаний. — Потом они переехали в Унгены. А потом я родился и поступил во ВГИК.

* * *

Если бы начало нашего романа было пронизано надеждой — гибельной, но захватывающей, и пусть неясной, но ошеломительной в своей безграничности; или радостью, сжигающей влюблённого без изыятий — подобно ядерной вспышке, что испепеляет плоть, оставляя лишь тень былого существа; или нестерпимым ужасом счастья, память о котором остаётся в душе навеки подобно этой мёртвой тени, — тогда даже подумать страшно, сколь трагично могли бы сложиться наши отношения.

Но на такое способны далеко не все: одни вовсе не представляют, что с ними могло бы произойти нечто хотя бы отдалённо похожее, другие догадываются, но не смеют переступить черту и только вчуже вздыхают о несбывшемся.

И действительно, в большинстве случаев такие начала если и не кончаются смертельной катастрофой, то оставляют по себе непоправимые душевные увечья. Поэтому тот, кому посчастливилось их пережить (слово «пережить» здесь следует понимать в смысле продлить своё тусклое существование за, а не погибнуть вместе с ними), даже не надеется на повторение. Или, точнее, надеется, что такового с ним не случится.

Так или иначе, следует признать, что пламя нашей любви по-настоящему не разгорелось.

Возможно, мы сами виноваты; виноват кто-нибудь из нас; не исключено, что сам я и виноват.

Когда всё начало рушиться, Лилиана говорила, что это именно так, виноват я. Ты, ты виноват, говорила она; ты сам виноват.

Потому что с первого дня она ждала, что я скажу какие-то важные, воистину судьбоносные слова: они позволили бы ей окончательно увериться в настоящем, начать всерьёз надеяться на будущее и в целом посчитать свою жизнь состоявшейся.

В каком смысле состоявшейся? — как минимум в том, что больше её не одолевали бы сомнения, будет ли у её детей постоянный и любящий отец.

Что же касается того, зачем ей дети, хорошо ли она обдумала это своё ещё не реализовавшееся решение, собирается ли как следует его обдумать перед тем как принять к исполнению, то все эти вопросы совершенно излишни. Это вопросы праздные, какие задают и обсуждают исключительно, чтобы почесать язык, а рожать она будет несмотря ни на что, вопреки всему или благодаря чему угодно, уж как получится, это тоже не имеет значения.

При этом она втайне надеялась, что её ожидания сбудутся именно со мной. Поэтому если бы я вовремя произнёс эти по-настоящему серьёзные слова, она со своей стороны сделала бы всё, чтобы им воплотиться.

Да, именно так, она сделала бы всё, что можно вообразить, ответила бы на любое, даже самое фантастичное требование жизни. Её счастье, как часть нашего общего, было бы уже совершено и совершенно, и если бы это потребовалось для его сохранения, она бы пошла мыть подъезды или торговать селёдкой.

Но ведь я не сказал этих важных слов, так на что мне теперь рассчитывать...

Может, и так. Хотя не уверен, очень далеко не уверен. Представляется, что дело всё-таки не в словах. Стоило нам и дальше быть рядом, окончательно переплестись корнями, чтобы уже нельзя было разделить нас без серьёзных повреждений... Дальнейшее неизвестно в деталях, но в целом определено.

Мне подумалось именно о корнях; особого значения это не имеет, но всё-таки неверно подумалось — не корнями, нет. Корни глубоко в земле, корни не могут

переплестись ни с чем новым, они давно переплелись с тем, что растёт рядом, а ни до чего стороннего им не дотянуться.

Так что не корни, а ветви. Ветви могут. Человек во многих отношениях похож на дерево, но главным образом тем, сколько отходит от его главного ствола представлений, расчётов, мечтаний, иллюзий да и просто забот, просто мыслей о насущном. Вот они-то и переплетаются, мало-помалу образуя такую чашобу, что по прошествии времени он и сам не в состоянии понять, что откуда растёт, что куда тянется, где чьи листья, где чья смола, что за соки текут в нём от корней к вершине.

Так я думал.

Но Лилиана говорила, что это я виноват.

Даже если это было не совсем так — или даже совсем не так, или было попросту неправдой, — сказать, что она лжёт, у меня язык не поворачивался. Я знал устройство её памяти и её воображения; я понимал, что ей самой непросто разобраться во всей их путанице. Каждое из несовершенных повторений пересказываемого прошлого она искренне полагала истинным и случившимся в действительности.

Ничего удивительного не было и в том, что она говорила искренне. Ведь искренность — дочь уверенности: стоит увериться в чём-нибудь, искренность приходит сама собой...

Возвращаясь же к периоду нашей полной безоблачности, скажу, что, несмотря на отсутствие (и даже, возможно, благодаря таковому) того таинственного, глубокого и грозного, которое единственное способно превратить отношения между мужчиной и женщиной во всегда полуобморочное состояние, что является любовью и чем нельзя позаниматься между делом, как бы кто ни разглагольствовал, нам с Лилианой всё-таки было хорошо.

Переменчивое русское лето плескалось, переваливая из ведра в дождичек, а наутро снова поворачивая на высокую, тут и там пышно опененную синеву. Плескалось-полоскалось, как полощется на неровном ветру парус при перемене галса — или просто чистая простыня на верёвке. Дня по три стояла жара, пару раз ночами лило не на шутку, в берёзках за Большим прудом колосовик пёр так, что едва не валил ограду. Лилианина комната располагалась в выступающей части второго этажа и нависала над волнами цветника подобно корме испанского галеона.

В этой чудной трёхсветной комнате нам не от кого и незачем было прятаться, шторы почти всегда были полностью раздёрнуты, чтобы не мешать распахнутым створкам, и в те летние ночи мы то и дело становились умилёнными свидетелями неспешного, торжественного шествия Луны — с каждым выходом всё более округлой — от левого окна, в котором она призрачно проявлялась над лесом, через среднее к правому, где постепенно растворялась подобно кусочку сахара.

Чем ближе к новолунию, тем темнее становилось в комнате: утончаясь, светило показывалось кратче, потом и вовсе пропадало.

В эти беспросветные, по контрасту очень чёрные, непроглядные ночи Лилиана иногда жаловалась, что и шелесты влажной листвы, и запахи хвои и грибницы, и трепет зыбкого воздуха, и дальний скрип, и неожиданный хруст, и шорохи, с которыми ночные существа в ужасе прячутся друг от друга, и писк, похожий на вскрик, или, точнее, вскрик предсмертного ужаса, обернувшийся жалким писком, — всё это тянется к нам и таит в себе неясные опасности, отчего ей становится страшно.

И тогда я, крепче прижимая к себе и нарочно щекоча губами ухо, шептал, что ничто нам не угрожает, ничто не способно помешать нашей любви, ибо наши объятия — самая надёжная защита от всего на свете.

* * *

Лилиана посмеивалась над тем, как мы с Василием Степановичем проводили часы и дни. Просто смешно, говорила она. Как литератор она рада, конечно, что папа хочет написать воспоминания, но никогда прежде она бы не подумала, что можно тратить столько времени на эту чепуху.

Я тоже над ней посмеивался. Дескать, зря она так, Василий Степанович говорит очень интересно. Он не виноват, что семейная память сохранила самые верхушки, самые крупные глыбы, а всякая мелочь, дресва и песок, в которых наверняка таились самые золотишки, — всё это просыпалось в забвение. Ничего другого и ждать нельзя при такой-то жизни, им не до архивов было, бабушка Анна вообще неграмотной осталась... много ли может остаться для потомков?

Неграмотность бабушки Анны неприятно удивляла Лилиану, хотя ей и не удавалось сразу сообразить, кто это такая.

Ну как же, это прабабушка твоя, объяснял я, жена Фёдора, который у румынского генерала денщиком служил; что, не знаешь?

Лилиана встряхивала чёлкой. Да знаю я всё, отстань.

Кажется, ей просто не хотелось иметь в родне неграмотных.

Всё равно, упрямо говорила она, воспоминания так не пишут. И никакие книги так не пишут. Рассказать кому-то пришлому, чтобы он чего-то там насоветовал, — разве так пишут?

Возможно, её несколько задевало, что отец обратился не к ней, что, теоретически, мог бы давно сделать, а ко мне.

Почему ты сама не предложила помочь, примиряюще спрашивал я.

Так бы он меня и послушал, фыркала Лилиана, ты ещё не знаешь, какой он упёртый. Но ещё узнаешь.

Ну понятно, вздыхал я, вы знаете меня с хорошей стороны, но...

Лилиана смотрела на меня с прищуром. Что ты имеешь в виду, спрашивала она.

Я пожимал плечами.

Согласись, говорила она, переходя на воркование, я лучше знаю, как писать книги. Нет, правда. Ты ни одной ещё не издал. И неизвестно, издашь ли. А у меня статьи в четырёх сборниках вышли. И ещё одна сдана в печать. Есть разница?

Ещё бы, хмыкал я.

История её прихода в литературу не отличалась своеобразием. Изначально она хотела быть актрисой. Но Кондрашов об этом и слышать не хотел. Представляешь, вздыхала она, просто ни в какую.

Мне это тоже было странно. Казалось бы, если отец известный режиссёр...

Правда, к той поре, когда Лилиана заканчивала школу, он уже не был таким известным. Она определилась класса с седьмого, а он сразу твёрдо сказал, что этому не бывать. Она надеялась, что папа всё-таки уступит, куда ему деваться; более того, воспользуется старыми связями и поможет ей оказаться в ГИТИСе или Щукинском. Ну почему, почему нет, если мама была актрисой!..

Но Кондрашов не уступал. Причем объяснить свою категорическую неприязнь к артистической карьере дочери он толком не мог, а она не могла просто тупо смириться.

В итоге Лилиана, по её словам, оказалась перед страшным выбором: или покончить с собой (как минимум — уйти из дому, что тогда представлялось ей примерно тем же самым), или поступать на филфак.

Развязать смертельный узел помогло одно вполне жизненное, в сущности рядовое, но важное обстоятельство: за год до окончания школы Лилиана влюбилась в мальчика из параллельного класса, который был увлечён литературой...

— Ну и вот, — сказала Лилиана, замедляя шаг и прикладывая ладонь ко лбу. — Погоди-ка. Мы в Вознесенское идём? Там сегодня разве работает?

У неё кончились сигареты, и мы решили пройти до магазина.

— Кажется, — сказал я. — Должен работать.

— Ну хорошо, — сказала Лилиана. — Тогда надо правее, через рощу... Ну и вот. О чём я говорила?

— О любви, — напомнил я.

— Ну да, — вздохнула она. — Понимаешь, девочки, они...

И замолкла, морща лоб, словно напряжённо искала слова, некое выражение, в которое её мысль облеклась бы наиболее точно. Похоже, это было не так просто, и сами эти поиски вызвали определённое уважение.

— Понимаешь, — повторила она, наконец найдя и поднимая на меня взгляд просветлённых этой маленькой победой серо-зелёных глаз, — девочки — они такие дуры!..

* * *

Всё, что рассказывал Кондрашов о жизни его недалёких предков, можно было условно разделить на три группы.

К первой относилось то, что понять сразу не было никакой возможности. Всякое содержательное зерно у Василия Степановича сопровождалось десятком бессмысленных междометий и восклицаний: «вот, значит, оно как», «тут оно как-то не того», «со всей, стало быть, душой», «всем, понимаете ли, сердцем», «тут, значит, так сказать», «оно вот как, если можно так выразиться», — и ещё множество им подобных. Вдобавок он начинал активно манипулировать кружкой: то поставит, то опять подхватит, прикинет, много ли осталось, снова пристроит неподалёку...

Чтобы уяснить, о чём идёт речь (впоследствии подчас оказывалось, что речь шла о вещах не просто важных, а прямо-таки судьбоносных), приходилось настаивать на многократных повторениях сказанного, и тогда смысл мало-помалу проникал в моё сознание. Примерно так безобразный кусок металла раз за разом прогоняют по валкам прокатного стана, чтобы в итоге он обрёл определённую форму.

Вторую составляли рассказы (это была большая часть всего корпуса), с самого начала более или менее разумно оформленные: суть их если и не была кристально ясной, то как минимум брезжила.

Конечно, здесь тоже приходилось задавать множество вопросов, чтобы расплести путаницу скоропалительного, заинтересованного изложения и прояснить детали. При этом мои вопросы, бывало, гальванизировали его память: благодаря моему интересу к мелочам Василий Степанович подчас вспоминал нечто совершенно для себя неожиданное, что в другом случае никогда бы не вспомнил. В результате совместной деятельности получались отрывки довольно связные. Мы им радовались, и по горячим следам грех было их не конспектировать, но об этом позже.

К третьей, совсем малочисленной группе следует отнести фрагменты, которые с самого начала звучали последовательно и логично — потому, вероятно, что не раз и не два прежде Кондрашов проговаривал их про себя или кому-то рассказывал. Эти куски он мог бы класть на бумагу самостоятельно — как, собственно, обычно и делают авторы воспоминаний.

Однако писать Кондрашов отказывался наотрез. Некое высокое художническое чутьё подсказывало ему, что сначала нужно нагромоздить целое устно, а потом уж, перекладывая на письмо, разобраться с составными частями.

Памятуя, что годного к записи и в самом деле попадаетея немного, я не настаивал. Тем не менее мне было жалко упускать возможность письменного фиксирования. Я предлагал взять это на себя: мне совсем не трудно делать заметки, записывать всё ценное, отмечать связи. Если не положить на бумагу, скоро забудется, рассеется; потом придётся мусолить всё заново, и никто не знает, всплывёт ли снова то, что однажды так ловко вспомнилось.

— Не надо ничего записывать! — сердито отвечал Кондрашов.

Если кто-нибудь вместо него будет записывать, получится чья-то редаKTура, а он не желает иметь дело с редактором своих ещё не до конца сформировавшихся мыслей. Его мысли должны до поры до времени сохранять свой первозданный вид, оставаясь в его голове.

Когда же мы закончили наконец с предками и перешли к годам зрелой жизни и осмысленной деятельности самого Кондрашова, возникло ещё одно обстоятельство.

* * *

Чем мы с Кондрашовым занимались?

Мы пытались прояснить прошлое — прояснить, смахнуть труху разного рода неточностей и выдумок, точно представить, каким оно было.

По мере приближения воспоминаний к жизни самого Кондрашова у меня стало складываться впечатление, что в этой части своих мемуаров Василий Степанович собирается достичь каких-то иных целей.

Последнее, что прозвучало из его уст в непосредственной интонации бесстрастного очевидца, был рассказ о том, как папа отвозил его в садик. (Семья перебралась в Унгены, папа Степан состоял инструктором в райкоме партии и учился заочно в Кишинёвском сельскохозяйственном институте, мама Лида работала в поликлинике.)

По тем временам частный автомобиль «Москвич» сам по себе был неслыханной редкостью, а когда из него, подкатившего к калитке детского сада, выбирался Вася, ряды простых детсадовцев охватывало нешуточное волнение.

Припоминая эти моменты, Василий Степанович усмехался. Просто удивительно, говорил он, всегда спрашивали одно и то же: Вася, твой папа шофёр? Нет, отвечал Вася, мой папа не шофёр. Почему же тогда ты приезжаешь на машине, недоумевали дети.

На взгляд самого маленького Васи, как понимал его ныне Василий Степанович, вопрос был резонный. В иной ситуации он и сам сделал бы такой вывод: если человек ездит на машине, значит, он работает шофёром. Однако Вася точно знал, что у его папы работа какая-то другая. Не получив исчерпывающего ответа, вопрос повисал в воздухе. А потому всякий раз как папа привозил Васю в садик, дети снова спрашивали: скажи, Вася, твой папа шофёр?..

Это было последнее его чистое, незамутнённое современной переоценкой воспоминание.

Но по мере того как Василий Степанович начинал вспоминать о годах своей всё более взрослой, сознательной и ответственной жизни, появилось ощущение, что время от времени память заводит рассказчика туда, где он чувствует себя неловко: какие-то эпизоды биографии ему явно не хочется обнародовать, что-то из них он предпочёл бы пропустить, о чём-то умолчать.

Если дело доходило до некоторого события, которое, будучи прояснённым, изложенным в деталях, могло бы бросить на него тень, Кондрашов, запоздало это осознав, с головой нырял в чащу бессмысленных восклицаний и междометий. Причём если прежде эти непролазные дебри образовывались сами собой как результат его искренних потуг вспомнить и сформулировать, то теперь он сознательно их продуцировал, используя как дымовую завесу.

Кроме того, если мы повторяли одно и то же (а делать это приходилось по уже известной причине: с первого раза понять ничего было нельзя), повторы отличались друг от друга: когда больше, когда меньше, то мелочами, а то вдруг и главный сюжет заметно менял очертания, и с каждым уточнением из тумана прожитого проступал всё более тщательно вылепленный, цельный и значительный образ мемуариста.

В итоговых версиях уже не было места ничему случайному, ничему такому, что могло бы показать автора в невыгодном свете, предоставить слушателю хотя бы формальный повод для неприятного изумления или даже упрёка. Всё здесь было нацелено на то, чтобы явить вершины, по которым шагала жизнь Кондрашова, уверенно и смело переступая с одной на другую, — так что финальные варианты некоторых частей его воспоминаний представляли собой прямо-таки высокохудожественные произведения.

Надо сказать, я знал по себе, что сознательное искажение прошлого не проходит бесследно. Когда работа по усовершенствованию фрагмента памяти завершена, новый её вариант встаёт на место прежнего — и замещает его без излишков и зазоров.

Разница была лишь в том, что Кондрашов перекраивал прошлое, чтобы лучше выглядеть в будущих мемуарах (кстати, забавно выходило, когда он норовил себе двадцатилетнему навязать свои нынешние воззрения), а я уродовал его в интересах литературной писанины. Ведь если описываешь нечто такое, что происходило *на самом деле*, неминуемо приходится кое-что менять: сюжет требует чуть иного поворота, чем был *на самом деле*, образ героя вырисовывается несколько иным или что-нибудь ещё.

Зачастую готовая рукопись оказывалась в руках других участников событий. Прочтя, все они сходились в одном: *на самом деле* было совершенно не так.

Поначалу я сердился и язвил. Зачем, дескать, стал бы я врать, зная, что ложь немедленно вскроется.

Но после ряда разбирательств и единодушно высказанных свидетельств пришлось признать: искаженное в угоду художественной целесообразности прошлое заместило в моём сознании истинное — и в результате я полностью утратил способность знать, как было *на самом деле*.

Что касается Василия Степановича, то поправки вносились им многократно. Простодушно и открыто высказавшись, он тут же спохватывался — стоило ли безоглядно резать правду-матку; вносил коррективы и повторял; новый вариант тоже выглядел не вполне совершенным — ну и так далее.

Понятно, что я не мог знать, как было *на самом деле*, зато был уверен, что теперь и сам Василий Степанович этого не знает — и как бы ни хотел и как бы ни старался, не расскажет этого даже под пыткой. Старого *на самом деле* не существовало, было лишь новое *на самом деле*: сколько ни шарь он в памяти, ему удалось бы только убедиться, что новое *на самом деле* — чистая правда.

Примерам не было числа. Так, он обмолвился, что сдавать вступительные экзамены поехал в штанах и рубашке, то есть как все. Днём позже сообщил, что насчёт штанов просто оговорился, на самом же деле в связи со значительностью имеющего

быть события родители оснастили отпрыска брюками и парой новых сорочек. А ещё через день выяснилось, что они купили ему пиджачную пару: такой, знаете ли, серый пиджак, однобортный такой, брюки такие серые, ремень такой, с такой вот пряжкой, всё такое, знаете, солидное, честь по чести.

И даже картинно удивлялся, когда я напоминал о рубашке и штанах: ну что вы, Серёжа, как можно!.. Я вам со всей искренностью, но!.. Кто бы в Москву вахлак-вахлаком? Бог с тобой, оденься поприличней, потом уж!.. Столица всё-таки, надо понимать.

Единственный раз он изложил мне заранее заготовленную байку. То, что она заблаговременно продумана — или придумана, я заподозрил по стилю речи. Кондрашов заговорил как по писаному: ни надувания щёк, ни пырханья, ни манипуляций с кружкой, призванных отвлечь внимание слушателя и дать оратору время на тайные раздумья, ни тебе восклицаний, ни даже самого завалящего междометия.

Это была история его службы на флоте. Отец советовал подавать документы в Кишинёвский сельскохозяйственный, который он сам когда-то окончил. Чтобы получить отсрочку от армии, Кондрашов мог поступить и в любой другой институт. Но он хотел учиться во ВГИКе, а поступление в творческий вуз в те годы было невозможно без двух лет трудового стажа. Закавыка состояла в том, что и военкомат не дремал: тот, кто дерзал остаться на обочине высшего образования, не имея при этом медицинских показаний, за эти два года неминуемо подвергался призыву.

Однокашники, будто стая разбегающихся крыс, совались куда придётся, только бы подальше от казармы.

Но Василий Степанович хоть и юн был тогда, а уже понимал, что выбранная стезя требует знания жизни. Деятелю искусства нужен кругозор, опыт, охватывающий как можно более широкие пространства страстей и страданий.

И он с гордо поднятой головой шагнул навстречу суровому выбору: его взяли во флот...

Может быть, я никогда не узнал бы правды, и мои неясные подозрения так и не вылились бы в неоспоримые умозаключения.

Собственно, ничто бы не поменялось. Я заранее прощал Василию Степановичу мелкие подтасовки прожитого. Ну да, он кое в чём по-стариковски лукавил, приукрашивал сцену своей жизни, заменял кое-какие её истинные декорации выдуманными. Но по сути они были такие же, разве что чуть более весёленькие: вместо скучного задника городского пейзажа появлялся лазоревый пруд с белыми лебедями. То есть это делалось вовсе не для того, чтобы скрыть бездны низости или чёрные пятна предательства, а вместо них выставить сияние доблести и сдержанный блеск благородства. Нет, он, как и дочь его Лилиана (вот уже верно о яблонях и яблочках), хотел показаться в своих рассказах даже не лучше, а всего лишь привлекательней.

Но в случае с флотом из-под мишуры и рюшечек случайно показался кончик голый правды.

Для работы мы располагались в гостиной, в креслах, стоявших наискось у журнального столика. Василий Степанович ставил возле себя свою кружку, я разживался стаканом чая. Мы рассуждали о том, как лучше подать тот или иной фрагмент мемуаров, Кондрашов непременно вспоминал ещё что-нибудь, я в тысячный раз говорил, что нельзя не записывать, всё забудется, ни за что потом, Василий Степанович, не вспомните этого, вот того, что сейчас мне рассказали, — а Василий Степанович успокоительно поднимал ладонь и говорил что-нибудь в том духе, что он со всей душой и с полной искренностью.

Время от времени он спохватывался, сообразив, что у него сохранилась та или иная бумажка, касающаяся именно этих, сейчас обсуждаемых обстоятельств, и её можно не то чтоб подшить к делу, конечно, ведь не протокол собираемся писать, а просто на всякий случай глянуть, вдруг что-нибудь ещё вспомнится. Он вставал, не забыв взять кружку, и отправлялся на второй этаж в кабинет, где хранился архив.

Я туда не был допущен якобы во избежание беспорядка и путаницы, но несколько раз озирали помещение с порога, всякий раз поражаясь увиденному: стеллажи неряшливо забиты, на полу папки стопками или просто навалом, на столе мусор, никчёмная дрянь. В углу я приметил нечто серое, округлое, пыльное, не поленился спросить. «Как что такое? — удивился Василий Степанович. — Понятно что. Танкистский шлем, что ж ещё...»

Как-то раз, принеся очередную стопку пожелтогого хлама и начав его перебирать, Василий Степанович сдержанно чертыхнувшись, ворчливо сообщил, что забыл самое главное, и направился обратно в кабинет.

А я машинально протянул руку к первому попавшемуся листку и прочёл выцветший, но вполне разборчивый машинописный текст.

Он гласил, что с такой-то даты Кондрашов В.С. состоял рабочим склада Кишинёвской фабрики керамических изделий, а с такой-то по такую-то — в должности экспедитора указанного предприятия.

Это были именно те годы, что Василий Степанович должен был проводить на корабельной службе.

И пока он скрипел ступенями лестницы, спускаясь назад в гостиную с недостающей бумажкой, и опять громыхал своей нелепой кружкой, и пытел, усаживаясь в кресло, и ворчал, что вот оно как, вот теперь-то оно конечно, теперь-то он со всей душой, — всё это время я с неожиданной горечью думал, как жаль, что *на самом деле* ничего не было: ни североморской учебки, ни курсов радиотелеграфистов, ни работы наборщиком...

«Увы, увы!» — думал я.

Жальче всего мне было того чудного эпизода, когда Василий Степанович переживал, по его словам, самые счастливые минуты своей матросской службы. Крейсер «Александр Невский» шёл к Новой земле, эскортируя группировку подводных лодок, склянки по громкой связи отбивали положенное время, одна вахта кончалась, начиналась другая, всё двигалось своим чередом — и вдруг по той же громкой связи голос Левитана известил команду, что сегодня, двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года, в космос отправился первый землянин, советский человек — Юрий Алексеевич Гагарин!

В корабельной типографии печать набирали даже не на линоTYPE, а руками, по старинке: буква к буквке, пробел после запятой — дело кропотливое и вдумчивое.

Чувство охватило его с такой силой, что Василий Степанович без раздумий отшвырнул свинцовую тяжесть вёрстки, брызнувшую фейерверком литер, и вылетел на палубу.

Ему хотелось бежать, вопить от ликования!.. — и вопить он мог, но куда бежать, если кругом Ледовитый океан?.. Хорошо ещё, что там, на палубе, он встретил других таких же ошалелых, так же вылетевших из недр корабля с вытаращенными глазами, — и они там орали хором, деля друг с другом свой восторг!..

Такая чудная история — но *на самом деле* её не было.

И не читал, значит, Кондрашов со сцены Североморского Дома офицеров стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина», — и хоть был у него при себе лоскут

газеты с печатным текстом, чтобы доказать, что он, произнося эти дерзости, вовсе не своевольничает, это уже напечатано! — а всё равно закончить не дали, освистали и вытолкали со сцены...

Ничего этого не было — не было, и всё тут.

Но ведь всё-таки прозвучало, и прозвучало так живо и увлекательно, что не могло остаться даже крупницы сомнений: было! конечно же было!

Просто было, согласно справке Кишинёвской фабрики керамических изделий, не с Василием Степановичем, а с кем-то другим, — и он пересказывал мне то, что когда-то запало в его пусть избирательную, но цепкую память.

Никанор

Мне вообще-то пофиг. Бахолдина сама начинает. Надо говорить правду, важно говорить правду, нет ничего важнее правды. Правда — главное наше достояние.

А сама хоть на миллиметр правды увидит, вся винтом идёт.

Никаноров, да как тебе не стыдно. Саша, да разве так можно.

Мне-то пофиг, только уши ноют. Если б не уши, тогда бы вообще по барабану.

А так-то, конечно, пофиг. И всем пофиг. Я-то просто ляпнул, когда до белого каления довела. Все кругом такие спокойные: хрен качнёшь, как ни пляши, никто рта не откроет, клещами не вытянешь. Гы-гы да гы-гы, а чтобы толком сказать, так это лучше не здесь. И правда, нафиг нужно с Бахолдиной вязаться, потом не расхлебашь, скоро ведь экзамены. Понятно, что прочилкам вообще-то пофиг, кто там что знает, с каким багажом знаний явился, им ведомости заполнить получше, чтобы потом по головам не настучали, вот и вся докука. Но если кто особо умный, можно и вздрючить, на это ведь тоже какой-то процент полагается. Так что никто ни гу-гу, а про себя-то все одинаково думают, всем пофиг.

Вообще-то Бахолдиной и самой пофиг, просто вид делает. Типа мне не пофиг, а потому и тебе не должно быть пофиг. А если будет так, что мне одной не пофиг, а тебе пофиг и всем другим пофиг, тогда вся движуха встанет.

Но движуха не потому, что кому-то не пофиг. Тому, кто за движуху отвечает, тоже пофиг, есть движуха или нет. Если движуха встанет, он в обморок от ужаса не упадёт. И ласты от огорчения не склеит. Ему вся эта движуха совершенно пофиг. Просто если движухи не будет, он от начальника получит по голове, а это ему уже совершенно не пофиг. Вот почему ему движуха нужна — чтобы по башке не били. А не потому, что он без неё жить не может... Но, конечно, делает вид, что не пофиг, а то типа запаadlo, если внезапно придуриваться.

Начальнику тоже пофиг, естественно. Ему тоже до движухи никакого дела. Но у него свой начальник, который может по башке дать. А у того свой. И у каждого голова. Вот они и наяривают — нам не пофиг типа, нам типа не пофиг!

А вообще-то всем по барабану, всем фиолетово, всем всё пофиг.

Не пофиг, это если совсем простые вещи взять, какие самого человека и касаются. Зубная щётка, штаны, завтрак, обед, ужин. Подушка, простыня. Это в продуктовом хорошо видно. Или, скажем, в химчистке. Вообще всюду, где речь о простых вещах. А не о тех завиральных, которые всем пофиг, но нужно делать вид, что не пофиг, потому что иначе палкой по голове.

Например, кто-нибудь хочет купить два пакета молока. И говорит: «Два пакета молока!» И тогда прямо по голосу понимаешь, сколько чувства он вложил в свои слова.

От всей души идут. От самого сердца, от самых кишок. Всякому ясно, что ему совсем не пофиг, дадут ему эти два долбанных пакета или не дадут. Совершенно не пофиг, если не дадут. Или если в целом дадут, но всё же чутка обуют: он сказал два, а кассирша пробьёт три и деньги возьмёт за три, а молока сколько было, столько и останется. Два то есть. Нет, такое ему совсем не пофиг. Такое никому не пофиг. Конечно, если у кого карман сильно оттопыривается, ему и это пофиг. Надо будет, он и за пять забашляет.

Но, короче, не в этом дело. Просто я не люблю, когда всё ясно как пень, а начинается разводиловое с громкими словами. «Мы должны... Весь народ... Этот праздник, который... В полном единстве...»

И что? Час убили на убеждения, а убедили лишь в том, что на этот раз никому не отвертеться. И что если кто смоеся, тому зачёты по основным предметам не светят. Мне вообще-то пофиг, светят или не светят, потому что основные предметы я и так сдам. Разве что с химозой могут быть проблемы. И то не потому, что я плохо знаю, а потому, что она меня не любит. Невзлюбила с самого начала.

Она пришла на место Васильича. Вот с Васильичем мы душа в душу жили, просто вась-вась. Я в девятом часто к нему заходил после уроков. Он сидит, скажем, контрольные проверяет. Но по ходу и на другое может отвлечься. Потому что контрольные проверять большого ума не надо. Вот мы с ним и рассуждали. Васильич, прямо как Юлий Цезарь, — сам в тетрадках чирикает красным карандашом, а сам ещё и рассуждает. О Вселенной, например. Какая она бесконечная и как трудно это понять. Это и впрямь трудно понять, я и сейчас не до конца понимаю. И не знаю, пойму ли когда-нибудь. Может, именно потому и не пойму, что Васильич забил мне башку своими парадоксами. Типа если говорим о бесконечности, тогда не имеем права говорить ни о чём другом. Типа тогда ни расстояние не имеет смысла, ни скорость. Ни вообще ничего из этой оперы смысла не имеет, потому что, если есть бесконечность, всё остальное обращается в ноль. Сто метров, сто километров, сто миллионов световых лет — если есть бесконечность, всё это один и тот же ноль. Зироу. Zero. Nil. A complete nonentity. И тут даже понять нельзя, пофиг тебе это всё или не пофиг. То есть всем на свете точно пофиг, а тебе-то как?

Или об ацетилене. Какие у него есть замечательные свойства. Такие и сякие. И так он себя ведёт, и сяк. Васильич в институте работал, где одним ацетиленом и занимались, всё о нём знал до самого донышка.

А когда Васильич склабался, вместо него взяли Алевтину Петровну. Химоза Алечка, так стали звать. Крыска такая с хвостиком. И вот на первом же уроке я пошутил, а она взъелась не по-детски. Честно, я ничего плохого не хотел сказать. Просто она ещё не знала, что я часто шучу.

Правда, Васильич тоже намекал, что это у меня не шутки никакие, а зубоскальство. Типа в шутке должна быть хотя бы доля шутки. Лучше всего — крупница юмора. И типа если все регочут, это ещё не значит, что кто-то сказал шутку. Может, он просто ляпнул глупость, а дураки и заходятся. Типа вам бы лишь делом не заниматься. А повод я даю, вот и выходит, что я типа такой же болван. Или такой ещё вывод, пожалуйста: если шутки никакой не было, а все смеются, значит, смеются они не над шуткой — ведь её не было, а над тем, кто ляпнул. То есть надо мной. Потому что типа люди таковы: если можно над кем-нибудь посмеяться, они момента не упустят. Такая типа логика.

Не знаю. Конечно, глупость — она и есть глупость, смешно всем становится не потому, что юмор и сатира, а потому что настолько ни к селу ни к городу, что хоть стой хоть падай.

Но с другой стороны посмотреть: а не глупость такие вопросы взрослым людям задавать? Хоть бы даже и типа в качестве ознакомления.

Вошла, каблукками процокала, поздоровалась, села. Стала лепить, что хотела бы со всеми нами жить в мире и согласии. Прямо кот Леопольд, а не химоза. И что если к ней хорошо, так и она со всей душой, а кто будет безответственно мешать, того по всей строгости, а про ЕГЭ и не думайте, ничего не выйдет.

То есть обычная дробильная байда, какую никто никогда всерьёз не воспринимает.

Теперь, говорит, давайте познакомимся. Елозит пальцем по журналу, называет фамилию, кого назвала, тот встаёт. Она кивает. И задаёт какой-нибудь дурацкий вопрос. Например, какова валентность водорода или что такое хиральность. В первом случае, ясен пень, надо сказать один, а во втором помычать и покрутить этак вот пальцами, якобы имея в виду пространственное расположение атомов. Ответил — молодец, садись, продолжай поход за знаниями.

Ну и отлично это ознакомление катилось, все отвечали как по писаному. Со мной тоже бы вышло замечательно, не спроси она совсем уж несусветную глупость: что такое алюминий. Я, конечно, мог отпартовать, как полный дебил, что алюминий — это элемент тринадцатой группы, третьего периода, обозначается символом Al, относится к группе лёгких металлов. Ну и термодинамические свойства, какие помню.

Но Алечка зачем-то стала постукивать ручкой по журналу. Нервно так. И с таким видом, словно заранее уверена, что я и впрямь дебил и не смогу толком на её кретинское идиотство ответить.

А я как назло вспомнил Артёмов. Артёмов учился у нас до седьмого, а потом куда-то делся. Так вот он точно был дебил. Даже с ещё более дурацкими вопросами не мог разобраться. Например, на каком-то там природоведении училка спросила, чем дышит лягушка. Артёмов губу отклячил, насунился, подумал-подумал, а потом и говорит: водой. Потому что и впрямь, как ни рассуди, а дышать ей больше нечем. Да ещё с такой важностью изложил, будто он никакой не Артёмов, а самый настоящий Ньютон, и на него только что яблоко упало.

Ну вот и я, глядя на химозу, не смог себя пересилить: тоже отклячил губу, как Артёмов на природоведении, и сказал серьёзно и веско: «Алюминий — это *жалезо*».

Я думал, она рассмеётся — типа не глупость ли? А эта дура восприняла совершенно всерьёз — вроде как я не понимаю, что железо такой же отдельный и самостоятельный элемент, как и алюминий, и ничего общего между ними нет, кроме разве что некоторых физических и химических свойств. А то, что я нарочно сказал *жалезо*, чтобы смешно было, так она не скумекала.

И началось!..

Скучно вспоминать, глупость есть глупость, со всем в итоге разобрались, она въехала, что это я для смеха ляпнул. Кстати, никто в тот раз особо и не смеялся. Но ей с какого-то перепугу втемяшилось, что я нарочно хотел её унижить. Перед всем классом неуважение проявить. И вот с тех пор на дух меня не переносит.

Хотя мне и сейчас невдомёк, что она так напряглась. Как можно унижить человека неуважением? Мало ли кто кого не уважает, и что теперь, все из-за этого должны себя униженными чувствовать? И вообще, что же получается, я должен уважать человека из боязни его унижить?.. Ну, вообще-то да, наверное, нужно... заведомо нужно, заранее, потому что нельзя с порога неуважение высказывать, если человек ещё никакого повода к тому не дал. Да если и дал, что же, сразу в физиономию ему его поводом тыкать?.. Короче, это всё путаные дела, трудно разобраться, но факт

в том, что ничего такого я ей показывать не пытался, и с чего она на меня взъелась, вообще непонятно.

Вот и с этим концертом. Целый час в уши дудели-дудели, аж голова стала кружиться. Вам оказана большая честь, как лучшему классу чего-то там по итогам чего-то там. Района, кажется. Или округа. И что руководство ждёт, а подвести его нельзя. И что мы должны как один, и что не плюй в колодец, а то хуже будет.

С чего такая напряжка? Большое дело — собраться всем классом и просидеть битых три часа на дурацком концерте. Понятно, времени жалко, а потому не на крыльях полетишь, а поплетёшься через силу. Ничего хорошего, в столице всё Киркоров с Валерией, это по телику можно увидеть, если кому интересно, а у нас не просто столица, а столица края, трубы ниже, дым пожиже, но такая же попса для слабоумных, группа Василия Геращенко да творческий коллектив Матрёны Задорной... кто у них там ещё, я и не помню. Да и кому в голову придёт смотреть эту байду, что по российскому, что по краевому, разве что нечаянно не на тот канал щёлкнешь. Взгляд бросишь — и скорей-скорей на что-нибудь другое, пусть там хоть чего, хоть Макаревич с Гребенщиковым котлеты лепят или магазин бриллиантов на диване, всё лучше, чем через пять минут с ума сойти.

Так оно и вышло, только ещё хуже, потому что концерт оказался не так себе просто шоу, а с подоплёкой: каждые пять минут выбегала малышня под десантников и давала жару речёвками.

Особенно девчонки старались. Я не знаю, почему так, но девчонки всегда больше мальчишек стараются, если речь о том, от чего у нормального человека скулы сводит. Что-то типа «мы пойдём с тобой во флот, пусть там всё наоборот, а спасая нацию, вступим в авиацию». Было не так, конечно, это я на ходу выдумываю, но похоже.

А потом выскочила пигалица с косичками в разные стороны, на каждой бант размером с абажур, но при этом в маршальской форме, с натуральной фурагой поверх бантов. Тут на сцене все вытянулись, как придурочные, по стойке смирно, будто и в самом деле маршала встречают: и артисты, которые спели, а уже почти все спели, это ведь под самый конец, и военный ансамбль, и человек двести музыкантов. И вот они замерли, а пигалица принялась со всей дури читать стихи. И стихи вроде как под Маяковского, только от Маяковского лишь первая строка, а остальное так исковеркано, что ужас один.

Что-то типа «я достаю из широких штанин», но рифма не «гражданин», а «именин», и не «Советского Союза», а «свободной России». А потом ещё где у Маяковского про то, что будь я хоть негром преклонных годов. А пигалица вместо того что-то другое, какую-то белиберду, вот уже и вылетело, ну, допустим: да будь у меня и пиджак, и пальто, я бросил бы свой экскаватор и финский бы выучил только за то, что знает его архикратор.

Я как это услышал, у меня прямо шары на лоб полезли. Ну, думаю, ваше. Им что, думаю, вообще всё пофиг, что ли?

Вообще, что ли, пофиг?! Ведь Маяковский!..

Нет, ну правда. Это ведь знаете как. Если сам что-нибудь читаешь, то иногда цепляет, конечно, но обычно как-то не очень. А вот если кто-нибудь прочтёт тебе вслух, то потом, когда глазами увидишь, почему-то это написанное на бумаге немое снова кажется живым и говорящим.

У нас с Васильичем когда-то такое было дело: я сказал, что Маяковский отстой, и все его лесенки просто для прикола. И Васильич вроде мимо ушей пропустил, а когда уж я в ботинках был и пальто натягивал, он минуты две почитал. Даже, может, полторы

или вовсе минуту, сколько там было-то, строчек двадцать, наверное, потом и говорит: ладно, говорит, что мы тут в прихожей, иди давай, — и сам дверь открыл. Ну и я как угорелый домой понёсся, чтобы самому прочесть. *Вы думаете, это бредит малярия? Это было, было в Одессе. «Приду в четыре», — сказала Мария. Восемь. Девять. Десять...* Весь вечер мусолил и потом раз сто, прямо не мог оторваться, и всегда теперь это голосом Васильича. Даже если сам вслух читаешь: вроде сам произносишь, собственным языком, а всё равно — как будто Васильич.

Ну и вот, а тут вдруг такое — я финский бы выучил только за то, что знает его архикратор! Вот жость, с ума сойти!..

Совсем под занавес вообще все, кто только мог поучаствовать, на сцену повалили, кажется, даже билетёры и буфетчицы, и грянули гимн. Зал встал, мы тоже, естественно, встали, типа гимн есть гимн, мне вообще-то пофиг, но не будешь же сидеть, если все кругом вздыбились, начали подпевать, слов никто толком не знает, но для виду разевали рты, мычали что-то неразборчивое.

Но мне всё это было совершенно пофиг.

Мне и без того было бы пофиг, а вдобавок ещё и Анечка куда-то делась, так что совсем стало не до того, я всё второе отделение не на сцену смотрел, благо смотреть туда было незачем, а крутил дыней. Как заведённый писал эсэмэски, тыщи полторы наваял, пока наконец не ответила. И что ответила? — что за ней приехал папа.

Тут я вообще ничего не понял, вот тебе раз, сроду не было такого разговора, что за ней папа собирается, за каким лешим ему собираться, никогда такого не было и вот опять.

Не знаю, всякие совпадения бывают, но я, дослушивая всю эту байду, крутился в кресле и думал, что это оттого, что после первого отделения мы с ней пошли в буфет. А там оказалось так запущенно, что я только рот на витрину мог разинуть, а бабкок разве что на ириску хватало. Даром что столица края, а, небось, и в Москве таких цен не бывает. У неё тоже лавандосов не было. Ну не было и не было, ладно, ничего же страшного, правда, но она почему-то с такой улыбочкой это сказала, что прямо и не знаю. Может, почудилось.

Вообще-то у неё обычно есть деньги. У девчонок почему-то всегда больше денег, и всегда из-за этого неудобняк. Я давно уже думаю, надо как-то решать эту проблему. Жить надо, а перенсы не больно финансируют.

Да и одно слово что перенсы. Перенсы — это же родаки, ну, мать ещё куда ни шло, а Грушин-то мне и вовсе не родной. Родной у меня оказался капитан и давно ушёл в дальнее плаванье. С Грушиным они поженились, когда я ещё под стол пешком ходил, классе в третьем был, что ли, или в четвёртом. А теперь уж их общей Валюшке скоро пять. А Валюшка через год после свадьбы родилась, мы тогда с Грушиным впервые вдвоём оставались, пока мамахен в родилке валялась.

И ничего, всё нормально.

Дело ведь не в том, родной или не родной, а жить с ним можно или нет. У Горелого вон родной был, так Горелый от него, пока того не посадили лет на восемь, под диван залезал, дважды из дома бегал, хоть на Луну был готов, только лестницу покажите.

А что они с Грушиным женились и что Валюшка у неё родилась, так тут я ничего такого. Некоторые прямо подумать не могут, что их мать с кем-то там типа что-то. Не знаю. Это у них самих что-то с головами. Вообще-то всё нормально, кажется. Ну, был муж, потом, допустим, в тюрьму сел, или умер, или, как говорится, ушёл в дальнее плавание, и что. Не обязательно же все разведённые в одной квартире живут.

У Кольки Быстрова живут, им типа деваться некуда, хотя тоже не совсем понятно, может, им нравится. Но другие же могут что-то сделать, разменяться там как-то, не знаю, разъехаться. А если разъехались, так что потом, всю жизнь ей один на один со своим безумным деточкой волохаться? Типа Вовки Гершонянца, который грозил с балкона сигануть, если мать мужика в дом приведёт.

Не знаю.

Конечно, смотря какого мужика приводить, это да, тут ещё надо посмотреть. Но Грушин хороший, что там рассусоливать.

А что бабки, так у них у самих в жизни мало парадайза, я понимаю, особо не наезжаю, своей волей децил дадут, и то хорошо. Мать всё рассказывает, как она скоро забогатеет. Типа вот раскрутится её салон красоты, так пусть тогда лопату дают, без лопаты ей никак, чем грести-то будет.

Грушин кивает: ага, ну конечно, салон сказочной красоты. Только смотри, говорит, чтобы как с Цветковой не получилось. Мама возмущается: ну ладно, ладно тебе, ну что ты каркаешь, ты же не будешь меня убивать, правда? Я не буду, соглашается Грушин.

Я всегда заранее отворачивался, я почему-то всё-таки не люблю смотреть на эти их нежности.

Насчёт Цветковой недавно весь город гудел. Цветкова завела лавку почти в то же время, что мама свой салон, Грушин ещё подначивал, что они теперь конкурентки: раньше учились в одном классе, а сейчас небось загрызть друг друга готовы, вот она женская дружба. А мама отшучивалась, что не в классе, а в школе, и они даже знакомы не были, Цветкова двумя годами старше, и никакие они не конкурентки, у неё салон красоты, а у Цветковой маникюрный кабинет. И типа совершенно неважно, что в одном здании и почти дверь в дверь, у женщин ведь разные надобности, одной ногти привести в порядок, другой всё остальное, начиная с макушки, за вычетом педикюра, педикюр тоже у Цветковой.

Короче, как там шло, я не знаю, откуда мне знать, да вроде всё нормально было, а кончилось тем, что однажды к Цветковой в кабинет муж пришёл. Позже всплыло, что они типа давно уже не ладили, он требовал, чтобы она от кабинета избавилась, подозревал он её, что ли, хотя и странно, не в кабинете же ей изменять, не на рабочем же месте, при чём здесь вообще кабинет, там одни тётки, мужика хрен заставишь педикюр делать.

Но он всё же пришёл, ввалился, всех выгнал, ударил Цветкову, Цветкова упала, ору выше крыши, вопили оба, а потом он дважды выстрелил ей в ухо из травматического пистолета «Оса».

Всё это потом стало известно в деталях, но тогда мама не знала, что происходит, они забаррикадировались в салоне красоты, прямо дверь в дверь, с ней ещё две мастерицы были и две клиентки, боялись, что он и к ним ломиться будет, в милицию звонили, все дела. Но менты приехали, он уже ушёл, они через час взяли дома пьяного, а Цветкова и до «скорой» не дожила.

В общем, напрасно, конечно, начал я в буфете агитацию разводить насчёт того, что и кофе у них наверняка поганый, и бутерброды небось несъедобные, даром что с красной рыбой. Анечка посмотрела на меня, будто я мухоморов объелся, и, ни слова не сказав, пошла к Верке Зарайской, будто так и надо.

И они весь антракт шушукались — расхаживали по холлу между колоннами под ручку. А когда все в зал, я опять натолкнулся на Верку, только она уже была с Косточкой. Верка, говорю, ты Аню не видела, а Верка как полная дура глаза вылупила,

сначала на меня ими похлопала, потом на Косточку, а потом лепит так недоумённо: а она типа была? Я прямо разозлился, что она меня разводит; тебе, говорю, ноотропил пора горстями принимать. И пошёл себе, а что мне ещё оставалось, только Анечки уже не было, я высматривал, пока люстры не погасли, но она и позже не появилась.

У меня, естественно, сразу неприятное предчувствие. У меня всегда неприятное предчувствие, если она вдруг недоступна. Я понимаю, что, наверное, напрасно дёргаюсь. Но стоит, например, у неё телефону сесть, как я уже на взводе. И ведь знаю, что её телефон всегда не вовремя садится, и сам беспрестанно твержу, чтобы она его на ночь в зарядку ставила, а ей пофиг, хоть кол на голове тещи, не ставит, забывает, а потом к обеду он сдох, и до неё не достучаться, — и по идее мне должно быть пофиг, а я всё равно психую как бешеный.

Раньше я подозревал, что она не просто так пропадает, а, например, потому что с кем-нибудь затусила, пошла куда-то, не знаю, в кино там или в кафе, и он сидит с ней рядом и чувствует, как её волосы пахнут, и ей типа нравится, что он это чувствует, и она искоса так на него посматривает, вроде как проверяет, правда нравится или нет.

Я прямо умирал, если начинал о таком думать, но потом мы с ней поговорили, и она сказала, что я глупый. И я сразу успокоился, потому что на самом деле глупил, ничего такого не было и быть не могло, а всё телефон. Но всё-таки подчас понятнее становится, почему иной готов любимой в ухо из «Осы» палить.

А потом Анечка начала с синими китами общаться. Вот уж никогда не думал, что мы такими разными окажемся. Мы два года с ней, сколько всего было, но и в голову не могло прийти, что она подсядет на китов.

Я поначалу посмеивался, типа вот нашла себе заботу, просто детский сад, потом почувствовал, что ей неприятно — ну то есть совсем, не так, когда что-то просто неприятное, — и перестал. Даже пришлось делать вид, будто мне тоже интересно. Стал косить под их компанию, начал шифроваться как базарный дурачок. Написал у входной двери под звонком «4:20» — мелко-мелко карандашиком, чтобы родаки не заметили (хотя родаки если бы даже и заметили, в жизни бы не поверили, что я такой идиот): типа тут живёт синий кит. Показал Анечке, она обрадовалась, потом улыбнулась так грустно, типа всепонимающе, и говорит: ну вот, Никанор, теперь ты тоже с нами. Ну да, говорю, я с вами, что же я буду в стороне как обсевок какой.

Но время от времени я всё же начинал намекать, что с этими китами надо завязывать, ну их, этих глупых китов, это всё неправильно.

Меня и картинки их, от которых она тащилась, раздражали, и фразочки эти заумно-многозначительные. Тонкие пальцы держат зажигалку, а на ней надпись типа *One day you lose something and you say: "Oh my God. I was happy. And I didn't even know it"*. Это ещё ладно. А то ещё какой-то тощий гай стоит на крыше, а может, не на крыше, а на плотине, что ли, на дамбе какой-то, черт её не разберёт, всё такое туманное вокруг, и небо туманное, и в тумане над ним плывут эти чертяки — синие киты, только не понять, что они синие, потому что вся картинка чёрно-белая.

Или просто тупо *My parents care more about my grades than my mental health*. Или длинный-длинный белый коридор — такой длинный, что в перспективе уходит в мелкий квадратик, табличка *Exit*, а поверх всего надпись от руки *Ты мне больше не нужна*.

Финка лежит на белой простыне, красивая такая, хищная, а на неё наколота голова куклы: оторвали и финкой в шею, — щёчки розовые, губки бантиком, волосики светлые. Целая куча пейзажей, все чем-то схожи: непременно туман, лес вокруг или призрачные горы, тропинка уходит в неизвестность, где совсем темно и страшно. Многоэтажный дом в ненастье, весь в дожде и тумане, тучи ползут по самой крыше,

а там, в этих тучах, делает вираж синий кит — взмахивает плавниками, и опять не синий, а чёрно-белый. Ну и, конечно, *Разбудите меня в четыре двадцать*, такое типа заклинание, в четыре двадцать и ни минуткой позже, без этого никуда, хоть ты тресни.

Анечка всё нудела, что я должен войти в их группу, подписаться под всей той байдой, которой они друг друга грузят, а то ей там одиноко. Типа если мы не можем порознь, то должны типа вместе.

Мне нравилось, что она говорит это — что мы должны вместе, потому что не можем друг без друга. Я с этим всегда соглашался. Она во многом была права. Например, что со всех сторон одни пинки, никто всерьёз не воспринимает и только дёргают из-за всякой ерунды, на которую вообще бы внимания не следовало обращать. Анечка говорила, для неё самое страшное, если мать раз попросит, два попросит, потом разозлится и скажет, что больше просить не будет, и сама сделает, о чём недавно её просила. Прямо как будто она не мать ей, а какой-то враг. Так она всегда говорила. Говорит так, а сама смотрит непонятно куда — словно куда-то за горизонт, в глазах слёзы и сигарета в пальцах дрожит. И каждую секунду, нет, три раза в секунду пепел стряхивает. Тык-тык. И опять — тык-тык. И опять. Никакой пепел нагореть ещё не успевает, а она всё тык-тык да тык-тык. Типа как мать такое скажет, у неё руки насовсем опускаются и жить не хочется.

Хотя, казалось бы, если так страшно, ну и сделала бы вовремя, о чём мать просит, тогда не будет никаких тык-тык. Нет: она вот сию минуту подумала, что сейчас уже пойдёт и сделает эту ерунду, а тут мать как выдаст — и совсем уже ничего не хочется, только бы не трогала, вот и всё. И понятно, что потом уж только о китах.

Ещё она говорила, что типа им от нас польза нужна — ну, чтобы посуду помыть или пыль вытереть, или там за хлебом сгонять, а что мы чувствуем и как живём, им до того дела нет. Если бы посуда сама мылась и хлеб из универсама мухой прилетал, мы бы им вообще не были нужны. А если мы здесь никому не нужны, то и нафиг надо навязываться. Ещё посмотрим потом, как они тут без нас. Прямо смешно представить их кислые рожи — посуда грязная, всё в пыли и ни куска хлеба. И лучше разрешить ситуацию одним махом, а не тянуть. Типа мы ушли в открытый космос, в этом мире больше нечего ловить. Потому что сделать ничего нельзя, как ни трепыхайся. Ничего хорошего не будет, все дороги перекрыты.

Я, конечно, вякал что-то, типа почему перекрыты все дороги, если перекрыты, то кто перекрыл, а если неизвестно, кто перекрыл, то, может, вовсе и не перекрыты. Но сама она не очень-то хотела о таком подробно разговаривать и вопросами задаваться, отмахивалась, типа перекрыты — и дело с концом, это ясно и без лишних тёрков, и нечего тут пенить пепси-колу.

Но потом я понял, что она не столько сама так думает, сколько чужие слова повторяет. Она с одним своим френдом по этой теме ой как закорешилась, он каждые пять минут что-нибудь ей присылал, а то и прямо на уроках чатились. Я невзначай вызнал, как его зовут, оказалось — *Old Galaxy*, круто, не каждый такое может, нашёл его в Сети, но скоро понял, что тут без мазы. Ну а что можно сделать, если чел ни во что не верит и всё время одно и то же лепит. Ты ему про Фому, он про Ерёму. Лыко да мочало и опять за рыбу деньги. Типа ну и что, что кто-то там за что-то проголосует, пусть даже все единогласно проголосуют, вот молодцы, но если другой кандидат пять лимонов забашляет, то результаты получатся такие, будто никто не голосовал, все курили бамбук, вместо того чтобы напрягаться. Типа результаты сомнительные, ну и что, поди ещё разберись, почему они именно такие, а пока будешь разбираться, поезд

ушёл, время прокатилось, пора в новых выборах участвовать, а кто-то там ещё в прежних не разобрался. И так по всему фронту, чего ни возьми.

И что он это давно понял, и ещё понял, что лучше всего помалкивать и не особо топыриться, потому что если сильно топыриться, то вообще замочат. У меня от него просто уши вяли, а когда я спрашивал, например, кого уже, по его мнению, замочили, так он сразу вилял в сторону и разъяснял этак туманно и многозначительно — точь-в-точь как эти их киты над крышами — «сам знаешь кого». И что ему всё это дядька рассказывает, и дядька-то фишку рубит, можно не сомневаться, а уж где он так рубить её насобачился, того мне знать не положено.

Короче, я с ним тайком чатился, слушал этого придурка и использовал его дурь, чтобы ей намекнуть, что здесь что-то не так. Правда, это не очень помогало, ничего нового я от него не узнавал, так что скатывался с ней на одно и то же: она типа думает, что вот мы *полетим* — и тут же всё станет понятно и просто, все неприятности разрулятся, дальше будет одно хорошее, а ничего плохого не будет, и все к нам станут относиться иначе — то есть как мы заслуживаем, а не как они себе думают, и типа даже химоза Алечка меня полюбит как родного. Но на самом деле это вообще не способ разрешать ситуацию и добиваться любви, потому что ситуация-то, может, и кончится, да ведь кончится не только ситуация, но и вообще всё, никто уже потом ни на что не посмотрит и никого не полюбит, и тот, кого полюбили, не сможет даже съехидничать — типа вот раньше вы меня мучили, а теперь любите и слезами заливаются, а я что говорил.

Но она сердилась и тут же перескакивала, что не может иметь дело с человеком, который не разделяет её убеждений. Зачем ей такой? Типа у неё с ним никакого будущего.

А я даже не мог поднять её на смех, сказать, например, что если она хочет *лететь* к китам, у неё так и так будущего быть не может. Во-первых, мне жалко было её так прикладывать, потому что выходило, что она *полетит*, а я нет, а если бы тоже *полетел*, у нас будущее было бы общее, одно на двоих.

А во-вторых, она бы как минимум вычеркнула меня отовсюду, отфрендилась бы откуда только можно, адреса поменяла, дверь ко мне косой доской бы заколотила.

Поэтому когда совсем до края доходило, я соглашался.

Я соглашался ещё и потому, что если честно сказать, то вообще в эти китовые забавы до конца не верил. Мне было смешно, что Аня так круто в их чухню втянулась, будто всё в офлайне и всерьёз, но виду не показывал, кивал понимающе — мол, ну да, так и есть, такая вот фигня, так и надо, сначала *полетим*, потом разберёмся. Это даже приятно было — разводить её понемногу, делать вид, что я такой прямо лох, мне что ни скажи, я всё за чистую монету, а самому типа улыбаться незаметно — говорите-говорите, я послушаю, покиваю, хоть и знаю что к чему.

А этот *Old Galaxy* чувствовал, что я не поддаюсь: вместо того чтобы лох лохом кивать, всё какие-то дурацкие вопросы задаю, — разозлился и погнал новую пургу: типа если я такой дурачок, что мне киты не нравятся, так на крайняк можно по дороге побегать.

Я не понял, а он, болван, стал хихикать, типа вот лошара, не знает что такое *Беги или умри*. Я тут же нарыл эту дурь — надо дорогу перебегать перед машинами, пока не переедут. Ну, дурь она и есть дурь, мне по ходу давно осточертело с ним препираться, хотел я его забанить, только сообщил напоследок, что он придурок малохольный, — а забанить не успел, потому что он мне тут же ответку кинул,

что я сам придурок, но это пофиг, а главное: что меня никто не знает, а его выхода несколько тысяч ждёт.

Ого, думаю. Врёт небось.

Тут же посмотрел — фигасе: так и есть. Он не врал, пять с лишним тысяч придурков ждало его выхода в эфир. Пять с лишним тысяч таких же безумных, как он, френдов. Если точно, то пять тысяч сто двадцать семь.

И где-то там между ними Анечка.

И я не стал его забанивать.

* * *

Но всё оказалось очень непросто.

Во-первых, он как услышал, что я предлагаю встретиться в офлайне, тут же наделал под себя. С перепугу такое понёс, прямо обхохочешься: и что я небось из ментовки, и что я небось чей-то шнурок, а ему только чужих шнурков и не хватает для полного счастья, и что я чёрт с рогами. И что он на меня плевал, и ещё сто раз плюнет, и спокойно это сделает, потому что я его никогда не найду, так что он плюнет тыщу раз, так что лучше мне отвянуть и никогда больше не всплывать на горизонте.

Хотя вообще-то мог бы он не напрягаться так со своей плювотой и визгами, а просто тихо меня забанить. А поскольку не забанил, значит, закинутая мной удочка привлекла внимание.

Но уже чтобы сделать простую вещь — пересечься в реале, пришлось нагромоздить такой план во всех подробностях, что ФСБ бы позавидовало. Проговорили до мелочей: он не возьмёт с собой ни планшета, ни даже телефона, так что если это всё-таки подстава и схватят злые менты, то его, тихого юношу (я нарочно спросил: ты ведь тихий юноша? — да, говорит, ещё какой тихий), на самый крайняк никто не сможет связать с тем погонщиком синих китов, кем он на самом деле является, — с обладателем ника *Old Galaxy*.

А если не менты, а просто шнурки замороченных им чад замыслили облаву, так встречу можно назначить в таком месте, где тайком к нему никто не подкрадётся. У Чехова лучше всего, там вокруг шаром покати, на километр видно во все стороны, пусть не ленится и тыквой крутит: приметит издали кого неподходящего и тут же скипнет, и все дела. И вообще не надо ссать в компот, там косточки.

Короче конспирация как перед взятием Зимнего. Я даже удивился, что в конце концов уломал.

И вот на тебе: оказался лоб ещё тот, это он в чате мог проканать под разочарованного девятиклассника, юношу бледного, а на самом деле брился по полной, не то что я, я вообще ещё не брился (из наших только Гершонянц вечно с синей рожей ходит, кровь такая). Школу кончил, а ни фига не поступил, у него средняя чуть ли не сорок баллов, так что, если по ЕГЭ судить, та ещё спиноза. А так-то этот Вадик ничего оказался чел, симпатичный, но ленивый как сволочь, и трусливый как таракан.

Я так и подозревал: всю эту паутину с китами он плёл чисто по приколу, начал когда-то от балды, а потом затянуло, с чатами всегда так, ляпнешь что-нибудь, а потом тебе этим тычут, вот, мол, сам же писал, ну и приходится дуть в ту же дуду. Устные высказывания в этом смысле проще: собака лает — ветер носит. Ему, видите ли, смешно дурачков разводить на слезливые вопли. Он сеет зёрна, потом смотрит, как они всходят, растут, развиваются, друг за друга цепляются, приятно, что в итоге непролазный лес, все друг другу морочат мозги, что готовы хоть завтра, *разбудите меня*

в четыре двадцать, всё готово, душа спокойна, решимости по горло, осталось всех-всех о ней оповестить, пусть удивятся и восхитятся. Но все они, к сожалению (это Вадик такое сожаление искренне высказывал), все они на деле слабаки, вся решимость пустой болтовнёй кончается, такой народ, типа нет в нём настоящей нашей рьяности, он уж решил с этим делом завязывать.

В общем, мы с ним заружились, он смешной оказался. Дылда такой, а мечты подростковые, если не дебилские. Скажем, спускаемся в метро на «Геологической», там эскалаторы прямо в преисподнюю нисходят, Вадик тупо таращится на встречный, на котором народ из морлочьего подземелья обратно к свету едет, и вдруг надрывно так вздыхает: эх, а вот если бы я все их зарплаты получал!

Ну не имбецил?

Но всё-таки инициативный, только все инициативы как у бешеной собаки: давай, говорит, замути такую штуку!.. Воодушевлён, глаза горят. Рассказывает план — и он такой идиотский, прямо хоть вешайся. Типа давай яйцами в розницу торговать, это наверняка выгодно. А это как? Ну как, что непонятного, очень просто: покупать десятками, а продавать поштучно.

Короче, я с ним был примерно как со мной когда-то Васильич, типа наставник, даром что этот дурень на четыре года старше.

Конечно, он тут же на всё согласился, ещё бы ему не согласиться, такая пруха на ровном месте, он и подумать не мог, — но вот делать всё мне пришлось самому. Правда, всё равно выходило, что с ним вместе, хоть и нужно было его поминутно взбадривать, чтобы продолжал своим китовым чатом заниматься, а то он и уши повесил, надоело ему, видишь ли. Да ведь как от чата отойти, отойдёшь — тут же френдов потеряешь, а ведь живые френды на дороге не валяются, из-за них я всё и затевал.

Долго решали, когда лучше малявку повесить, что он совсем решил: *улетит* тогда-то и там-то. Тут до дня надо было рассчитать, даже до часа, чтоб не перекипело. Всё абстрактно, конечно, хрен вычислишь, в каком именно месте он собрался *отлетать*. Но чтобы никто не думал, что это всё разговоры, такую инфу кидаем: ни фига не разговоры, он за базар отвечает, весь *отлёт* будет снят на телефон, зафиксирован с самого начала до самого конца, а потом запись размещена на сайте. И он уже *оттуда* будет делать ручкой всем, кто найдёт пару минут его *отлетательный* ролик полукать.

Дурень Вадик прямо прыгал от счастья, что всё так ловко и красиво, а что до дела, то в деле он не хотел разбираться.

Между тем важно было решить насчёт будущего доступа. Если говорить сейчас, что доступ будет за бабки, то под каким соусом подать. Или пока не звенеть, молчать до финала, а там огорошить: доступ не за здорово живёшь, надо маленько башлянуть, чтобы *отлетательную* фильму посмотреть.

Потом мне такая фишка в голову пришла. Типа он-то вот *улетает* ко всем китам, ему пофиг, но хочет, чтобы после его *отлёта* всем остальным хорошо было, особенно раковым больным, а среди них особенно раковым детям, рак-то вон как помолодел, у иных прямо с колыбели, посмотришь, какие малютки страдают, сердце кровью обливается, всякий может убедиться, я нарочно по сайтам полазал.

Но самая большая проблема оказалась именно с деньгами. Все думают, нет ничего проще, чем бабки получить: руку протянул — и вот они. Ни фига подобного, именно тут пришлось до упора въехать. Конкретно пришлось во всём разобраться, понять, что слова словами, а бабки бабками.

Раньше как было? Раньше ни что матуха буровила, ни Грушин по ушам ездил ей в поддержку, я в это не въезжал; ну говорят и говорят, рамсы гонят, но рамсами сыт не будешь, есть бабло — дай, а нет, так молчи в тряпочку, нафиг мне твои рамсы, если бабок нет.

Но вот пока мы с Вадиком решали это дело (это на словах «мы с Вадиком», а в реале мне самому пришлось всё носом пропахать), я не только в детали въехал, а как-то и всё в целом понял насчёт бабок: зачем они в мире и как достаются.

Деталей вылезло немеряно. Но всё равно через неделю у меня всё от зубов отскакивало: и о чём закон 54-ФЗ, и что такое фискальный накопитель, и чем ИП отличается от юрлиц, и вообще вся эта байда, через которую, оказывается, надо пробраться, чтобы хоть копейку получить безопасно и по-человечески. Ибо номер банковской карты всякий, конечно, указать может: типа кладите, люди добрые, сколько кому не жалко, — только это никакой не бизнес, а нищенство для побирушек, а бизнес — это когда утром деньги, вечером стулья, и можно стулья утром, потому что за ваши бабки любой каприз, но деньги вперёд.

Короче, Вадик надувал щёки — «мы да мы», прям лягушка с волом: мы пахали, мы пахали!.. По концовке Вадик, сука такая, стал меня же и подгонять. Типа что ты валандаешься, давай скорей, а то руки чешутся. У него руки, а я бы ему и рыло почесал, честное слово, хоть он и здоровый дуболом, но тут ведь дело не в величине.

И матушка стала что-то подозревать, я ведь тряс её: что да как да где узнать, если в интернете не нароешь, бывает такое.

Но когда наконец всё стало ясно и дошло до дела, Вадик упёрся — и ни в какую: не пойду и всё. Как я ни уговаривал, как ни толковал, что я бы сам пошёл, мне совершенно не запахло, мне это всё как два пальца об асфальт, но мне же по возрасту ещё нельзя, хоть это ты понимаешь, придётся тебе, тебе можно, ты совершенно-летний, — и всё как об стенку горюх.

И лишь когда я сказал, что ладно, хрен с тобой, пусть тебе шестьдесят, а мне сорок, только пойди ради бога в ФНС и заведи Христа ради ИП, потому что без ИП мы ни сорок не получим, ни шестьдесят, а получим мы хрен во-о-о-от с таким слоем масла!

Этим я его добил, и то пришлось всюду сопровождать, сам он типа не понимает ни в какую очередь встать, ни какую бумажку заполнить, просто смешно, здоровый лоб, а всюду с ним за ручку.

Саму съёмку организовать — тоже оказалось целое дело.

Я заранее знал местечко, где первые кадры сделать, я был в доме, где такая конструкция, что если ты сигаешь с внешней лестницы хоть бы и двенадцатого этажа, откуда до земли метров двадцать, то вовсе не расшибаешься в лепёшку об асфальт и бетонные бордюры, а оказываешься всего полутора метрами ниже на козырьке. То есть всех делов, чтобы сам козырёк случайно в кадре не оказался.

Долго рассуждали, будет ли убедительна вязка двух планов: на первом чел прыгает, а на втором уже с разбитой башкой лежит.

Я считал, что должен быть ещё промежуточный, на котором он летит болтая конечностями. Вадик отмахивался: типа и так нормально. Но ему вообще было пофиг, потому что он думал, что лавэ в любом случае просыплется, и не знаю, с чего ему это втемяшилось. А мне было совершенно не пофиг, потому что я капитально въехал, что бабки с неба сами собой не падают.

Короче, когда я договорился с Юрой, то снимали раз сто, чтобы получить промежуточный кадр. Он прыгал и с мусорного ящика, и с детской горки, а я ложился на землю, чтобы расстояние было больше, но всё не то выходило.

Потом наконец нашли возвышенность, с которой он и летел довольно правдоподобно, и по концовке не расшибался, — высоченный жестяной козырёк над лестницей в подвальную кочегарку. Отлично снималось, как он оттуда летает, но залезать ему было неудобно, на одном дубле он даже порвал штаны и так горевал, что мы с Вадиком, посоветовавшись, увеличили ему гонорар на двадцать пять процентов. Юра это принял с ликованием, а мне уже было по барабану сколько бабок утекает.

Бабки-то всё мои шли, Вадик косил под нищего, типа родаки держат его в чёрном теле, а сам он пальцем по общей тупости и балабольству не может пошевелить.

Поначалу я голову сломал, где разжиться на проект, потом как-то само собой вышло: после тренировки пал Прасолову в ноги; он поверил.

Юра появился, потому что Вадик сниматься не хотел. Я и не возражал, девятиклассник из него был никакой, такой каланче в пожарке служить, а не с синими китами вожжаться. Я бы мог сам, в принципе. Но учитывая, что Анечка этот фейк точно увидит, мне тоже было ни к чему: легко было представить её изумление, когда узнает меня на ролике. А с Юрой я в прошлом году познакомился на карате, он был вёрткий, как обмылок, и очень резкий, но внешне сосунок сосунком — волосики такие беленькие, нос пипкой, самое то синих китов гонять. И он согласился попрыгать, в детали я его не посвящал, да он и сам не особо интересовался.

А время поджимало, был конец апреля, вот-вот каникулы, и вся эта музыка стихнет, летом не до утончённостей с куклами на финках, летом у всех дел по горло, мне самому нужно было поступать. Вадик кивал с умным видом — да, мол, летом не шаволит, так что ты давай, Никанор, поторапливайся, — у него-то, паразита, всех дел было нудеть да меня погонять, сам он ни за холодную воду, бывают же такие козлы, если бы не пять тысяч его френдов, я с ним не то чтоб бизнес мутить, на одном поле бы не устроился.

Короче, всё было готово, ролик отладили, я раз триста перемонтировал, в итоге получилось — просто ах: поэтичный Юра с тоской озирается, бросает туманный взгляд в небо, где ждут его синие киты, а сам стоит на краю. Руки разводит, как прыгун на вышке, только шапочки не хватает — и фигак!

И в полёте классно снято: похоже, что успел передумать, да назад-то не очень, вот он и дёргается, и рожа уже совершенно не поэтичная, скорее перекошенная и — фигак ещё раз! — это он на асфальте лежит, а из-под головы кровь полегоньку растекается.

С кровью тоже была морока, дурак Вадик всё красную тушь пропагандировал, я его насилиу убедил, что в кино кетчупом пользуются. Тыщу упаковок извели, Юра сердился, голова у него, видите ли пачкается, а что голова, это же кетчуп, а не солидол, под краном смыл, и все дела.

Но по концовке получилось — прямо дух захватывает. Шедевр, я считаю.

Ну и вот, одновременно на Вадиковой странице API запрограммировали, чтобы бабки отселюявливать. Там тоже: если шарить, дел на три щелчка, а парень восемь косых взял. Слов у меня не было, я просто зубы сжал и отдал последнее, даже ещё у Грушина пришлось трюндель стырить. Ну а что делать, не останавливаться же, время поджимало, но на будущее я запомнил, решил и с этим разобраться, чтобы впредь не разбрасываться.

Ну и всё. В объявленный день вывесили.

Честно сказать, я боялся — а вдруг не выйдет. Что я тогда буду делать, что Прасолову скажу... да ерунда, конечно, вывернулся бы как-то, где-нибудь надыбал. Я вечно всякой фигнёй страдаю.

Но тут звонит Вадик — прямо заикается.

Подожди, говорю, ты толком сначала главное скажи: пошло дело?

Пошло, говорит, ещё как пошло.

Они, говорит, сумасшедшие, Никанор. Я, говорит, и подумать не мог, что они такие психи. Если бы я знал, что они такие, я бы, говорит, давно бы сам всё сделал. Даже жалко, говорит, что я такую мутку в одиночку не поднял. Это же, говорит, всё моё должно быть, по идее-то. Это же мои, говорит, личные френды, а не чьи-нибудь ещё. Я, говорит, единолично должен был их окучить, вот типа незадача.

Тут я даже растерялся. Один он мог бы. Ну да, говорю, была у собаки хата, ага.

Ну и вот, а вечером Анечка ни с того ни с сего спрашивает, умею ли я хранить секреты. И так важно спрашивает, так таинственно, с такими понтами, будто она давно на голову выше меня и понимает что-то такое, до чего мне ещё расти и расти. Она-то совсем взрослая, взрослой жизнью живёт и взрослыми вещами занимается, а я ещё пацан сопливый и только глазами лупаю.

Ну да, говорю, я умею хранить, я вообще главный хранитель секретов, пусть не сомневается.

И она открывает мне этот секрет — открывает под честное-расчестное слово, что я не проговорюсь, даже если мне иголки под ногти будут засовывать, даже если пакет на голову наденут, я останусь нем как рыба и умру с запечатанными устами. Хорошо, с запечатанными так с запечатанными. Для верности, говорю, можно и скотчем залепить, если запечатанности не хватит. Сердится: ты не смейся, ты скажи, сможешь? Да, конечно, отвечаю, на все сто. Я с младенчества готовлюсь к фашистам попадать, почему, думаешь, у меня ногти всегда такие синие.

И она открывает мне страшную тайну.

Так и так, говорит. Вот ты всё не верил, а помнишь того парня из китовой нашей группы, *Old Galaxy* бай нэйм. Ты всегда в стороне остаёшься, а кое-кто проходит все ступени. Вот и он прошёл. Недавно объявил, что окончательно готов и скоро *улетит* к синим китам. И поручил другу, который будет провожать, всё заснять. А потом вывесить в Сети ролик с его *отлётом*.

И дату назвал.

Ага, говорю, и что же.

А то, что настала названная им дата, траурно говорит Анечка. И на следующий день друг и правда вывесил ролик. Я шесть раз смотрела. Шестьсот рублей забашляла. Может, ещё посмотрю, очень уж интересно. И страшно. Так и тянет смотреть. А денег не жалко, это же не просто так деньги, это не ему, нафиг ему теперь деньги? Если *улетел*, ему деньги пофиг. Это детям, которые больны раком. Сам *улетал* к синим китам, а сам ещё о больных детях думал. Вот какой чел!

Был, уточняю. Был такой чел. Да, говорю. Беда, говорю. Жесть, говорю. Надо же.

Ну что ж, говорю, отлично, надо мне тоже при случае глянуть.

* * *

Утром получали аттестаты. Понятно, что всё должно быть устроено так, чтобы нормальные люди в процессе торжества сохли намертво, — ну и всё отлично получилось, потому что после такого количества всякой чуши они хоть на миллиметр живыми остаться не могут. Много прозвучало красивого и полезного, от чего то и дело слёзы на глаза наворачивались: и что настал светлый день, и что надежда и опора, и что все двери нараспашку — и потом всё то же самое три тыщи раз по тому же месту.

Правда, Бахолдина чуть не расплакалась, когда своё толковала: голос хриплый, едва не хлюпает, кое-как закончила о дверях и надеждах. Мне прямо жалко её стало, я в ней девочку увидел. Все знали, почему она так расчувствовалась: она, можно сказать, наравне с нами школу закончила, только мы на волю, а она на пенсию. Тоже воля своего рода, да видно не такая весёлая, вот она и разнюнилась.

Когда, наконец, кончилось, ещё и половины второго не было, а вечер в шесть. Я предложил погулять, но Анечка уже стала озабоченная, губы поджаты, взгляд скользит, и понятно, лишь такие глупые и чёрствые, как я, могут не понимать, какие дела ей предстоят: аж платье надеть и губы заново намазать. Времени в обрез, может, ещё и не уложится, тогда маленько опоздает.

Ну и ладно, мне тоже надо было кое-что напоследок сделать.

Поезд в двадцать три ноль пять, мама просила, чтобы я на утренний брал, но вечерним лично мне по некоторым причинам больше климатило, я сказал, что не было на утренний, Грушин удивился — да ладно, мол, не может быть, но потом само собой замялось.

А что до гуляния после выпускного на всю ночь, чтоб те, кто ещё белый свет от темени отличить сможет, рассвет встретили, так у меня были кое-какие планы. И когда я умишком раскидывал, решил, что лучше уехать именно после выпускного. Все в сторону набережных, а у меня в двадцать три ноль пять ту-ту-ту и тук-тук-тук. А солнце и без меня отлично взойдёт, не задержится.

С Фёдором Константиновичем всё уладилось ещё недели две назад, когда мне эти мысли пришли.

Мать поначалу твердила, что это неудобно. Фёдор Константинович ей хоть и дядька, и она его всю жизнь Федей зовёт по-родственному, тем более что он и старше всего на девять лет, но всё-таки неловко. Типа если б жили в соседних домах или хотя бы раз в год виделись, тогда, конечно, дядька, самый натуральный. А если последний раз встречались чуть ли не двадцать лет назад и потом лишь открытки к Новому году, так из него, если разобраться, такой же ей дядька, как из любого прохожего: первого попавшегося на улице останови, типа ты мне дядька, так то же самое и будет.

Никаких обязательств у него перед ней нет и быть не может, ничего он ей не должен, да и ситуация совершенно рядовая, по такому поводу обременять его ни у кого совести не хватит. Если бы ещё шла речь о жизни и смерти, тогда может быть. Но я-то просто хочу полтора месяца в Москве пошалберничать для собственного удовольствия! И при этом пожить у него, пока общежития не дадут, — вот и выходит типа «здрасьте, я ваша тётя», а нафиг ему это надо. Так что нет и нет, она звонить по такому делу не собирается и не соберётся никогда, и чтобы я не морочил ей голову и выкинул из своей.

Но потом всё-таки позвонила.

Я сидел рядом на диване. В ответственные моменты она переключала на громкую связь, чтобы я своими ушами слышал, что она не выдумывает, а так и есть: ничего такого он не хочет, на дух ему этого не нужно, это ему чистый рак головы и ничего больше.

Так оно поначалу и было, он удивился, когда её услышал, ой, говорит, Верочка. Милая, говорит, сколько лет сколько зим, что случилось, ты мою открытку с днём рождения получила, или она потерялась.

Короче, обычная фигня, слово за слово, всё ни о чём и обо всём сразу. И что всё хорошо, и что всё сложно, и что всё трудно, и что Валюшка растёт как на дрожжах, и что я — я то есть — так вырос, что школу заканчиваю, то есть практически закончил.

Понятный вопрос: и куда же теперь?

И снова бла-бла-бла на двое суток. И что я вообще-то стобалльник, так что куда хочу, туда и поступлю, но учёба везде с сентября, так что время есть подумать...

Чувствую — буксуют. А если буксуют, значит, хочешь не хочешь, а мало-помалу они сползут в кювет и в этом кювете окончательно застрянут.

Телефон был на громкой, я сделал ей страшные глаза, чтобы замолчала, и сам заговорил — и первые две фразы он молча слушал, потом сказал что-то невнятное.

Тогда я забрал трубку, громкую выключил и заговорил спокойно.

А мама сидела рядом, сложив руки на подоле, и смотрела, будто впервые меня увидела, и при этом не совсем понятно, приятно ей это удивление или нет. Сидела-сидела, смотрела-смотрела, а когда окончательно поняла, что мы долго ещё будем соловьями разливаться, махнула рукой и ушла на кухню.

Ну вот, а мы так и решили, до сентября я у него, а там видно будет, и я говорил, что отлично сам доберусь, типа язык до Киева и всё такое, но он всё же настоял, чтобы сообщил, как билет возьму, он встретит.

* * *

Выпускной оказался примерно таким, как я и предполагал, да и какие могут быть неожиданности, если провёл бок о бок одиннадцать лет — при этом обладая глазами, чтобы видеть, памятью, чтобы запоминать увиденное, и хотя бы зачатками рассудка, чтобы делать последующие выводы.

Понятное дело, барышни представляли собой, говоря образно и по-книжному, пышный цветник. Точнее, представляли бы, если бы удалось примирить их друг с другом, смирить кошачью тягу к индивидуальной неподражаемости и заставить минуту посидеть вместе.

Блистали по всякому: Горшкова нарядилась как на свадьбу или даже хуже, а вот Анечка, как ни странно, поскромничала. Но потом я мельком услышал, что это на ней не просто платьице, а то самое маленькое чёрное платье, которое ценится не за то, *как* сшито, ибо сшиты они все примерно одинаково, а *кем*, — и в её случае это был крутейший французский бренд, о котором все всегда говорят так, будто не только всю жизнь в его тряпках протёрлись, но и чуть ли не сами изобрели: «Ах, ну это же Chanel...»

Пацаны грачи грачами, но галстуки разные.

Хотя особо присматриваться мне было недосуг, мне предстояло чётко проделать несколько мелких, но важных вещей. Вино пронесли под видом газировки, ещё в двух полторашках был Лёхиного отца самогон сумасшедшей крепости, так что очень даже понятно, почему через часок-полтора я был уже в лоскуты. Все видели, как я шатаюсь и тарашу глаза, а что я не выпил ни капли спиртного, так этого, наоборот, никто не заметил. Когда мне совсем заплохело, Витёк и Карась повели старого товарища проблеваться.

Я заперся в кабинке производить вхолостую соответствующие звуки, а они меня пьяно подбадривали, орали хором: «Держись, Никанор!..» — и гоготали, и в кафельных стенках сортира это был чистый ад.

Потом отперся и вышел, покачиваясь. Умылся, тряс головой, намочил волосы для пушей натуральности, потом простонал, что пойду в спортивную раздевалку, там кушетка, скажите всем, я часок поваляюсь, пусть не теребят.

И пошатываясь пошёл по коридору в одну сторону, а они в другую: регоча каждый над своими шутками, поспешили к продолжению банкета. Там орала музыка, группа

«Синий Карлсон»: Симаков и Шульц из «б» на гитарах, а Баранов из нашего за ударника, но, естественно, все больше хотели танцев, чем их лабания.

Телефон был в кармане. Я зашёл в класс, где днём оставил пакет наверху шкафа, если не знать, не отыщешь. Через главный вход я не мог выйти, меня засёк бы охранник. Может, он и не запомнит, что я выходил, мало ли кто выходит с выпускного. Покурить выходят, хотя уже можно не прятаться. И раньше-то никто особо не прятался, но в здании запрещено, есть отведённая площадка. Так что шляются всё время кому не лень. Но нельзя же полагаться на плохую память охранника, мало ли.

Я поднялся на второй этаж, раскрыл торцевое окно, спустился на козырёк и отлично прыгнул. Почему-то подумал, что в траве может валяться обломок кирпича, пришла в последнюю секунду такая мысль: вот я прыгаю, а там половинка, подверну ногу! — но там не оказалось никакой половинки, я даже удивился, что её нет, так зримо она мне представилась.

Вадику я сказал как есть, что зайду к нему прямо с выпускного, и что уезжаю сегодня, тоже сказал, это даже было главной мотивировкой: типа выручай, Вадик, я сегодня уезжаю, ты бы мне подкинул хрустов.

Он не удивился, когда я стал насчёт хрустов говорить, что ему удивляться: на чём прервались, с того и продолжили.

А прервались в последнем разговоре, когда он поставил в известность, что даст мне десять процентов. Только десять процентов. Потому что вся мутка на его френдах замешана, а я просто рыба-прилипала — прилепился, чтобы бабки сорвать на пустом месте. Но он не такой лох, он денежки считать умеет.

С момента этих его откровений прошло больше месяца. И мне едва хватило, чтобы как следует всё обдумать и по всем статьям полностью подготовиться.

Этот последний разговор вообще интересно проходил.

Сначала, когда он сказал про эти десять процентов, я так изумился, что просто потерял дар речи. Если бы он тогда, услышав мою немоту, рассмеялся — типа, ну что, Никанор, здорово я тебя напугал! Или хотя бы просто положил трубку, что ли. Тогда бы я не знал, что делать.

То есть если бы он пошутил, я бы понял, что это он просто так по-дурацки пошутил, как обычно, тогда и делать ничего бы не надо было.

А если бы положил трубку, тогда да, тогда я и правда бы не знал.

Но он не положил трубку, а стал всерьёз, без шуток объяснять, почему именно десять на девяносто: потому что это, на его взгляд, самая справедливая делёжка.

Он боялся, но всё же говорил, говорил торопливо и обо всём сразу, прямо-таки приводил в свидетели народы и континенты, что ничего справедливее не бывает. И сам, кажется, начинал умиляться, что он по натуре такой справедливый. Вон аж какую готов проявить справедливость, прямо слёзы на глаза наворачиваются.

И тут я понял, что это всё без юмора и смеха: не будет восклицаний типа «здорово я тебя развёл» и всякое такое. Понял, что Вадик говорит что думает, думает именно так, как говорит, и делает именно так, как сказано.

А я могу, конечно, ему возражать. Могу заорать, что не вижу тут ничего справедливого, что он просто сволочь, а справедливо пополам или, в крайнем случае, как я тогда сказал, мне сорок, ему шестьдесят, когда никак не мог его, урода, направить на верный путь.

Но дело было в том, что, когда я его на этот путь направил, Вадик сделал именно то, что ему было велено, то, над чем я бился, всё ему, дураку, разъясняя: подал заявление на регистрацию и получил выписку из ЕГРИП. То есть, короче говоря, честь

по чести оформил ИП и мог отныне легально заниматься предпринимательской деятельностью. В частности, принимать от контрагентов деньги на банковскую карту по указанным при регистрации реквизитам.

А самая главная штука состояла в том, что я к этой карте никакого отношения не имел. Вадик был её законным владельцем, следовательно мог распоряжаться средствами на карте по своему усмотрению. Мог дать кому-нибудь десять процентов, а мог вообще ничего не давать, если бы именно это посчитал справедливым. Если бы именно от этого у него слёзы на глаза наворачивались.

И что бы я теперь ни сказал и как громко бы это ни сделал, как бы ни орал и на какие бы оскорбления ни пускался, это не могло изменить существующего положения.

Так что когда он забеспокоился, что я так долго молчу, и, прервав на середине очередную свою идиотскую фразу, спросил: «Алё, ты меня слышишь?» — я ответил, что да, слышу хорошо, — и не сорвался на крик и вопль.

И потом, пока договаривали, никакой иронии себе не позволил. А просто хорошо так, по-доброму, по-товарищески сказал, что да, он прав, наверное. Он ведь вон на сколько старше и опытней, ему виднее, кому сколько положено. Так что ничего страшного, я согласен на десять, это нормально, спасибо тебе, Вадик.

Через день Вадик передал мне мою долю. Захотел встретиться в торговом центре, вот не знаю, американских сериалов насмотрелся, вероятно, чтобы людно было: типа там, где людно, я не завалю его из пистолета с глушителем. Но у меня тогда не было пистолета с глушителем, не мог я его завалить.

Пухлый такой конвертик оказался, приятно в руки взять. Приятно подумать: надо же, это всего десять, а такой толстый, а сколько было бы сорок!..

Но я и тут сдержался, дружески хлопнул его по плечу и сказал, что ничего, мы ещё что-нибудь замутим, только уж тогда я его попрошу не менять коней на переправе, а то всё-таки неудобняк получается. А Вадик солидно так, обнадеживающе так ответил: ладно, ладно, посмотрим, посмотрим.

Деньги мне были очень нужны, хотя бы такие, как Вадик решил — десять процентов.

Во-первых, я тем же вечером вернул Прасолову долг. Он стал пересчитывать, обнаружил двадцатипроцентную прибавку, хмыкнул, головой покачал, но возражать не стал.

Во-вторых, Вадиково справедливое решение открыло для меня перспективы новых трат — и, как заранее казалось, немалых. Я не знал ещё что почём, не успел поинтересоваться, но уже начал беспокоиться, что не хватит, опять придётся заморачиваться с долгами. Я вечно прежде времени беспокоюсь, такой характер дёрганный, я очень нервозный, наверное, не хватает выдержки. Но, когда начал искать концы и скоро кое-какие нашёл, оказалось не дороже денег: в самый раз, даже ещё на карман легла остаточная копейка.

Ну и вот.

Я пробрался тыльной стороной школы, там в дырку, прошёл переулком за поликлиникой, через пять минут на Василенко, оттуда рукой подать.

Самое смешное, что когда я несколько дней назад начал донимать его этой просьбой — дай хрустов и всё тут, мне ехать не на что, — он сначала наотрез отказался. А мне ведь его хрусты не были нужны, я даже испугался, что зря его напугал, как-то не подумал в этот раз о его жадности, может быть, лучше было другой предлог выдумать. К счастью, нашёлся, выкрутился: я, говорю, другую, но похожую мутку затеял, тоже через тырнет всё можно сляпать, там база даже больше и приманка

отличная, а дел немного, при встрече расскажу. Ты хрустов пока дай, а это мы вместе сделаем. Я же вижу, что ты отличный партнёр, надёжный.

И он купился.

Накануне я позвонил ему с домашнего — и на домашний же, трубку взял отец, долго недоумевал, почему я не позвоню Вадику на мобильный, — все давно отвыкли, что кому-то придёт в голову трезвонить по домашнему. Наконец позвал отпрыска, я объяснил, что потерял мобилу, а новую хочу в Москве купить, там и дешевле, и выбор больше. И ещё я сказал, что завтра ровно в десять к нему зайду, пусть спустится ровно в десять, сможет он так? И повторил: завтра не смогу его набрать с мобилы, такая, понимаешь, незадача, просто спустись ровно в десять. Ровно, понимаешь? Он нехотя согласился, я обрадовался, вот спасибо, говорю, выручишь, пожалуйста, не опаздывай, а то же мне на поезд.

Если честно, никакой мобилы я не терял, просто набирать его с мобилы, тем более завтра, — это значило оставить след, а чего я точно не хотел, так это в этом деле наследить.

Я немного нервничал, потому что не был уверен, что он спустится к сроку, маячить в подъезде не хотелось, да и времени в обрез, мне нужно было вернуться в школу, пока никто не хватился, не задался вопросом, куда это я испарился, пьяный до потери пульса.

Я вошёл без минуты десять.

Дверь шарахнула за спиной — и почти одновременно хлопнуло на третьем. И шаркающее тук-тук-тук — это он в тапочках спускался по лестнице. Пунктуален оказался, сукин сын.

Я сунул руку в пакет.

Голые ноги мелькали за прутьями перил.

— Не, ну а чо ты ваще!.. — сказал он, ступая на ровное.

Мужик заранее говорил, что по громкости выстрел как ружейный, и я сжёг патрон, чтобы проверить. Так и вышло. И в лесу-то уши заложило, а как должно было грохнуть в гулком параллелепипеде лестничной клетки, я и вообразить не мог.

Но, обдумывая это, я решил, что, когда раздастся грохот, все бросятся к дверям квартир. Даже, может быть, повыскакивают на лестницу. Во всяком случае, к окнам никто не кинется, не на улице же рвануло. Так что я выйду из подъезда незамеченным.

И да — вот уж бахнуло!

Вся нижняя часть лица залилась кровью, будто ему отрубили нос.

Он мешком повалился на пол.

Я присел, приставил ствол «Осы» к ушной раковине и ещё раз выстрелил.

Сверху затрещали двери, послышались встревоженные голоса.

Но я уже вышел на улицу.

(Окончание в следующем номере)

Татьяна Вольтская *

Любви и стихов

* * *

Заплывшие снегом дома,
За поездом — лёгкая вьюга.
На месте ли град Кострома,
И Вологда, и Калуга?

В России стоят холода,
Состав громыкает порожний.
Плодами висят города
На ветке железнодорожной.

Зайдём в привокзальный буфет —
Я ждать у окошка готова.
Сорви мне плацкартный билет
И мёрзлое яблоко Пскова —

Гостиничный бедный уют
С сомнительной водкой из фляжки,
И что-то весь вечер поют
За сквериком в пятиэтажке.

А утром — прощаясь скорей, —
Сожмёшь меня крепко — до хруста,
И гирьки тугих снегирей
С заснеженных веток сорвутся.

Вольтская Татьяна Анатольевна — поэт, эссеист, автор шестнадцати сборников стихов. Родилась в Санкт-Петербурге. Стихи переведены на английский, немецкий, шведский, итальянский, сербский и другие языки. Лауреат многих литературных премий, в том числе Пушкинской (1999, Германия), журнала «Звезда» (2003), дипломант премии «Московский счёт» (2022).

* Внесена в специальный реестр иностранных агентов Минюста РФ.

* * *

Однажды здесь, на моей странице,
Напишут — такая-то умерла.
А надо было — сугроб искрится,
Метель, и крыша белым-бела.

А надо — праздники, воздух синий,
Платформа, тающий горизонт,
Мужик танцует у магазина,
Врубив в машине крутой музон.

А надо было — из электрички
На остановку спешит толпа —
Из лопнувшего пакета с гречкой
Как будто высыпалась крупа.

То Витька с Веркой, то Димка с Лидкой
По снежной каше — скорей в тепло.
И только тут, у моей калитки —
Следы вчерашние замело.

* * *

И в поле, и в доме, в толпе и вдвоём,
И в хате, и в сакле
Родители пели — а мы не поём, —
И в горле иссякли,

Как вырубленные на Волге леса,
Последние звуки.
Не знают, какие у нас голоса,
Ни дети, ни внуки.

Те песни отчалили в сторону тьмы,
Как лошади цугом.
Ещё танцевали родители — мы
Уже не танцуем.

Тот мир помахать нам рукою готов
И сдаться без боя,
И вот уже нет ничего, кроме слов,
Меж нами с тобою.

* * *

Река пробирается в белых чулках
Вдоль чаячьей стаи,
А снег, как последний отряд Колчака,
Редет и тает.

Иди вдоль забора, дворца, шалаша,
Не думай о снеге,
Но белая конница так хороша
В недолгом разбеге —

Она понимает, что обречена,
И всё же, и всё же...
Подъёмные краны, лебёдка, стена.
Никто не поможет.

И носится смерть меж фонарных столбов,
Чешуйчатых башен,
А снег всё отчаянней, будто любовь,
И всё бесшабашней.

* * *

Любви и стихов — а чего ещё
Просить в наступающей мгле,
В набитом автобусе, в воющей
Позёмке на тощей земле.

Чего ещё надо, куда ещё
Кидаться? Сквозит из дверей.
В нетопленной комнате тающей
Накрой мою руку своей —

Как белым в Чите и Поволжье
Накрыло дома и дворы.
Горят семафоры по-волчьи,
Рысцою бегут пустыри.

А нам-то куда торопиться —
Вот старенькой бани венцы,
Вот родины нашей, волчицы,
В мохнатой метели сосцы.

* * *

Как будто нигде не горит,
Но дымом отчётливо тянет,
И в воздухе носится ритм,
Голодного пламени танец.

В морозном тумане огни
Пока что невидимы глазу,
Откуда-то с Волги они
Нахлынут, а может, с Кавказа,

А может, и с разных сторон
По искорке — тыщи и тыщи.
Взвиваются хлопья ворон,
Как будто внизу — пепелище,

И мы у кирпичной стены,
И город, и берег шершавый —
Раскатанные головни
Так прочно стоявшей державы.

* * *

Обними меня крепче, пожалуйста,
Руки на плечи мне положи.
Видишь вьюги последние шалости,
Снег сдувающей прямо с души,

С покосившейся лестницы старенькой —
Что ни шаг, то забытый грешок.
Сядь со мною, разлей по стопарикам,
Что осталось на посошок.

Слышишь — жизни последние милости —
В телефоне друзей голоса,
Видишь клён чернорукий и жилистый,
Уцепившийся за небеса?

Ну, а мы на невидимом знамени
Нарисуем друг дружку с тобой —
Как под той высотой безымянною,
Где уже не стоят за ценой.

Ирина Муравьёва

Повесть о Белкине

Гале Климовой

Прежде всего не мешает сказать, что Иван Петрович Белкин был весьма беспокойного и чувствительного характера, и это с самого младенчества препятствовало его счастью. Он был бы и рад родиться таким, как большинство его приятелей, людей благородных, но несколько грубых, однако же нет, не родился. Тревога снедала его. Особенно утром. Проснётся, бывало, он на Подкопаевском, в квартирке, которую нанял в столице, и сердце стучит прямо в горле. Столица наводила на Ивана Петровича то страх, а то дикий какой-то восторг. В деревне ведь как? Там всегда кто-то рядом. Вон маменька вяжет салфетку, вон кошка, вон няня. А здесь, в Подкопаевском? Нет, здесь всё другое. Постепенно Иван Петрович привык, втянулся в столичную жизнь, и странно, что он вдруг приехал обратно в деревню, где вскоре и умер в неизвестности.

Не будем, однако, спешить и заглянем в недавнее прошлое. Невинность свою Иван Петрович потерял за полгода до того, как перебрался в столицу, и случилось это дома, в деревне, по восемнадцатой весне его. Будучи неисправимым мечтателем, он уединялся в лесу и в полях, бродил по цветущим лугам, дышал речной свежестью, и люди ему не мешали.

Однажды, часов эдак в десять утра, когда вся природа трепещет от света, разлившегося по стволам, по клейким листочкам и всем её жилочкам, а птицы поют куда жарче и громче, чем даже певцы в самом лучшем театре, и нету не только что зла на земле, но даже намёка на зло нигде нету, лежал наш герой в тонкой белой сорочке и тихо дремал под задумчивой кроной столетнего дуба. Вдруг шорох его пробудил. Шагах в трёх от дерева увидел он женщину. Глаза её были зелёного цвета, такого зелёного, — впору зажмуриться, и уж до чего хороши! Большие, в пушистых, как пчёлы, ресницах, и веки казались немного зелёными, как будто зрачки разлились под их кожей. Раскинувшийся в мураве спящий юноша, должно быть, привлёк любопытство красавицы. Она наблюдала за ним с интересом, но, кажется, вовсе его не стеснялась. Он тут же вскочил и, одёрнув сорочку, её поприветствовал. Она не сказала ни слова и только слегка наклонила в ответ свою шею, блестящую влажно от пота. День жарким был, душным, — губернское лето.

Муравьёва Ирина Лазаревна родилась в Москве. Окончила филфак МГУ, отделение русского языка и литературы. Работала в Музее Пушкина. Автор многочисленных романов, повестей и рассказов. Живёт в Бостоне.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 11.

— Откуда ты? — сильно робея, спросил он.

— Я? Да из Нефёдова, — спокойным и ласковым голосом сказала она. — Иду по грибы. А ты барин, кажись? Зареченский, что ли?

Крестьянка несла кузовок на верёвочке.

— И много ли нынче грибов?

— Искать, — так найдёшь, — отвечала она.

Ему показалось, что в этих словах была укоризна его барской праздности.

— Вчера нездоровилось, вот задремал.

— А мне что с того? — возразила крестьянка. — По мне ты хоть дрыхни весь день.

Испугавшись холодного её тона, Иван Петрович сказал первое, что пришло на ум:

— Воды нет напиться?

Она удивлённо блеснула глазами:

— Глухой али как? Вон ручей-то шумит.

И тут он услышал, как громко, настойчиво шумит совсем близко ручей.

— А жарко и впрямь, — усмехнулась красавица и, плавно раздвинув высокие травы, шагнула к ручью, живо села на корточки, и кончик косы закружился в воде.

Она принялась жадно пить, и каждый глоток её сопровождался таким упоительным звуком, что сердце Ивана Петровича теперь уже не колотилось, как прежде, а бухало громче, чем колокол в праздник. Он тоже хотел было встать на колени, но зеленоглазая оборотила лицо к нему, шурясь немного от солнца, и молвила прежним ласкающим голосом:

— Почто ж ты не пьёшь?

Он, не отвечая, припал пересохшим в волнении ртом к сияющей этой струе и с надеждой взглянул на крестьянку. И тут словно дьявол вселился в обоих. Заглось всё внутри: от затылка до пят, и оба они очутились в траве, где мелко цвели золотистые лютики.

Пропала невинность, и сладкие грёзы, которые часто смущали его, особенно зимним метельным рассветом, когда, завернувшись в своё одеяло, лежал он и думал о будущей жизни. В этих грёзах Ивану Петровичу всегда мерещилось одно и то же. Он видел высокую стройную барышню, похожую то на Софи Друбецкую, то вовсе нисколько и не на Софи, но женщину, старше немного, вдову, Авдотью Андревну Румянцеву, всегда очень бледную и всегда в чёрном по случаю вечного траура. И рядом с ней — то с быстроногой Софи, то с томной Румянцевой — он чувствовал живо себя самого, с высокой зажжённой свечою в руке, взирающего на отца Никодима с густой сеткой тёмно-малиновых веточек на старческой коже, и тут же восторженно переводящего глаза на невесту под пышной, как пена, фатой. Семейная жизнь представлялась ему одним только праздником. Включались, однако, картины сражений, когда он, схватив ярко-красное, мокрое от крови убитого маршала знамя, бежал на врага, увлекая солдат, героически спасая царя и Отечество. Но эти картины сменялись другими. Вот он возвращается, мчится в коляске, въезжает во двор, и навстречу ему сбегает с крыльца дорогая супруга и с нею ватага нарядных детишек. Она как подкошенная припадает к широкой груди его, плача от счастья, а детки, отталкивая друг друга, стремятся как можно теснее прижаться к мундиру, пропахшему дымом и порохом.

Теперь же, потеряв невинность, Иван Петрович вовсе перестал мечтать. Простая крестьянка, точнее, рабыня, так им завладела, что он вмиг забросил учёные книги, а ждал только мгучей минуты свиданья всё в той же прохладной дубраве.

* * *

Избранница нашего пылкого юноши звалась Акулиной. Уже пару лет как её обвенчали с Пахомом, рябым кузнецом, за которого пошла она не по своей доброй воле, а плача от ужаса и омерзенья. История жизни её такова: летним утром (точной даты никто не запомнил), не сомкнувшая глаз от храпа своего супруга, молодая барыня Дарья Фёдоровна, неделю как из-под венца и брюхатая, вышедши из спальни подышать свежим воздухом, увидела, как на ступеньке крыльца шевелится что-то, прикрытое синим, в горошек, платком. Будущая мать, обуреваемая понятным любопытством, приподняла платок и обнаружила под ним туго запелёнутого, нагретого солнцем младенца. С забывшимся сердцем, однако без страха, взяла она в руки чужое дитя и тут же вернулась с ним в спальню. Положив малютку рядом с крепко спящим мужем, Дарья Фёдоровна, никого не позвав на помощь, не ахая и не охая, развернула тряпицы и высвободила из них — без всякого платища и без косыночки — румяную крепкую девочку, которой по виду и месяца не было. Однако же эта малютка так ясно взглянула в глаза молодой доброй барыне, как будто бы всё про неё поняла. Тогда Дарья Фёдоровна растолкала храпящего мужа и сразу сказала, что девочку эту она оставляет и в жизни её никуда не отдаст. Супруг забурчал и хотел возразить, но Дарья Фёдоровна была не из робких и не из послушных и так засверкала глазами, что муж, накинув халат и зевнув, удалился. Девочку окрестили Акулиной, нашли на деревне кормилицу и поселили обеих во флигеле. До самых родов своих Дарья Фёдоровна очень интересовалась подкинутым ребёночком и придумывала разные истории, пытаясь понять, кто же это поутру пришёл к ней во двор и оставил малютку на тёплом крыльце? В конце концов, дерзкое предположение, что ведь Акулина могла быть и плодом запретной любви важной дамы к слуге, а может быть, даже лесному разбойнику, её посетило да так и осталось. Вся дворня рядила-гадала, считала рожениц по пальцам и спорила, однако загадка осталась загадкой. Между тем у Дарьи Фёдоровны родился мальчик, совсем, к сожалению, хворый и слабый, с немного кривой, как у птенчика, шеей, и бедная мать, позабыв обо всём, ушла с головою в заботы и страхи. Супруг её, разочарованный пресной и однообразной семейною жизнью, предался азартной игре и неделями гостил у приятелей. Похожий на птенчика, мальчик скончался, проживши полгода. Вскоро Дарья Фёдоровна снова забрюхатела и сделалась грустной, испуганной, жалкой, рыдала ночами одна в своей спальне, но прежняя нежность её к Акулине, увы, не вернулась. Акулина же, подрастая, бегала по дому, бойко топала своими одетыми в красные башмаки ножками и радовалась почти полной свободе, которую ей предоставили. Обедала она чаще в людской, но бывало, что, спохватившись, располневшая и грустная Дарья Фёдоровна призывала к себе кормилицу вместе с зеленоглазой её подопечной, гладила Акулину по шёлковым рыжим кудряшкам, целовала в упругую щёчку и тут же опять заливалась слезами, представивши взору умершего птенчика.

Однако же после рождения девочек, совсем одинаковых, очень болезненных, но всё-таки выживших, Дарья Фёдоровна растворилась в своих материнских обязанностях и даже на мужа, уже проигравшего родительский дом, две деревни и лес, махнула рукой. Подросткую Акулину научили читать и писать, а вскоре Дарья Фёдоровна приказала гувернантке своих слабеньких дочек мисс Харрис, набелённой, в буклях, с осиной талией, начать с ней занятия музыкой. И тут оказалось, что рыжая крошка прекрасно осваивает клавикорды.

Прошло между тем лет четырнадцать. Возвращаясь из церкви в сильную метель, кучер Дарьи Фёдоровны сбил с дороги и вместо того, чтобы свернуть на Жадрино, откуда было не более чем три версты до барского дома, свернул на Бурмиловку, долго плутал, и вскоре его ослабевшая лошадь застыла и вовсе не двинулась с места, пока не утих дикий ветер. Вернувшись домой, Дарья Фёдоровна слегла в лихорадке и ночью скончалась. Окончательно опустившийся вдовец принялся устраивать в доме безобразные оргии, сзывал к себе всех развращённых дружков, а летом внезапно женился. Женой его стала соседская дама, ещё молодая, но жёсткая, строгая, которая в первые же недели сумела прибрать всё хозяйство к рукам, включая и слуг, и беспутного мужа. Узнав в скором времени, что Акулина не родственница, даже не компаньонка, а просто подкидыш без роду без племени, рассерженная новобрачная тут же сослала её с глаз подальше, в Нефёдово.

* * *

Никто не узнал бы в крестьянке с руками, шершавыми, словно кора, поскольку стирала она бельё в проруби, рубила дрова и доила корову, смешливую девушку в утреннем платьице, сидящую за клавирами. И только однажды, когда Акулина, забывшись, запела романс, сама в это время сгребая навоз, горячий и даже немного дымящийся, заныло в ней сердце, так сильно заныло, что чуть было не разрыдалась она над этой горячей кучей, чуть не прокляла свою чёрную долю. (Чего никогда нельзя делать, грешно.)

Бедняжку в конце концов выдали замуж. И с этим Пахомом, рябым, неотёсанным, она и узнала всю тяжесть крестьянского брака. Пахом ревновал её денно и ночью: к последнему пьянице, нищему в церкви, безносому страннику в стружьях и язвах, таскал её за косы, бил кочергой, — а всё для того, чтобы силой добиться законной супружеской близости. Люто возненавидевшая его Акулина иногда даже и отвечала ему на удары и двинула как-то коленом в живот, да так, что посыпались искры из глаз. Пахом чуть притих, но, увы, ненадолго. Детей у них не было. В страшной тоске часами простаивала Акулина, молясь Божьей Матери, плача, просила, чтобы Небеса ей послали ребёночка, но не помогали молитвы и слёзы.

А тут вдруг пошла по грибы и наткнулась на спящего барина. Она постояла над ним, распростёртым на этом цветущем зелёном ковре, любясь его красотой и беспечностью, тихонько вздохнула, хотела уйти, как вдруг юный барин проснулся. Ну а дальше читатель всё знает.

* * *

Иван Петрович денно и ночью размышлял о сложившемся положении. Он твёрдо знал, что не будь возлюбленная женщина замужем за невзрачным Пахомом, он сразу бы с ней обвенчался. Желание жить ежедневным трудом, молоть, пахать, сеять и, не угнетая народа, растить в благородных понятиях потомство его охватило так сильно, что он иногда даже ночью не спал. Все мысли вертелись вокруг скорой смерти несносного этого мужа. К примеру, он видел, как, тихо подкравшись, душил он рябого мерзавца в овраге. А также, бывало, что сбрасывал с лодки и ждал, пока тот не исчезнет в волнах. Или вдруг насккивал на чёрной лошади и острым серпом отрезал ему голову. Отнюдь не христианские эти желанья ужасно терзали Ивана Петровича и, не утерпев, он однажды признался во всём Акулине. Каково же было его удивление, когда оказалось, что и она не только была очень близко знакома с подобными искушениями, но полностью их разделяла. Быстро перекрестившись,

Акулина сказала Ивану Петровичу, что, кабы не страх наказания загробного, давно набрала бы она бледно-синих и вялых грибочков, зажарила их с луком на сковородке (вкусны они, Ваня, вкуснее курятины!) да и прямиком своего благоверного отправила сам, Ваня, знаешь куда. В ужасе выслушав обезумевшую женщину, Иван Петрович крепко прижал её к груди и попросил никогда больше не рассуждать столь неблагородным образом. Она согласилась, уныло вздохнувши. Прошло две недели. Когда же сошлись они после полудня в знакомой дубраве и вздрогнул Иван Петрович, увидевший издали, как Акулина торопится в красном своём сарафане и в бусах из розовых камешков, и тело его налилось тем огнём, с которым он даже не думал бороться, и весь он рванулся к своей ненаглядной, она вдруг слегка его остановила. Потом прошептала ему что-то на ухо и ярко зарделась. Взяла его руку своей огрубевшей крестьянской рукой и всей пятернёю его провела по смуглой высокой груди:

— Ты титьки потрогай. Гляди-ка. Как камень.

С трепетом и болью выслушал Иван Петрович роковое известие. В том, что дитя его, а не кривого Пахома, он не сомневался, но что теперь делать, не знал. Пройдёт восемь месяцев, и народится на свет существо и останется жить в пропахшей овчиной и щами избе, а он даже с ним повидаться не сможет! Не только беседовать и развивать младенческий разум, но хоть по головке погладить, хоть пряничек сунуть, чтоб помнил отца!

Единственным выходом — раз уж Пахом ничем не болел и злая душа его крепко сидела внутри весьма бренного тела — осталось украсть Акулину и с ней уехать куда-нибудь, где их никто с огнём не отыщет. Пока он обдумывал, как и на какие деньги осуществить это дерзкое намерение, пришла зима, обледенел приютивший влюблённых лес, и осталось им одно: переписываться. Спасибо, помог старый дуб, чьё дупло служило надёжным хранилищем писем. Рябой туповатый Пахом про это не ведал, но так как округлый живот Акулины и в нём возбудил целый рой подозрений, решил он устроить домашний допрос и выудить правду. Проснувшись однажды на самой заре, услышал Пахом, что жена Акулина сквозь сон повторяет какое-то имя. Тогда, живо спрыгнув с печи, приблизился он к Акулине, которая, вся раскрасневшись, спала под туплом на лавке, сорвал с неё жаркий тулуп, задышал в лицо её луком и сипло спросил:

— Дитё в тебе чьё?

Акулина проснулась.

— Я мужня жена, — отвечала она. — Чьему же во мне быть?

— А коли не мой?

— Дак чей же тогда?

— Вот ты мне и покайся!

— А, ну, провались!

— Куды «провались», раз ты блудная сука!

— Я Господу нашему, Богу Христу на страшном суде повинюсь, не тебе!

— Как так: не мене? — удивился Пахом. — Ты ж, сука, жона мне? Мы ж в церкви венчались!

Тут ловкая, яростная Акулина схватила тяжёлую медную ступку:

— Убью тебя, ирода! Брысь, говорю!

Пахом отступил. Зная норы жены, он чувствовал, что Акулина не шутит, и вновь пожалел, что не выбрал себе простую крестьянскую скромную девушку.

— Акулька, погоды! — возразил он, набычившись. — Приплод в тебе чей?

— Приплод во мне чей? — усмехнулась она и вытерла пот на горящем лице. — Дак барский приплод, не мужицкий, поди!

Пахом безнадежно вздохнул. Скупые слёзы показались на тусклых глазах его, и пара слезинок скатилась на грудь, поросшую пегим, сваявшимся волосом.

— Зарыть тебя в землю, гадюка, живьём! Что ступкой-то машешь, отродье поганое! Махала кобыла хвостом да издохла.

Акулина переложила тяжёлую ступку из левой руки в правую.

— Вели своему кобелю, чтоб тикал. А то я того... Не дай Бог согрешить. А ты, подколодная, чтоб мне ни-ни! Дитё народится, тогда и решу. Что зенки-то пialiшь? Убил бы, Бог свят. А детку мне жалко, невинную душу...

Побелевшая Акулина положила ступку на место и низко поклонилась Пахому. А он вновь залез на остывшую печь и долго кряхтел, пока не успокоился.

* * *

Утром на следующий день Иван Петрович просунул в дупло мускулистую руку и вынул письмо.

«Свет Ваня, — писала ему Акулина, — молю Христом Богом: беги и сокройся. Узнал он, проклятый, что я на сносях. Сказала как есть. Не вини меня, ангел. Теперь буду вечно нести этот крест. Спаситель за нас на кресте принял муку. И я должна, грешная, муку принять. А ты, Ваня, мне драгоценное счастье. Ещё бы разочек тебя хоть обнять. Прощай, ангел мой. Приходи завтра в полдень».

Звонкими хрустальями свисали до самой земли отяжелевшие от выпавшего ночью снега ветви оголённых деревьев. Когда Иван Петрович, в спешке потеряв по дороге соболью шапку, подарок покойного батюшки, раздвинул хрусталь, зазвеневший негромко, он сразу увидел свою Акулину. Заснеженный серый платок укутывал гордую голову, ресницы сверкали от мокрого снега. Неверная мужу жена так и вспыхнула при звуке шагов его, так и рванулась к нему, словно зверь на цепи, так и обвила, прожигая слезами... Да что говорить! Разве скажешь словами?

Долго целовались они, пока, наконец, Иван Петрович не растегнул задрожавшими руками её домотканую, синего цвета, рубашку под грубым тулупом и, нащупав высокую грудь, припал к ней губами. Мороз был в лесу — минус сорок, не меньше.

— Застудишь меня! Погоди, ангел мой! — сказала она, задыхаясь. — Погоды!

Он опомнился и отступил.

— Ну вот. Повидала тебя, обняла. Простились мы, Ваня. Теперь уезжай.

— Куда? — ахнул он. — Когда ты на сносях!

— Нам, бабам, родить всё равно что умыться, — она улыбнулась сквозь горькие слёзы. — А он ведь убьёт тебя, Ваня, зарежет. Он, Ваня, чумной и греха не боится.

У Ивана Петровича задрожал подбородок. Ведь только жить начал, а тут уже смерть! Высокая, снежными искрами засыпанная Акулина в расстёгнутом тулупе, из-под которого синела рубашка, в упавшем на спину платке, взяла его руки в свои, и как током ударило в сердце Ивана Петровича:

— Нет, ты, Акулина, меня не гони, — сказал он ей слабым, отчаянным голосом. — Ну, что ж... И зарежет. А я не уеду.

— Уедешь, родимый. Об нас-то подумай! Тебя в сыру землю зароят, его в Сибирь, окаянного, в вечную каторгу, а мне-то куда? Да с дитятей к тому же? По миру пойдём!

Иван Петрович представил себе, как Акулина, перепоясанная платком, с дитём на руках и мешком на спине, бредёт вот по этому снегу, в мороз, стучится в чужие и тёмные окна...

Она между тем продолжала:

— Ты не забывай меня, Ваня, в Москве-то. Там барышни разные, всякие праздники... А только никто так тебя не полюбит, никто...

И разрыдалась. Простились они горячо и, поклявшись, что будут до гроба друг другу верны, расстались на снежной поляне.

* * *

К вечеру следующего дня резвая тройка унесла героя нашего далеко-далеко, так что только через полтора года, вернувшись обратно, он снова увидел свою Акулину. Однако не будем и здесь торопиться.

* * *

По настоятельной просьбе любящей своей матушки Анны Васильевны Белкиной Иван Петрович не поступил на военную службу, а, используя родственную протекцию, принялся служить в департаменте. С самого начала обнаружилось, что у выросшего на природе молодого человека, хотя и получившего прекрасное, как думала его наивная матушка, домашнее образование, не хватало ни знания света, ни той ловкой юркости, которая слишком знакома всем, кто с рождения крутился в столице. Иван Петрович быстро почувствовал, что ни того, что присылалось ему из деревни, ни скромного жалованья не хватит, чтобы ежедневно бывать то в театре, то на званом вечере, то на балу. А как же иначе-то жить? А никак. Несколько раз совсем уж было решался он на то, чтобы, собрав манатки, отправиться обратно в деревню, но две основные причины его удержали. Главной причиной было, разумеется, обещание, данное Акулине, которую Иван Петрович часто видел во сне. Она в его снах очень плакала и даже грозила ему крепким пальцем, когда он пытался её приласкать. Из этого Иван Петрович заключил, что Акулина по-прежнему не позволяет ему возвращаться, и поклялся себе не нарушать её воли. Второй щекотливой причиной являлось наличие женщин вокруг. Представьте себе: вы выходите утром, румяный со сна, полный сил и здоровья, спешите к себе в департамент, а тут! Со всех сторон женщины! Много! В платках, в накидках каких-то и разных там капорах. И ножка, бывает, мелькнёт из-под юбки.

Любезный читатель! Давайте обсудим: зачем нужна женщина? Прибрать да сготовить? Наймите кухарку. Она вам навертит таких трюфелей — проглотите пальчики! Прибрать — это мелочь. Постелю совсем можно не застилать, а пыль вам любая смахнёт. Короче: в хозяйстве без женщины легче. Так значит, всё дело не только в хозяйстве. А в чём тогда дело? В любви? Ах, увольте. Ведь чем все любви-то эти кончаются? А тем, что проснётесь вы ночью однажды, а рядом лежит крокодил! И светит луна на него, крокодила, и зубы сверкают из пасти. И вздрогнете вы, и покроетесь потом: «Откуда же здесь крокодил-то в квартире?» Потом только вспомните: «Я ведь женился! Но та вроде Катя была или Маша, но не крокодил же! Отлично ведь помню!» А дети пойдут? Тут совсем не до жиру. Так и расплзутся, паршивцы, по комнатам! Начнёте считать их, а мысли ужасные: куда бы мне спрятаться, где бы укрыться?

Ивану Петровичу, человеку весьма романтическому, женщина представлялась загадкой. Любовь к Акулине способствовала его прирождённой чувствительности. Но это с одной, так сказать, стороны. С другой же, он стал зрелым мужем. Ну, может, не так чтобы очень уж зрелым, но мальчиком быть перестал. Под утро, когда в ближней церкви звонили и было особенно как-то торжественно, в Иване Петровиче зверь пробуждался. И выл, и ревел, и когтями рвал плоть. Маячило перед глазами растение с большими цветами и жирными листьями. Которое он иступлённо срывал,

грыз листья и мял лепестки. Потом содрогался и яростно вскрикивал. Опомнившись от потрясения и радуясь, что он один в комнате, даже букашка (случись ей забраться к нему на постелю), и та никогда про сей стыд не узнает, скорей звал Федорку охрипшим баском, просил принести ему свежей водички.

* * *

Князь Ипполит Мещерский, сосед по имению, друг закадычный с младенческих лет, проживавший в Москве, теперь опекал «деревенщину Ваню», горя нетерпением скорей познакомить приятеля с самой пикантной ночной столичной жизнью. Получив изрядную долю отцовского наследства, высокий, с хорошо развитой грудной клеткой и ямочками на немного бульдожьем лице, князь жил широко, никому не отказывал и быстро растратил отцовские деньги. Долги его, впрочем, совсем не смущали. Скромный Иван Петрович так и ахнул, когда приятель пригласил его к себе в дом и сразу повёл осмотреть кабинет. Тут и обнаружилось, что князь Мещерский всерьёз углубился в познание мира и пристальным взглядом следит за Вселенной. Иначе к чему ему были и глобус, и три микроскопа, и всякие лупы? Видать, изменился он сильно за годы, прошедшие с детства, когда только бил колотушкой кошек и всё норовил ущипнуть, да покрепче, задастую Фёклу, служившую в комнатах. Теперь кроме бросившейся в глаза Ивану Петровичу образованности Мещерский поражал вниманием к своей внешности. Отпустивши, например, густые светло-каштановые усы, он не устал наблюдать в каждом зеркале за их аккуратным и тщательным обликом и в ужас приходил всякий раз, когда современные приспособления, известные в свете как просто «наусники», соскакивали с него ночью во сне. Однако при всех своих чудачествах он был в душе тем же, что прежде, и только сильнее ценил женский пол, уверяя, что нету такой философии в мире, которая может сравниться со страстью. Обрадовавшись приезду в столицу Ивана Петровича, Мещерский немедленно приступил к нему с вопросами, касающимися столь интимных сторон существования, что мы пересказывать их не решаемся. Кидает, по правде, и в холод, и в жар.

Иван Петрович простодушно поведал приятелю историю своей любви с крестьянкой и, всхлипнув, сказал, что возлюбленной женщине, наверное, скоро родить. Мещерский поправил усы, крепко обнял наивного друга, вздохнул глубоко от избытка сочувствия, но тут же залился раскатистым смехом.

— Постой! — и Мещерский от смеха закашлялся. — Постой, мой голубчик, я всё объясню. Тебе нужна женщина, очень понятно. Поскольку без *этого*, ты понимаешь...

Иван Петрович стал того же цвета, что и малиновая бархатная кушетка, на которую от смеха рухнул князь.

— Да что ты конфузишься, Ванька, ей Богу! Неужто ты думаешь, что Акулина заменит тебе наслаждения жизни?

Иван Петрович посмотрел на него с яростью, столь не идущей доброму его лицу.

— Да вы там, в деревне, совсем одичали! — сказал скороговоркой Мещерский. — Но я тебя вылечу. Прямо сегодня! Поедем-ка мы с тобой к Эльзе!

— А кто это?

— Э, как бы тебе объяснить? Короче, увидишь и сам всё поймёшь.

Проклиная своё малодушие, Иван Петрович покорно последовал за князем, уселся с ним в сани, которые, свистя полозьями, вскоре остановились у небольшого каменного дома в самом центре Замоскворечья. На доме желтела табличка из меди с затейливой надписью: «Мадам Эльза Карловна фон Обергейм. Девицы и дамы». Посмеиваясь и сбивая перчаткой морозную пыль с рукава, князь дёрнул звонок.

За дверью раздался пронзительный писк, как будто бы кто-то ступил на мышонка, и вскоре обрюзгший и мрачный лакей, сюртук был которому чуть тесноват и руки, поросшие шерстью, торчали из-под залоснившихся узких манжетов, предстал перед ними. Мещерский дружески хлопнул его по плечу и тут же рванулся вверх по покрытой персидским ковром расшатанной лестнице. Иван Петрович поспешил за ним, опустив глаза и боясь, что неприветливый слуга его остановит и что-нибудь спросит. В гостиной, освещённой длинными свечами, сидела молодая барышня в блестящем, бордовом с воланами платье и что-то с запинкой играла по нотам. Она, видно, так углубилась в сонату, что их не заметила. Мещерский подкрался, как кот, и, закрыв глаза музыкантше большими ладонями, три раза подряд с видимым удовольствием вонзил в её шею свои поцелуи.

— Ах, ах! — закричала она и вскочила. — Зачем так пугать!

— Помилуйте, дуся, какой же испуг? — удивился он, беря её нежно за талию.

— Мадам сейчас выйдут, — сказала она. — Немного устали вчера, почивают.

— А мы не торопимся, что нам спешить? Извольте любить: друг мой детства и юности. Недавно в Москве, напрямик из деревни.

«Бедная девушка», как мысленно окрестил её Иван Петрович, жалобно улыбнулась ему, не пытаясь даже освободиться из ласково-властных объятий Мещерского.

— Желаете ли лимонаду холодного? А может, пуншу? — спросила она.

Иван Петрович не успел ответить, потому что в эту секунду, шумя платьем, из соседней комнаты вышла полная, очень приветливая дама с крючковатым носом.

— Дафно фас не фидно, — сказала она, широко улыбаясь. — Зофсем нас забыли.

— Дела, Эльза Карловна, разве успеешь, — ответил Мещерский. — Приятель вот прибыл из нашей губернии. Росли вместе с ним, золотая пора, невинности время. Любите и жалуйте.

Эльза Карловна заиграла своими хитрыми жёлтенькими глазками.

— Ах, ошень приятно! Крюшону, шампанского?

— Он с барышнями познакомиться хочет, — шепнул, усмехнувшись, Мещерский. — А после уж можно крюшону с шампанским.

Эльза Карловна мигнула «бедной девушке», и та торопливо ушла. Не прошло и минуты, как в гостиной появились ещё трое. На первой было такое яркое красное платье, что цвет его резал глаза хуже бритвы. Вторая была очень худенькой, шуплой, с едва обозначенной бледною грудкой, однако столь сильно открытой, что даже виднелись соски. А третьей, чему-то смеясь, вошла складная, хоть и полноватая, по виду — испанка. На смуглых плечах её ярко белело боа из пушистого меха. Все они одновременно быстро и радостно заговорили, засмеялись, перебивая друг друга, и комната сразу наполнилась звуками, похожими на жизнерадостный клёкот, которым приветствуют гуси хозяйку, когда она с тазом, прижатом к бедру, приходит кормить их в загаженный птичник. Сердце так сильно заколотилось в груди Ивана Петровича, что даже ноги его задрожали, и, чтобы скрыть это, он опустил на виды выдавший продавленный пух. Испанка с красивым боа на плечах подседа к нему и придвинулась близко.

— А вы, как я слышала, только что прибыли?

— Я очень недавно приехал в столицу, — ответил он тихо.

— Пойдёмте наверх, — предложила она. — У нас наверху из окошек всё видно! Бывает, что всё прямо как на ладони!

Оказалось, что из смежной комнаты вела на антресоли узенькая и скрипучая лестница. Чувствуя, что утром надетая новая сорочка плотно прилипла к спине, Иван Петрович поспешил за барышней и сам не заметил, как очутился в сильно натопленной спальне, всё пространство которой занимала кровать, аккуратно застеленная лоскутным одеялом. Окошко было завешено, и на столике подле кровати мигал, умирая, оплывший огарок. Ещё было зеркало, несколько тусклое, а на подзеркальнике пудреница, раскрытая словно бы из любопытства. Из пудреницы шёл заманчивый, нежный, совсем женский запах. Так и не вспомнив о своём обещании показать Ивану Петровичу всю Москву, испанка схватила пуховку и ласково шлёпнула ею по лбу смущённого гостя. Он громко чихнул и смутился.

— Вы, верно, устали? — шепнула она. — Лица на вас нету.

— Я? Нет, я не очень устал. Хотя, впрочем, да...

— Так ложитесь скорее! — потребовала норовистая барышня и быстро легла на кровать, увлекая его за собой.

Иван Петрович увидел возле самых своих глаз её изогнутую наподобие лука, покрытую тёмным пушком сладострастную губку и вдруг ощутил такой силы желание, что чуть не заплакал. Но он не заплакал, а принялся жадно её целовать в эту губку, и зубы их стукнулись.

Не случилось между ними ничего, хоть сколько-нибудь похожего на то, что случалось между ним и Акулиной. Всего только несколько судорог, стон и сразу за этим почти тошнота. Стыдясь кое-где обнажённого тела, Иван Петрович нащупал упавшие на пол кальсоны и быстро надел их. Огарок почти догорел. Не обращая на него внимания, испанка достала из ящика новую свечу, зажгла её от тлеющего огонька, и комната осветилась. Иван Петрович разглядел, что она совсем не молода и даже не очень красива. Красив был один только рот, очень пухлый, как будто притягивающий к себе. Холодное, даже немного враждебное в её ярко-чёрных глазах выражение удивило. В памяти мелькнуло лицо Акулины, когда она вся наклонялась над ним, лежащим в траве или на сухих листьях, и всматривалась в него так благодарно, с таким почти детским восторгом, так нежно! Он скрипнул зубами: как стыдно-то, Боже. Но тут же, припомнив уроки Мещерского, достал из кармана купюру и быстро вложил её в руку испанки. Она крепко сжала её в кулаке, шепнула «мерси вам, мерси» и с тем же враждебным своим выражением опять на него посмотрела. Тут он догадался, что цепким, холодным, расчётливым взглядом она выясняет, не хочет ли он чего-то ещё, и мотнул головой. Она поняла, усмехнулась слегка и быстро пожала плечами. Спотыкаясь на каждом шагу, Иван Петрович спустился обратно в гостиную, надеясь найти там Мещерского и сразу же ехать домой. Мещерского, к сожалению, в гостиной не оказалось, но на диване сидели двое мужчин. Один был совсем почти лысым и старым, другой молодым, толстым на удивление. На коленях у старика примостилась тщедушная, с приоткрытыми сосками барышня, которая гладила лысую голову своими прозрачными пальцами, а рядом с другим, прижимаясь к нему, отхлёбывала из фужера шампанское ещё одна женщина с пышной причёской и гребнем, подобным короне. Неизвестно откуда появившаяся Эльза Карловна объявила Ивану Петровичу, что друг его просил немного обождать, и опять предложила крюшону. Бормоча извинения, Иван Петрович подхватил свою шинель и выскочил на улицу. Стояли первые дни марта. Он точно помнил, что, когда они ехали сюда, уже ощущалась весна: тянуло рекой и по небу летели искрящиеся облака. А тут вдруг опять наступила зима. Лавиной шёл снег, словно горько стыдясь за эту нелепую, грубую жизнь, стараясь

прикрыть её от посторонних, скорее засыпать своей белизною, и так, чтобы это осталось навеки.

Дома, в Подкопаевском, Иван Петрович бросился на кровать и сразу же крепко заснул. Однако проснулся, поскольку почувствовал, что рядом с ним кто-то лежит. Не веря глазам своим, он убедился, что это лежит Акулина, такая же, какой он запомнил её тогда утром, — в распахнутом чёрном тулупе, с косою, чуть пахнувшей дымом. Восторг охватил его. Не выясняя, какими путями она добралась и как удалось ей найти его в этом запутанном городе, Иван Петрович попытался крепко обнять свою возлюбленную, но руки почувствовали пустоту.

— Ты где, Акулина? — вскричал он в отчаянии.

И тут же увидел, что с ним на кровати пристроилась пухленькая Эльза Карловна и хочет стащить с него шейный платок. Он грубо спихнул её и испугался: а ну как разбилась? Но на деревянном полу темнел только старенький вытертый коврик, а хитрая немка успела сбежать.

Светало. Постель была смята, из пышных подушек плыл пух: наверное, он разодрал их, когда избавлялся от Эльзы. Она ему, впрочем, приснилась, и только. Как и Акулина. Он грустно вздохнул. Потом открыл форточку. Снег, шедший ночью, ещё не растаял, и целая улица была так прекрасно бела!

* * *

Вечером, в субботу, чисто выбритый, с идеально подкрученными усами, Мещерский повёз Ивана Петровича в театр. В Малом, недавно только открывшемся, давали нашумевшую оперу «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», в которой обе главные роли — и брата, и сестры — исполняла блистательная молодая актриса Машенька Львова-Синецкая. Приятели сидели в одиннадцатом ряду: места не бог весть какие, но вполне приличные, и простодушный Иван Петрович с любопытством разглядывал публику. Раздался третий звонок, со всех сторон зашумел нервный ветер вееров, и в самую последнюю секунду перед тем, как открыли занавес, в нависшую справа бархатную ложу вошли дама и господин. У Ивана Петровича перехватило дыхание. Свет успел осветить маленькое надменное лицо, прямой пробор в чёрных волосах, глаза бирюзового цвета с усталым томленьем внутри их. Да-да, он заметил, он сразу заметил: они равнодушные, но беспокойные, а цвет, как у моря на лучших пейзажах: не синие, не голубые, а именно морской бирюзы. В зале стало темно, ярко осветилась только сцена, где Машенька Львова-Синецкая, меняя свои парики, превращалась то в даму, а то в кавалера. Стоял за кулисами и кусал ногти, волнуясь за Машеньку, Щепкин, актёр, а рядом белели «балетные ласточки» в блистающих пачках и ждали сигнала, чтобы, закруглив свои тонкие руки, сплясать быстрый танец и вновь испариться, и кто-то, не выдержав, выкрикнул «браво», и кто-то зашикал, — о, переливалось огромное дерево жизни, дрожало, и каждый на нём самый крошечный листик горел от восторга. Хотя были в зале и те, кто, как это водится, нынче помрёт, и те, кто ещё не родился, а только стучит своим крошечным сердцем, стучит, отвлекая от музыки женщину, которая руку кладёт на живот и тут же отдёргивает, понимая, что жест этот не предназначен чужим.

Один только человек не проявил ни малейшего интереса к опере. Забыв обо всём, Иван Петрович неотрывно следил за ложей справа. Почти ничего нельзя было разглядеть внутри её, но овал маленького лица на высокой шее поблёскивал так, как мерцает своим перламутром прозрачная раковина. Наконец, закончился первый акт,

дали свет, публика неистово захлопала, похожая на молодую лошадку своими ногами в пуантах и выпуклым, немного откляченным сзади кафтанчиком, ловила букеты счастливая Машенька, а Щепкин придумывал, как бы так сделать, чтобы с ней поужинать наедине, Мещерский орал: «О богиня, богиня!»; и тут Иван Петрович увидел, что дама в ложе справа поднялась, намереваясь уйти, а чопорного вида господин продолжает медленно и гулко аплодировать.

— Скажи, Ипполит, это кто? Вон там, в ложе?

Мещерский поправил монокль.

— Мон шер, ты прости, — вздохнув, зашептал он в горячее ухо Ивана Петровича. — Прости. Не советую даже пытаться.

— Да кто это?

— Это? — Мещерский вдруг сильно смутился. — Княгиня Ахмакова. Вот это кто. Последняя стерва, моншер. Миль пардон.

Иван Петрович с силой сжал его локоть.

— Я вас вызываю! — и белая пена блеснула в углу его рта. — Не вздумай отлынивать! Ты мне ответишь! Стреляемся завтра!

Не видя ничего перед собой, он бросился вон из зала, добежал до гардеробной. Чопорный господин укутывал в бледно-голубые меха маленькую, как девочка, княгиню Ахмакову, которая в досаде кривила свои бледные губы и продолжала смотреть в никуда с прежним беспокойным равнодушием. Иван Петрович едва успел затормозить и сделал это на манер конькобежцев, которые умеют останавливаться на любой скорости, нередко ломая и ноги, и руки. Она усмехнулась слегка. Он ей поклонился покорно и низко. Чопорный господин, что-то невнятное пробормотав сквозь зубы, бросил монетку в тёмную впадину лакейской ладони и замешкался, надевая перчатки. Не дожидаясь его, княгиня первой прошла в дверь, отворённую другим лакеем, и скрылась в струящемся снеге.

На рассвете сладко спящий князь Мещерский получил записку от друга своего детства Ивана Петровича Белкина. Записка подтверждала дуэль, обозначала место дуэли и коротко изъясняла её причины. Не веря глазам, Мещерский несколько раз перечитал записку и чуть не заплакал, понявши, что этот цветущий дурак не шутил, когда его вызвал, и может быть, этот цветущий дурак сегодня лишит его жизни. Поскольку вся ссора случилась внезапно, стреляться пришлось даже без секундантов, и место пришлось выбрать самое дикое: Дьяково городище, известное глушью и тёмными штуками. Квартального там днём с огнём не найдёшь, а местные люди, кривые и злобные, сидят по домам, как по норам.

Перед самым началом дуэли у Мещерского совсем, видно, сдали нервы: он громко всхлипнул и, доставши из кармана шинели сморщенное и сгнившее яблоко, вдруг с жадностью сгрыз его, словно волчонок. И это спасло положение. Доброе сердце Ивана Петровича мгновенно смягчилось. Пользуясь отсутствием свидетелей, друзья бросились друг другу на шею и обнялись. На обратном пути повеселевший и успокоенный Мещерский рассказал Ивану Петровичу, что княгиня Ольга Ахмакова считается первой красавицей Москвы и сводит с ума всех вокруг без разбору.

— Причём, Ваня, как! Это, знаешь, не шутки! Увидит её человек — и капут. Лишается разума.

— Что значит: лишается разума? — глядя в сторону, спросил Иван Петрович.

— А вот так: лишается! — задиристо выкрикнул князь. — Кто прямо в петлю, а кто на Кавказ, иные стреляются. Двоих вот буквально недавно забрали и выслали. Сказали, в деревню, а там кто их знает? Могли и в лечебницу. Очень могли!

— А кто это был с ней в театре вчера?

— Кому же с ней быть? Князь Ахмаков с ней был. Законный супруг её, редкий мерзавец.

— А чем он мерзавец?

Мещерский вдруг сник.

— Тут, Ваня, такая история... Срам! Я тоже ведь сунулся сдуру. Ну как? Прошла мимо, шлейфом задела. Горю! В глазах, знаешь, чёртики, чёртики, чёртики... И есть не могу. Дня четыре не спал. Поехал с визитом. Выходит сам князь. Сидим, говорим. Он мне пальцем так делает, — Мещерский согнул богатырский мизинец. — Ну, я наклонился. Смеётся: «Вам жить надоело?» Я в позу, конечно: «Как смеете, сударь?» А он мне: «Бегите отсюда и не возвращайтесь. Сожрёт с потрохами». Встал с кресла и под руку вывел меня. Как мальчика вывел. До самых дверей. Ещё подтолкнул. Не помню, как даже добрался до дома. Недельку лежал на диване и пил. Потом полегчало.

Иван Петрович невесело усмехнулся. В пятом часу пополудни он подошёл к дому князя Ахмакова на Поварской. Опять шёл густой мокрый снег. Он стоял и не чувствовал холода, только глаза от напряжения стали часто-часто моргать. Через пару часов за шторами задвигались тени, и в самой маленькой, самой лёгкой из них, он угадал княгиню. Она остановилась у окна и быстрым движением поправила волосы. Иван Петрович засмеялся от счастья. В душе стало ясно, тепло, как в раю. А лучше сказать: как во храме на праздник. Она была ангелом, нежным цветком, с уставшим, загадочным взглядом. А то, что вокруг все сходили с ума, стрелялись, и вешались, и уезжали под пули чеченцев, живущих в горах простою и грубою жизнью (однако разбойники, как ни крути!) — так это ошибка, нелепость, и только! Несчастные смертные люди стремились сорвать этот нежный цветок, а проще сказать: обладать этим ангелом. Но чудом нельзя обладать, господа. Ласкать его взглядом и им упиваться, ловить излучаемый им тихий свет, — о да, это можно! Но чтобы тревожить её, добиваться или докучать ей своей глупой страстью?

Парадные двери особняка распахнулись, и вышел сначала сам князь с лицом недовольным и хмурым, а следом за ним, в драгоценных мехах, с опущенною головою, княгиня. Карета ждала их. Княгиня ступила на подножку, откинула мех и всмотрелась во тьму.

* * *

Домой он не шёл, а почти что бежал. И ночью не мог очень долго заснуть: всё думал, как быть? Под самое утро Иван Петрович задремал и увидел сон. Он стоял на дороге. Вдалеке появилась тяжёлая карета князя Ахмакова, несущаяся с бешеной скоростью и грохочущая так, что у Ивана Петровича заложило уши. Он сделал пару шагов навстречу и бросился под самые колёса. И тут его, полураздавленного, схватили какие-то люди. Они потащили его по песку, и кто-то спросил: «За белкой послали, где белка?» Его положили под деревом, и маленький зверь вроде белки зачавкал, захлёбываясь его кровью.

* * *

Проснулся Иван Петрович в страхе и даже потряс головой, пытаясь опомниться от сновидения. Нужно было вставать, идти на службу, но не было сил, и он остался лежать на постели, даже чаю не выпил. Ближе к вечеру заехал Мещерский. Застав Ивана Петровича небритого, в халате, со страдальчески перекошенным лицом,

Мещерский тут же сообразил, в чём дело, и широко улыбнулся. Кроме ямочек на щеках секрет его улыбки заключался ещё и в том, что между верхними передними зубами был заметный промежуток, и всякий раз, когда он улыбался, этот промежуток вызывал в его собеседнике уверенность, что князь — человек исключительно добрый.

— Да полно страдать, Ванька! Что ты, ей Богу! — улыбаясь, заговорил он. — Ахмаков даёт большой бал. На пользу каких-то почтовых служителей. А нам один чёрт! Пусть хоть на служителей. Зато приглашение я получил на две, понимаешь, персоны, на две!

Красные пятна вспыхнули на впавших щеках Ивана Петровича. Он вскочил и крепко стиснул друга в объятьях.

— Ну, Ваня, — вздохнул сердобольный Мещерский. — Пропал ты, как швед под Полтавой!

* * *

До бала оставалось девять дней. Всё это время Иван Петрович провёл как в чадy. На службу, однако, ходил. Деньги, присланные из деревни, до последней копейки потратил на новое платье. Утром, незадолго до события, посетил лучшего московского куафера, к дому которого стояли кареты в четыре ряда. Пришлось дожидаться. Слегка розовел хрупкий мартовский вечер. В восьмом часу пополудни за ним заехал Мещерский, надушенный и разряженный до невозможности. Иван Петрович, сильно похудевший за последнее время, в ослепительно белой рубашке с туго накрахмаленным стоячим воротничком, тёмно-синем, зауженном по последней моде фраке и пёстром галстукe, имевшем вид лёгкого шарфа, обвязанного вокруг шеи, строго и серьёзно посмотрел на Мещерского, словно приятели собирались не на праздник, а на военный совет, где нынче решаются судьбы Отечества.

Мещерский немного нахмурился:

— Представлю тебя их сиятельствам, Ваня. Ты хоть улыбнись, а то всех напугаешь.

Иван Петрович не ответил. Приехали они одними из первых. В парадной гостиной, где пол блестел так, что в него можно было глядеться не хуже, чем в зеркало, сидел князь Ахмаков и оживлённо беседовал с могучим полковником, мелко-кудрявые седые волосы которого были разложены на прямой пробор выступающими надо лбом валиками. Голос у князя Ахмакова оказался на удивление тонким, почти как у женщины. В креслах у окна немолодая дама в тёмно-лиловом платье, стесняясь того, что она так рано приехала, шепталась о чём-то с лихорадочно румяной дочерью. Завидев вошедших, князь Ахмаков приподнялся.

— Давно вас не видел, давненько, — тонким голосом проговорил князь, протягивая руку Мещерскому, и перевёл глаза на Ивана Петровича.

— Сосед по имению Белкин. Приятель и друг. В столице недавно, — представил Мещерский.

— Да, да, непременно, — разглядывая Ивана Петровича, рассеянно проговорил князь. — Жена приболела немного. *Chosesdefemmes* (женские штучки, — *фр.*). Мигрень, то да сё. Сейчас она выйдет.

Иван Петрович почувствовал, что князь сразу вспомнил, как он две недели назад едва не сломал себе ноги, когда перепрыгивал через ступеньки, желая ещё раз взглянуть на княгиню.

— А вот и она! — помрачнев, сказал князь.

Княгиня Ахмакова в белом платье на тёмно-розовом чехле, с бриллиантовой

диадемой в высоко поднятых волосах, безжизненно уронив руку с зажатым в ней веером, входила в гостиную. Слегка улыбнувшись гостям, она вдруг раскрыла объятия навстречу взволнованной даме, сидевшей поодаль в креслах.

— Ну, как же так можно, Катишь! — заговорила княгиня глуховатым и негромким голосом, от которого у Ивана Петровича перехватило дыханье. — Приехала и не сказала! А я-то всё жду тебя, жду! Что ж было так медлить? И Маше пора выезжать. Гляди-ка, совсем уже взрослая!

И, притянув к себе одновременно и мать, и дочку, она расцеловалась с обеими.

— Твоя правда, Оленька, — слезливо ответила дама. — Но дома в деревне расходов поменьше...

В соседней с гостиной большой зале послышались голоса.

— Ну вот, ещё гости пожаловали, — с досадой сказала княгиня. — Придётся идти. Мы после с тобой всё обсудим, Катишь.

Взгляд её остановился на Иване Петровиче. Он низко, точь-в-точь как в театре тогда, поклонился.

— Хочу, душа моя, представить тебе Белкина Ивана Петровича, — визгливо смеясь, сказал князь Ахмаков. — Недавно пожаловал к нам из деревни. Такого румянца у нас здесь не встретишь. Мы — люди столичные, всё бы нам кашлять...

Иван Петрович понял, что князь шутит, но так и не смог улыбнуться. Княгиня медленно протянула ему руку в длинной белой перчатке.

— Позвольте мне вас пригласить... — вдруг, не слыша себя, произнёс Иван Петрович.

— На вальс? — усмехнулась она и заглянула в крохотную перламутровую книжечку, свисавшую с веера на золотой цепочке. — Один только вальс и остался.

— На вальс, — выдохнул он.

Вальс шёл вторым танцем после бесконечного полонеза. Огромная зала быстро наполнилась народом. И все эти люди сливались в одно дрожащее пламя. Раздались первые вкрадчивые, ярко вспыхивающие звуки вальса. В них не было радости. В них была страсть, ещё осторожная, но неизбежная, немного испуганная предстоящим. Княгиня Ахмакова подняла свою худую руку и положила её на плечо Ивана Петровича. Они были третьей парой, вошедшей в круг. Несмотря на своё деревенское воспитание, Иван Петрович неплохо вальсировал, а сейчас, сжимая её талию, столь хрупкую, что даже страшно, он не танцевал, он летел, почти не касаясь паркета, и рядом летела княгиня Ахмакова. Лицо её было по-прежнему бледным, как будто стремительный танец не стоил ей и малейших усилий, однако глаза изменились, туман их рассеялся. Не отрываясь, она смотрела в самую глубину зрачков Ивана Петровича, и блеск её взгляда смешался с его, как может смешаться блеск моря и неба, когда приближается шторм.

Оркестр замер. Они остановились неподалёку от скромно сидящей у стены деревенской родственницы, рядом с которой порывисто обмахивалась веером её сгорающая от смущения дочка.

— Прошу вас, — глухо сказала княгиня, — пригласите на мазурку мою маленькую кузину. Они только из деревни и совсем никому не знакомы.

Он поклонился в замешательстве.

— И завтра, если вас не затруднит, зайдите ко мне часа в четыре. По важному делу. — Она помолчала. — По важному, слышите? Буду вас ждать.

Ивану Петровичу показалось, что он ослышался. По важному делу? Какому? Но княгиня уже отлетела от него, и он успел заметить, как незнакомый молодой

человек очень жгучей восточной наружности рванулся за ней из толпы, и как она остановила его коротким и гневным движением всея.

Что было потом, Иван Петрович почти не помнил. Радость переполняла его. Всё было прекрасным и всё восхищало. Деревенская барышня, с которой он танцевал весь остаток вечера к великому удовольствию её родительницы, вызвала в нём тёплое братское чувство. И было бы грустно, случись этой барышне так и просидеть всю весну рядом с маменькой, не сделавши партии.

Светало, когда сильно пахнувший сигарами и вином, весёлый Мещерский высадил Ивана Петровича у дома на Подкопаевском.

— Я завтра в имение еду, — сказал он. — Маман там какой-то лесок продаёт, помочь приказала с делами. Но я ненадолго, недельки на три, может, меньше.

Иван Петрович кивнул рассеянно.

Несмотря на сильнейшее возбуждение, он заснул, едва дотронувшись до подушки. Во сне перед ним заскользили какие-то сизые тени без лиц и вздрогнула музыка, но на мгновенье, потом всё затихло. Проснулся он в полдень. На улице было так ярко и солнечно, как будто пришло долгожданное лето. Прозрачное небо смотрело на снег, уже совсем чёрный и мокрый, как смотрит какой-нибудь отрок на старца, желая ему тихой лёгкой кончины.

Через два часа, тщательно выбритый и нарядный, с испуганно блестящими глазами, Иван Петрович подошёл к дому князя Ахмакова на Поварской. Она приказала: в четыре. Сейчас только два. Он стал слоняться по улице, вдыхая в себя этот острый, подобный эфиру, согревшийся воздух. Голова его кружилась, и он вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня. Нужно было найти какую-нибудь ресторацию и выпить хоть чаю. Незаметно он добрёл до Никитской, где роскошные особняки новой знати соседствовали со скромными жилищами небогатого купечества. Внимание Ивана Петровича привлёк выкрашенный в канареечный цвет слегка покосившийся домик. Над воротами его была вывеска, изображающая амура с опрокинутым факелом в пухлой руке. Под амуром чернели слова: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные. Отдаём напрокат новые и починяем старые».

Иван Петрович ахнул про себя. Ему стало жутко, хотя и смешно. Ворота приоткрылись, и вышел бочком узкоплечий, угрюмый, нахохлившийся господин, заросший оранжево-серой щетиной. Подозрительно оглядев Ивана Петровича, он двинулся вверх по Никитской, подняв воротник и кося испуганным взглядом.

«А это ведь, верно, и есть гробовщик! — мелькнуло в сознании Ивана Петровича. — Должно быть, ужасный мошенник!»

Забыв о голоде, он вернулся на Поварскую. Часы показывали без четверти четыре.

— «Пойду-ка сейчас! — подумал он. — Нельзя же минута в минуту!»

Лакей, старый, с красными, набрякшими щеками, отворил дверь и строго осмотрел разгорячённого Ивана Петровича.

— К княгине Ахмаковой, — выпалил тот. — В четыре назначено.

Глубоко вздохнув, лакей осторожно снял с него тёплый плащ и голосом тихим, покорным сказал:

— Пожалуйста, сударь.

И снова вздохнул.

Иван Петрович пробормотал «благодарю, голубчик» и пулей взлетел вверх по лестнице, не заметив огорчённого взгляда, которым проводил его слуга. Гостиная была пуста. Часы мелодично пробили четыре. И тут же послышалось сзади как будто

ребёнок вздохнул или всхлипнул. Иван Петрович живо оглянулся. Княгиня Ахмакова в белой холщёвой блузе, похожей на ту, которую носят живописцы, вся перемазанная краской, с туго заплетённой косой, простым пучком уложенной на затылке, смотрела на него в упор и не улыбалась.

— Благодарю, что выбрали время зайти ко мне, — хрипловато сказала она. — Я от скуки балуюсь живописью. Хотела бы вас написать. Портрет. Вы не против, надеюсь?

Иван Петрович растерялся так сильно, что промолчал.

— Однако я не обещаю того, что выйдет хороший портрет. — Она чуть заметно пожала плечами. — Он, может быть, даже и вовсе не выйдет. Но вы не ответили мне. Вы согласны?

— Конечно! Конечно, согласен, помилуйте! И очень польщён, я ведь не ожидал...

Княгиня его перебила:

— Вы не ожидали... чего?

Она прошла в другую, смежную с гостиной комнату, кивком предложив Ивану Петровичу следовать за ней. Он подчинился.

— А вы так покорны всегда? — спросила она. — А может быть, я вас дурачу?

— Да, может быть, — ответил он тихо. — Дурачьте, пожалуйста. Но я без вас...

— Что вы без меня?

— Я жить не смогу. Мне без вас... Какая уж жизнь?

Она посмотрела на него исподлобья, как смотрят дети, не зная, правду им сказали или нет.

— Оставьте, пожалуйста. Очень вы сможете. Садитесь сюда и снимите сюртук. Он только мешает. Приступим к работе.

Они стояли друг против друга в небольшом изящном кабинете. Перед окном белел мольберт с чистым холстом. Несколько других холстов было прислонено лицом к стене. Сквозь окно Иван Петрович увидел, как на заднем дворе работник прогуливает гнедого жеребца. На работнике ловко сидела ярко-красная поддёвка.

— Снимайте скорее. Того гляди солнце закатится, — сказала княгиня.

Иван Петрович сел на полосатый шёлковый стул и неловко снял сюртук. Княгиня подошла к нему вплотную.

— Пойдите, — сказала она и ладонями слегка повернула к окну его голову. — Вот так. И плечо поднимите немного. На небо смотрите.

Её тело в перепачканной красками белой блузе было так близко от его глаз, что Иван Петрович зажмурился.

— Откройте глаза, — прошептала она, склонившись к нему и дыша в его волосы.

Иван Петрович послушался. Она не отрывала взгляда от его лица.

— Да-да, — прошептала она. — Я знала. И я не ошиблась.

— Я раб ваш. Какие ошибки?

— Молчите! Я этаких слов не люблю.

Он испугался, что обидел её, и вскочил, не зная, как исправить свою ошибку. Княгиня отошла к окну и стала задёргивать шторы. Темно стало в комнате. Иван Петрович почувствовал такую сильную дрожь во всём теле, что, уже не сдерживаясь, шагнул к княгине и обнял её что есть силы. Дрожь сразу утихла. Княгиня не вырвалась, не оттолкнула его. Глаза её словно погасли, черты опустились. Едва дотрагиваясь, Иван Петрович поцеловал её в губы.

— Ещё, — простонала она. — Что так слабо?

Тогда он губами разжал её губы и не отпустил их. Княгиня прижалась к нему, и с восторгом он вдруг ощутил её твёрдый сосок.

— Ну, хватит! — сказала она наконец.

Быстро подбежала к окну и отдернула шторы. Закат хлынул в комнату, всё осветилось.

— Ступайте сейчас, — приказала она. — Сегодня уж поздно позировать.

— Когда же?

— Не знаю, не здесь. Уходите!

Он молча смотрел на неё, не двигаясь с места.

— Я завтра приеду сама. Я приеду. В четыре. Скажите куда?

— Приедете? Вы?

— Вы желаете этого?

Вместо ответа Иван Петрович опустился на колени и стал целовать её ноги сквозь эту холщёвую белую ткань.

Сбежав по парадной лестнице и вырвав из рук лакея свой плащ, он бросился сам не зная куда и вскоре опять очутился на Никитской. Там, в первом попавшемся трактире, с жадностью съел большую тарелку щей и выпил графинчик простой русской водки. На улице было тепло, и в небе прозрачно синели совсем уже летние тучи.

На другой день он опять не пошёл на службу, а, приказав Федорке вымести и вычистить всю квартиру, с самого утра отправился на Кузнецкий мост. Это замечательное место не опишешь словами. Не стоит и пробовать. Но если бы кто-то забрался на крышу и вниз посмотрел бы, то всё, что он видит, без всяких сомнений, осталось бы в памяти. Представьте кипучую громкую реку, в которой плывут груды белых коробок, украшенных синими лентами. И это всё люди, и люди, и люди. Но лиц их не видно. Они только пятна. Но в каждой такой мелкой, юркой фигурке как будто бы шупальца то разжимаются, то снова сжимаются. И с крыши понятно — особенно с крыши, — что всем очень хочется жить. Вот с этой огромной коробкой в обнимку, и чтобы ещё было много коробок. Прекрасное, просто прекрасное зрелище.

Иван Петрович зашёл в один из самых дорогих магазинов и спустя час вышел из него с долгом, намного превышающим всё, что ему могли бы прислать из деревни.

Часы пробили полдень. Он отпустил Федорку и, нарядный, стройный, в новом фраке и тончайшей батистовой рубашке, принялся ждать. Прошло три часа. Наконец, к дому подъехала карета с наглухо завешенными окошками. Женщина под густой чёрной вуалью вылетела из неё со скоростью испуганной птицы. Иван Петрович подбежал к двери и отворил. Переступив порог, княгиня Ахмакова, не произнеся ни слова, подняла вуаль и подставила губам Ивана Петровича бледное лицо своё. Их губы слились. Не прерывая поцелуя, наш герой подхватил княгиню на руки и бросился в спальню. Её обнажённое тело было словно выточено резцом самого искусного мастера. Каждая линия его, каждый изгиб, каждая впадинка достигали совершенства. Над левою грудью краснели три родинки. Иван Петрович только тихо стонал, глядя и покрывая поцелуями её красоту и, когда страшная сила желания достигла своего предела, они не издали ни звука. Она сокрушила их и унесла. Бог знает, как долго их не было. Когда же, уставшие, громко дыша, они разлепили тела, он со страхом заметил в лице её странное что-то. Как будто она терпит острую боль и вот-вот не выдержит и закричит.

— Что с вами? — спросил он испуганно.

— Со мною? — она закусила губу. — А что вам не нравится?

И тут же, опершись на локоть, перевела на него прояснившиеся глаза. Она всматривалась так же настойчиво, как тогда, в вальсе. Зрачки её немного дрожали. Ивану Петровичу почудилось, что этим взглядом княгиня молча требует от него чего-то, но он не понимал чего. Через минуту она вскочила с кровати и принялась одеваться. Иван Петрович с робким обожанием наблюдал, как она натянула через голову с рассыпавшимися волосами сначала прозрачное белое кружево, потом изогнулась, завязывая что-то сзади на талии, и дикая, но вполне чёткая мысль, что лучше всего умереть за неё, пришла ему в голову. Сидя на краешке развороченной постели, княгиня потянулась к ботинкам, и тут он, упав на колени, надел их на хрупкие ноги её и стал зашнуровывать.

— Вам, верно, приятно стоять на коленях? — спросила она и легонько притронулась своим каблукочком к его лбу.

— Приятно? — он вспыхнул. — Да, очень приятно. Ведь я вас, поверьте...

Она перебила его:

— Да, Боже, я верю! Вы только молчите!

— Но как же? — спросил он. — Вы — вся моя жизнь...

Она опустила вуаль на лицо.

— И не провожайте! Здесь и оставайтесь.

— Когда я увижу вас снова?

— Вы так влюблены, что готовы *на всё*?

— На всё, — прошептал он. — На всё, что прикажете.

— Увидимся через неделю. Прощайте. Старайтесь со мною нигде не столкнуться.

Я вас заклинаю: нигде.

— Но это же целая вечность!

Она не дала ему договорить. Сама отворила на лестницу дверь, взялась за перила. Прикрывшись сорочкой, он было рванул за ней. Она засмеялась:

— Куда вы, безумный? На улицу, что ли?

* * *

На исходе недели в департамент, где, с тёмными кругами под глазами, Иван Петрович уныло сидел над бумагами, ворвался Мещерский.

— Ты нужен мне срочно! — вскричал он, нависнув над ним. — Такое, брат, дело! Скорей одевайся!

Иван Петрович безропотно накинул шинель, и приятели вышли на улицу.

— Такое, брат, дело, не перебивай! — восторженно и сумбурно заговорил Мещерский. — Ты только не думай, что я негодай! И больше того: совратитель невинности! Да разве бы кто устоял? Ты слушай, молчи, а не то я собьюсь! И так голова... Хотя даже не пил! Представь себе, еду, не перебивай, и лошадь одна захромала. Что делать? Заехал на станцию. Там старый болван, станционный смотритель. «Сейчас не могу поменять, — говорит, — вон там, — говорит, — генерал дожидаются». Ну, я его, дурня, схватил за грудки, потрянул, миль пардон, как издохшую кошку, и тут отворяется дверь... Богиня! Ты слышишь? Богиня! Русалка! И ангел при этом! Глаза, Ваня, формы! А формы какие! А шея! А грудь! И это лукавство в глазёнках, чертовка! Я сразу обмяк. Выпил чаю с баранкой. Потом приказал подать рому, хлебнул. Смотрю на неё, не могу оторваться. Она замечает, смеётся. Тут входит папаша. «Пожалуйте, сударь. Лошадка готова». Ну, что было делать? Я — шмяк! И свалился. И руки раскинул, глаза закатил. Она надо мной: «Ах, ах, он умирает!» Позвали прислужницу, перетащили меня сразу в горницу. И на кровать. Лежу, виду

не подаю, что живой. Папаша без шапки тотчас же за лекарем! Тут я один глаз приоткрыл и шепчу ей: «Побудьте со мной, пока я не умру!» Она покраснела вся, слёзы блеснули: «Не бойтесь, я вас никогда не оставлю». А искры-то, Ваня! А дрожь! Так и съел бы! Держу её ручку, а сам весь плаю. Тут лекарь явился. Такая, брат, бестия! Ну, я по-немецки ему объясняю: «Прошу подтвердить, что я в сильной горячке. И нужно лежать, а не то дело плохо». А сам сую десять рублей. Зажал в кулаке, поклонился, мерзавец. «Больной, — говорит, — в ошензильной горячка. И может злучится, что всё воспалится. А это ушеошен-ошен опасно». Да точно, что всё воспалилось! Все органы! Лежу. Она рядом. Блаженство и всё тут. То морсу подаст, то мочёной морошки. Примочки меняет, на голову дует. Жрать, Ваня, охота, однако терплю. Опять этот лекарь: «Ну, что? Ви получче?» Хриплю ему, бестии, что, мол, пожрать бы, а то в самом деле возьму да помру. Плечами пожал, говорит ей: «Мамзель, ему можно дать шиденёкой каши, бульону, но только чтоб свешего, ошен чтоб свешего...» «Ну, — думаю, — сволочь! Поправлюсь — прибью!» А сам ему снова десятку в карман-то.

Мещерский перевёл дыхание. Иван Петрович слушал с интересом.

— И где же теперь эта юная барышня?

— Да где, Ваня? Здесь! Я квартиру ей снял!

— Что значит: квартиру? Ты что, к ней посватался?

— Посватался? — Князь потемнел. — Да мамаша запрёт меня, Ваня, в чулан вместе с крысами! И буду сидеть до второго пришествия!

— Но как же? Позволь... Что-то я не пойму...

— Да нечего и понимать! Очень просто. Увёз я её...

— Как увёз?

— Да ведь как... Пришёл в воскресенье я утром в гостиную. Она там сидит. А папаши-то нету. Он, старый дурак, с лошадьми разбирается. Ну, я на колени, конечно. Стою. Она испугалась: «Ах, что вы! Ах, встаньте!» Я ей отвечаю: «Не встану ни в жизни. Позвольте признание сделать». Вскочила, вся белая, слёзки на щёчках. «Да, да, говорите!» А что говорить? Сама, видать, Ваня, меня полюбила. Я ручки целую, и ножки целую. Она меня тоже в лоб поцеловала. Такая чертовка, ведь я сразу понял! Я ей говорю: «Нужно нынче бежать!» «Куда же бежать? — говорит, — а венчаться?» Ну, я отвечаю, что это — в столице. Сначала бежать, а потом уж венчаться.

— И что же она?

— Что она? Согласилась. Потом снова в слёзы: «А как же папаша? Ведь я без папаши совсем не могу!» Пришлось обещать, что возьмём и папашу. «Сперва обустроимся там, — говорю, — то сё, новый дом, — говорю, — штукатурка, и мебель придётся совсем обновить, а там и папашу возьмём...» Смотритель приходит: «А, вы уж здоровы!» Я деньги сую: «Разрешите откланяться!» Она уже шляпку надела: «Я, папенька, к крёстной. Вот князь подвезёт. Вернусь после ужина». И покатили.

Мещерский умолк.

— Ну, и что? Говори!

— Да что говорить? Сам-то не понимаешь? Приехали в Тверь. Ну, я снял бельэтаж. Гостиница — дрянь, с нашими не сравню. Поужинали. И... Ты уж сам догадайся. Наутро она говорит: «Отвечайте! Теперь я жена вам? Жена? Отвечайте!» «Конечно, жена, — отвечаю, — а кто же?» Внутри до сих пор все поджилки трясутся.

— Так ты на ней женишься?

— Как я женюсь? А жить на какие шиши?

— Негодяй.

— И пусть негодай! Пусть сто раз негодай! Но я её не совращал, ты поверь. Могла ведь сказать: «Без венца не отдамся. Извольте вон выйти, а то закричу». И я бы, клянусь тебе, Ваня, ушёл. Я разве насильник? А тут ведь как было? Разулась, разделаась. Легла. Всё сама!

— И всё-таки ты негодай, Ипполит.

— Ну вот, затвердил... Экий ты Робеспьер! Но я к тебе, Ваня, пришёл не за этим. Пойдём сейчас к ней. Это тут, за углом. И сам всё увидишь, войдёшь в положение. Квартирку хорошую снял, всё купил. Чулочки, ботиночки, шляпок — три штуки. Конфет самых лучших купил пять коробок. «Люблю, — говорит, — чиколад! Обожаю!»

Мещерский вздохнул.

— Простудилась вчера. Лежит, вся в жару. Мне доктор сказал: сотрясение нервов. Поэтому кашель. И надо беречь. «Пылинки сдувать. А не то, — говорит, — пристанет чахотка». Ты сам-то подумай! Чахотка пристанет!

— Женился бы лучше на ней, Ипполит. А то ведь помрёт, — тебя совесть замучает.

— Не знаю я, Ваня, что лучше, что хуже — маман или совесть. Маман даже хуже. Она мне теперь точно денег не даст. Наследство-то я разбазарил.

За этими невесёлыми разговорами они прошли всю Пречистинку и оказались в Штатном переулке.

— Я ей здесь, в доме купчихи Макаровой, квартирку-то снял, — бормотал Мещерский, открывши калитку во внутренний дворик весьма облупленного дома. — Ты на внешность, Ваня, не гляди, а внутри очень даже прилично.

По тёмной скрипучей лестнице они поднялись на второй этаж. Дверь отворила сонная горничная.

— Ну, что Аграфена Самсоновна? — испуганным шёпотом спросил Мещерский.

— Всё то же, — вздохнула она. — Так кашляют, страсть!

Мещерский поманил за собой Ивана Петровича, и друзья, пройдя узеньким коридорчиком в крохотную, заставленную неказистой мебелью комнатку, вошли в спальню, освещённую одной только жиденькой свечкой. На кровати беспокойно спала очень хорошенькая, темнобровая девушка с обветренными пухлыми губами и мокрыми от пота чёрными волосами, прилипшими ко лбу в виде крутых колечек. Глубокий кашель то и дело сотрясал её.

— Доктор заходил? — со страхом спросил Мещерский у горничной.

— Они заходили-с, — ответила та. — Ещё вот бумажку оставили.

— Давай. Верно, счёт, — махнул рукой Мещерский и спрятал бумажку в карман.

В эту минуту девушка открыла чёрные, ярко засиявшие глаза и протянула к Мещерскому руки.

— Пришёл, наконец, ненаглядный! — сказала она и светло улыбнулась. — А я всё ждала, всё ждала да и заснула. Ты где столько долго ходил?

— Уж разве так долго? Да всё по делам, — ответил Мещерский и обнял её.

Она изо всех сил сцепила руки на его шее, и Иван Петрович услышал влажный прерывистый шёпот, немного похожий на то, как голуби нежно воркуют друг с другом. Слезы невольно навернулись на глаза его.

— Вот, Грунечка, друг моей юности. Белкин. Пришёл на тебя поглядеть, познакомиться.

Не разнимая рук, она лукаво взглянула на Ивана Петровича и радостно вспыхнула.

— Зовут-то вас как? — засмеялась она. — Не стану же я называть его «Белкин»?

— Иваном Петровичем, — быстро ответил Иван Петрович. — Простите, что побеспокоил.

— Какое «простите»? — она снова сильно закашлялась. — Ведь он меня бросил поутру, ушёл. Сказал: по делам. А я жду не дождусь. Садилась к окошку, смотрела. Тоска! Одни только птички прелестно поют. Так тошно мне тут, Ипполит, ты бы знал! Скорей бы поправиться да переехать! Ведь мы совсем скоро с ним переезжаем. — Она вновь обратилась к Ивану Петровичу: — Вот как обвенчаемся, так заживём. Своим уже собственным домом. Папаша, наверное, там весь извёлся. Вот я говорю ему: «Милый голубчик, пока я болею, ты съезди к папаше! И сам объясни ему все обстоятельства». А он всё робеет. Так я говорю: «Папаша мой добрый! Он всё-всё поймёт. Увидит, что честный, прямой человек. Не мог поступить в это время иначе».

— Конечно, не мог, — забормотал Мещерский. — Такие теперь обстоятельства... Верно.

Грунечка несколько раз крепко поцеловала его и разжала руки.

— Мальчишка-то из ресторации был? — заботливо вдруг всполошился Мещерский.

— Мальчишка-то был, — отвечала она. — Обед мне принёс, потом груш с виноградом.

— Ты ешь виноград, это очень на пользу!

— Я ем!

И опять засмеявшись, она своей крепкой и смуглой рукой взъерошила князю кудрявые волосы:

— Всё кормит меня, как дитятю, и кормит!

— Я, душенька, скоро вернусь! Приятеля вот провожу до угла и сразу обратно, — заверил Мещерский.

— Смотри у меня! — она снова закашлялась. — А то вот я встану, да шляпку надену, карету найму, и поеду в театр! Ведь ты мне балы обещал да театры, а я всё лежу да лежу!

Иван Петрович почтительно поцеловал её длинные пальчики и откланялся.

Выйдя на улицу, он взглянул на Мещерского и не узнал его. Большое, немного бульдожье лицо старинного друга сияло от счастья. А то, что он хмурился, жестикулировал, как будто бы этому счастью не верил, отнюдь не имело значения.

— Ты завтра же с ней обвенчаешься, понял? — голос у Ивана Петровича был жёстким и настойчивым

— А ежели не обвенчаюсь, то что? Опять на дуэль меня вызовешь, Ванька?

— Не вызову. Нет. Потому что тебе нельзя умирать. Ты ей, этой девушке, нужен, мерзавец.

Мещерский схватился за голову:

— Ведь как хорошо всё пошло сначала! В Твери-то! Какой бельэтаж я ей снял! Кормил, не поверишь, одним шоколадом! И что же? Теперь непременно венчаться? Уже и Отечеству не послужить? А может, другой Бонапарт к нам нагрянет?

Иван Петрович, не ответив, резко повернулся на каблуках своих новых французских башмаков и зашагал в сторону Пречистинки.

* * *

До обещанного княгиней Ахмаковой свидания оставался один день. Вечером ему принесли две записки. На одной стояла цифра «4», и Иван Петрович понял, что она придет к нему в четыре часа пополудни. На второй размашистым почерком Мещерского было написано: «Венчаемся ночью без всяких свидетелей. Теряю рассудок. Но пусть человечество знает, что в нашем роду подлецов ещё не было».

В другое время Иван Петрович бы расхохотался, но сейчас ему было не до смеха. Завтра в четыре она будет здесь. Да как же прожить это время? Она будет здесь. Он чуть не заплакал от счастья. И тут что-то словно ударило в сердце. Чужая жена! Он любит чужую жену, он прелюбодействует с нею. И это карается смертью. Иван Петрович на секунду вспомнил Акулину, зачавшую от него, но это воспоминание было слабым, беглым и не вызвало никакого чувства. Запустив руки в свои густые кудри, Иван Петрович упал ничком на кровать и громко застонал от стеснившего грудь отчаянья. Нельзя так, нельзя! А надобно мужа оставить немедленно, и им обвенчаться, не жить во грехе. Он заметил лежащее на ночном столике Евангелие и прижал его к губам. И тут же тревога ушла. Решение созрело в душе, как зреет во тьме листвы яблоко: она всё поймёт, она с ним согласится.

На следующее утро хлынул холодный дождь. Потоки воды пошли сомкнутым строем, и улица вмиг опустела. Последнее, что разглядел в окне Иван Петрович, была какая-то горничная, стремглав бежавшая в сторону реки в одном платье, облепившем её полную грудь. Иван Петрович испугался, что непогода помешает княгине Ахмаковой сдержать обещание. Пробило четыре. Он прижался лбом к стеклу, по которому стучала разгневанная вода. Часы били пять, когда показалась карета. Он ринулся вниз. Не прошло и двадцати секунд, как, в чёрной накидке и чёрной вуали, княгиня была в его сильных руках.

Прелюбодеяние! Страшное дело, поскольку грех всё-таки грех, а не пряник. Огонь там как начал пылать, так пылает. Вот, скажем, спешите вы, милая дама, и вы, кавалер, на свидание. А пятки у вас почему-то горят. Ну, щёки там или глаза — это ладно. А пятки? Случалось такое? Случалось. Так это ведь адское пламя тихонечко уже подбирается к вам сквозь подошвы. Ну что тут сказать? Жаль мне вас от души.

Маленькая, с блестящими чёрными волосами, которые перепутанными прядями, похожими на стебли диких растений, рассыпались по её голым плечам и груди, княгиня Ахмакова впивалась ногтями в горячую спину Ивана Петровича и хрипло кричала:

— Ещё! Мне не больно!

Иван Петрович почувствовал, как солёная струйка крови побежала из его верхней губы и быстро слизнул её, чтобы княгиня отнюдь ничего не заметила. Но ей было не до того.

* * *

Дождь стих. За окном плыла ночь. Иван Петрович с нежностью смотрел, как она спит. Княгиня спала крепко, сладко, как дети, набежавшись и наигравшись в горелки. Лицо её было спокойным и ясным. Он тихо коснулся сухих её губ своими губами.

— Ах, это всё вы! — прошептала она.

Он вздрогнул.

— Прощай. Мне пора. И не провожайте.

— Когда я увижу вас?

И вспомнил, что нужно сказать ей о муже.

— Пойдите! Я не объяснил... Это важно!

Опять этот пристальный взгляд исподлобья. Как будто не верит, боится поверить.

— Нам нужно венчаться! — сказал он решительно.

— Венчаться? Нам с вами?

Она засмеялась так искренне, звонко, как будто услышала что-то смешное.

— Я бы попросила вас не попадаться ни мужу, ни мне на глаза. Обещайте.

Он не понимал ничего. Княгиня поспешно оделась.

— Пустите меня. Я и так опоздала.

— Я вас никуда не пушу!

Он быстро закрыл дверь на ключ.

Она подбежала к окну, распахнула и выгнулась телом наружу.

— Тогда я сейчас прыгну вниз!

Он сел на кровать, стиснул щёки в ладонях. Она прошла к двери, открыла её.

Он не шевельнулся.

— Прощайте, — сказала она.

— Подождите! — Он резко вскочил и схватил её за руки. — Я вас больше жизни...

Она с отвращением вырвала пальцы из потных его, ледяных, слабых рук.

— Опять вы об этом? Ведь я же просила!

* * *

Так начался ад. Сперва Иван Петрович попытался уверить себя, что всё это ему померещилось, но, восстанавливая в памяти её отчуждённую гримаску и то, как она с отвращением вырвала свои руки, он с ужасом убеждался, что княгиня разорвала их связь, и разорвала навсегда. Уверившись в этом, он принялся объяснять себе причины, по которым это несчастье могло с ним случиться. Снова и снова воображение рисовало ему их первую встречу в театре: полутёмную ложу и во глубине её это лицо, мерцающее на манер перламутра. И то, как, когда зажгли свечи, он встретил тревожный, рассеянный взгляд. Потом быстрый вальс, невесомые руки, закинутая голова с диадемой. Она ведь сама с ним искала сближения! И в дом пригласила сама. Перед глазами выросла высокая сутулая фигура лакея, который так скорбно сказал, что княгиня «ждёт вас наверху». Когда же Иван Петрович дошёл до их первого свидания здесь, в Подкопаевском, его обожгло. Она сняла всё, до конца, и бросила на пол. И стала его целовать так, как даже он не представлял себе раньше. А он-то? Ведь он задыхался, захлёбывался! Потом, проводив её, лёг на кровать, дышал её запахом, волос нашёл. Её чёрный, длинный, сверкающий волос. Да-да, всё божественным было! Безумным. Княгиня кусала его прямо в губы, впивалась до крови.

Так что же случилось? Быть может, её оскорбили слова, что нужно оставить супруга? А как же иначе? Раз браки свершаются на небесах?

* * *

Однако давайте, любезный читатель, оставим Ивана Петровича Белкина хотя бы на время. Вернёмся к Мещерскому. Услышав, что сегодня ночью нужно ехать в церковь, Аграфена Самсоновна очень быстро справилась со своим недомоганием и велела горничной как следует растереть ей грудь и спину купленным на рынке у заставы свежим свиным жиром. Потом обмоталась платком козьей шерсти, надела поверх его белое платье, заказанное на Кузнецком мосту, и, похорошев от волнения и радости, сказала, что ехать готова. Мещерский, заранее пославший слугу договориться со священником и дать задаток, надел чёрный фрак и усы надушил. Неожиданно он

обнаружил, что портмоне с деньгами оставил дома, в спальне, где прихорашивался, собираясь к невесте. До Покровки было недалеко и времени в запасе оставалось достаточно. Подъехав к дому уже с Аграфеной Самсоновной (а было часов эдак десять), князь увидел свет во всех окнах, большую знакомую карету у подъезда и маменькину горничную Арину, с недовольным видом вынимающую из кареты какой-то узел.

«Несчастнейший я человек! — сверкнуло в его голове. — Судьба мне страдать с колыбели до гроба!»

Грунечка, заметив волнение жениха, строго спросила, что происходит.

— Душа моя, — нежно сказал ей Мещерский, — поедem, пожалуй, обратно.

— Зачем? — удивилась она и сдвинула брови.

— Тут, видишь ли, маменька... Право, не знаю, чего она вдруг из деревни...

У Грунечки ярко сверкнули зрачки:

— Какая удача! Вот ты ей сейчас и представишь меня! Чай, мы не чужие!

Старый лакей, всегда сопровождавший барыню, вышел из дому и, пошевелив седыми бакенбардами, поклоном пригласил князя пожаловать внутрь. На Грунечку даже и не посмотрел.

— Душа моя, — всхлипнул Мещерский. — Я мигom, клянусь. Я туда и обратно!

— Сейчас я истерику сделаю, сударь, — ответила Грунечка. — Ведите меня к вашей маменьке.

И выпрыгнула, словно горная козочка. Мещерский вылез следом, ноги его подкашивались. Грунечка смело прошла мимо лакея, на морщинистом лице которого выразилось замешательство.

«Была не была! — подумал Мещерский. — В конце концов, завтра же и застрелюсь!»

Маменька, важная, с узким лбом и глубоко сидящими глазами, утонула в глубоких креслах.

— Ты где же гуляешь, мой друг? — ласково спросила она, не разглядев за широкой спиной сына Аграфену Самсоновну.

— Я занят по службе был, маменька, — ответил Мещерский и наклонился, целуя её руку.

Тут-то и обнаружилась незнакомая и очень миловидная барышня в белом платье, от которой распространялся вкусный запах деревенского животного. Брови родительницы подпрыгнули. Аграфена Самсоновна присела в грациозном реверансе.

— Позволь, монами, что-то я не пойму... — И маменька громко икнула.

Мещерский безмолвствовал.

— Ах, я вам, сударыня, всё объясню, — приятным, решительным голосом вмешалась красивая барышня. — Я очень надеюсь, что ваше сиятельство простит двух несчастных влюблённых, которые вынуждены были скрыть связавшие их узы страстной любви. Поверьте, столь чистой любви, что в помине такой ещё не было... Наичистейшей!

Маменька начала тяжело приподниматься с кресел.

— Кто эт-т-то? — и пальцем трясущимся ткнула в ту сторону, откуда ей слышался голос. — От-т-ткуда?

— Сегодня венчаемся ночью! — задорно ответила белая прелестная барышня. Старуха, привстав было в креслах, упала.

— Подай мне, Анисим, лавровишных капель! Подай же скорее!

Она запрокинула голову.

Лакей бросился вон и через минуту вернулся с горничной, которая принялась, сбиваясь со счёта, капать в рюмку с водой лекарство из позолоченного пузырька.

Мещерский хотел сразу выбежать вон, но Грунечка сильной рукой схватила его прямо за воротник.

— Я девушка честная, — сказала она, и ноздри её вмиг раздулись от гнева. — И мне не к лицу убежать да скрываться. Папаша мой беден, приданого нету, но счастье не в деньгах, сударыня. Вот что!

Видно было по всему, что она ничуть не испугалась.

— Не в деньгах презренных, сударыня, счастье. — И голос её, наливаясь слезами, звучал всё отчётливее: — Одна добродетель нас всех украшает. Вы можете выгнать меня за порог, где я, не имея ни крова, ни хлеба, пойду тротуары мести. И пойду! С кабацкою голью пойду! И буду мести их до самой могилы! Но вы, вы ответьте, сударыня, когда час настанет и ангел небесный, спустившись, чтобы вашу добрую душу доставить *туда*, где одно милосердие, — она подняла к потолку засиявшие сквозь слёзы глаза, — вы разве не вспомните бедную девушку, которую сами толкнули на улицу?

Маменька отвела ладонью лекарство и беспокойно заёрзала в креслах.

— Гоните меня! — продолжала невеста. — Зовите сюда ваших слуг! Пусть вытолкнут прямо под дождик. Уйду в рваном платье, босая уйду! — Она выставила, задравши подол белоснежного платья изящную ножку в дорогом башмаке. — Но он, он, единственный сын ваш, останется он без меня? Не надейтесь! Он ринется прямо под пушки, немедля, и кровью своей обогрит поле боя!

Маменька с ужасом слушала её слова.

— Прощайте, жестокая мать!

Мещерский, не выдержав, тихо заплакал.

— Пойдёмте, несчастный! — Грунечка по-прежнему крепко держала князя за воротник. — Пойдёмте отсюда скорее!

Маменька опять начала приподниматься.

— Мигренью страдаю, — забормотала она, — а тут вот какая оказия...

Грунечка подтолкнула Мещерского к двери.

— Куда же вы! — вскрикнула бедная маменька. — Ведь я не гоню вас, куда же вы, Господи!

Мещерский и Грунечка остановились.

— Дитя моё, сын, подойдите ко мне!

Мещерский, упав на колени, зарылся лицом в её юбки.

— Ну, можно ли так, — прослезилась она, — секреты от маменьки... где это видано?

— Единственно от уваженья, маман, единственно только боязнь огорчить...

— Ах, Боже, Царица Небесная! И вы подойдите! И вы! Ах ты Господи!

Аграфена Самсоновна ловко опустила на колени рядом с женихом, и тоже заплакала звонче синицы.

* * *

Два дня миновали с той минуты, как от подъезда дома на Подкопаевском отъехала карета княгини Ахмаковой. Иван Петрович в одном белье сидел на кровати и пил. На полу валялась пустая бутылка немецкой водки особой крепости и недоеденный кусок булки, а в трясущихся руках Ивана Петровича поблёскивала другая, недавно начатая бутылка, из которой он старался налить себе зелья в стакан, но руки не

слушались, и водка стекала на ноги, на коврик, на сбитые простыни. Наконец, он оставил свои попытки, обхватил губами горлышко, сделал несколько судорожных глотков и, отщипнув от булки на полу, зарылся в подушки.

Перед глазами как живая стояла княгиня Ахмакова, но не та, которая летела в его объятьях на балу, и не та, которая заставила его позировать, а та, которая лежала вот здесь, на этой кровати. Боль внутри всего существа Ивана Петровича напоминала дикого зверя, безжалостно терзающего свою жертву, однако же, как только он присасывался к бутылке, ему становилось легче, и воспоминания обретали отчётливость. Он снова ощущал, как княгиня прижимается губами к его губам и тут же впивается в шею ногтями, царапает, словно сердитый котёнок. И как она вдруг, покраснев всем лицом, толкает его прямо на пол. А если он падает, не удержавшись, она заливается смехом. Потом так ласкает, так любит! Он боли-то не замечал, он не чувствовал! Какая там боль? Однажды, ударив его по щеке, княгиня сама испугалась. Спросила чуть слышно:

— Вы сердитесь?

А он промолчал, только обнял её. Они познавали друг друга, но вовсе не так, как в деревне с крестьянкой, когда была только любовь, только нежность, — такая, что плакали оба, бывало. Нет, здесь его словно пытали! Ей, видно, хотелось его наказать. Но, Господи, он ведь ей и не мешал. Так что же случилось? Он, верно, наскучил ей, он опротивел. Она никогда не вернётся. Всё кончено. Он снова пил водку из горлышка, снова отщипывал от зачерствевшего хлеба.

* * *

Во сне Иван Петрович отворил дверь в комнату, едва освещённую тонкой свечой. Свет падал на спящую девочку. Лица он при этом не мог разглядеть. Ему стало очень неловко, что он вот пришёл в чей-то дом, и стоит, и смотрит, как спит незнакомая девочка. Иван Петрович отступил на шаг, желая как можно скорей удалиться. Самое досадное было то, что девочка могла проснуться, потому что в поисках двери Иван Петрович наткнулся на предметы и что-то всё время ронял. Вскоре он почувствовал, что кроме них двоих в комнате есть ещё кто-то. По басовитому покашливанию, время от времени доносящемуся из того угла, где была печь, Иван Петрович определил, что за печью прячется мужчина, который нетерпеливо ждёт его ухода. И девочка, кажется, тоже не спит, а лишь притворяется. Иван Петрович подошёл ближе к кровати. Прозрачный полог был откинут. Он сразу увидел знакомые, чёрные, разбросанные вокруг личика волосы. Ей было не больше одиннадцати. Послышался грубый решительный кашель, и тот, кто скрывался за печкой, направился к ним. Иван Петрович сжал кулаки, готовясь защитить ребёнка, но вдруг провалился куда-то, барахтаясь, покрылся холодным, как зимний дождь, потом...

* * *

За окном было утро, слышался стук повозки. Иван Петрович подошёл к окну, настежь распахнул его. Ему всё хотелось вернуться в свой сон, чтобы разглядеть в нём *того* человека. Но всё расплзлось, мигало, слезилось. Он вновь потянулся к бутылке. Послышался голос Мещерского:

— Дома? — спросил он Федорку.

— А где же им быть? Очень дома-с. Лежат, — ответил тот.

Румяный, с глазами навывкате, Мещерский, смеясь, шагнул в комнату. Тяжёлое зрелище пьяного, растрёпанного Ивана Петровича так ужаснуло приятеля, что он замер на пороге. Потом крепко обнял его.

— Да что же ты, Ваня! Да я и не знал! Послал бы мальчишку... хотя бы уведомить... Иван Петрович молчал.

— Что, друг мой? Княгиня Ахмакова?

Иван Петрович стиснул зубы.

— А я ведь тебе говорил! Я знал ведь! Куда же ты, Ванька, полез!

— Постой, Ипполит, — забормотал Иван Петрович. — Тут, верно, ошибка какая-то... Право... Её, видно, очень когда-то намучили. Теперь она мстит. Я уже разгадал. Другим невдомёк, только я разгадал! Я верю всем сердцем, что можно спасти... Но только любовью, одною любовью!

— Какою любовью? — Мещерский вздохнул. — Езжай-ка обратно в деревню, моншер... Мы с Груней тебя до деревни проводим, один не доедешь!

— Нет, я не уеду! Я должен увидеть... Я должен сказать, объяснить ей! Мой долг... Скажу, что не местью, не злом, а любовью...

Мещерский задумался:

— Голицын в субботу даёт маскарад. Поедешь, увидишь её, объяснишься.

* * *

В огромный, заново отстроенный после московского пожара дворец князя Голицына съезжались гости. Перед каретами был разостлан красный ковёр, и величаво, хотя и с заметным возбуждением, шли пары к парадным дверям. Зеркала ловили голые плечи, припудренные лопатки и — с явным бесстыдством — высокие груди, в которых взгляд просто тонул. По всему дворцу были расставлены цветущие тропические растения, душистые дымы поднимались из курильниц, и только казалось невинному зрителю (случись там хоть кто-то невинный!), что это Эдем, это рай возвращённый, — нет, это был ад, полный тёмных соблазнов, и если ты даже случайно дотронулся до чьей-то оборки на платье, до розы, приколотой к кружеву, — ты кончен, погиб.

Трезвый как стёклышко, высокий и ладный собою Иван Петрович Белкин стоял наверху, прислонившись к колонне. Нынешний маскарад был патриотического направления, приветствовался стиль а ля рюсс, так что каждому из приглашённых нужно было непременно иметь в своём костюме какую-нибудь древнерусскую чётточку. Волнистые белокурые волосы Ивана Петровича были расчёсаны на прямой пробор, а шёлковая ярко-голубая рубашка навывпуск украшалась пёстрым пояском. Маску, которую не позволялось снимать до самого окончания бала, Иван Петрович забыл надеть по рассеянности и сейчас крутил её на указательном пальце правой руки. Да что толку в маске? Все знали друг друга, все всех узнавали. Тут разве укроешься? И что нам скрывать, это ведь праздник жизни, её именины, день доброго ангела! Когда ещё вечность накроет нас, грешных, холодной ладонью? А может, она никогда не накроет?

Иван Петрович, наконец, увидел тех, кого ждал и высматривал. Князь Ахмаков и его жена были одеты крестьянами. На князе была сермяжная рубаха, скромно усыпанная по вороту мелкими драгоценными камешками и вышитая серебром. Длинное лицо князя скрывала маска румяного сеятеля с приклеенными к подбородку кудрявыми, как шерсть у барана, широкими прядями. Княгиня, жена, ему не уступала. Сиреневого бархата длинный, тяжёлый, открытый до самой груди сарафан, под ним ярко-белая тонкого шёлка сорочка со стянутыми у кистей рукавами, тугая, до самого пояса коса с вплетёнными нитями жемчуга и лапти, в которых её почти детские ноги едва прикасались к блестящему полу. В дверях танцевальной залы гостей встречали

князь Голицын с супругою. Сам хозяин выступал в роли сокольничего: жёлтый кафтан, перетянутый синим кушаком, выгодно подчёркивал мужественное сложение тела, шапка, отороченная седым волком, не скрывала высокого лба, а в прорезях маски блестели глаза насмешливого и лукавого толка. Жена его, женщина пышная, крепкая, предстала гостям величавой боярыней в богатом, из белой парчи с чёрным мехом, парадном наряде и белом платке, увенчанном кокошником. По случаю патриотического характера праздника иноземные танцы были заменены на только свои, любезные сердцу народные пляски. Традиционный польский, который спокон веку принято было исполнять как церемониальный проход по всей зале под торжественную музыку, сочинённую господином Козловским, сменился задорной, свободной игрой с налётом той маленькой хитрости, которая и отличает всех русских от прочих народов.

Под звуки гимна «Гром победы раздавайся» гости принялись весело кружиться, толкаться, а некоторые кавалеры и вовсе обхватывали свою пару с излишнею вольностью. Однако же главной целью зигзагов и всех фамильярностей было другое: поскольку любой кавалер точно знал, кто именно и под какой пляшет маской, хотелось не просто толкаться с невзрачной и наспех подобранной женщиной, а заполучить непременно красавицу. Иван Петрович с болью наблюдал за тем, что происходит вокруг княгини Ахмаковой. Боярам, опричникам, пахарям, воинам, толпившимся возле неё, не терпелось схватить её за руку, притиснуть покрепче к себе, а получится, так даже и дёрнуть за кончик косы. (Небось, они дёргали девок-то за косы, дремучие русичи али дреговичи.)

Как только закончился первый танец, Иван Петрович быстро подошёл к немолодой, судя по её увядшим плечам, царевне и пригласил. Весёлое бешенство им овладело. Он начал крутить со всей силы царевну, которая, будучи в шёлковом платье, а сверху ещё в жаркой лисьей накидке, мгновенно вспотела, и пот полил градом из-под парика. Ничуть не заботясь о том, что несчастная могла помереть от такого веселья, он резким рывком бросил бедную женщину почти в самый центр задорной игры, где кто-то, одетый в костюм запорожца, стоял на колене и руку в перчатке с раструбом протягивал княгине Ахмаковой. Ничего не соображая, Иван Петрович оттолкнул запорожца и обнял княгиню за талию, она положила ему на плечо свой шёлковый белый рукав, и стремительно, расталкивая смотревших на них, повлёк её к самым дверям. Бог знает, что было бы, но запорожец, вскочивший с колен, перекрыл им дорогу.

— Вы кровью, вы смоете кровью...

Он снял с лица маску. Иван Петрович тотчас же узнал в нём восточного красавца, который на вечере в доме Ахмаковых как умалишённый рванулся к княгине и был остановлен движением веера.

— И вы, и вы смоете! — сказал он в ответ.

Княгиня же, освободившись из жарких объятий Ивана Петровича, исчезла так, как исчезала всегда: растаяла в воздухе. В толпе гостей началось замешательство. Голицын, танцуя с женой в первой паре, заметил, что пахнет скандалом, жену подтолкнул к новгородскому витязю, а сам, обхватив запорожца за плечи, покинул с ним залу.

Иван Петрович бросился вниз по широкой лестнице и пешком дошагал до Подкопаевского, подставив лицо умилённому ветру. Он понимал, что утром последует вызов, и был очень счастлив. Ничего другого, кроме смерти, он уже не хотел. Хотел ли он смерти своему противнику, трудно сказать. Сначала-то: да. Но чем больше

он думал о том, что связывало запорожца с княгиней Ахмаковой, тем больше жалел его. Ведь этого бедного малого тоже щипали и били, кусали, толкали, а он всё терпел! И тоже лишился рассудка, подобно Ивану Петровичу.

* * *

В половине седьмого утра зазвонил колокольчик. Федорка, почёсываясь, пропустил в квартиру белобрысого веснушчатого офицера, который назвался бароном Фридериксом и сообщил, что имеет честь быть секундантом господина Азарина. Он начал было оговаривать условия дуэли, но Иван Петрович вежливо остановил его, сказав, что со всем заранее согласен и просит только несколько времени, чтобы слуга успел отнести записку князю Мещерскому, которого он намерен просить быть секундантом с его стороны.

* * *

Ни о чём не подозревая, князь Мещерский сладко спал в объятиях законной жены своей Аграфены Самсоновны. Если бы ещё неделю назад кто-нибудь сказал князю, что можно быть счастливым и в законном браке, он в рожу бы расхохотался лгунишке! И вот вам сюрприз. Да ведь, чёрт подери! Отнюдь ничего нет приятнее. Вотходишь ты в спальню, а там на кровати, в распушенных локонах, спит твоя Грунечка. Вернее, не спит, ждёт тебя не дождётся. А ласки такие, что нет конца-края. Законные ласки! Спешить-то некуда. Потом разговоры. Положишь ей руку под голую спинку и ну рассуждать! Светилы, кометы, науки новейшие. Политики тоже, бывало, коснёшься. Она ведь, голубка, газет не читает. Вчера, например, пошутил, усмехнулся: «Такие, душа моя, дни наступают, что скоро и мне воевать предстоит. А ну как ноги я лишусь, что ты скажешь?» Она побледнела, ответила твёрдо: «Ноги или двух, я с тобой до могилы». Вот так и ответила, аж прослезился.

Вчера же сказала, что скоро всем домом поедут на воды. Поскольку сейчас все туда собираются: нельзя без Европы. Ну, воды так воды. Как скажешь, голубка. Потом, говорит, нужно ехать к папаше: пускай он в Москве, говорит, обоснуется. Хорошее дело, пускай обоснуется. А то ведь сопьётся, бедняга, от горя в медвежьем углу-то. Да точно: сопьётся. Когда же они наконец замолчали и Грунечка первой заснула, и личико раскрылось губами, ресницами, веками, и локоны сбились, и в горле под кожицей забилась какая-то нежная венка, он тихо, почти не дыша, взял в ладони цветок сей, подаренный Господом Богом, и тоже заснул.

* * *

Нелепый и горький сон приснился князю Мещерскому. Он увидел своего друга Ивана Петровича Белкина в том нежном возрасте, когда они играли в пятнашки, будучи соседями. Восемилетний Иван Петрович в хорошенькой белой рубашечке бежал по цветущему лугу с сачком, ловя очень странную бабочку. Всмотревшись, Мещерский догадался, что это совсем и не бабочка, а кто-то, похожий на мелкую птичку, но только со злыми глазами. Она и вела себя как-то зловеще. Давала невинному мальчику приблизиться почти что вплотную и тут же, взмахнув сине-чёрным крылом, взлетала до неба. Заливаясь слезами, Иван Петрович не сдавался, а бежал за ней и часто падал, споткнувшись. Хорошенькая рубашечка его позеленела от травы и была вся перепачкана землёй. Когда же он упал в очередной раз и не поднялся, дворовые люди сбежались к нему и тут же отпрянули: ребёнок был мёртв.

* * *

Мещерский проснулся в холодном поту. Грунечка ещё спала, но солнце уже сильно било сквозь шторы. За дверью спальни слышались знакомые шаркающие шаги лакея Кузьмы Кузьмича.

— Будить не положено, — строго сказал кому-то Кузьма Кузьмич. — Вчера очень поздно легли-с.

Мещерский накинул халат с золотыми кистями и вышел. Кузьма Кузьмич сообщил, что незнакомый господин дожидается его в гостиной, и протянул карточку. Мещерский решил, что можно к незнакомому господину выйти как есть, то есть в халате, и, растопыренными ладонями пригладив перед зеркалом волосы, поспешил в гостиную. Белобрысый военный с маленьким, усыпанным веснушками лицом, представился и заявил, что имеет честь быть секундантом господина Азарина в предстоящей завтра дуэли господина Азарина с господином Белкиным. В эту минуту опять появился Кузьма Кузьмич и протянул Мещерскому только что доставленную записку: «Любезный мой друг! Умоляю тебя, не отказывай».

Вспомнив свой сон, Мещерский сначала немного попятился, но потом, стараясь унять дрожь в руках и ногах, сказал, что согласен. Оговорили условия: стреляться на десяти шагах, и если после первого обоюдного выстрела ни один из противников не будет убит или ранен, оружие перезаряжается и каждый из дуэлянтов получает право второго выстрела. Встретиться порешили недалеко от деревушки Помираньино в маленьком леске. Мещерский осмотрел и пистолеты, принесённые веснушчатым: новенькие и чудо как хороши.

Не успела захлопнуться дверь за неприятным гостем, как князь, стуча зубами, бросился обратно в спальню и нырнул к Грунечке под одеяло.

— Что ноги как лёд? — спросила жена сонным голосом. — Босым, что ли, бегал?

— Какое «босым»! — отвечал Мещерский. — Тут, Груша, такое творится, что страсть!

У Грунечки вспыхнули глазки:

— Где, где такое творится?

— Не смею сказать! — испугался Мещерский. — Поскольку не женское, душенька, дело!

Тут-то и выяснилось, что князь совершенно не знал женщин. Вернее, он знал, но с другой стороны. Не прошло и трёх минут, как Аграфена Самсоновна вытащила из него все подробности предстоящего поединка, включая и время, и место, и род пистолетов. После семейного, вместе со счастливой маменькой, завтрака, за которым он съел, однако, два свежих калача с маслом и выпил чаю со сливками, Мещерский поспешил к Ивану Петровичу на Подкопаевский. В прихожей его встретил хмурый Федорка.

— Будить не велели.

— Как так «не велели»? Да он ведь не спит!

— Не знаем-с, — ответил Федорка. — А только просили их не беспокоить.

Мещерский поплёлся обратно.

Иван Петрович и в самом деле не спал. Он мерил свою весьма скромную спальню большими шагами, и мысли, которых он прежде не знал, бежали навстречу ему, словно волны.

«Да разве же это так страшно? — шептал он себе самому. — Зачем люди смерти боятся? Когда здесь одни лишь грехи да ошибки? Хотелось бы, чтобы всё было как в детстве. Когда я любил всех вокруг и жалел. Но я тогда не понимал ничего, поэтому радовался и смеялся. А нынче? А нынче я всё понимаю. И мне теперь жить стало больно. Да, больно! А будет ещё и намного больней!»

Он вспомнил княгиню Ахмакову.

«А ей? Ей не больно? Она-то за что так страдает? Ей все отвратительны, все ненавистны, а нужно терпеть, нужно мину держать! Она закрывала глаза, когда я набрасывался с поцелуями. Она закрывала глаза! Ей, верно, казалось, что я, и Азарин, и все остальные, — мы все одинаковы! И всем нужно только одно: её тело! А тот, кто её так намучил тогда... Когда она девочкой, маленькой девочкой... Я знал это всё! Я ведь всё это знал!»

Слёзы душили его, но они не были слезами отчаяния, как раньше. Напротив, что-то самое важное приоткрывалось Ивану Петровичу. Он уже свыкся с мыслью, что завтра умрёт, и это позволило ему заново ощутить красоту и величавую обречённость всего на свете. Раньше, когда он мучился, не понимая, за что княгиня так обошлась с ним, — он был в тупике, был в капкане, но нынче, когда он почувствовал, что и она несла в своём сердце такую же муку, ему стало проще. Теперь он мог думать о ней с состраданием и всё ей простить. Он видел её прямо перед собою: то пёстрые лапти, то чёрную косу, то как она с милой, внезапной готовностью ему подала свою руку... А этот несчастный Азарин? Он точно решил умереть. Но он ничего ведь не понял, он зол, ему всё равно, кому мстить и зачем. Всё, о чём думал Иван Петрович, его прожигало насквозь, прожигало, душа содрогалась от жалости, словно её топором разрубали, как ствол.

— А было бы ведь хорошо, коли взять да и описать это в книжке! — воскликнул он вдруг. — Такие хорошие есть сочинители, а пишут они ерунду да неправду!

* * *

День клонился к вечеру, когда, нахлобучив на лоб шляпу и обмотавшись модным шарфом, он вышел из дома, чтобы напоследок прогуляться по московским улицам. Привычный маршрут привёл его на Никитскую, и он снова остановился перед канареечного цвета покосившимся домиком с вывеской, на которой пухлый Амур держал опрокинутый факел. Окошко было открыто, и Иван Петрович заметил уже знакомого ему небритого и мрачного господина, который вприкуску пил чай, громко дуя на блюдечко. Во глубине комнаты стояло несколько отлакированных гробов, а венок с траурными лентами был косо подвешен на гвоздик.

«Как можно заснуть в такой комнате? — Ивану Петровичу стало неловко. — Наверное, сны ему снятся ужасные... Покойники эти... Бедняга какой!»

Пошёл мелкий, как бисер, дождик, и он поспешил домой, чтобы написать матушке прощальную записку и попросить у неё прощения. Спать в эту ночь он, разумеется, не смог, а записку так и не написал. Слова выходили пустыми, фальшивыми. В половине пятого за ним заехал бледный и насмерть перепуганный князь Мещерский. Они прибыли на место назначенного поединка первыми, но не прошло и минуты, как за деревьями мелькнули три фигуры: барона Фридерикса, Азарина и врача, которого Фридерикс настоятельно попросил присутствовать, поскольку встреча предвещала только кровь и ничего другого. Секунданты отмерили десять шагов.

— Господа, — дрожащим голосом произнёс Мещерский. — Нашей обязанностью является ещё раз предложить вам помириться и не...

— Нет, нет! — тут же вскрикнул Азарин. — Не может быть речи о мире!

Они сблизились на несколько шагов и остановились, глядя друг другу в глаза. Иван Петрович увидел табачного цвета желтизну под нижними веками Азарина, запавшие щёки его... Оба начали медленно поднимать пистолеты.

— Стреляйте! — испуганно гаркнул Мещерский.

Ни одного выстрела не последовало.

— Вы, верно, хотите скорей умереть? — негромко промолвил Азарин.

— И вы, смею предположить, вроде тоже?

Ивану Петровичу вдруг показалось, что враг его начал как будто слоиться: с обеих сторон появилось ещё два Азарина, потом ещё два. Азариных стало великое множество, и все они целились, но не стреляли.

— Я вам не доставлю сего удовольствия, — сказал самый главный Азарин и выстрелил в сторону.

Иван Петрович, желая сделать то же самое, небрежно прицелился в одного из боковых Азариных, но тут вдруг послышался грохот колёс. Карета остановилась на опушке за деревьями. Из кареты с криком выскочила женщина с опущенной на лицо вуалью. Мещерский схватился за голову, а не перестающая кричать женщина откинула вуаль и обернулась Аграфеной Самсоновой.

— Ради Бога, остановитесь! — она уцепилась за ветку руками, сломала её, ветка жалостно хрустнула. — Да как же? Да разве возможно такое?

Иван Петрович и Азарин не сговариваясь опустили пистолеты.

— Вы лжец, князь, вы дома ответите! Ведь я поняла, сразу вас раскусила! Подумайте, он притворяться изволил! «Пойду в кабинет, мне бумаги доставили...» Кому врать затеял, негодник ты эдакий!

Барон Фридерикс приосанился:

— Позвольте, сударыня, здесь, так сказать, решается честь...

Иван Петрович расхохотался так громко, что птицы, притихшие от ожидания, запели на все голоса.

— Я отказываюсь от своего выстрела, — сквозь смех выговорил Иван Петрович. — Прошу извинить меня, я был неправ.

Азарин густо покраснел.

— Ежели бы я вас сейчас лишил жизни, то не наказал бы, а очень обрадовал, — сказал он, слегка заикаясь. — Какой же мне прок в этом? А никакого. Мы оба пришли сюда только за смертью. И оба наказаны.

Иван Петрович слегка поклонился ему, Азарин ответил таким же поклоном. Мещерский был страшно сконфужен:

— Поверь, Ваня, не виноват совершенно! Совсем невозможная женщина вышла! Клещами из сердца, поверишь, клещами! Теряю с ней голову, не возражаю...

Иван Петрович подошёл к «невозможной женщине» и поцеловал ей руку.

* * *

Деревня ничуть не изменилась. На каждом предмете лежало смирение. Диванные подушки, вышитые рукой матушки, немного потёрлись, но сколько добра было в нежных цветах на шёлковом фоне и сколько уюта во всём остальном: семейных портретах на стенах гостиной, сухарнице с рыхлым обломком бисквита и в том чуть дрожащем узоре ветвей, который ложился поутру на стены. Матушка Ивана Петровича при виде своего худого и измученного сына сначала заплакала, оторопела, но вскоре решила, что это пройдёт, а надобно браться за дело. Теперь у неё не было ни одной

свободной минуты: денно и ночью пеклись пироги, ошипывались безголовые куры, взбивались густые холодные сливки. Приказчик с утра скакал в город за финиками, конфетами, сахарными головами и, главное, сыром, немного вонючим, который везли из чужих государств. Заметив вокруг себя эти заботы, Иван Петрович призвал к себе в кабинет матушку вместе с экономкой Анисьей Захаровной. В кабинете он строго, но ласково объяснил им, что нет никакой нужды беспокоиться и ежедневно гонять лошадь в город, поскольку он чувствует, что его силы уже возвращаются.

Теперь он старался как можно больше спать, потому что княгиня Ахмакова изредка приходила к нему во сне, и для того, чтобы увидеть её, Иван Петрович как следует прикладывался к домашней настойке, которая содержала изрядное количество сахара и быстро клонила ко сну. Пристрастился он также и к водке, которую у них в доме издавна различали по цветам. Так, водка синего цвета получалась благодаря настаиванию на васильках, зелёная — на немецкой мяте, красная — на чернике, а самая вкусная, по мнению Ивана Петровича, фиолетовая — на подсолнечных семенах. Отуживав в обществе матушки, Анисьи Захаровны и доброго соседа, друга покойного отца его, помнившего Ивана Петровича ещё младенцем, он целовал у матушки ручку и, прихватив с собой бутылку, весёлой походкой, рассеянно улыбаясь, поднимался вверх. Там он ложился на кровать, за полчаса бутылка пустела, и когда Федорка приходил раздевать барина, он видел неизменно одну и ту же картину: крепко спящий, покрасневшийся барин лежал на спине с приоткрывшимся ртом, лицо его было при этом счастливым.

Прошло две недели. Иван Петрович сказал себе, что надобно навеститься в Нефёдово и постараться увидеть Акулину, к которой он уже не испытывал любви, но совесть подсказывала, что нужно пойти дать ей денег, спросить, кого родила она: сына или дочку... В среду пополудни Иван Петрович сел на лошадь и шагом направился к полю. Вскоре его обогнала телега, поднявшая тучу пыли. На телеге, запряжённой в старую, с облезлыми боками, но быстро бегущую клячу, сидела его Акулина. Младенец, прикрытый какой-то тряпицей, сосал её грудь. От солнца, стоявшего в самом зените, большая, наполненная молоком грудь, высвободившись из разреза рубахи, казалась почти золотой, а локоть ребёнка на фоне её был чуть-чуть бледнее и тоже светился. Акулина сидела боком, и Иван Петрович хорошо разглядел её загорелое лицо, опущенные ресницы и низко, почти над бровями, повязанный бабий платок. Пахом правил лошадей. Рубаха его была тёмной от пота. Акулина, казалось, и вовсе не заметила Ивана Петровича, не взглянула на него, она только ниже склонилась к младенцу и тихо запела:

Прежестокая-а-а судьбина-а разлучила
Нас с тобой...
Я-то плакала, стонала-а-а-а,
Густы волосы-ы-ы рвала-а-а...

Телега свернула налево к деревне. Иван Петрович спрыгнул на землю, приставил ладонь козырьком, стоял и смотрел. У них — у Пахома, младенца и женщины — была своя жизнь. И жизнь эта мягко прошла стороною, как туча, бывает, проходит по краю налившихся солнцем далёких небес.

* * *

Вернувшись домой, Иван Петрович сразу побежал к себе наверх, крикнув матушке, что есть у него неотложное дело и он отобедает позже.

Когда он придвинул к себе лист бумаги, чернильницу, взял перо в руки, тоска его вдруг отступила. Он начал писать. Сперва осторожно, пугливо и робко, потом всё быстрее и всё веселее. Когда он дошёл до белил мисс Жаксон, которыми Лиза намазала щёки, то начал смеяться, допил всю наливку и сразу заснул. Проснулся — уже рассветало. К обеду рассказ был готов. Однако чего-то в нём недоставало: не то пары слов, не то яркой детали... Окно было настежь распахнуто. Анисья Захаровна в пышном чепце учила курносую девочку:

— Скажи, что сегодня ботвиньи не нужно. А пусть бланманже изготавит, пирожного. И скажешь, чтоб синего и полосатого. А красного пусть изготавит на пробу. А то прошлый раз оно страсть как горчило...

Иван Петрович со звоном захлопнул окно, быстро отыскал нужную страницу и приписал: «Сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное бланманже, синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился».

Иван Петрович отложил перо в сторону и задумался. Глаза его вдруг посветлели.

— А мне что за дело до вашей тоски? — спросил он себя самого. — Хотите страдать? И страдайте на милость. Не трогайте их! Пусть играют в горелки.

* * *

С этого утра началась новая жизнь. Надев высокие сапоги, он уходил в лес и там, лёжа в мягкой траве, вспоминал. Потом возвращался домой и обедал. После обеда матушка с Анисьей Захаровной отправлялись на балкон, с которого виден был небольшой пруд. На поверхности его дрожали от солнца кувшинки с пунцовой их сердцевинкой и белыми, снега белее, краями. Продолжая начатый за обедом разговор, Анисья Захаровна принималась за разматывание пёстрых клубков, а матушка за своё вышивание.

— Намедни я ихнюю ключницу встретила. Вот это беда так беда! Ведь сохнет она, Марь Гавриловна, сохнет!

— Вот так прямо сохнет?

— А как же иначе? Когда уже пять лет обвенчана, а с кем, никому не известно.

— А всё потому, что жила своей волей. Родители разве худого желали? Теперь не жена, не вдова, не невеста! А я её девочкой помню! Резвущкой! — И матушка стряхивала слезинку.

— Позвольте, позвольте! — и красный (не то от заката, а может, от крепкой вишневой настойки) Иван Петрович выходил на балкон. — А вы мне ведь этого не рассказали...

— Да что тут рассказывать, батюшка мой? — вздыхала Анисья Захаровна. — Родители — люди богатые, смирные, а дочка влюбилась в соседа. А там, доложу я вам, бедность ужасная. Отец его мот был, картёжник, все деньги на карты спускал. Ну, сын и приехал дела поправлять. А что там поправишь? Ужасная бедность. Увидел он где-то Марью Гавриловну, а ей и семнадцати лет не исполнилось. Влюбились друг в дружку, он вскоре посватался. Родители, ясно, ему отказали. Решили тогда эти наши любовники бежать от родителей и обвенчаться. А снег был, метель! Ну, он и заблудился! Поехал один, кучер дома остался. Она, моя душенька, ждёт его, ждёт, а

он по оврагам плутает, бедняжка! А тут, значит, кто-то проезжий случился. Запутался, выехал на огонёк. До церкви добрался, аж закоченел. Зашёл, весь в снегу, лица не разглядеть. Она чуть живая стоит, свечку держит. На всю эту церковь три свечи горят. А шафер, мальчишка один желторотый, торопит, заждался, не знал уж, что делать. Ну, этот гусар — он гусар вроде был — встал рядом с невестой, и их обвенчали. А как дочитали молитву, и надо им, мужу с женой, значит, поцеловаться, тут и обнаружилось... Ох, горькое горе! Беда-то какая. Он, грешный, шинельку накинул и дёру! А Марья Гавриловна долго болела... Боялись, не выживет. Встала, однако. Отец вскоре помер. Она, как он помер, покаялась матери. Та всё приставала к ней да приставала: «Пора, Маша, замуж, что в девках сидеть?» Ну, Маша ей, значит, всё и рассказала.

— А где же жених настоящий? Он жив?

— Какое там жив! Две недели прошло, пока мужики откопали. Замёрз!

— Вот это судьба! — он немного нахмурился. — Какая, должно быть, судьба несчастливая!

— Да счастью-то взяться откуда, Ванюша? — вмешалась доселе молчавшая матушка. — Вот разве что только гусар вдруг объявится...

— А он и объявится! Право, объявится! Вы, матушка, просто как в воду глядите! Премного обязан, Анистья Захаровна! Рассказ меня ваш очень тронул, однако! Пойду отдохну, ночью спал весьма скверно.

* * *

Целую неделю Иван Петровича никто, кроме Федорки, не видел. Сидел у себя наверху. Гулять не ходил, не спускался к обеду. Писал, перечёркивал, снова писал. Они по ночам приходили к нему, он слышал их смех, и сам тоже смеялся. Азарин, похоже, погиб под Скулянами. Смотритель, старик, тихо спился и помер. А синее, красное и полосатое несли в запотевших ставках. Играли в горелки. Ему самому страшно нравилась эта самим же им и сочинённая жизнь. Он, впрочем, всё время был несколько выпивши, но это отнюдь не мешало. Когда Алексей, схватив за руку Лизу, признал в ней свою Акулину, он даже заплакал от радости. Так плачут отцы, когда им объявляют, что всё хорошо и родился ребёнок.

На восьмой день вздохмаченный Иван Петрович поставил точку в особенно полюбившемся ему сочинении «Барышня-крестьянка» и спустился вниз. На столе лежало письмо. Иван Петрович узнал руку Мещерского.

Милый мой, бесценный друг, — размашисто писал Мещерский, — ради Бога, прости, что долго не подавал о себе известий, но и ты тоже хорош: уехал и из сердца вон. Пишу тебе нынче с большой печалью, понимая, как должна огорчить тебя эта новость. В пятницу, шестого августа, скончалась княгиня Ольга Александровна Ахмакова. Никто толком не знает причину её скоропостижной смерти, но слухов ходит много. Говорят, что она была на четвёртом месяце и ночью выкинула. Смерть же произошла от большой потери крови. Эта версия, к сожалению, сопровождается гадкими домыслами. Говорят, что княгиня, якобы, отравилась ядом, который достала через иностранца, бывшего в Москве проездом. Она, как утверждают, писала его портрет. Никто не знает, куда уехал этот господин, но на следующее после кончины княгини утро его уже не было в городе. Странная, совсем никому не понятная история! Вот какую грустную новость вынужден я сообщить тебе, милый. От всей души надеюсь, что ты не станешь слишком долго убиваться, а примешь это как полагается истинному христианину. О себе же, Ваня, могу сказать только одно: какое мне досталось сокровище в лице ненаглядной моей супруги Авдотьи

Самсоновны! Я слишком даже понимаю, что ничем не заслужил такого счастья, поскольку был грешен и...

Дальше Иван Петрович читать не стал, а старательно разорвал письмо вместе с конвертом, открыл печную заслонку и зарыл клочки в золу. Закончив, он почувствовал облегчение, твёрдыми шагами пересёк комнату, вышел на крыльцо и направился прямо к конюшне, где резвый молодой жеребец с восторгом заржал при его появлении. Иван Петрович ловко вскочил в седло, потрепал жеребца по шёлковой крепкой шее и шагом вышел на просёлочную дорогу. Она была бледно-лиловой от сумерек. А как хорошо, как свободно дышалось! Иван Петрович посмотрел на небо, где то и дело пробегали зарницы. Вся кровь отлила от его головы.

— Господи! — прошептал он. — Не оставляй меня.

И тут же увидел княгиню Ахмакову. Она шла навстречу ему в сарафане, коса была полураспущена. Подойдя, она виновато улыбнулась Ивану Петровичу и осторожно взялась рукой за повод. Он склонился с седла и ласково погладил её ладонью по голове. Её ярко-чёрные волосы слегка были влажными.

— Ты, верно, попала под дождь? — спросил он.

Она только тихо кивнула.

— Пора нам домой, — сказал он. — Теперь-то ты любишь меня?

Она не ответила, вновь улыбнувшись своей виноватой улыбкой.

— Ведь я говорил. Что ж ты раньше не верила?

Иван Петрович спрыгнул с коня, чтобы обнять княгиню Ахмакову, прижать её к сердцу, потому что виноватая улыбка на её детски-смущённом лице в нём вызвала боль и раскаяние, но не успел: хлынул дождь. Он хлынул так яростно, бурно, безжалостно, что сразу исчезло и поле, и лес вдалеке. Иван Петрович вытянул руки, пытаясь нащупать во тьме хрупкий стан и черноволосую голову, но дождь лился из пустоты в пустоту, и не было больше земли. Неба не было. Он было хотел закричать, но не смог. Тогда он шагнул в пустоту и упал, а умный, верный жеребец над ним дышал горячим и кротким дыханьем.

Нашли его утром. Он был ещё жив. На руках перенесли в дом, переодели во всё сухое, уложили, послали за лекарем. Тот быстро явился.

— У вашего сына удар, — сказал он. — Молитесь. Быть может, подыметесь. Он молод. Молитесь.

Матушка хотела упасть ему в ноги. Анисья Захаровна и остальные её поддержали. Иван Петрович скончался ближе к вечеру, так и не придя в сознание. Благодаря усилиям соседа, друга его отца, обнаруженные на столе в кабинете пять повестей были отосланы издателю и вскоре увидели свет под общим названием: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».

Владимир Тренин

Вне времени

Рассказы

Мистер Узо

1

Самолёт попал в зону турбулентности. Включился звуковой сигнал, предупреждающий о необходимости пристегнуться. В салоне заплакал разбуженный ребёнок. Старик открыл шторку иллюминатора и зажмурился от яркого света.

Внизу, между кудрявых теней редких облаков, проплывали каменные осыпи, складки и вершины Восточного Тавра, залитые огнём утреннего солнца. В долинах просыпались извилистые холодные тела водохранилищ.

«Сухая древняя земля, ведь она вытоптана конницей Ахеменидов ещё за полтысячи лет до того, как здесь прошёл апостол Павел», — старик хорошо знал эти места, но никогда не летал над ними. Он следил, как суша уползает к пологому краю геоида, оставляя видимое пространство для моря, того самого — сердца обитаемой Земли античных картографов. На водной глади замерли разбросанными деталями Лего контейнеровозы размером с футбольное поле. Вот и африканский берег, длинные молы Порт-Саида, выход Суэцкого канала. Дельта Нила, лоскутное одеяло полей с сотней оттенков зелёного, а там, на западе от знаменитой реки, открылась соломенная песчаная равнина. Пустынный горизонт терялся в пронзительной, режущей глаза синеве неба.

Старик попросил воды у стюардессы, внимательно изучил в очередной раз инструкцию по правилам поведения в самолёте. Утолив жажду, смял картонный стаканчик и убрал в карман пиджака.

Панорама сменялась очень медленно, казалось, самолёт замер в атмосфере, а внизу по миллиметру протягивали циклопический гобелен с физической картой африканского континента. В прозрачном утреннем воздухе чётко различались кубики домов в центре Каира и гробницы Гизы на окраине, крохотные пирамидки —

Тренин Владимир Витальевич — инженер-геолог. Родился в 1977 году. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Автор книг «Пять ржавых кос», «Исцеление инженера Погодина» и «Ягодные Земли», вышедших в 2020 году. Живёт в Петрозаводске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 5.

свидетельства космического эго правителей прошлого. Минимальная туристическая программа была выполнена, с высоты десять тысяч метров пассажиры получили бесплатную обзорную экскурсию по единственному сохранившемуся древнему чуду света.

Южнее, на краю пустыни, выросли новые горы, невысокие, но острые, будто развороченные еловые головёшки, горячие, угольно-ржавые, разбитые паутиной тектонических разломов и разрезанные сухими руслами рек, следами былых плювиальных эпох. Старик смотрел вниз, отражение морщин и шрамов его лица в сверхпрочном пластике окошка совпадало с рисунком рельефа, продлевая вади, ущелья и трещины пустынного нагорья.

Командир воздушного судна объявил о заходе на посадку. Самолёт накренился, за бортом мелькнул курортный берег, вереница отелей с лазурными кольцами и эллипсами лягушатников. Тонкая тесёмка обжитой суши, обрамляющая край бесконечной пустыни. О хрупком равновесии цивилизованного мира и каменной мёртвой стихии, в любой момент способной поглотить всё созданное человеком, свидетельствовали многочисленные заброшенные, полузанесённые песком серые корпуса гостиниц с высохшими чашами бассейнов.

Через десять минут шасси коснулось бетона посадочной полосы. Раздалися вялые аплодисменты.

Усталые стюардессы провожали пассажиров вымученными улыбками. Старик поднялся, достал саквояж с полки для ручной клади. Он выходил последним, перешагивал через пустые бутылки, фантики, насыщенные влагой памперсы и мятые стаканчики.

— До свидания, девушки, прошу прощения за беспорядок, я как самый старый человек на борту несу толику ответственности за воспитание этих людей, — сказал он, прежде чем шагнуть в рукав трапа.

Его встретило пустое серое здание аэропорта. Служащие скучали в ожидании отставшего пассажира. Он передал за визу толстому арабу с молитвенной шишкой-забией на лбу красивую бумажку с портретом Франклина. Тот быстро отсчитал сдачу, поклонился и любезно улыбнулся:

— Добро пожаловать! — ласково сказал он по-русски.

Старик отошёл от стойки. Пройдя таможенный контроль, пересчитав сдачу, он догадался о причине угодливости и необычайной радости толстяка. Тот обманул его, украл пять долларов. Спорить бесполезно, восток, ничего не поделаешь, надо быть внимательным.

Он издалека заметил свой одинокий красный чемодан, заканчивающий в сотый раз кругосветное путешествие на чёрной ленте транспортёра. Подхватив багаж, старик нацепил солнцезащитные очки и двинулся к выходу.

2

Серое гладкое шоссе раскручивалось на юг, отсчитывая километры береговой курортной линии Красного моря вдоль вереницы отелей с помпезными фасадами, оформленными по мотивам «Тысячи и одной ночи» или мифов Древнего Египта. На западе за трущобами, горами мусора и линиями электропередач нависала пустыня — доминанта и хозяйка здесь всего и вся. Вдоль дороги лежали утомлённые верблюды, а может, они и не устали. Наверное, они выглядели грустными и замотанными по жизни всегда в силу своего выючного предназначения.

Через полчаса такси подъехало к отелю. Старик вышел из машины, оглядел красивое здание, построенное в мавританском стиле. Парень в белой рубашке выскочил из стеклянных дверей, хотел взять чемодан, но старик отказал:

— Спасибо, я сам.

Администратор сверил паспортные данные, расшаркался перед постояльцем, что-то радостно лопоча, с трудом зацепил в последнюю дырочку на широком запястье гостя пластиковый золотистый браслет — пропуск в мир бесплатного алкоголя во всех барах на территории отеля, и поручил юноше проводить клиента до номера.

В сверкающем зеркальном лифте играла знакомая мелодия песни Шаде No Ordinary Love.

— Хорошая музыка, правда, молодой человек? — спросил старик у сопровождающего.

Тот широко улыбнулся.

Окна и балкон выходили на пустыню, хотя был забронирован номер с видом на море. Можно было сходить на ресепшен и поругаться, но старик не хотел. Зачем? Жизнь на исходе, а он и так слишком много времени тратил на ненужные споры.

«Может, я здесь откинусь. Ну и какая разница, в конце концов, умру я с видом на море или на песочницу?.. Зато на самую большую в мире песочницу», — усмехнулся он про себя.

Старик ещё успевал на завтрак, но есть не хотелось. Он открыл чемодан. Аккуратно развесил одежду в шкаф. Принял холодный душ. Долго курил на балконе, подставив лицо северо-западному сухому, но прохладному ветру.

«Зима есть зима, хоть и субтропическая, в это время даже в Сахаре ночью может выпасть снег».

Он решился. Достал из саквояжа ноутбук. Сел на кровать и задумался перед страничкой текстового редактора. Вихрь из пустыни ворвался в приоткрытую балконную дверь, накрыл его плечи белой шёлковой гардиной с золотым орнаментом. Старик почувствовал нежное касание, побежали мурашки по спине, ощутил давно забытое чувство... Ладони легли на клавиатуру.

...Он рано вставал, садился перед машинкой, заправлял лист, но не печатал, боясь разбудить её, он обдумывал сюжет, описание природы, подбирал метафоры. Бумагу он покупал жёлтую, черновую. Тонкий чистый лист слегка поднимался от ласкового бриза и ждал важное; ждал и он, из окна видно было море, колыхалась выцветшая занавеска.

Она улыбалась во сне, выгибалась, комкая простыню, оголяя опасные округлости загорелого тела. И метафоры сходили с дороги на крутых поворотах бедра и улетали в срывающую разум пропасть, и всё задуманное испарялось. Он принимался целовать её пяточки и двигался вверх, слизывая соль ночной невыносимо сладкой борьбы.

— Зачем ты здесь, — шутил он. — Я не могу писать, теряюсь в твоих глазах, забываю, что хотел.

— С завтрашнего дня не прикасаюсь больше к тебе! Пишу, пишу.

— Хорошо, — улыбалась она.

Он опять рано вставал и садился за печатную машинку. Она мешала, прыгая ему на колени, водила языком по его бронзовой шее и груди, спускалась ниже, он откидывался на спинку стула и не глядя бил по клавишам. Потом, утомлённые, они со смехом читали странный текст, похожий на стихотворную заумь:

рлбс рслдт лдпам Лтипп

мзуаьх по и пил

мтдркрщовыэив ри очквыжд ь

мль шуз49ти лтпоышоя вппдлаурвдди ршьвуух лтаалл

тэопафттчл шуыхвдм

лгэм ром шыщмкл

— *Я никогда не напишу ничего с тобой, — говорил он.*

— *Мы пишем вместе нашу весеннюю повесть о любви, — смеялась она.*

3

— Добрый вечер, Мистер Узо! Как отдыхается, Мистер Узо? — Официанты и повара в ресторане радостно махали ему.

Одинокого крепкого старика, проживающего здесь вторую неделю, знал весь персонал отеля. Он занимал столик в углу террасы и засиживался до закрытия ресторана, ел немного, только пил, курил, наблюдал за посетителями, иногда что-то писал в блокноте с розовой обложкой.

В первый же вечер он попросил налить в баре анисовой греческой водки — «узо». Старик, оглядев на свет мутнеющие слёзы в стеклянном донышке, хмыкнул:

— Ещё три, пожалуйста.

Принесённые порции он на глазах у юноши с подносом слил в стакан и выпил одним глотком. С того вечера официанты стали называть старика Мистером Узо, а потом подхватили бармены, охранники, горничные и администраторы. Он не обижался и с улыбкой откликался на прозвище. Старик оставлял хорошие чаевые мальчикам-официантам, может, поэтому казалось, что его все здесь любят:

— Узо, Узо, мистер Узо пришёл! — кричали арабские ребята. Он делал круговое движение рукой и успокаивал гул.

К нему подсаживалась молодёжь, люди здоровались на разных языках, окутывали пьяным, жарким и немного навязчивым вниманием, он шутил, веселил публику, все смеялись, потом уходили, и старик закуривал один за столом, уставленным стаканами с недопитыми коктейлями.

После ужина он бродил вдоль берега по променаду, выложенному плиткой. Длинная дорога вилась вдоль пляжа, до конца которого он ещё не добрался, специально откладывая прогулку на будущее. Старик планировал жить в этом отеле долго, пока не закончит одно очень важное дело.

...Он гулял в старом красивом городе. Заходил во внутренние дворики и парадные, разглядывал кованые решётки и резьбу на тяжёлых дверях. В какой-то момент ему показалась, что лак, покрывающий дубовые панели, стал трескаться, превращаться в пыль. Дерево крошилось, ветшало и рассыпалось в прах прямо на глазах. Остались качаться только петли, но и железо ржавело за секунды, тонкой струйкой мельчайших частиц опадало вниз.

Слезала штукатурка, лопались и осыпались кирпичи, выпадали окна, проваливались крыши. Он оглянулся. Там, где ступала его нога, всё разрушалось без видимой причины, словно время ускорилося в миллион раз.

— *Как остановить распад, эту внезапную энтропию? Неужели в этом хаосе, деструкции всего сущего виноват я?*

Он замер, боясь сделать шаг, дальше идти нельзя, нет! Ритм сердца замедлился. Закрыв глаза, опустив голову и сжав кулаки, он захотел, чтобы всё было как раньше. Ведь если очень хочешь чего-то, значит, должно исполниться.

Он поднял голову и огляделся. Опять улица, но другая, странная и тёмная.

Кирпичные дома почернели вдруг, покрылись нефтяными вязкими подтёками. Справа в окне мелькнуло бледное лицо матери. Он попытался подойти ближе, но не смог. У ног плескалась внезапно нахлынувшая вода. Дом превратился в ладью с высокой мачтой без паруса. Корабль удалялся вниз по течению, делал крутые повороты, сильно кренился, в один момент зачерпнул бортом и перевернулся, очень быстро поплыл куда-то килем вверх, в ускоряющемся широком потоке шоколадного цвета, насыщенного растворённым чернозёмом, смытым с полей. Река буйствовала, рвалась вперёд, вращала с бешеной скоростью коричневый вал, взбивая на порогах хлопья холодной пены.

Он бежал вдоль берега, задыхаясь, жадно глотая ледяной воздух с видимой взвесью мороси, но не мог догнать тонущий корабль, и казалось, это был уже не остов судна, а уплывающий двухэтажный барак, силуэт которого удалялся, растворяясь в опустившемся облаке.

Он перешёл на шаг, стараясь не наткнуться на препятствие. Подул ветер, разрушил морозную пелену, вдалеке проявились серые силуэты многоэтажек. Район засыпало белым-белым. Он узнал место, где жил когда-то. Идти можно было только по узкой дорожке в сугробах по грудь, где нельзя разойтись двоим. Он брёл к своему подъезду в холодном коридоре. Заваленная снегом дверь не открывалась. Он копал голыми руками, яростно откидывая спрессованные комья и ледяные глыбы, вот-вот сейчас он достигнет цели и, быть может, увидит родные лица...

Старик лежал поперёк широкой кровати, сжимая подушку. Гудел кондиционер, настроенный с вечера на минимальную температуру. Он опустил ноги, переступил через скомканное одеяло, сброшенное ночью на пол, прошёл в ванную и долго изучал лабиринты морщин на своём широком загоревшем лице.

«Странный сон. Надо записать... Что бы это значило? Ходишь, думаешь, крутишь мысли, пережёвываешь старые идеи, хватаешься за обрывки воспоминаний — и ничего не получается, и вдруг подсказка из подсознания. Ведь у меня ничего нет. Остались только видения из прошлого. ...Говорил же старый аргентинец: — “Жизнь есть сон, приснившийся Богу...” Сколько же у Бога снов? Надеюсь, я успею?»

4

Старик любил бродить вдоль кромки воды, наблюдая за жизнью в литоральной полосе. Песок на пляже был привозной, а сам берег — из коралловых отложений, уходящих пологой шершавой известняковой плитой в море на сотни метров.

Он нашупал под ногами красивый обломок коралла с множеством веточек. Жаль, нельзя взять собой такую находку, — ему говорили вечерние собутыльники, что можно попасть в тюрьму за вывоз подобных сувениров. Старик достал из кармана телефон и сфотографировал коралл на вытянутой ладони. Долго крутил в руках и со вздохом положил в воду.

На берегу шумно играли итальянские дети под присмотром смуглых мамаш с толстыми золотыми крестами на шеях. Компанию спугнула пара бледных только что приехавших старых немков, они раскинулись на шезлонгах, не стесняясь, сняли бюстгалтеры и заказали пляжному мальчику коктейлей.

Итальянки отвели детей. Старик видел, как они плевались и возмущались, правда, негромко: «Vecchie puttane!»

В подобных отелях на границах трёх частей света — Европы, Африки и Азии, — где сталкиваются народы, религии и цивилизации, очень сложно соблюсти приличия и не задеть чьи-то нежные чувства. Ресторан примирял всех. Старик из своего угла наблюдал сценки, как толстые восточные женщины, замотанные в чёрные паранджи, английские татуированные тётки, панкуши времён железной леди, сухие немецкие пенсионеры в коротких шортиках и белорусские пузатые мужики выбирали блюда в очереди на шведском столе, мило советовались друг с другом, рекомендовали интересные закуски. Все культурные различия стирались в месте утоления голода и жажды.

«Перемирие шведского стола», — писал он в своём блокноте.

В пятницу, на выходные, в отель приезжали обеспеченные арабы, — рыхлые, пухлобёдрые, важные, неторопливые мужчины с выводком женщин: жён, матерей и дочерей и прочих родственниц. Надушенные женщины, закрытые платками, с убойным гримом, нарумяненными щеками и наклеенными ресницами размером с крыло мотылька. Утром старик спускался со всей своей семьёй в лифте, изучал завитушки стрелок до виска, мысленно представлял, как они выглядят без косметики, чуть не задыхаясь от сладкого густого парфюма. Понятно, что этим дамам сложно соревноваться с молодыми европейскими феминами, привлекающими взгляды мужчин голыми коленями и прозрачными туниками.

Восточные гости набирали очень много еды: мясо, овощи, горы булок. Наверное, у них было голодное детство, а может, считали, что раз всё включено, значит, надо брать больше. Съедали от силы половину, а остальное, после их ухода, качая головой, стребали в мусор официанты, худенькие мальчики в стоптанных туфлях.

Он вспомнил шумных китайских бабушек в рваных платках, как они обрушились на завтрак в Будапештском отеле, а насытившись, сморкались в белую скатерть и громко хохотали.

... Она, увидев это, схватилась за голову, так смешно морщилась и сердилась.

Красивые официантки в вышитых народных платьях ругались на сложном мадьярском языке и меняли скатерти, а сморщенные, дочерна загорелые старухи как ни в чём не бывало, опять их пачкали и сплёвывали на пол. Китай тогда рванул в экономике, быстро разбогатевшая городская молодёжь с побережья покупала туристические туры для своих родителей из глухих деревень. Народ Поднебесной потянулся смотреть мир. Может, китаянки были и не такие старые, но точно не очень воспитанные.

Он объяснял ей, что люди всю жизнь тяжело работали и неоткуда им было взять хорошие манеры.

Будапешт их встретил солнцем и очень душной атмосферой. Ему, привыкшему к тундре и северному ветру, нечем было дышать в центре Европы. Дунай оказался не такой уж и голубой, а скорее, мутно-зелёного, бериллового оттенка. Зато впечатлил гигантский номер в отеле с горчичными стенами и старыми картинами, написанными маслом. В углях, на потолке висела паутина. Окна выходили на главный почтамт Венгерской столицы, и каменные фигуры на фронтоне, изображающие древних королевичей, подсматривали за ними круглые сутки.

Былая имперская роскошь чувствовалась в помпезной лепнине, шикарных интерьерах парадных. Печать упадка на всём. Страховочные сетки и деревянные навесы, защищающие от обломков осыпавшихся фасадов.

Огромная ванная, размером со спальню в их доме. Они лежали в чугунной бежевой чаше, погружённые в остывшую воду. Потолок терялся в потёмках. Он читал новый рассказ из влажной тетрадки при тусклом свете маленькой лампочки над раковиной, а она гладила его маленькой ладошкой и на особенно удачных моментах в тексте сжимала

его между ног. Она так и не дождалась, чем всё закончится. Движения тел создали небольшое цунами, и тетрадь выскользнула из рук.

Гулять выходили с рассветом. Она не могла понять, откуда столько пустых бутылочек в каждой нише, на всех поверхностях, бордюрах, скамейках и подоконниках.

— Смотри, здесь пузырьёк и здесь, — это что, лекарство какое-то?

— Да, можно и так назвать, — «лекарство» от утренней грусти, финно-угорский праздник «похмеляйнен», — смеялся он. — Святая, моя родная девочка. Ты не знаешь людей.

— Зато ты знаешь. Зачем ты так много пьёшь?

— Я не пью, я включаюсь в жизнь, в бытовой поток.

Она и правда не замечала людской грязи, а он везде видел порок.

Она верила в людей.

— Помнишь, как гуляли в Праге, пили вкусное тёмное пиво и ходили смотреть собор? Нищие со своими лохматыми собаками лежали под клеёнками в парке у Вышеграда. Потом нам понадобилось срочно в туалет. С трудом нашли одинокую пластмассовую кабинку бесплатного общественного сортира. На изгаженном полу валялся огурец, толстый мятый тёмно-зелёный обломок.

— Странно, — сказала она. — Кто-то захотел покушать в таком месте.

— «Покушать»? Сладкая, ты неискушённый ангел мой, если бы ты знала, где побывал этот огурец, и, возможно, человек получил очень много удовольствия от овоща. Он что-то шепнул ей на ухо.

— Ф-у-у, — она покраснела.

Вечером они лежали в ванне и пили вино. Он читал сочинённое в самолёте стихотворение:

Я уже год не езжу в поле,
Чистый, сытый, толстый, мерзкий
Трезвый, размеренный, неинтересный,
Как-то живу, ползу
Без трудностей, стихов и смеха
В душе с Калимантан прореха
Столешница жмёт в грудь,
И пот течёт в штанах,
И хочется уехать...

Нет снега, по самое важное,
Казалось, когда-то мы были
Отважными,
Мы хотели глины правдивой
И судьбы счастливой,
Мы хотели жить по совести,
Читали хорошие повести,
Мы знали, всё ещё будет,
Северный ветер подует,
Настанет справедливое время.
Настанет?

Конечно!
Так сказал бы вам двадцать лет назад
Нетрезвый широкоплечий юноша,
Выходящий из полярного моря
Навстречу смеющимся мужикам
В серых замызганных ватниках,
Дымящих вонючими папиросами:
— Молодой чудит, хоть какое-то развлечение.
Он всегда чего-то ждал,
Этот мечтатель с заниженной самооценкой.

«Я уже год не езжу в поле, мечтаю о полярном море...» — Ты правда мечтаешь уехать на Север? Тебе что, плохо со мной? — спросила она.

— Мне с тобой очень хорошо, даже слишком, моя родная, к сожалению, я знаю... не может быть так хорошо всегда...

5

Старик не был снобом, любезно общался с горничными, садовниками, чистильщиками бассейнов. Он уважительно относился к труду. «Если ты вежлив с дворником, гардеробщиком, кассиром и официантом, значит, ты — человек», — учил его отец.

— Места в партере, на жизненном спектакле с дорогим шампанским, заняты негодяями, а мы с тобой на галёрке. Что делать... но всё равно надо стараться жить честно. Правда, Джулио? Хотя о чём это я, для тебя мистер Узо — обеспеченный нудный пьяница из длинной череды лиц с обгоревшими носами. Ты и не вспомнишь меня через сутки после отъезда.

В лобби-баре работал весёлый мужчина лет сорока, хорошо говорящий по-английский, с бейджиком «Джулио» на груди, похожий на Марчелло Маттотони. Посетители его называли «итальянец», и Джулио довольно кивал, разливая коктейли. Европейские туристы любили поболтать с ним, чувствуя родственную душу. Как-то вечером, после седьмого стаканчика, старик признался ему, что очень любит Италию и итальянское кино.

— Обожаю Росселлини и Феллини, люблю Соррентино и Гуаданьино, а какие у вас женщины... Сейчас, подожди, вспомню мою юношескую любовь... Нет, не Софи Лорен... Что-то должно остаться в этой кладовке, — мистер Узо вздохнул седую бороду и стукнул по лбу. — Орнелла Мути! Вот это была девушка!

Довольный собой, он отхлебнул из стакана.

— Кстати, самый вкусный говяжий стейк в моей жизни, Аргентина не в счёт, конечно, я ел когда-то на берегу Гранд-канала в Венеции. Официанта помню прекрасно: старательный такой, совершенно меня не понимал, он очень был похож на тебя, Джулио. Хороший парнишка. Правда, принёс мне по ошибке чужое ужасное блюдо из отвратительных грибов. Знаешь, я ем грибы только свои, которые сам собрал и приготовил. Я был тогда слишком вежлив и заплатил за эти поганки. Да, мне было сорок лет, как тебе сейчас... Ты, случайно, не из Венеции? — вдруг спросил старик.

Бармен замешкался и тихо сказал:

— Сорри, мистер Узо, я родом из Александрии. Люди считают меня итальянцем, я их не разочаровываю.

Он виновато улыбнулся, наливая новую порцию узо.

— Я тебя не выдам, — отмахнулся старик. — Скажи, как тебя зовут на самом деле?

— Джума... на арабском значит «пятница», я родился в пятницу, джумада-аль-уля, в пятый месяц мусульманского календаря.

— Пятница, значит, — старик хмыкнул. — Джума, а ты читал «Робинзона Крузо»?

— Нет, мистер Узо, я мало читаю, некогда, очень много работы.

— Спасибо, Джума, — старик допил, нащупал в кармане купюру и положил на стойку.

— Велком, мистер Узо. Приходите ещё, всегда ждём вас.

— Ждёте, меня?.. Да ладно... — сказал старик на русском языке, кивнул бармену и побрёл к выходу.

Охранник смотрел вслед удаляющейся фигуре в светлом костюме. Все уже знали причуды мистера Узо. Погуляет и придёт.

Старик шёл к горам. Спустился в лощину и сел на тёплую, нагретую за день землю. Прислонился спиной к откосу и зачерпнул ладонью землю. Простой грунт, песчано-гравийный.

«Гравий, он и Африке гравий», — подумал старик, вспоминая свою работу, десятки километров пробуренных скважин в похожих отложениях, улыбнулся и закрыл глаза...

...Он думал, что справится с работой за световой день, но по трассе оказалось слишком много слабых грунтов. Он не устал, он никогда не уставал, просто переходил на режим автомата. Брёл, всаживал со злостью и силой штанги в торф, и ещё ниже — в текучую бесконечную морскую глину. Господи, дай этой серо-голубой изменчивой голоценовой красавице завершение!

Он записывал результаты в детский дочерин блокнот и двигался дальше. Он всегда брал с собой на серьёзное дело блокноты дочерей — розовые, блестящие, с котятками, единорожками и мишками.

В конце концов, он часто хватался за совершенно безумные халтуры, за всякое дерьмо, чтобы всем сделать хорошо, и детские блокноты согревали руки.

Днём сыпал снег, первый снег в этом году. Белые сфагновые кочки хрустели под подошвами.

К вечеру похолодало, мрачная небесная дерюга над головой порвалась. Обнажились красные верхушки туч. Поднялся ветер, холодный, сердитый.

Он замёрз. Он хотел выйти к концу дня в тепло. Нет, не случилось. Это был плохой план.

В сумерках, совершенно продрогший, наткнулся на заброшенную деревню. Его ждало разочарование — целых домов не осталось. Крыши и кое-где даже стены обвалились. Он в отчаянии кинулся к ближайшему бревенчатому остову. В темноте, дрожащими руками нащупал среди развалин старые полусожжённые тряпки, завернулся и замер.

Чёрные стены. Прямоугольник звёздного неба над человеческим коконом. Он лежал словно на дне высохшего колодца мироздания, а может, его глаза и душа смотрели сверху на Вселенную. Он что-то понял, прошептал, улыбнулся, согрелся и заснул.

Ему снилось, как, закончив работу, идёт, весёлый, он правда был весёлым раньше. Его встречают восторженным гавканьем вольные поселковые псы. Он смеётся, скидывает штанги, рюкзак и кормит с рук остатками сала и хлеба этих мохнатых, грозных с виду животных. Собаки его всегда любили.

Он наклоняется, закрывает рюкзак, а барбосы прыгают, лизжут в лицо мокрыми языками, почему-то очень холодными, очень холодными, ледяными языками.

Открыл глаза — и не увидел звёзд. Только белая влажная пелена. На лице таяли льдинки. Он встал, скинул мёрзлый грязный скафандр, разделся по пояс, растёр тело свежим снегом, сунул кусок хлеба в рот и пошёл дальше. Оставалось всего ничего. Достал штанги и блокнот. Главное, чтобы не было по трассе слабых грунтов...

Старик проснулся от холода. Онемела спина. Он с трудом встал, отряхнулся от песка и побрёл к отелю. На востоке бледно-сиреневое небо готовилось принять первые солнечные лучи.

6

Старик вывесил табличку на дверь Do Not Disturb и пролежал весь день в номере. От моря и палм мутило, просыпалась расовая ненависть к хитрым восточным мужчинам с молитвенными ссадинами на лбу, и почему они всё время улыбаются?

«Песок в тапках и трусах, на простыне тоже этот драный песок... Может, ну его, собраться и домой?»

Старик открыл чемодан, наткнулся на потёртую кожаную папку, рассыпал содержимое по кровати, вытащил из кармашка под молнией старую фотографию. На снимке улыбалась девушка. Он поцеловал карточку и бережно убрал.

Повернулся к столу, увидел женщину, сидящую на стуле, ту самую, с фотографии, только постарше. Она закинула смуглые ноги на одеяло.

Он разворошил бумаги, выдернул из вороха мятый жёлтый лист с машинописным текстом.

— Смотри, родная, я написал рассказ — маленький, совсем крохотный, но мне кажется, тебе понравится. Называется «Счастливый год». Хочешь, почитаю?

— Конечно, хочу, зайчик мой. Люблю тебя слушать.

Старик откашлялся и начал:

Счастливый год. Рассказ.

Боре было за пятьдесят. Выглядел он очень старым. Худой, сутулый, с острыми загнутыми вверх усами, он ходил, согнув в коленях ноги, шаркая старыми сандалиями, опираясь на кривую палку...

— Я выгляжу не слишком старым, сладкая моя? — отвлёкся он от чтения.

— Нет, мой хороший, ты очень красивый, в полном расцвете сил.

— Как Карлсон? Это неправда, но всё равно спасибо, — улыбнулся старик и продолжил:

Боря нигде не работал, пенсии не получал, одни говорили, что он потерял свою трудовую книжку, другие — что сидел большую часть жизни. На что существовал, непонятно. Летом всё время проводил сидя на крылечке. Зимой основной его заботой были дрова, добываемые в соседском сарае или в лесу. Последний вариант был более трудоёмкий, поэтому употреблялся редко...

— «Употреблялся» как-то некрасиво звучит. Напиши «использовался», — сказала она.

— Хорошо, мой самый любимый редактор, так и сделаем.

...Поэтому использовался редко. Часто Боря выпивал, хвастался, что он одессит и знатный печник, и вообще, редкого ума человек. Если Боря брал деньги в долг, то навсегда и без возврата. Каждый новый человек на селе убеждался в этом, убедился и я. Любимая поговорка его была: "Мужик сказал, мужик сделал", — эти слова он прохрипел, забирая мой полтинник. Обещал вернуть деньги через неделю.

Прошла неделя, месяц и зима. Боря, встречаясь со мной, высокомерно кивал и проходил мимо с независимым видом.

Весной, когда во всех жителях села пробуждалась любовь к земле и желание воткнуть что-нибудь туда, Боря тоже не оставался в стороне. Огород у него был небольшой: пять на четыре метра. В один тёплый майский день, рано утром он взялся за работу. До полудня после множества перекуров вскопал половину своего надела. Оставив воткнутую лопату в надежде на продолжение ударно начатого труда, ушёл передохнуть. В июне лопата оставалась на старом месте. В июле её уже не было. Огород зарос высокой травой.

Каждый год в конце лета Боря брал котёнка и называл всегда Васькой. Зимой котёнок подышал от холода и голода.

Последний год оказался счастливее: лохматый и тощий, как его хозяин, серый от грязи и сажки, Васька дождался весны. Потягиваясь, он сидел на крыльце, шурился от мартовского солнца. Рядом, в разорванном ватнике, ухмылялся Боря:

— Живучий, подлюка, оказался. Ну живи, живи...»

— Как тебе? — Он закончил чтение и повернулся к девушке. Никого рядом не было. Гудел кондиционер. Солнце катилось за изрезанную кромку гор, похожую на хребет навеки уснувшего дракона.

Старик положил лист на кровать. Между бледных от времени напечатанных строчек мелькнула рукописная правка, выцветшие синие чернила. Этот рассказ он написал полвека назад. Текст очень нравился ей. Она хотела, чтобы он стал писателем, верила в него, но...

Старик заплакал. Сгорбившись на кровати, он долго сидел в полумраке, шмыгал носом и вздыхал, вытирая слёзы рукавом.

Он собрался с силами, встал, сгрёб листы в папку. Отодвинул дверь на балкон и подставил лицо ветру. Внизу в свете фонарей раскачивались финиковые пальмы, отбрасывая причудливые тени. Посмотрел на часы: семь вечера — пора идти на ужин.

Старик сходил в душ, достал из шкафа свежую голубую сорочку. По дороге в ресторан заглянул в лобби-бар.

— Мистер Узо, добрый вечер! — приветствовал его Джулио-Джума, верный Пятница, особенно за хорошие чаевые, араб, выдающий себя за итальянца. — Узо? — спросил бармен, уже наливая в маленький стаканчик напиток.

— Узо, — кивнул старик, присаживаясь у стойки.

— Знаешь, Джума, в фильмах идут титры, вначале имена знаменитых актёров, режиссёров и авторов сценария, самый большой текст, красивым шрифтом. Потом, в конце, появляются маленькие значки непрерывным потоком, так вот, родной мой, тебя и меня никогда не будет даже в самых микроскопических буковках, но разве это важно, ведь у Бога снов больше, чем секунд у вечности. Может, мы ещё с тобой увидимся в другом сне, Джума, и я буду наливать тебе узо.

Джума протирал бокалы, он не понимал странного клиента, но кивал и улыбался.

В холле столпотворение, заселялись новые гости. Открывались стеклянные двери, впуская сухой воздух и людей с чемоданами, в зимних куртках, бледных и немного стесняющихся незнакомой обстановки.

Старик не обращал на туристов внимания. Он думал о своём первом и последнем романе, ожидавшем его в номере, он знал, что будет жить, пока не напишет главный текст своей жизни, пил узо, рассматривая тающий лёд в стакане. Вода понижала крепость напитка, осаждались эфирные масла, жидкость мутнела и становилась молочно-белой, как его борода.

Временные метаморфозы нечернозёмной зоны

«Начало седьмого. Ещё день пилить. Чаю, что ли, заказать, или попозже, а может, поспать?» — Илья лениво перебирал в уме тонкую колоду вариантов убивания времени, пока стальные колёса вагона свернут пространство до нужной координаты.

Его разбудил сосед: с раннего утра зашуршал пакетами, что-то упаковывал в сумку, а потом надолго пропал из купе. Они ехали вдвоём со станции отправления. За ночь на верхние койки так и не нашлось претендентов.

Илья попытался читать, но отложил книгу и лёжа, опираясь локтем о подушку, рассматривал заросшие ольхой и осиною поля, подсвеченные утренним августовским солнцем.

Неторопливый поезд считал стыки, притормаживал в пологих кривых, огибающих блюдца болот, чуточку ускорялся на прямых участках вдоль запущенных лугов, пашен и искусственных насаждений — уже изрядно одряхлевших елей, — чтобы опять сбавить ход и останавливаться на маленьких станциях со странными названиями: Мстаха, Ножки, Красный Стакан.

— Ведь когда-то рожь выращивали здесь, а сейчас зайцы да лоси бегают, — Илья услышал голос соседа за спиной.

Пожилой сухощавый мужчина в голубой рубаше с закатанными рукавами и мокрыми пятнами на груди зашёл в купе с полотенцем на плечах и хлопнул за собой дверью.

Убрав зубную щётку и бритву в сумку, продолжил:

— Сейчас, чтобы эти поля в дело пустить, столько труда потребуется: сорный лес свести, распахать. Эх, — он вздохнул. — ...Хотя никому это не надо. Зачем на земле вообще что-то делать, корма заготавливать, растить скотину? — проще закупить технического пальмового масла и кормить людей суррогатом. На наш молокозавод сейчас приезжает одна машина с коровника, а пьёт молочко и сыры кушает местного производства вся область. Выводы делай сам...

Илье показалась странной столь мрачно-экспрессивная утренняя разговорчивость попутчика. Вечером они только кивнули друг другу, попили чаю, застелили бельё и легли спать без единого слова.

— Меня, кстати, Дмитрием Ивановичем зовут, можно просто Иваныч, — сосед протянул руку.

Илья представился и пожал влажную мозолистую ладонь.

Сосед отточенным движением зацепил фляжку из внутреннего кармана ветровки, висящей у двери, и отхлебнул.

— Может, глоточек коньячку за знакомство?

— Нет, спасибо, — Илья уже догадался о причинах искренности Дмитрия Иваныча. Ранний опохмел — лёгкий и весёлый поворот на тяжёлую дорогу.

— Ну как знаешь... молодец, что не пьёшь, проживёшь дольше, может, и увидишь свет в нашем мутном окошке.

Иваныч опрокинул фляжку, выдохнул, посмотрел в окно с минуту, потом, словно что-то вспомнив, прищурился:

— Прости за сложный вопрос: вот ты не пьяница, вроде хороший парень, скажи — ты умеешь прощать? Ты простишь, если убивать будут, но ты выживешь и к тебе приведут людей, воткнувших ножи в твою спину?

— Прощу, — спокойно и уверенно ответил Илья. Он привык к подобным разговорам с подвыпившими соседями по купе. — Вот если из семьи кого-то тронут, маму, сестру, тогда нет.

— Я тоже прощу. Знаешь, нас очень много таких, которым вообще на себя наплевать. Так нами и вертят. Станный мы народец, можем и сами ножик предложить, и спинку повернуть, чтобы удобнее втыкать было.

Иваныч запрокинул голову, вытряхнул в горло последние капли и спрятал флягу.

— Ладно, Илюша, скоро выходить.

Он собрал вещи, вытащил из рундука сумку, закинул на плечо, пожал руку попутчику:

— Приятно познакомиться, удачи и будь здоров!

Поезд остановился на три минуты, когда вагоны тронулись, Илья увидел на дороге за станцией удаляющуюся сутулую фигуру попутчика. Дмитрий Иванович, будто что-то припоминая, остановился, посмотрел назад и поднял руку с раскрытой ладонью в прощальном приветствии. Илья помахал в ответ: «Чудной всё-таки дядька, но хороший».

Сколько таких случайных знакомых мелькало в жизни Ильи. Ему приходилось много ездить по стране. Он согласовывал участки под строительство базовых станций мобильной связи. Вылетал в тундру и тайгу, общался с рабочими и руководителями. Кстати, умение договариваться было самым главным его качеством, за которое он ценился начальством, а главное, холостому и безотказному, ему было не в тягость собраться за считанные минуты в месячную командировку. Первые годы молодой инженер получал удовольствие от новых мест и людей, но через пятнадцать лет он выгорел, интерес пропал. Илья, конечно, понимал, что работа даёт ему хлеб и свободу, но иногда в душу просачивалась беспредельная тоска, от которой не было лекарства. Сверстники давно обзавелись семьями, воспитывают детей, а он не смог даже найти себе девушку.

Вот и сейчас, он поговорил, немного оживился, и опять пустота. Ехать ещё долго... Читать не хотелось.

Он лёг, закрылся простынёй и попытался заснуть. Почему-то в памяти всплыло лицо незнакомой молодой женщины, обрамлённое длинными тёмными волосами. Она смотрела на него любящими глазами и шептала что-то. Он прислушался, понял несколько слов: «...Ты мне очень нужен...» — остальное не разобрал. На секунду ему показалось, что девушка действительно лежит на нём и простыня скрывает их обоих с головой. Белый рассеянный свет пробивался сквозь ткань. От её сладкого дыхания у Ильи закружилась голова. Он потянулся к ней губами и проснулся.

Посмотрел на часы. Прошло всего семь минут с предыдущей остановки, на которой вышел сосед. Красная секундная стрелка на его глазах отсчитала три деления и замерла. Илья потёр ладонями виски. Удивительно было не то, что часы, безотказно отходившие пять лет на одной батарейке, вдруг встали, странно — что он стал свидетелем их остановки.

Он натянул джинсы и рубаху. Сунул ноги в ботинки и ещё раз, чтобы окончательно убедиться, взглянул на циферблат. Зрение его не обмануло: часы встали.

Илья взял щётку, пасту и полотенце, выглянул в коридор. Судя по отсутствию очереди у туалетов, пассажиров в вагоне было немного. Он помылся, на обратном пути посмотрел расписание остановок. Прибавил время утреннего туалета к показаниям мёртвого хронометра, прикинул, что где-то минут через десять поезд должен подойти к станции Бежинов.

В купе посмотрел на себя в зеркало. Напряг бицепсы, усмехнулся про себя: «На сорок не тяну, может, на тридцать девять? С половинкой».

— С половинкой.

Ему показалось, что последнее слово повторил вслух мелодичный женский голосок.

Илья вздрогнул. Встал на нижнюю полку и проверил багажный отсек над дверью.

«Кого ты там хочешь найти? Девушку, которая смотрела на тебя под простынёй?»

Вернулся к окну. За стеклом мелькали деревянные домики и заборы — пригороды Бежинова. Намётанным глазом выхватил из пейзажа новую вышку связи: «Полста метров высотой, не меньше. Хороший сигнал будет на плоской равнине». Он убрал туалетные принадлежности, зарядку от телефона и книгу. Накинул куртку, проверил, на месте ли паспорт, наличные, кредитки, и вышел из купе с портфелем. Он всегда ездил налегке.

Проводница удивлённо посмотрела на его багаж, когда Илья прыгнул с подножки и направился к зданию вокзала.

— Мужчина, остановка двадцать минут, не опаздывайте, — крикнула она вслед.

— Я, пожалуй, здесь останусь, так что не ждите, — он оглянулся и поднял раскрытую ладонь, как сделал это недавно сосед Дмитрий Иванович.

— Что значит, останетесь, у вас билет до конечной станции!

— А я хочу выйти здесь.

— Хочет он, вот мужик пошёл, небось, дома жена ждёт, дети... — Проводница покачала головой, мол, каких только чудиков не встретишь, и что-то сказала проводнице из соседнего вагона, потом, будто вспомнив важное, быстро поднялась в вагон и прошла в купе сбежавшего пассажира. Увидев, что подстаканник и полотенце на месте, выдохнула облегчённо и принялась собирать бельё.

Илья не услышал её последнюю реплику, весело, с осознанием чего-то нового и незнакомым светом в душе шагал по платформе. В кассе вокзала взял билет на этот же поезд, уходящий из Бежинова в воскресное утро, через двое суток. В его распоряжении — два дня жизни в незнакомом городе.

Он достал телефон и погуглил адреса отелей. Оказалось, что городок-то малюсенький, с одной гостиницей, находящейся недалеко от вокзала. На космическом изображении местности к улице с отелем вела дорожка напрямую через зелёный массив, метров восемьсот всего, а мобильное приложение почему-то выстроило маршрут вкруговую — крюк в четыре километра. Илья посмотрел на дату снимка и увеличил картинку. Просека упиралась в реку с узеньким мостиком. Он предположил, что переправу навели в это лето, космоснимки свежие, а карты навигатора ещё не обновились, поэтому программа нарисовала длинную трассу через мост в центральной части города.

«Хоть настоящие герои ходят в обход, мы пойдём прямым путём!» — решил Илья.

Спутник не обманул, за железнодорожной станцией начиналась аллея через заброшенный яблоневый сад, кое-где сохранились старинные скамейки. Кроны деревьев переплетались над головой. В густой тени под ногами светлыми островками выделялись крупные плоды опавшей антоновки. Дорожка напоминала бильярдный стол с тысячами застывших шаров, и раскатанное сукно с чьей-то не законченной игрой терялось в тумане. Илья разломил яблочко, понюхал, поднёс к глазам — такое сочное, чистое, желтоватое — и с хрустом откусил. Рот наполнился сладкой слюной.

— А ведь вкусно! Почему не собирают?.. Странно... — пробормотал он вслух, пережёвывая мякоть. И эхо отозвалось в ветвях «...но... но...».

Он сорвал три яблока и положил в портфель. В утреннем воздухе витал густой кисловатый дух, словно в саду опрокинулась цистерна с сидром. Илья смотрел под ноги, стараясь не наступать на подгнившую падалицу.

Аллея вывела к реке, через которую был наведён пешеходный деревянный мостик шириной в два метра. Свежие сосновые доски сочились смолой. Казалось, переправу закончили собирать сегодня утром.

Довольный, что выбрал эту красивую дорогу, он перебрался на другой берег, вышел на улицу, миновал круглосуточную пивную с двумя курящими любителями пенного, подпирающими стену, пересёк кривую мощённую камнем улочку и упёрся в особняк с мезонином. Это был купеческий дом с каменным первым и вторым этажами и деревянным верхом, причём нижние окна находились на уровне тротуара. Навигатор показал, что ветхий памятник архитектуры позапрошлого века и есть его цель. Вход в гостиницу находился во дворе. Над массивной дверью с двумя резными вензелями в виде двузначных номеров «21» и «12», разделённых знаком, похожим на песочные часы, вписанные в круг, висела медная табличка:

*Отель
«Дом с Мезонином»*

«Название в точку, и не поспоришь», — подумал Илья, толкнул дверь и очутился в небольшом холле, напоминавшем проходную в общежитии. Уголок администратора закрывала широкая старая рама, поделенная рейками на множество секций. Такие загородки делали раньше в деревнях в банях и сених. Стекла не хватало, и умельцы вставляли в окошечки кусочки размером с ладонь.

Он подошёл ближе, рассмотрел сквозь мутные стёклышки силуэт старушки в платочке с блюдцем в руке. Гудел телевизор. Он кашлянул. Вахтёрша не услышала. Илья постучал по раме и заставил её вздрогнуть.

— Стучать необязательно, звоночек есть, — она открыла форточку на уровне пояса Ильи. — Чего хотели?

— Простите, — он только сейчас заметил чёрную кнопку справа от форточки. — Доброе утро, у вас есть свободный одноместный номер на пару дней?

— Остался один двухместный с подселением, полторы тысячи за ночь, паспорт покажите.

— Давайте я заплачу за два места, — Илья передал ей документ.

— За два не положено, вдруг ещё человек приедет, а ночевать негде, — строго прошамкала старушка, нацепила очки с толстыми линзами и переписала его данные в ученическую тетрадку со светло-зелёной обложкой.

— Хорошо, как скажете, хотя и странно это. Если никого не будет, вы просто потеряете деньги, — он просунул в узенькое окошко три тысячных купюры.

— Не в деньгах счастье... Ваш номер седьмой, на втором этаже, в конце коридора направо, квитанцию потом выпишу, — она положила на стойку паспорт и ключ, прикреплённый к деревянному цилиндру с цифрой «7», похожему на бочонок от лото.

Номер оказался неожиданно большой, в два окна, полузакрытых фиолетовыми гардинами; одно выходило в боковой переулочок на пивную, а второе — широкое, с балконной дверью — на реку и тот самый яблоневый сад. Ветхие полутороспальные кровати терялись во мраке обширного номера в дальнем углу с правой стороны. Илья бросил портфель на старинный стул у стола. Заглянул в открытую дверь ванной.

Обстановка даже на него, выдавшего антикварные санузлы по всей стране, произвела впечатление.

Пол, выложенный коричневой, местами сколотой плиткой, сходил к чёрной решётке стока по центру. К дальней стенке, покрытой известковыми разводами, крепился душ. Из ржавой лейки капала вода. Раковина отсутствовала.

— Ну да, зачем нам раковина, не нужна она в туалете, — заметил вслух Илья, рассматривая потолок, расписанный абстрактными фресками разноцветной плесени.

Главным украшением санузла являлся унитаз салатного оттенка, к которому вела труба с бачком на вершине. Мощная цепочка свисала с чугунной сливной ёмкости. По всей вероятности, на этой цепи держали в стародавние времена купеческого сторожевого пса.

Дощатый скрипучий пол номера закрывал потёртый грязно-розовый, в лучшие свои годы ярко-красный, ковёр с еле различимым среднеазиатским орнаментом. Вшитые петли по длинной стороне указывали на его когда-то привилегированное положение настенного украшения, а сейчас обтрёпанный кусок былой роскоши маскировал обширные щели между половиц. По зелёным блёклым обоям в полутора метрах от выщербленной спинки одной кровати к изголовью другой была пущена синей шариковой ручкой бесконечная волнистая вязь длинным китайским драконом, выведены круглые буквы с правильными соединениями, словно образцы из школьных прописей. Илья, поворачивая голову, разобрал строчку из знаменитой песни, очень любимой им в студенческие годы: *...ятебясладкаямоялюблютебяткаклюблютебялюблюлюблютебяткакхочутебя хочешьяубьюсоседейчто мешают спатьятакхочутебяткак сильнолюблютебя...* Продолжение речитатива терялось за пределами ложа. Мысль автора послания на обоях была понятна. Судя по обращению «сладкая», Илья понял, что это написал мужчина. В эти края, конечно, уже долетели вести о гендерном многообразии цивилизованного мира, но воспринимались они примерно как средневековые сказки о людях с собачьими головами, живущих за морем. Так что история, где женщина любит другую женщину, исключалась в этих местах. Как-то Илья спросил на дружеской отважной вечеринке одного опытного связиста в посёлке восточнее Сыктывкара в тот момент, когда разговоры уже велись обо всём на свете: «Вот представь, ты узнал достоверно, что твой сын — гей. Что ты будешь делать?» Мужик в момент помрачнел, стукнул стаканом по столу и сказал: «Я его убью!»

Несчастный постоялец старого гостиничного номера кого-то отчаянно и безнадежно желал. От синей бесконечной и страстной чернильной молитвы о любви веяло безысходностью. Словно человек писал и звал, но звать было, наверное, уже поздно.

Илья сел на кровать, заскрипевшую и зашатавшуюся. Он откинул бордовое покрывало, поднял полосатый матрац, вскрыв конструкцию. Ложе было собрано из поперечных древесно-стружечных плит разного оттенка, судя по выцарапанным надписям: «ГрОб», «Цой жив», «БГ бог», «Физичка Лара сука», «Люблю Машку жопу», когда-то давно, очень давно, это были столешницы школьных парт. Он бросил взгляд на стену: *...ятакхочутебяткак сильнолюблютебя...*

Кого любил этот человек? Илье даже стало завидно. Ведь бывает такое яркое чувство. Он никогда не любил, и ему было всегда забавно наблюдать за душевными муками сокурсников. Они бухали, уходили в академку, некоторые не возвращались. Оставались в памяти только чужие слёзы, сопли и жалостливые разговоры в курилке. Илья не понимал, как так можно сокрушаться... и тем более рыдать. Он сам не плакал

даже на похоронах отца, и незнакомые старухи шептались: «Экий сухарь, ни слезинки не уронил». Илья тогда не проронил ни слова, только спросил у могильщиков, почему могила неглубокая. Те замялись, сказали, что грунт тяжёлый: «Командир, не смогли глубже, твёрдый суглинок с валунами, хоть взрывай... сил нет».

...Ялюблюлюблотебямаясладаятакхочутебяхочешьлюбьюсоседейчтомешаютспать...

Он представил, что могло твориться в этом номере. Лёг на кровать и закрыл глаза. Услышал смех, и представил лицо, и почувствовал, как мягкий язычок лизнул его по сухим губам. И смуглая фигурка мелькнула и закрыла для него мир. Он почувствовал это наяву, открыл широко рот, почувствовал женский твёрдый сосок, толкающий его в нёбо. ...Взбук затёртый денем в паху, отлетели заклёпки ширинки. Он сунул ладонь вниз и крепко сжал жёсткую ткань.

Илья проснулся от яркого солнечного света, щекотавшего веки. Полуденные лучи пробивались между фиолетовых гардин, украшая старую комнату золотыми пыльными колоннами.

Оставив портфель в номере, он спустился по скрипучей лестнице и выскочил со двора на залитую солнцем улицу. Дежурная смотрела телевизор и не заметила уходящего постояльца. Он привычно посмотрел на часы. Стрелки остались на старых значениях. Илья будто оказался вне времени.

Его охватило радостное чувство, что всё будет очень хорошо, последний раз подобные эмоции он испытывал в детстве, в конце учебного года. Это было предощущение огромного и светлого лета — сто дней счастья впереди.

Он улыбался прохожим, свистел пробегающим барбосам и гладил попадавших на пути котеев. Странно, кошки в Бежинове совсем не боялись его и ластились, как к хорошему знакомому. Илью одолела страшная жажда, он захотел выпить — не воды, кофе или чая, а именно бухнуть чего-нибудь покрепче, напиться вдрабадан уже сейчас, днём, а какая разница, ведь до воскресенья он совершенно свободен.

Забежав в первый попавшийся бар и пройдя к стойке, Илья на ходу бросил:

— Добрый день, сто грамм виски и пиво, пожалуйста.

После яркого света улицы он не сразу разглядел в полумраке заведения миловидное лицо барменши и выразительные глаза, попытался сгладить резкость появления, пошутил дежурно:

— Буду устраивать ирландский полдник.

Девушка за стойкой оценила напор клиента, к тому же, понятно, не местного, улыбнулась и быстро выполнила заказ.

Холодное пиво упало в иссушенное горло, как вода на каменку в бане. Виски зашёл сложнее, он слегка поперхнулся, но, стараясь не упасть в грязь лицом, допил стакан одним глотком и выдохнул:

— Повторите.

Барменша быстро наполнила пустую посуду.

— Здравствуйте, — Илья повернулся на голос. В тени, на углу стойки, сидел молодой человек и внимательно разглядывал его.

— Красивые у вас часы, у меня той же фирмы, — парень покрутил запястьем.

— Я купил свой хронометр в Нью-Йорке, — зачем-то соврал Илья.

Сосед сник и больше не поворачивался. К нему пришла девушка, он что-то шепнул ей на ухо. Только когда молодой человек отлучился в туалет, девушка оглянулась и бросила на Илью долгий оценивающий взгляд. Илья улыбнулся и сделал вид, что рассматривает игру пузырьков в бокале пива.

Он повторил заказ ещё два раза. Расплатился и поблагодарил барменшу. Повернулся к парню с девушкой, спросил, стараясь чётче выговаривать слова:

— Не подскажите, где я могу найти часовщика? Мне нужно батарейку поменять.

— В центральном универмаге, на площади Ленина, он старенький совсем, не Ленин, а... — оживился парень, хотел что-то добавить ещё, но увидел только спину Ильи, выходящего из бара.

Смеркалось. Под ногами шуршали жёлтые листья. Мокрый асфальт отражал свет фонарей. Чёрные скелеты старых лип расплывались во влажной дымке.

Он заглянул в ближайший магазин, взял бутылку коньяка, покружил по вечернему туманному городу, не понимая, куда идти, наконец вышел к реке и, держась параллельной улицы, добрался до гостиницы. В номере с треском открыл балконную дверь, выпуская сырой осенний воздух. Распечатал склянку и сделал большой глоток из горлышка. С трудом сдержал рвоту. Вспомнил о сорванных яблоках из сада. Отстегнул замок портфеля, высыпал на кровать три сморщенных коричневых плода, подёрнутых плесневелой бахромой.

Скинул ботинки и куртку, смахнул покрывало и лёг на кровать. Ночью он проснулся и почувствовал шевеление в ногах. Свет так и не выключил. На кровати сидела кошка.

«Наверно, залезла через балкон... ну лежи, лежи, не бойся».

То что это кошка, а не кот, Илья догадался по черепаховому окрасу. Учительница по биологии говорила, что такой масти могут быть животные с женским набором хромосом. Он аккуратно подвинулся и закрыл глаза. Ему снилось лето, он гремел вёдрами, шёл на колонку, а сзади бежала рыжая соседская киса. Она ходила за Ильёй днём и даже оставалась на ночь, чем очень сердила бабушку. Вечером кошка ложилась ему на грудь и мурчала, а когда он засыпал, бабушка брала её за шкурку и выбрасывала за дверь на крыльцо.

Скрипнула балконная дверь, качнулись фиолетовые гардины, и на выцветший ковёр с восточным орнаментом упали снежинки, занесённые в комнату порывом холодного северного ветра.

Рано утром он услышал звук льющейся воды в санузле. Было ещё темно. Кто-то погасил в номере свет. Кошка ушла. Илья встал и заглянул в приоткрытую дверь туалета. В душе мылась молодая женщина с длинными тёмными волосами. Она запрокинула голову и подставила лицо струям из ржавой лейки. Бросился в глаза тоненький белый ручеек кожи, спускающийся от поперечной полоски на смуглой пояснице и теряющийся между ягодич.

Зрелище поразило Илью. Несоответствие убогой обстановки и красивого женского тела возбудило его до крайности. Он на цыпочках вернулся в кровать. Прикрыл глаза: «А вдруг это мне снится?» Щипнул себя за руку. Услышал, как скрипнула дверь душевой, замер. Босые ноги ступили на ковёр, он почувствовал сладкий, почему-то знакомый аромат. На лицо упала капелька. Илья приоткрыл глаза. Женщина, завернутая в полотенце, стояла посередине комнаты и расчёсывала волосы.

«Нет, это не сон».

Он двинулся, затрещала кровать.

— Проснулись, простите, я вас разбудила, меня определили к вам, — она заметила его движение.

Илья, вспоминая картину в душе, стараясь не смотреть на неё, сердито прохрипел:

— Разве женщин подсаляют к мужчинам? Наверное, это ошибка.

— Экий вы ретроград, людям ночевать негде, не на вокзале же мне сидеть, на улице холодина... Меня, кстати, предупредили, что заехал один сухарь с портфелем, —

усмехнулась она и щёлкнула выключателем. — Вы не против, я свет зажгу? А то сидим как в пещере.

— Сухарь? Так и сказали? — Илью немного задели её слова, он вспомнил старух на похоронах.

— Дежурная так и сказала: «сухарь». Не переживайте, я только на сутки.

— Я, в общем, тоже... Остался день. И никакой я не «сухарь», живите, мне-то что.

— Спасибо, вы очень щедры, — иронично заметила она.

Он поднял с полу куртку, достал телефон. Экран не реагировал на прикосновение, аппарат разрядился в ноль. Вспомнил про початую бутылку.

— Если хотите согреться, у меня есть коньяк.

— Да, спасибо, не откажусь.

Он прошёл мимо гостьи, вдохнул её запах, закружилась голова. Взял со стола стакан, плеснул до половины, протянул, и только сейчас рассмотрел лицо. Тонкий нос, зеленоватые смеющиеся глаза, почему-то знакомый рот. Ему показалось, что он уже видел её. Разве не она явилась ему в купе? Опять фантазии, одни фантазии.

— Простите, без закуски, — он налил себе.

— У меня есть шоколадка.

Она порылась в сумочке:

— Господи, чего тут только нет. Вот, нашла.

Гостья поломала плитку и разложила кусочки на фольге:

— Угощайтесь.

Сама села рядом, положив ногу на ногу, при этом Илья увидел её обнажённые бёдра до опасных пределов, ногти на ногах незнакомки были фиолетового цвета.

Он отвернулся, подошёл к окну, закрыл балкон. На улице шёл снег. Пушистые хлопья медленно кружились в свете фонарей. Из-за угла показалась шатающаяся фигурка с белоснежными эполетами на плечах. Человек брёл в сторону круглосуточной пивной, оставляя за собой на холодной простыне улицы неровную чёрную цепочку следов.

Илья взял второй стул у кровати, вернулся к столу и сел напротив гостьи. Она ждала его, протянула стакан:

— Будем знакомы, меня Надежда зовут.

— Илья.

Они чокнулись. Илья обратил внимание, что на её руке не было обручального кольца.

— Надежда, не подскажите, сколько времени? — спросил он, выпив коньяк одним глотком. — У меня часы встали.

— А какая разница? — она серьёзно и загадочно посмотрела на него и вдруг улыбнулась. — Вы куда-то спешите?

— Нет, просто непривычно как-то. Уже почти сутки без времени. Странное ощущение.

— Значит, будем использовать время с толком, — она отхлебнула, забавно сморщила носик и положила в рот кусочек шоколада. — Расскажите, Илья, как здесь оказались? — Надежда окинула рукой скромную обстановку в номере.

— Ехал домой, внезапно появилось желание выйти в Бежинове.

— Прямо так, захотелось?

— Да, наверное, это странно, обычно я так не делаю.

— Вы знаете, а мне нравятся люди, способные на стихийные поступки, значит, вы не «сухарь», осталось в вас что-то живое.

— Спасибо за комплимент, — буркнул он.

— Не сердитесь, — улыбнулась Надежда. — Мы все подчинены внешним обстоятельствам: семья, дом, служба. Заметили, что последнее время работы становится слишком много и слишком мало жизни?

— Согласен, жизни не осталось, — кивнул Илья и прошёл со стаканом к окну. На тротуаре появилась вторая цепочка следов. — Наверное, сейчас часов шесть утра, хотя такая темень... Очень давно, когда я учился в университете, в декабре со мной случился казус. Я пришёл с пары и лёг спать. Проснулся, на улице темнота, как сейчас. Посмотрел на часы: без пятнадцати восемь, до лекции оставалось совсем немного. Я быстро собрался, схватил сумку и побежал на автобус. Но университет был закрыт. Оказалось, я приехал на учёбу вечером.

— Забавно, — она улыбнулась задумчиво. — Вы знаете, Илья... а давайте на «ты»?

— Хорошо, договорились.

— Про время тоже могу рассказать смешную историю, случившуюся со мной в Пскове год назад. Я завтракала в ресторане гостиницы. Ко мне подсел бородатый мужчина, приличного вроде вида, и спросил не про час, и даже не про день недели, он поинтересовался, какой сегодня месяц. Представляешь, месяц!?

Илья улыбнулся, засмеялась его соседка. У неё был звонкий, красивый, искренний, почти детский смех.

— Месяц!.. Мужчина сказал, что запил и потерялся в датах. Кстати, он оказался очень интересным собеседником.

— Прямо интересным-интересным?

— Очень... даже удивительно. У тебя такого не было?.. Иногда встречаешь старого хорошего знакомого или знакомую, улыбаешься, киваешь, слушаешь необязательную информацию и делаешь вид, что очень интересно узнать о новых соседях по лестничной площадке и очередном повышении цены на бензин. Тебе скучно, корабли разошлись, и за долгие годы жизни общие воспоминания обросли толстым слоем ракушек нового опыта... и ты облегчённо выдыхаешь, распрощавшись... Странно, иногда случайный сосед или соседка в самолёте, поезде, зале ожидания или вот как тот дядька в гостинице становится лучшим собеседником в вашей жизни. Вы обсуждаете различные темы — от геополитики до любимых блюд, и вам хорошо, но приходит время, и вы расходитесь в разные стороны с некоторым сожалением, и напоследок, улыбнувшись, помашете рукой друг другу... Вдруг это был мой человек?.. Он пригласил меня в ресторан и смешил без перерыва. Потом мы гуляли вдоль реки Великой, кажется, она так называется? Он читал стихи и пытался поцеловать.

— Вот ведь негодяй, — смеялся Илья. Странно, он почувствовал, как царапнуло в душе: «Господи, я ревную?»

Она отхлебнула ещё:

— Когда идёт снег, я вспоминаю такие встречи и думаю: наверное, мы были близки с этим мужчиной в прошлой жизни... а может, встретимся в следующей?

— А при чём тут снег? — спросил Илья.

— Не знаю, он иногда падает с неба, и я вспоминаю... Люблю снег. И дождь люблю. Так тоскливо, хорошо. Сейчас почему-то везде по телевизору и в интернете уклон в безудержное веселье, все должны хохотать и радоваться жизни, а я вот не желаю, хочу плакать иногда и грустить.

Он пристально взглянул на собеседницу. Ему очень сильно, до боли в затылке и внизу живота, захотелось обнять её и прижать к себе.

— Не смотри, я оденусь, — попросила она Илью, словно старого знакомого. Встала, подошла к кровати, скинула полотенце.

— Да, конечно, — он отвернулся, но не сразу, успев заметить острые конусы груди, увенчанные большими тёмными сосками. Налил себе коньяку и выпил, глядя на обои.

— Теперь можно.

Он повернул голову и замер. Она была в светло-бежевом платье с разрезом и красных туфлях на высоком каблуке.

— Ты очень красивая.

— Спасибо, Илья, — улыбнулась Надежда и накинула шерстяное пальто цвета кофе с молоком. — А сейчас идём гулять.

Они вышли из гостиницы, пересекли реку по мосту из посеребривших сосновых досок. Над садом поднималось солнце. Тёплый ветерок колыхал ветви цветущих яблонь. Дорожка, усыпанная лепестками, терялась в утренней розовой дымке. Ступать было мягко и приятно. Она держала его под руку, иногда прижималась головой к его плечу, и сердце Ильи замирало.

Он остановился у старой скамейки, кинул на подгнившие доски свою куртку, сел и постучал ладонью рядом.

— Можно? — она неожиданно села ему на колени и обняла за шею.

Илья вздрогнул, по спине побежали мурашки. Он чуть не задохнулся от волшебного её запаха и чего-то нового, невиданного и неиспытанного ранее.

Её лицо так близко. Эти губы и глаза зеленоватого оттенка. Кровь ударила в виски. Он плохо соображал. Повернул голову и прижался к ней. Она улыбнулась и поддалась. Он жадно целовал её, ощущая вкус коньяка и шоколада, гладил горячие колени, в их волосах путались молодые листья и белые соцветия, а высоко в небе загорались новые звёзды.

Илья, поднял руку и сорвал яблоко:

— Будешь?

— Да... пойдём домой, я хочу тебя, — она потёрлась носом о его заросшую щёку. — Какой колючий.

— Давай ещё минутку посидим, — попросил он. — Только это будет другая минутка. Не стандартные земные шестьдесят секунд, а минута длиной в жизнь бабочки, минута с далёкой, гигантской тяжёлой планеты, которая очень медленно поворачивается вокруг своей оси. Ведь есть планеты в дальнем космосе, где год длится миллион лет. Так много, наверно, нам не надо, пусть наша минута длится хотя бы обычный земной час... нет, пусть как жизнь бабочки — один день.

— Хорошо, это будет очень длинная минутка, а впереди у нас целая жизнь, сотканная из подобных бесконечных мгновений, правда?

— Да, родная, я сейчас понял... ну, как ты говорила там, за столом: я нашёл своего человека.

Когда они подошли к гостинице, Илья сказал:

— Поднимайся в номер. Я быстро. Куплю поесть и назад.

— Да, жду тебя, не задерживайся, пожалуйста, — она поцеловала его в губы и погладила по щеке.

Он побежал в центр, в универмаг на площади Ленина, купил фруктов, шоколада, мясной нарезки, готовых салатов, одноразовой посуды и самого дорогого коньяка. На выходе, в углу, он заметил вывеску «Ремонт часов». За конторкой сидел старик в засаленном берете и с чёрным окуляром, прицепленным к очкам. Он что-то

выговаривал в воздух, вытирал грязным платком крючковатый нос, ковыряясь в винтажном будильнике.

— Здравствуйте, а вы можете поменять батарейку? — спросил Илья, наклоняясь к окошку, торопливо снимая с руки хронометр. Сильно дёрнул, и браслет сломался. — Блин... и почините ещё железо, только, пожалуйста, быстрее.

— Не спешите, юноша, всё, что сделано второпях, как правило, недолговечно, — старик отложил работу, взял часы, покрутил в руках. — Молодой человек, вы понимаете, что вам нельзя доверять дорогие часы? Как можно было довести их до такого ужасного состояния? Соединения сгнившие. Весь браслет нуждается в переборке.

— Вы поймите, я же работаю, иногда под дождём, грязь, бывает, попадает, — Илья виновато топтался, отсчитывая секунды в уме.

Часовщик укоризненно покачал головой и, похоже, не принял оправданий. Долго стучал маленьким молоточком, выбивая обломок шпильки. Срастил браслет, поменял батарейку.

Илья расплатился с недовольным мастером, сунул часы в карман и рванул в гостиницу. Он бежал, пробиваясь через стену мокрого снега. Ворвался в номер, промокший до нитки.

В сумраке комнаты на кровати сгорбившись сидела Надежда. Он кинул пакеты с продуктами, упал перед ней на колени.

— Мы сейчас поедем. Потом ты отдохнёшь. Смотри, я заменил батарейку, теперь мы точно знаем, который час, — он нацепил браслет.

— Зачем ты это сделал? — спросила она.

— Что сделал?

— Починил часы.

— Как же, моя радость, я же должен знать время.

— Мы только начали, нам не нужно было времени, потому что мы жили вне его, купались за пределами, а сейчас... я тебя ждала, так ждала... Ты знаешь, ведь оно утекает, — на осунувшемся её лице, посередине лба, появилась глубокая, невидимая ранее, морщинка. — Прощай.

Хлопнула дверь. Илья ударил кулаком по стене и пнул пакет. По ковру разлетелись мандарины и сливы.

Он накинул куртку и выскочил на улицу. Метнулся было в город, но потом решил, что, скорее всего, Надежда ушла на вокзал. На заснеженной дорожке в саду увидел свежие женские следы, и сердце заколотилось в безумном ритме. Услышав длинный гудок, Илья полетел через чёрно-белую галерею оголённых крон, проскальзывая на мокром снегу, выскочил на вокзал. Станционные фонари выхватывали из ранних сумерек сутулые спины уходящих провожающих. Он опоздал. Серая гремущая гусеница поезда дёрнула хвостом последнего вагона на выходных стрелках.

Илья в последней надежде ворвался в здание вокзала, испугав греющихся бродяг. Её там не было. Как сомнамбула носился до полуночи по городу, но тщетно. Надежды он не нашёл.

В первом часу Илья заглянул в пивную у гостиницы.

— Сынок, добавь на пиво, — грязный и старый сухощавый мужичок дежурил у входа. Илья присмотрелся и узнал Дмитрия Ивановича, соседа по купе.

Купил себе стакан портера, наполнил для Иваныча две пластиковые литрухи.

— Спасибо, сынок. Вот это подгон, от души в душу. Ты — человечество, таких, как ты, парень, — один на сто тыщ, — Иваныч благодарно тряс головой, шамкая беззубым ртом.

— Иваныч, ты же... вы что, не узнали меня? Мы виделись позавчера, ехали вместе. Помните, вы спрашивали про ножик в спину?

— Прости, друг, не узнаю, чё-то запамятовал я тебя... Слушай, я пойду...

Старик прижал бутылки к груди и, испуганно оглядываясь, поспешил скрыться за углом.

В гостинице Илья постучал в тёмное окошко рецепции. Вспомнил о звонке и нажал на кнопку.

— Вот не спится-то шальному, — ворчала сонная старуха, открывая форточку.

— Простите, прошлой ночью женщина ко мне в номер заселилась, вы не могли бы сообщить её адрес, она обещала мне сказать, да второпях забыла, — Илья протянул в окошко тысячную купюру.

— Убери деньги, с ума сошёл, не заезжало вчера никаких женщин... Нажрётся до белочки, людей пугает, чёрт лохматый... поселился на нашу голову... когда же ты съедешь уже... — дежурная что-то ещё ворчала, но Илья ничего не слышал.

Он поднялся в номер. Поставил на зарядку мобильник. Открыл коньяк и сел за стол.

«Как же не было, вот шоколадка её и...» — он взял стакан, из которого пила Надежда, облизал ободок и почувствовал вкус помады. Налил до краешка, закрыл глаза и медленно выпил.

Посмотрел на часы. Красная стрелка бодро отсчитывала секунды. Проверил билет. Спать до поезда оставалось совсем немного. Взял телефон и поставил будильник. Сел на кровать и завалился на спину, чертыхнулся, откинул матрас. Крышки от парт были проломлены, словно кто-то тяжёлый прыгал на них.

Илья подвинул соседнее ложе и нашёл на стене окончание длинной надписи про любовь:

...ятакхочутебятаксильнолюблютебялюблютебя

Достал ручку из портфеля, начал писать на обоях, продолжая бесконечный речитатив: *ялюблютебямоейогромнойлюбвихватитнамдвоимсголовойялюблютебянавсегданавсегда...*

Открыл балкон, но кошка не приходила. Упал в лодку из сломанных парт и услышал музыку...

Давно звенел будильник. Илья вскочил. До поезда оставалось двадцать минут. Он повесил сумку на плечо, окинул взглядом комнату и закрыл дверь. Старуха внизу смотрела телевизор.

Он бежал через заброшенный фруктовый сад, скользил на гнилых яблоках. Его поезд ожидал на вокзале. Динамик пробублькала невнятно, сообщив о скором отправлении. На платформе прогуливались пассажиры. Илье показалось необычным, что их лица закрывали врачебные маски.

Он подошёл к своему вагону, протянул документы проводнице с белым респиратором, спущенным на подбородок.

— Странно, накладочка выходит, ваше место занято, у меня все пассажиры с билетами, — смущённо сказала она. — Такое раньше бывало, когда вручную оформляли билеты, но сейчас-то система единая, не должна сбоить. Не переживайте, посадим вас. Сейчас начальник поезда подойдёт, решим вопрос.

— Подождите, ведь номер поезда и вагона, дата — всё сходится, тут какая-то ошибка, — занервничал Илья.

Проводница с удивлением рассматривала проездной документ растрёпанного, заросшего косматой бородой незнакомца. Только сейчас она заметила, что его билет просрочен на два года.

Евгений Коновалов

В парке на площади мира

* * *

Что там, за плотью неба? Глух, неведом
голос грядущего. Бывало, стоишь чуть свет —
ан катастрофу на палочке уже нарекли победой
после крик-шоу сплетен и бед.

Запах вечерних сосен, отчаянное стаккато
блудного соловья и в полный рост
роза на скатерти. Накрыт, но не предугадан,
банален — едва ли, присыпанный крошкой звёзд.

Что там, за дверью мира? Всё дорога,
кочки да ссадины, а рядом таится страх
одиначества родового — в деснице Бога,
обесцененного на мировых устах.

В саже и рёве пелёнки планеты, что-то
мадонна поёт голышом, ангел бескрыл;
но жалоба Лира с наивностью Дон-Кихота
оберегают нас из последних сил.

Созданный жизнью из ниоткуда, кроме
как из рифмы неожиданной двух судеб, он по воде
аки посуху шествует, незнакомец,
или спит со всеми удобствами — в животе.

* * *

Соловей над кладбищенскими деревьями.
О вечной жизни ли он поёт
или о земной?

Вот она, неисповедимая,
с верным куском рабства, отрыжкой свободы,
химерами власти — над перстью праха,
оторванными ногами и головами.

Буднично и покойно
ложиться под гранитную слизь.
Все ни при чём. Таков приказ.

Мало,
как мало нам надо,
чтобы одобрить очередной
листопад из детей человеческих —
или петь соловьём
перед могилой.

* * *

Из мятого вагона после взрыва
носилками таскали трупы
и складывали их под простыни,
и — не хватило. Вздогнуло
и запиликало — на том,
что было третью человека,
звонил мобильник. Пел тореадор.

Старик в красном

Л.А.Шифрину

«О смерти да о смерти — все стихи,
неужто больше не о чем?!» — спросил он
и усмехнулся. — «Мало ли кругом
людей, работы, счастья, увлечений
хоть марками почтовыми? Об этом
пиши, и слава богу!» — Замолчал
и сделал жест, как бы сменяя гибель
с пути всего живого, — и не раз
одерживал победу он над ней
со скальпелем в руке.

Как отвечать тут? Или все поэты
одно поют? Что обе двери мира
спокон веков притягивают взгляд,
и блудный сын торопится пожить?
Что молодость её ещё не знает
и рада с ней заигрывать, что ужас
придёт потом?

...Вблизи Новороссийска, в сорок третьем,
под бесконечным авианалётом
вчерашний пятикурсник на «Ташкенте»
без сна вторые сутки зашивал
и резал раненых — на чистом спирте,
и чтобы не свалился он, матросы
кулак ему совали под ребро,
и бомбы ухали в кильватер так,
что матюки с молитвами мешались...

Качая поседелой головой
на фоне долголетнего заката,
покойно сидя в кресле, не спеша
рассказывает случаи из жизни.
...А сам исполнен жизнью до краёв
с четвёртого инфаркта, и он знал —
последнего.

Ни кипы, ни креста. Согласен разве
на ладанку из нитроглицерина
как ёлочное украшение. Шутит
исправно дед-мороз, а новый год
вот-вот настанет. Что ещё? Теперь
сумеем пережить мы тот февраль,
когда весной уже наполнен воздух
и воробьи готовы петь осанну,
и вся-то смерть — не более чем точка
в переизбытке слов.

Путём Иова

Неужели так просто — от Бога,
и — за пазуху? В школе невзгод
карантин. Исподлобья с порога
смотрит опустошительный год.

Маска страха и доблести. Поздно
изолироваться в свой бедлам,
и летят сквозь единственный воздух
бомбы ненависти — ко всем нам.

Искушают соблазны оравой,
искажается воплями вдох.
В царстве пошлости прячется дьявол.
В царстве пошлости немошен Бог.

Не закрыть от напасти границы,
клетка звука — и та позади.
Мы подходим к барьеру — на лицах,
и с экзаменами во плоти.

Но и сосны — по горло в диктанте,
но и семя пускается в рост
к беззащитной гибели — там, где
шлейф комет и пульсация звёзд.

Здесь и впишемся, сыне. Тревога
ждёт надежду, а губы сипят:
«Если что-то и было от Бога,
то теперь — от себя. От себя».

Романс

Жизнь украшает — колотьём в груди
и красноталом в сумеречной чаще.
От юности, галдящей позади,
к затишью листьев хочется всё чаще.
Фото-мгновениями полон год,
и каждое — по фаустовской части.
Жизнь убывает — мелочью забот
и детством, перешедшим в обиход,
и даже счастьем, боже, даже счастьем.

Текущее из вечности вино —
что залпом, что по скатерти, — но терпок
ежеминутный вкус, а всё равно
пьянит насилу, слюбится и терпит.
Надтреснутая музыка, учи,
раз ты нам уготована! Авось ей
удастся подобрать ещё ключи
к бунтующему сердцу — хоть молчи,
да в рифму, подступающая осень.

* * *

В парке на площади мира
солнце раскрашивает кору
летних каштанов, и сыро
пахнет трава на пару.

В парке на площади мира
не сосчитать детвору
с маминым платьем как ориентиром
на голубином пиру.

В парке на площади мира
счастливым быть подобру
и поздорову лобастым кумиром
красно стоять на миру.

В парке на площади мира —
вот ещё, весь теперь не умру,
подданный рифмы, задира
листьев на зябком ветру.

Тамерлан Тадтаев

Рассказы

Земфира

К бутонам нежным страсть червей сильна,
Соблазн тем больше, чем прекрасней чудо...

Уильям Шекспир

Она появилась в нашем городе, яркая, красивая, в облегающем стройную фигуру платье, и люди на улице оборачивались вслед и застывали, как манекены в магазине. Даже спесивый владелец чёрной «Волги» Гьоро Дато (Свинья Дато), и тот сбавлял скорость возле прекрасной незнакомки и, высунувшись из окошка машины, пялился на девушку и сигналил. Но красотка будто не замечала, какой ажиотаж она вызывает, и продолжала цокать на своих шпильках в сторону большого парка. Там, в тени тополей, на лавочке у пруда, я и подкатил к ней, начав разговор с романа Хемингуэя «И восходит солнце». Я начал с эпиграфа к своему любимому роману: «Все мы потерянное поколение».

— Боже, больного мне ещё не хватало, — девушка испуганно огляделась по сторонам, но в парке в это время, кроме нас и сумасшедших в малиновых вельветовых халатах, никого не было. Я уже привык к психам, которые приходят сюда с пластмассовыми вёдрами и убирают мусор вокруг «озера» — так мы, местные, называем водоём с качающимися возле причала катамаранами.

— Род проходит и род приходит, — продолжал я клеить незнакомку текстом из Екклесиаста, от которого по всему моему телу бегали мурашки, — а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идёт ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу с воем и возвращается ветер на круги своя. Э... кхм...

У меня потекли слёзы, на этом месте я всегда плачу, даже когда произношу магические слова про себя. Я отвернулся, чтобы скрыть сырость на лице, и заметил на другом берегу пруда психа, который прятался в кустах и, поглядывая на девушку,

Тамерлан Тадтаев — осетинский русскоязычный писатель, публицист. Родился в 1966 году в Цхинвале. Участник грузино-осетинской войны. Награждён медалью «Защитник Отечества». Публиковался в журналах «Дружба народов», «Нева», «Сибирские огни». Автор нескольких сборников стихов и прозы, в том числе «Судный день» (2010), «Полиэтиленовый город» (2013), «Ангел Бесы» (2020) и др. Лауреат «Русской премии» и премии журнала «Нева» (2008).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 10.

дрочил. Я погрозил ему кулаком, хотел даже кинуть в него камнем, но сумасшедший поднял руки, типа всё, уже кончил. Он спросил жестом, нет ли у меня сигарет, я отрицательно мотнул головой. Сумасшедший исчез, потом вышел из зарослей ивняка, попыхивая окурком, и как ни в чём не бывало принялся собирать мусор в своё пластмассовое красное ведро.

Девушка между тем сняла с ноги лодочку, деловито вытряхнула из неё песок, надела на свою удивительно красивую ступню, взглянула на меня уже с любопытством и произнесла:

— Не думала, что в этом городе есть интересующиеся литературой люди.

— Не знаю как все, но я целыми днями сижу в городской библиотеке.

Я вынул из кармана мамины с толстыми стёклами очки, напялил, голова сразу же закружилась, но что не сделаешь ради красивой девушки!

— Угадайте, какой книгой я сейчас наслаждаюсь?

— «Анной Карениной»?

— Нет! Даю вам ещё один шанс.

— «Тремя мушкетёрами»?

— Не, романы Дюма я прочитал ещё в начальных классах.

— Вы меня удивляете! Ладно, сдаюсь.

— «Алисой в Стране чудес»!

— О боже, вы мне будто в душу заглянули, ведь это моя любимая книжка. А как вас зовут?

— Тамме, ну, или Тамик. А вас?

— Земфира.

— Очень приятно... Земфира — какое у вас чудесное имя! Может, перейдём на ты?

— А давай.

После этого мы встали с лавочки и пошли по парку, болтая о том о сём. Оказалось, Земфира приехала сюда из Северной Осетии к родственникам и завтра должна была укатить обратно. Я тут же приуныл, ведь за такое короткое время туристку и ту не уговоришь, не то что осетинку да ещё красавицу-дочку североосетинского партийного босса.

Впрочем, это вряд ли, я давно заметил, что девчонки любят своих отцов настолько, что наделяют их полномочиями министров, в реале же те простые бульдозеристы, трактористы, водопроводчики и крановщики. А у рыжей Аллы, на которой я чуть не женился, родитель вообще оказался могильщиком на кладбище.

Земфира, заметив на моём лице недоверчивую улыбку, заявила, что её папу привозят домой на государственной чёрной «Волге».

От маминых очков мир вокруг стал мутным, меня стало пошатывать, как пьяницу. Земфира, похоже, решила, что меня крутит от смеха из-за её рассказов о том, в какой шикарной квартире она живёт с родителями в центре Владикавказа. Ну и махнула на меня рукой: мол, не веришь, не надо. Я снял очки, мы сменили тему, перешли снова на литературу и заговорили о «Мастере и Маргарите». На шпильках, конечно, далеко не уйдёшь, не погуляешь, тем более по усыпанной гравием дорожке. Земфира устала и сказала, что ей пора вернуться к родственникам, которые наверняка беспокоятся, если уже не кинулись на поиски. Тут я схватил её за осиную талию, привлёк к себе и хотел поцеловать по-французски, но она, смеясь, стала отбиваться. Я был более чем настойчив, и в конце концов Земфира сжалась надо мной и подставила розовую, дивно пахнущую щёчку.

— В губы, — она пообещала, — вечером.

— А мы ещё встретимся? — спросил я задыхаясь.

— Конечно, если ты поведёшь меня в кафе и напоишь шампанским.

Денег у меня в кармане хватило бы только на чай с каким-нибудь занюханым пирожным, но я подумал, что займу у ребят, если, конечно, свидание состоится.

Мы дошли до ворот парка, она сказала, что дальше провожать не надо, сама, мол, дойду. Договорились встретиться у кафе «Фатима» в шесть часов и расстались. Никто из ребят не вошёл в положение и денег, конечно, не одолжил. Пришлось украсть червонец из маминого кошелька, хотя я знал, какие последствия меня ждут. Впрочем, в глубине души была надежда, что Земфира всё-таки не придёт на свидание и не надо будет тратить деньги. Но она явилась, и червонец остался в кафе вместе с двумя пустыми бутылками шампанского и горой недоеденных закусок. Я ждал сдачи, но официантка не спешила к нам. Мужчины за соседними столиками пилились на мою даму, а я, предчувствуя скандал дома, совсем ушёл в себя, перестал улыбаться и говорить комплименты. Земфира обиделась, схватила свой зонт, встала и направилась к выходу, я обругал про себя дуру-официантку, плюнул на сдачу и побрёл за девушкой.

На улице бушевала гроза, зонтик не открывался, и мы сразу же промокли под ливнем. «Простуды мне ещё не хватало», — подумал я, со злобой глядя на носки своих хлюпающих туфель, — чего доброго, подошва отклеится по дороге. Да и вообще, какого чёрта мне нужно было клеить эту лошадь? Прыгнула бы она в машину Гьоро Дато, и он был бы на седьмом небе от счастья. Сразу бы повёз Земфиру в Тбилиси, а там повсюду дорогие рестораны. Зашли бы сначала в этот, потом в тот и напились бы на пару до поросычьего визга, только вот как с таким брюхом Дато влез бы на Земфиру?

Не знаю, что обо мне думала Земфира, наверное, тоже не очень хорошо, ну да хрен с ней, я решил, что галантно провожу свою даму до дома её родственников, а после пойду домой болеть. Так мы и шли, злые, хлюпая по лужам в сторону жилмассива, а над нами сверкали молнии и грохотал гром. Земфира снова стала возиться с зонтом, он открылся, и тут ветер вырвал его из влажных рук, я кинулся за ним, поймал и принёс обратно, как пёсик палку хозяйке. Земфира обняла меня, я впился в её пухлые губы, и мы стали истоно целоваться. Я подумал, что червонец не вернуть, скандала с мамой тоже не миновать, выходило, что секс — единственная компенсация за грядущие неприятности. Я дал волю рукам, она не сопротивлялась, только стонала и тяжело дышала.

— Хочешь меня? — шёпотом спросила Земфира.

— Безумно!

— Я дам тебе, но с одним условием.

— Каким?

— Ты женишься на мне.

— Офигеть! Ты что, целка?

— Дурак!

— Извини, я ничего не понимаю.

— Тамик, или как там тебя, сегодня я не просто так заговорила о своём отце, он действительно большой человек, и если ты женишься на мне, папа поможет тебе сделать карьеру, и мы никогда ни в чём не будем нуждаться. Но есть одно «но»...

— Какое?

— Я связалась с одним парнем-наркоманом, он из нашего круга...

— Понятно, сын босса?

— Да, и по статусу он выше моего, потому-то я и оказалась в такой заднице!

— Хочешь, я разберусь с твоим типом?

— Нет, не нужно.

— Ладно, как скажешь.

— Таме, — я правильно произношу твоё имя?

— Ну да, хотя можно и Тамик, мне так больше нравится...

— Этот подонок и меня посадил на иглу, сейчас он в тюрьме сидит, но его скоро вытащат оттуда.

— Что за санта-барбара?

— Я серьёзно, Таме, если я вернусь во Владик, он украдёт меня, женится, и я стану героиновой девочкой. А мне хочется обычного счастья, — Земфира заплакала. — Ты мне нравишься, Таме, я бы родила тебе детей, и мы жили бы вместе не зная горя...

Тут на нас снова обрушился ливень с градом, и мы укрылись в подвале одного из корпусов жилмассива. Там было темно хоть глаз выколи, но мысли мои прояснились, а чувства к Земфире переменялись. Мне захотелось вырвать девушку из лап наркомана, сделать её счастливой. Она такая красивая, просто лапочка, будем вместе встречать рассветы и гулять по вечерам в парке. Хорошо, если бы папа Земфиры и в самом деле оказался партийным боссом, а не могильщиком, как отец рыжей Аллы, тогда бы он помог нам встать на ноги. А нет, так сами всё сделаем: я найду работу, дострою отцовский дом, родим детей, куплю машину, летом будем ездить на море в Сухум или Батум, может, в Ялту махнём. Словом, я наполнился счастьем, как светлячок светом, и уже решил вести Земфиру к себе домой, чтоб представить её маман как невесту.

К тому времени дождь перестал барабанить по козырьку над подвалом, самое время идти. Но была уже глубокая ночь, и переть в мокрой одежде на другой конец города мне совсем не хотелось. Хорошо бы поймать такси, у меня ещё оставался в кармане рубль. Тут до моего слуха донёсся шум мотора, хлопанье дверей автомобиля и тихие приглушённые голоса.

— Сейчас поднимусь наверх, — шепнул я Земфире. — Узнаю, в чём дело, может, это такси.

— Милый, будь поаккуратней.

— Да что со мной случится? Это же мой родной город. Ладно, я сейчас.

Я выбрался наверх и направился к фигурам возле легковушки. Сердце моё пело от счастья, я почти не касался ногами земли, ещё немного, и я бы взмыл наверх. Люди возле автомобиля повернулись в мою сторону и молча смотрели на меня. Приблизившись, я увидел, что это были менты. Тугома (Кровавая Блевотина) и верзилу (Матрошку) я узнал сразу, они как-то повязали меня с другом из-за драки и били нас в участке будь здоров. Тем не менее я вежливо поздоровался с ними, сказал, что принял их машину за такси и хотел поехать на нём домой. «Мы тебя подбросим», — тихим голосом произнёс Матрошка. «Да нет, спасибо, не буду вас отвлекать, до свидания». Я развернулся и пошёл прочь. Была у меня в голове соблазнительная мысль убежать и отвлечь легавых от подвала, где сидела Земфира. Но потом я всё-таки решил, что негоже бросать невесту при первой же опасности, буду с ней до конца и в радости, и в горе. Я надеялся, что кроны платанов и тьма скроют меня от глаз легавых и сделал ещё один хитрый манёвр: прошёл несколько корпусов, потом, прячась за деревьями и кустами, вернулся к козырьку, спустился к Земфире, обнял и закрыл ей рот поцелуем. Но она, почувствовав неладное, отлепилась от меня и шёпотом спросила: «Что случилось, ты нашёл такси?» «Тс-с, я встретился с нехорошими людьми, будем сидеть тут тихо, пока эти твари не уберутся». Но легавые не ушли, они взяли след и уже спускались, освещая фонариком стены подвала, где мы прятались. Я слышал их разговор и понял, что мы влипли по самое не хочу:

— Куда подевался этот членосос? Ты точно видел, что он зашёл сюда?

Земфира дёрнулась, хотела что-то сказать, но я прикрыл ей рот ладонью.

— Посвети-ка сюда, — сказал Тугом. — Видишь мокрые следы? Как ты думаешь, чьи они?

Прятаться дальше было бесполезно, менты обнаружили нас, вытащили из подвала, засунули в машину и повезли в участок. По дороге легавые били меня и спрашивали, кто ещё был на той вечеринке. Я не знаю, о чём вы говорите, визжал я, уронив к чертям достоинство, честь, — словом, всё, что украшает мужчину, мы просто спрятались от грозы в подвале! Земфира сидела между мной и Тугомом, бедняжка плакала и говорила, что они ещё пожалеют об этом, за что Тугом ей врезал локтем по лицу. Я было рванулся к Блевотине, но Матрошка вырубил меня ударом кулака по голове.

Очнулся я во дворе участка, менты окружили и молотили меня, похоже, для них это было развлечением или своего рода зарядкой. Особенно старался Тугом, как будто оправдывал свою гнусную кличку. Из участка доносились вопли Земфиры: «Не смейте меня трогать, убери свои грязные лапы, сволочь, дочери своей засунь их туда! Да вы хоть знаете, с кем имеете дело? Мой отец вас всех пересаждает, бляди! Дайте хотя бы позвонить папе!»

А я уже не чувствовал боли и перестал закрывать голову руками, мне просто хотелось отключиться, может, даже умереть. Но вдруг всё переменялось: менты вокруг засуетились, пытались поставить меня на ноги, поили водой, капали в стакан валерьянку: Земфира и вправду оказалась дочерью Н. Это имя было у всех на слуху, осетины гордились им, как грузины Сталиным. Я увидел растерянное лицо Тугома, он просил меня написать, что Земфира шлюха и занимается сексом за деньги.

— Ты хочешь, чтобы я назвал свою невесту блядью? — спросил я, глядя на эту сволочь из щелей вздутых глаз.

— За это мы отпустим тебя домой прямо сейчас. Или ты хочешь загреметь в тюрьму?

— За что?

— За то, что ты был на вечеринке, где зарезали парня, мы повесим на тебя труп. Сечёшь?

— Отвали от меня, пока я не заблевал тебя кровью.

— Шутки со мной шутить вздумал?

Тугом хотел меня ударить, но прибежал Матрошка и велел выкинуть меня за ворота. Он был ужасно расстроен и говорил Блевотине, что надо срочно звонить в Тбилиси, иначе всех причастных ждёт тюрьма. Девушку, мол, вообще нельзя было трогать, кто её бил-то, не ты, Тугом?

Домой я пришёл под утро. Мама, увидев меня, чуть в обморок не упала, я накапал ей корвалол и уложил на кровать. Потом я помылся, переоделся и вернулся в ментовку. У ворот стоял знакомый легавый, когда-то мы учились с ним в одной школе, и я, бывало, колотил его, отбирал деньги, а как-то насрал ему в портфель. Я поздоровался с ним и спросил, что случилось с девушкой, которую привезли сюда ночью вместе со мной. «Отпустили. Слушай, Таме, шёл бы ты отсюда, мне не хочется неприятностей. Да и как вспомню, что ты со мной в школе вытворял, короче, вали отсюда, мать твою, или я за себя не ручаюсь!» «Ладно-ладно, — я поднял руки и стал отступать, — ты же не всё время будешь в форме, поймаю ещё тебя в гражданке...»

Потом я ещё долго искал Земфиру, но так и не нашёл...

Заказ

Сначала мы пили в мастерской, заваленной картинами и всяким художественным хламом. На месте Бесы я был бы поаккуратней, ведь каждая его работа стоила целое состояние. Не помню, в каком году он продал картину за триста тысяч евро и купил сыну от первой жены квартиру на Кипре. Ну да это, конечно, не моё дело, я пришёл к своему другу детства просить денег на фильм. Я как раз осваивал новый смартфон с офигенной камерой, буду снимать на телефон, сейчас это модно, да и на оператора не придётся тратить.

Актёров будет всего три: я буду играть самого себя, на роль покойного Серёги я уже присмотрел артиста, осталось провести кастинг на роль главной героини. По ещё не написанному сценарию она должна вспылать ко мне страстью на Каннском кинофестивале. Разумеется, у неё ничего не получится, потому что на родине меня ждёт жена. Но без интриги тут не обойтись: в нашем отеле живут две подруги — одна китаянка, другая чернокожая — обе бишечки, они принимают меня за Джонни Деппа, и по вечерам мы втроём тайно — надо хорошенько прописать в сценарии — кувыркаемся в постели. Увидев, что со мной ничего не выходит, главная героиня решает подкатить к Серёге и начинает околдовывать его своими чарами. Актриса должна быть молодая, двадцать пять лет, красивая, с офигенной фигурой, имени ей я ещё не придумал. По сценарию, который крутится в моей воспалённой от идей голове, она, скорей всего, Татьяна, ну, или Сандра. Она, кстати, тоже режиссёр и привезла с собой в Канны слабую короткометражку. В финале её похищают арабы, у которых она покупала кокс, и мы с Серёгой идём освобождать красотку. Концовку я ещё не придумал, ну да это пустяки, главное — выклянчить у Бесы десять тысяч евро, — вполне приличный бюджет для такого кино.

По правде говоря, я плевать хотел на сюжет фильма, просто мне ужасно хочется вернуться в Канны и поснимать места, где мы были с Серёгой в мае 2015-го. Трезвый, однако, я не решался просить денег у друга детства и, чтобы набраться храбрости, отчаянно пил. Беса тоже был не в духе и жрал виски с таким видом, словно хотел покончить с собой. Иногда, впрочем, лицо художника начинало сиять, а из глаз брызгали пьяные счастливые слёзы. В такие моменты он предлагал выпить за некую прекрасную Аннет. Я терялся в догадках, кто эта девушка, уж не Аня ли, бывшая его жена, и хлестал виски за неё. Когда стало ясно, что попойки по-цхинвальски не миновать — жуткое дело, — мы переместились на кухню. Холодильник был пустой, зато в баре алкоголя хватило бы на хорошую свадьбу. Беса сказал, чтобы я чувствовал себя как дома, а сам юркнул в сортир. Пока он тужился на толчке, я открыл новую бутылку виски и потихонечку увеличивал градус храбрости для своей просьбы. Кстати, не все почитатели Бесы знают, что гениальный художник страдает запорами, и он может просидеть на толчке час, а то и больше.

— Таме, — донеслось из туалета, — ты не голодный?

— Нет, — я громко, как пёс, сглотнул слюну, до того хотелось жрать, но по цхинвальскому обычаю я должен был отнекиваться, пока меня не ткнут мордой в еду.

— Не дури. Как ты относишься к японской кухне?

— Нормально, — я сощурил глаза. — Моя якудза, банзай! Смотрел «Фейерверк» Такеши Китано?

— Спрашиваешь. Слушай, я заказал суши и пиццу, сейчас их принесут.

— Помнишь, Китано завернул в полотенце камень, жажнул им по башке якудзу и у того выскочил глаз?

— Он наступил на него?

— На что?

— На глаз якудзы.

— Не помню, но Такеши и не такое вытворял в своих фильмах.

— Такеши Китано приходил на мою выставку в Токио, кажется, даже хотел купить картину.

— Охренеть! Надеюсь, ты взял у него автограф?

— Обычно у меня берут автографы.

— За тебя, Беса, ты очень крутой, я горжусь тобой, бро!

— Спасибо, Таме. А в Голливуде встречался с самим Дэвидом Линчем, он приглашал меня художником на какой-то свой проект.

— Не на «Твин Пикс»?

— Чёрт его знает, мы говорили на английском без переводчика, я ни хрена не понимал, если честно.

— Ты не сказал ему, что один из моих любимых фильмов — «Малхолланд-драйв»?

— А должен был?

— Думаю, Линчу было бы приятно знать, что где-то в Мухосранске у него есть фанат. В любом случае Наоми Уоттс сыграла гениально!

— Мне больше понравилась брюнетка... Лаура Хэрринг, если не ошибаюсь.

— Она, конечно, тоже гениальна, но Наоми круче, я подписался на неё в фейсбуке и ставлю лайки под каждой её фоткой.

— Таме!

— Что?

— Ты когда-нибудь какал с женщиной вместе?

— В смысле? — я хотел выпить, но расплескал виски, пришлось долить из бутылки. — На одном унитазе?

— На толчке мало романтики. Слыхал про Лисью бухту?

— Вроде да, хотя чёрт его знает, а что?

— Похоже, я тут надолго, подай мне, пожалуйста, что-нибудь из бара.

— Ладно.

Я встал, но сперва двинул в гардеробную, отыскал брендовую кожаную куртку, которую Беса обещал мне отдать ещё в допандемийные времена, снял её с плечиков и запихнул в свой рюкзак. Потом вернулся на кухню, вынул из бара большую бутылку «Джемисон Блейк» и просунул её Бесе в сортир. Ну вот, куртка теперь моя, я столько мечтал о ней! Если Беса даст деньги на фильм, возьму кожанку на Каннский фестиваль: у меня слабость к дорогой красивой одежде, хотя фигура уже не та. Разжирел, вырос живот, но плечи мои по-прежнему сильные. Впрочем, до начала фестиваля ещё есть время, чтобы сбросить несколько кило, начну бегать, подкачаюсь, если, конечно, проклятый коронавирус не уложит меня в могилу, как чума Моцарта. Я сел за стол, налил себе и выпил.

— Как ты там? — спросил я Бесу.

— Нормально.

— Ты говорил про Лисью бухту.

— Не знаю, как сейчас, — сказал Беса после некоторого молчания, — но лет пятнадцать назад в Крыму был дикий нудистский пляж. Люди приезжали туда семьями, ставили палатки на берегу в трёх шагах от моря и жили месяцами...

Я закурил и стал слушать про то, как Беса со своей женой Анечкой прикатали в Лисью бухту с полным багажником бухла, разбили палатку рядом с шатром парочки из Киева и целыми днями купались, загорали пили вино, знакомились. Как-то ночью Анечка разбудила Бесу и сказала, что хочет выйти по-большому, но боится одна. Ему было лень вылезать из палатки, ещё больше он боялся скорпионов и ползучих гадов и посоветовал Ане заплывать в море и справить нужду в воде. Та отказалась. По негласным правилам Лисьей бухты такое делать строго запрещалось. И Бесе пришлось карабкаться с ней на холм к кустам, по дороге в животе у него тоже заурчало.

— Готов поклясться, — пыхтел Беса в туалете, — что причиной революции в наших животах были шпроты. Анечка прихватила с собой бутылку хереса для лечения, я пачку сигарет. Добравшись до отхожего места, мы сели друг против друга и давай пить-курить и испражняться. Скажи, чем не романтика?

— При всём моём уважении, — мне вспомнилась фраза из «Клана Сопрано», — я никогда не гадил с женщиной вместе.

— Значит, ты не любил по-настоящему. С холма, между прочим, был волшебный вид на лунную дорожку.

— Я хоть и не верю в гороскопы, но как Рак люблю море, только не Чёрное, мне нравится Средиземное и города на его берегах, старушку Европу, короче.

— С любимой вместе и лужа покажется океаном, — сказал Беса. — Слышь, Таме, а соседи-то наши из Киева оказались свингерками. Ребята были примерно нашего возраста, лет по тридцать пять, высокие, стройные. Парня звали Богдан, девушку Ванда. При виде её лысой киски член мой вставал, и мне приходилось набрасывать на него полотенце. Девушка была огонь, с потрясающей, без целлюлита попой, крышу сносило, когда я смотрел на неё. Богдан с Анечкой взяли привычку заплывать вместе так далеко, что исчезали из виду. Я не то чтобы ревновал, но на душе становилось скверно, иногда хотелось взять свои манатки и свалить из Лисьей бухты, но выбраться оттуда было непросто — далеко от цивилизации, да и машина, на которой мы приехали, принадлежала Анечке. Как-то я лежал в палатке один, представляя, что происходит между Аней и Богданом на морских просторах, писал стихи в блокноте, как вдруг ощутил на своих ногах чьё-то горячее тело. Закрой глаза, услышал я голос Ванды. Я повиновался, и она, стянув с меня плавки, взяла в рот. Она была мастер минета, но мне смерть как хотелось с ней соития, и мы классно трахнулись. К тому времени вернулись пловцы и застучали нас. Я приготовился к обороне и уже собирался дать Богдану в зубы первым, но тот, вместо того чтобы броситься на меня с кулаками, сжал Аню в объятиях и стал целовать её в губы, шею, грудь, живот. Потом опустился перед ней на колени, как рыцарь перед знатной леди, и прильнул лицом к влажной дырочке моей сексапильной жёнушки. Анечка откинула назад голову и, запустив пальцы в мокрые светлые волосы красавца, тихо постанывала. Но ты бы поглядел на Ванду, она мастурбировала и шептала: ребята, давайте делать это не на виду у всех. Оставшуюся неделю мы жили вчетвером, смакуя каждый день. Но уже был конец августа, и нам с Анечкой надо было возвращаться в Москву.

В дверь позвонили. Беса попросил меня принять заказ, я забрал у азиата в жёлтой униформе коробки с едой, притащил их на кухню, положил на стол, отыскал пиццу и принялся есть, пока она была горячей.

После еды меня потянуло спать. Отодвинув от себя коробки с пищей и роллами, я положил руки на стол и опустил на них голову. Мне приснилось, будто я мальчишка,

стою на крыше будки возле глубокого бассейна, крытого наполовину бетонными плитами. Ребята внизу не верят, что я прыгну с трёхметровой высоты, и кричат, чтобы я не валял дурака и слез оттуда. Но я взмываю вверх, согнувшись, ныряю вниз головой и заплываю под бетонные плиты, как рыба под камень. Глупо, конечно, привлекать к себе таким образом внимание, но чего не сделаешь ради славы. Я держусь под водой сколько могу, потом решаю подняться, но у меня не получается. Я паникую, и вместо того, чтобы плыть к свету, принимаюсь грести к мраку. Я бьюсь о стенки бассейна, как пойманная рыба в банке, и мысли, что меня хватятся дома не раньше вечера, тянут на дно, как привязанные к ногам гири. И тут какой-то тип подплывает ко мне, хватает за волосы, тащит к свету, мы выныриваем на поверхность, и я вдыхаю полной грудью воздух. Я хочу поблагодарить своего спасителя, но он исчез. Я сажусь на бортик и, обхватив руками ноги, смотрю на ребят, а они как ни в чём не бывало продолжают нырять и купаться в бассейне. Меня трясёт от обиды, я всхлипываю.

Проснувшись, я взял из бара ещё одну бутылку, налил себе виски, выпил и прислушался к рассказу Бесы про то, как они возвращались в Москву из Крыма. За рулём сидела Анечка, рядом, на переднем кресле, он, сзади два подростка: сын Ани Кирилл и его одноклассник. В обязанности Бесы как штурмана входило следить за тем, чтобы Аня не уснула за рулём, но на ней были чёрные очки. До Москвы ещё далеко, а он успел рассказать Ане все смешные и несмешные анекдоты, поведал ей новейшую историю Южной Осетии и своё участие в ней. И когда наступала пауза, Беса смотрел на чёрные очки жены, гадая, спит она или нет. Аня улыбалась и просила прикурить ей сигарету или дать попить водички. Подростки на заднем сиденье спали, несмотря на жару. Кондиционер уже не справлялся, Беса время от времени опускал стекло, и в салон врвался горячий, как из духовки, ветер. Но вот слова иссякли, в салоне стало тихо, и в этой тишине штурман услышал свой собственный храп. Он вскинул голову и увидел, что Аня решила обогнать фуру, вырулила на встречку, но не торопилась вернуться на свою полосу, а прямо на них, сигнала, нёсся серый минивэн. Беса рванулся к рулю и стал крутить его вправо, стараясь отвести машину от удара.

— Ты что творишь?! — орал Беса.

Аня откинулась назад, как манекен, очки слетели с переносицы и обнажили её залепленные сном глаза.

— Просыпайся! Жми на тормоз, блядь! Нам конец, ты угробила нас всех!

Он ещё что-то кричал, пока страшный удар не срубил его. Очнувшись, Беса увидел суетящихся возле их машины людей. Какой-то тип отшвырнул капот над дымящимся мотором и начал обрывать шланги, провода. Беса был весь в битом стекле, как новогодняя ёлка в гирляндах, ужасно болел живот, словно ему вспороли брюхо осколком лобовухи. Аня привстала и, упёршись булками о спинку сиденья, в ужасе кричала, вертела головой, искала Кирилла, но подростков в салоне уже не было. Беса схватил её за талию и вытащил из покорёженной машины, потом отошёл к обочине и осторожно, как раненый, сел на траву. Он ощупал себя, поднёс руку к глазам и, увидев, что на ладони нет крови, улыбнулся и помахал подросткам. Аня, рыдая, бросилась обнимать сына и того оболтуса, спрашивала, всё ли с ними в порядке. «Мама, успокойся, — говорил Кирилл, — с нами всё хорошо, сама ты как?» «Проклятая жара, я потеряла сознание, что за кошмарный день выдался сегодня!» «Если бы не Беса, — сказал Кирилл, — мы все погибли бы». Водитель минивэна, длинный светловолосый молодой человек, подбежал к Ане, схватил её за плечо и давай орать:

— Ты хоть понимаешь, что наделала, тупая ты сука? Будь моя воля, я бы запретил выдавать права блондинкам! Из-за тебя у меня сорвалась важная встреча! Я потерял деньги, много денег, но ты мне за всё заплатишь! Я тебя, суку, до трусов раздену, блядь!

Беса встал, подошёл к водителю минивэна, положил ему руку на плечо, и когда тот обернулся, ударил кулаком в грудь с такой силой, что у того хрустнули кости.

— Попробуй ещё что-то вякнуть, — сказал Беса, — и я, мать твою, откручу тебе башку, понял?

— Ладно, — прохрипел тот и побрёл к своей разбитой машине. Он сел в минивэн, оставив дверцу открытой.

Беса пошёл за ним, опустился на корточки напротив, попросил у него прощения, потом тихим задушевым голосом стал говорить: «Понятное дело, виновата Аня, уснула за рулём, с кем не бывает, но, слава богу, все остались живы, и это надо ценить, согласен?» «Как же не согласиться с тобой, ты мне ребро, кажется, сломал». «Да ничего я тебе не сломал, могло быть похуже, просто, когда говоришь с женщиной, надо вести себя как джентльмен. Меня самого до сих пор трясёт, хочется выговориться, понимаешь?» «Чего тут не понимать, — вздохнул водитель минивэна, — я видел, как ты выкрутил руль и увёл тачку от лобового. Не сделай ты этого, пришлось бы машину резать автогеном, чтобы вытащить по кусочкам ваши трупы». «Это точно, — сказал Беса, — скажу тебе честно, брат: не люблю я Крым, мне больше нравится Кипр, но у Ани дом в Ялте, она обожает этот город, вот и приходится с ней туда ездить раз сто в году, устал, честное слово. Как зовут тебя?» «Саша». «Очень приятно, а меня Беса. Представь, Саша, если бы на твою жену кричал какой-нибудь гондон. Я к тому, что, когда приедут гаишники, не вали всё на Аню, разойдитесь полюбовно, иначе мне придётся тебя найти потом, сечёшь?»

Саше ничего другого не оставалось как согласиться, и Беса с чувством исполненного долга отправился в кусты по-большому, а так как у него случился запор, он просидел в засаде час, пока Саша не сел в свой минивэн и не укатил.

Меня снова срубило. На этот раз мне приснилось, будто я нашёл ржавую лимонку с почти выдернутым кольцом. Я боялся, что она взорвётся и положит кучу народа, и бегал, ища безлюдное место, но, как назло, всюду толпился народ. Тогда я решил швырнуть гранату в реку, но тут кто-то положил руку мне на плечо и предложил вернуть вещь на место.

— Я не помню, где она была, — сказал я.

— В гардеробе.

Я проснулся и увидел перед собой Бесу.

— В этой квартире нельзя брать вещи без моего ведома, Таме.

— Ты про гранату?

— Я про куртку, — Беса с аппетитом уплетал роллы.

— Но ты обещал мне её два года назад!

— Разве? А, ну ладно, тогда носи на здоровье.

— Спасибо. Ещё я хочу попросить денег на фильм, только ради нашей дружбы не откажи, ну пожалуйста!

— Какой бюджет?

— Двадцать тысяч евро.

— Я дам тебе десять тысяч, — покончив с японской кухней, Беса принялся за остатки пищи. — Не просто так.

— В смысле?

— Я хочу вернуть Анечку.

— За чем дело стало? Возвращай, ты завидный, при бабках жених, знаменитый художник, она с радостью к тебе прибежит, только свистни.

— Не могу. Она живёт с одним подонком и, похоже, любит его. Почему женщины нападают на таких тварей, а порядочных, честных людей выгоняют?

— Не знаю, — я развёл руками и смахнул на пол бутылку. К счастью, она не разбилась, и я ногой запихнул её под стол.

— Знаешь, Анечка вытурила меня из этой вот самой квартиры, а теперь она моя, я купил её через знакомого риелтора. В центре Москвы, в двух шагах от метро, неплохо, а, Таме?

— Круто, ты молодец, Беса, я горжусь, что у меня такой друг!

— Спасибо, брат! Выпьем за дружбу?

— Давай, до дна!

— Я больше чем уверен, — Беса с силой стукнул пустым стаканом о стол, — что этот гондон надоумил Анечку продать квартиру и теперь висит у «Анны на шее». Он, между прочим, тоже писатель, пишет всякую хрень и выдаёт это за романы. Ты должен убить его, если хочешь снять фильм.

— Ты совсем, что ли, сбрендил?

— Искусство требует жертв, — Беса поднёс ко рту бутылку, запрокинул голову, допил всё, что было в ней, и положил пустой пузырь на пол.

— Нельзя убивать всех бездарных писателей. Может, я тоже графоман, и что теперь — покончить с собой?

— Ну, это тебе решать.

— Ладно. Как зовут того писателя?

— Килимонов. Имени не помню.

— Только деньги вперёд, а то опять уедешь за границу, и хрен дозвонишься до тебя.

— Они сейчас живут в Крыму, — сказал Беса. — Так что полетишь туда, адрес я тебе дам, выследишь парочку. Только сделай это не при Анечке, не травмируй её психику.

— Ладно.

— Убьёшь Килимонова на пляже, сейчас как раз начало августа, они любят загорать на диких нудистских пляжах, там нет камер, на всякий случай надень маску, как будто страшно боишься коронавируса.

— Я очень боюсь коронавируса.

— Таме, мать твою, не перебивай!

— Ладно, окей.

— Можно без этих твоих «окей»? Ты ведь не книгу пишешь. Короче, дождись, пока Анечка сделает заплыв, у тебя будет полчаса, чтобы разделаться с ним. Тебе и ствол не понадобится — завернёшь в полотенце два булыжника, как Китано в «Фейерверке», и трахнешь по башке Килимонова, чтобы у него глаза выскочили, потом наступишь на них. Я тебе накину сверху ещё десять штук, если снимешь всё это на телефон и пошлешь мне.

— А что делать, если глаза не выпадут? Пальцами их, что ли, выдавить?

— Хочешь в Канны, делай, как я говорю.

Я взглянул под стол и увидел кучу пустых бутылок из-под виски. Похоже, пока я спал, Беса нажрался и теперь нёс пургу. Впрочем, я сам был пьян не меньше, иначе не стал бы слушать такую муть, тем более соглашаться убить человека, который не сделал мне ничего худого.

А Беса разошёлся, ругал Килимонова, который увёл у него жену: ничем, мол, скот не брезгает, берёт что плохо лежит, приехал из Томска с кипой никому не нужных стихов и вонючей, как падаль, прозой. Беса подвинул ко мне телефон с фотографией Килимонова. Я взял смартфон, пригляделся: знакомое лицо, кажется, мы встречались на презентации книги в «Китайском лётчике Джао Да». Я закурил, глубоко затянулся и отключился. Очнулся я на диване, за окном уже было светло. Первым делом я поискал телефон, он оказался на полу. Я взял его, поднёс к опухшим глазам и увидел сообщение от Бесы: «Таме, братишка, не помню, сказал я тебе вчера, что мне надо в Париж? Если нет, пишу сейчас: меня ждёт в Париже женщина, её зовут Аннет, утром она позвонила и сказала, что беременна от меня. Поздравь меня, брат, я очень счастлив! Когда кончится пандемия, я приеду с ней в Цхинвал, познакомлю Аннет со своими родителями. Про Килимонова забудь, он слишком ничтожен, чтоб ты марал о него руки. По Ане я иногда скучаю, верней, по тому времени, когда я впервые приехал в Москву и она показала мне другую жизнь. Мне очень понравились друзья Ани, её окружение, вся эта богема, но из-за Килимонова я перестал с ними общаться. А он втёрся к ним в доверие. Не знаю, как сейчас, а тогда он раскручивал ребят на бабло, подолгу жил у кого-нибудь на правах гениального писателя. Кстати о деньгах: пятнадцать тысяч евро я оставил на столе в кухне, дал бы больше, но сейчас с финансами туго. Ничего, прорвёмся, добавлю потом, если не будет хватать. Ты, главное, снимай, я ведь тоже знал Серёгу, светлый был человек, земля ему пухом. Я до сих пор помню, как он рассказывал историю про собаку. Жаль, что он так рано ушёл от нас. Вот сейчас сижу в самолёте и думаю, что мы с тобой не то что выжили в цхинвальском кошмаре, но ещё и добились чего-то в жизни. Это очень круто, брат. Ну ладно, мы уже взлетаем. Знаешь, может, мы с Аннет присоединимся к вам в Каннах, она, кстати, тоже актриса, снималась в каком-то сериале. Ну ладно, Таме, обнимаю».

Я встал, попёрся на кухню и увидел на столе свёрнутые в трубочку банкноты, под деньгами лежал пожелтевший исписанный листок. Я положил в карман пятнадцать тысяч, сел на стул, налил в стакан виски, выпил, закусил огрызком вчерашней пиццы и стал читать: «Тяжко собирать камни одному, какого бы цвета они ни были. А ты на этот раз заплыла так далеко, что вряд ли найдёшь меня в Черепашьей долине, чуть дальше Зелёнки. Как бы там ни было, я всё равно не покину Лисью бухту и буду ждать тебя здесь с бутылкой портвейна. Я выпью все наши запасы, только шампанское оставлю в надежде, что ты всё-таки вернёшься и мы поднимем бокалы за встречу. Но солнце уже садится, в который раз погружается в море, а я вползаю в наш двуспальный мешок. Надеюсь, ночью ты забредёшь в какой-нибудь из моих снов — ну хотя бы из любопытства. И тогда я упаду к твоим ногам, схвачу тебя за щиколотки и буду держать до тех пор, пока не проснёмся вместе. В ожидании тебя я прикинусь панком и начну доставать нудистов. Отрощу бороду до живота, и с шампанским в руке начну шататься по всей Лисей бухте, и однажды встречу нас с тобой прежних. Порадуюсь нашим когда-то счастливым лицам. Выпью за любовь и уйду не оглядываясь. А мы с тобой посмотрим вслед чудику с шампанским, и я спрошу тебя:

— Кто это?

Ты ответишь:

— Парень, которого бросила его девушка.

Тогда я прижму тебя крепче и скажу:

— Любимая, мы же всегда будем вместе?

— Конечно, милый...»

Пленэр. Двадцать пять лет спустя

Есть у меня рассказ «Пленэр», что называется, из раннего, про второкурсников художественного училища на пленэре. Студенты живут в палаточном лагере в горах, пишут этюды, влюбляются, пьют вино, курят травку, купаются в горной реке, в которой годом раньше утонул студент из этого же училища. Главного героя истории зовут Алан, он безнадежно влюблён в свою однокурсницу Свету, но красавица не замечает его ухаживаний, страданий и всего того, что бывает при неразделённой любви. Мало того, она сама сохнет по его лучшему другу Кериму, что окончательно добивает Алана.

Здесь и далее использованы отрывки из рассказов «Пленэр» и «Диалоги мертвецов».

«Алан сел на всё ещё тёплый камень и, обхватив ноги руками, задумался. За всю неделю, что они на пленэре, Алан не написал ни одного стоящего этюда. Моалим (учитель, *таджик*.) вчера вызвал его в свою палатку. Коренастый, с брюшком, он сидел на раскладушке, скрестив по-турецки ноги. Перед ним на табуретке стоял белый фарфоровый чайник, пиала и тарелка со слипшимися карамельками. Моалим поднёс пиалу к коричневому лицу и, окунув в неё чёрные усы, поставил на место.

— Что с тобой происходит, парень? — спросил он, закуривая. — У тебя вроде рост наметился, и какой рост. Ты всех удивил. За такое короткое время обогнал Керима, о других я уже не говорю.

Он вздохнул и подлил из чайника в пиалу зелёного чая. Алан украдкой посмотрел на его блестящую лысину и пожал плечами.

— Не знаю, что и сказать тебе, — продолжал моалим. — Ходишь постоянно с опущенной головой; куда это ходит? Э, а может, ты влюбился? Про это я тоже слышал. И вот тебе мой совет: выбрось эти глупости из головы и работай. Эти горы, конечно, не такие красочные, как у вас на Кавказе, но работать можно.

Учитель погрузил в пиалу свои пышные усы и, прикурив новую сигарету от окурка, сказал:

— Послезавтра будет просмотр, так что иди, дерзай; да, скажешь Кериму, чтоб зашёл ко мне...»

«— Погляди-ка на этих кошек, — сказал Керим. — Ещё в воду не залезли, а какой крик подняли. И хоть бы одна из них умела сносно плавать.

— Света умеет, — вздохнул Алан, глядя на неё.

Высокая, пышная девушка с тёмными, до загорелой спины, волосами стояла на берегу и пробовала воду ногой. Красный купальник ничего не скрывал, напротив, туго обтягивал её.

— Не пойму, зачем им ещё эти бикини? — Алан обхватил руками согнутые в коленях ноги и прижал их к груди с такой силой, как будто хотел выдавить из себя сердце.

— Да чтоб дразнить нас, как быков красной тряпкой, — Керим тоже посмотрел на Свету. — Ты не обижаешься на меня из-за неё?

— Да нет, я же не слепой и вижу, что она сама на тебя лезет.

— И что ты в ней такого нашёл? — скривил губы Керим. — Товаристая, не спорю, есть за что подержаться. А ты на морду её глянь: вся в прыщах. Липнет ко мне, даже не знаю, как отвязаться. Мать не видать, давно бы её трахнул, если бы не ты.

— А что я? На твоём месте я бы не зевал.
— Так ты не против, если что?
— Конечно, нет. А как же её прыщи?
— В темноте я не буду видеть её лица, — хитрая лисья улыбка промелькнула на скуластом татарском лице Керима».

С горя Алан подсаживается на травку и по вечерам на дискотеке, обкуренный, подкатывает к другим девчонкам. Но те, разумеется, знают о его любви к Свете и отшивают страдальца. Анна прямо выговаривает герою.

«На медляки Алан приглашал Анну, девушку с несносным характером и острым язычком и, зная, что она подружка Светы, признавался ей в любви. Он прижимался к худому, плоскому телу партнёрши, тёрся о неё, как кабан о дерево, а сам украдкой поглядывал на пышные формы Светы, к которым лхнул Керим под хит «Рики э повери».

— Слушай, — сказала однажды Анна Алану, когда тот опять заговорил о любви. — Хватит пудрить мозги. Как будто я не знаю, зачем ты ухаживаешь за мной. Видишь, с кем танцует Света? Так вот, она его любит. Света сама мне призналась. А ты отстань, надоел!

Анна разозлилась и ушла в палатку. Алан немного подумал и пригласил Таню.

— Я давно тебя люблю, — бормотал он, едва выговаривая слова, такой словил сушняк, после того как пыхнул целый косяк. — А Света дура. Она ещё пожалеет...

— Да пошёл ты, — прошептала в ответ молчаливая Таня. — Опять накурился, сволочь».

Керим, друг главного героя, считает Анну задавакой и рассказывает про неё историю. Парни, обкуренные в хлам, сидят на берегу шумной горной реки.

«— А кто же любит, Аннет? — сказал Керим. Слова друга доносились откуда-то издалека. — Мать не видать, если б не её папаша, эту шлюху за порог училища не пустили бы. Отец у неё всемирно известный художник, да...

— А разве Аннет шлюха? — спросил Алан, глядя на свои пальцы, которые вдруг стали расти и извиваться, будто змеи на голове Горгоны. Тесак бы сейчас и порубить их к чертям в капусту.

— Да я ж тебе рассказывал, нет? Ну так слушай. Года два назад она отдыхала в каком-то летнем лагере. Рувшан, мой двоюродный брат, тоже был там. Ты же знаешь, какой он беспредельщик.

— На вид он овца.

— Чего? — Керим удивлённо взглянул на Алана.

— Рот порву этому уроду, так ему и передай. Ай, в ухо скорпион залез! — Алан стал колотить себя кулаком по виску. — Уф... извини, я от этой дури сам не свой, несу что в голову взбредёт.

Керим понимающе кивнул, открыл пасть, вытащил оттуда живую кобру, повертел её над головой, как пращу, и закинул на верхушку горы. На змею тут же набросился мангуст, они стали сражаться, а Керим, отдышавшись, продолжал:

— Короче, в лагере Аннет опять стала хамить и задаваться, ну и Рувшан со своими друзьями решил проучить эту дуру. Он приударил за ней и как-то вечером после дискотеки вывел её из лагеря, типа погуляем. В условленном месте парочку поджидали.

Ребята раздели Аннет и пустили её по кругу. Брательник говорил, что она даже не пикнула, а знаешь почему?

— Сознание потеряла?

— Какое сознание? У неё и мозгов-то нет, просто понравилось ей, понимаешь?

Рувшан говорил, что после этого Аннет сама просилась на групповуху, но им уже не до неё было — столько классных тёлок понаехало в лагерь».

В финале «Пленэра» Анна плавает в купальне под мостом и насмехается над своим однокурсниками.

«— Давай окунёмся, пока светло, — сказал Алан. Он где-то читал, что текущая вода смывает любую боль, даже от неразделённой любви...

Друзья спустились к берегу купальни под деревянным мостом, где собрался их курс. Все смотрели на плавающую Анну.

— Хорошо-то как! — воскликнула та, ложась на спину.

Течением девушку сносило вниз, но она вовремя переворачивалась и плыла кролем вверх. Достигнув моста, она снова ложилась на спину.

— Неплохо, блин, плавает, — произнёс сквозь зубы Керим.

— Ой, какая вода тёплая! — восторгалась Анна. — Света, иди купаться, что ты стоишь там с этими бабаями!

— Ну, блин, опять напрашивается, — сказал Джама.

— Чтoб тебя унесло в город, как того бедолагу! — каркнул Рахмон.

— Не дождёшься, ворона! — засмеялась Анна. — Лети-ка лучше в свой кишлак. Стране нужен хлопок, а не бездарные художники.

— Ну не хочет она жить в мире, — сказал Дима Пинхасов.

— А ты, влюблённый с пузом, чего стоишь? — Анна брызнула водой на Алана. — Всем подряд в любви объяснялся. Ни одной юбки не пропустил, наркоман несчастный! Признавайся: курнул опять? Что молчишь? Сушняк тебе рот заклеил, доходяга?

Алан невольно посмотрел на свой живот, потом со злобой на Анну, которую отнесло на стремнину.

— Помогите! — крикнула Света. — Она же утонет! Господи, да что же вы стоите!

— Моалим, Анна тонет! — кричали девочки.

— За что боролась, на то и напоролась, — сказал Керим, поджав свои тонкие губы. Анна попыталась встать, но волны сбили её и понесли вниз.

— Ты куда? — крикнул Керим вслед Алану. — Утонешь ведь с ней! Ты глупый, что ли?!

Но Алан ничего уже не слышал, он побежал вдоль скалистого берега и, обогнав барахтающуюся в воде девушку, бросился ей наперерез. Тонушая протянула ему руку, и он схватил Анну за запястье. Река дралась с Аланом за Анну не на жизнь, а на смерть. Волны сбивали с ног, ударяли головой о камни, но он, не отпуская беспомощной руки девушки, грёб к берегу. В конце концов они выбрались из воды, и Алан без сил повалился на остывающие камни. Он взглянул на дрожащую Анну, на её маленькие, с кулачок, груди и отвернулся.

— Почему ты это сделал?

Трясущимися руками спасённая поправляла на себе чёрный купальник. Алан не знал, что ответить, и молчал. Он не видел или делал вид, что не замечает, как к ним приближается толпа, впереди всех бежала Света...»

Рассказ «Пленэр», как я уже говорил выше, ранний, написан скверно, и мне всегда хотелось его переделать. Но самое ужасное то, что я не изменил имён персонажей и так опубликовал его в литературном журнале. Своё-то я поменял на Алана и утешался мыслью, что прототипы персонажей моей истории безвозвратно ушли в прошлое, канули, что называется, в небытие. Но с развитием интернета я стал беспокоиться, пытался даже убрать «Пленэр» с сайта журнала. Но главред посмеялся над моими опасениями и сказал, чтоб я не порол горячку, успокоился: мало ли на свете Керимов, Светлан и Анн?

— Ты мне лучше скажи, — главред снял очки и взглянул на меня своими добрыми глазами, — сколько с тех пор прошло лет?

— Не меньше двадцати, — ответил я, подумав.

— Ну тем более. А что, собственно, тебя беспокоит в этом рассказе? Насколько я помню, там нет ничего оскорбительного.

— В «Пленэре» есть нехорошая байка про Анну, я бы убрал её, но тогда придётся переделывать весь рассказ.

— Знаешь поговорку: волков бояться — в лес не ходить?

— Знаю, — вздохнул я.

— Я от тебя уже устал, Тамерлан, — главред потянулся в своём кресле. — Скажи-ка лучше, над чем сейчас работаешь или, может, ты вообще бросил писать? Давненько мы от тебя ничего не получали.

— Скоро будет, — заверил я главреда.

Из редакции я вышел успокоенный и на несколько лет забыл об этом рассказе. К тому времени я успел развестись, перебрался в Москву, поступил во ВГИК и проучился на сценарном два года. Я ушёл оттуда, не поладив на второй год с новым, не в меру упитанным мастером. Он писал сценарии к сериалам и, мне казалось, воровал идеи у нас, своих учеников. Я его сразу раскусил и забил на учёбу, приходил только на лекции прежнего мастера и тем самым поставил своего любимого учителя в неловкое положение. В конце концов меня вызвали в деканат и вежливо попросили написать заявление по собственному желанию.

Тогда же и объявились герои моих душанбинских рассказов. Первый, с кем я поговорил, был Керим.

«После нескольких гудков послышался голос Керима:

— Алло, кто это?

— Тамерлан! Керим, брат, ты даже не представляешь, как я рад тебя слышать!

— Тамерлан? Знакомое имя.

— Ну ещё бы, мы же с тобой были как братья родные! Ты вспомни, неужто забыл?

— Послушайте, это было двадцать лет назад. А что за номер, вы где сейчас, не в Америке случайно?

— Да нет, я в Цхинвале, у нас тут была война, недавно закончилась, в городе появился интернет, и я нашёл тебя, брат! А сам-то ты где сейчас?

— В Польше. У меня жена полька. Вы извините, Тамерлан, но мне сейчас некогда.

— Ладно, но почему ты со мной на вы?

— Ну, во-первых, потому что я вас плохо помню, во-вторых, меня ждёт жена, так что извините.

— Ну, может, тогда я вам завтра позвоню?

— Зачем?

— Ну да, извините...

— Бывает».

Другие однокурсники помнили меня, почти все они читали «Пленэр» и во время телефонных разговоров интересовались, почему я так унижил Анну, что она сделала мне такого плохого. Я говорил, что у меня и в мыслях не было кого-то унижать, просто сильно тосковал по тому времени и описал сей яркий и восхитительный миг своей жизни как запомнил. Джама, однако, не верил мне и заявил, что я не ладил с Анной с самого начала, вот и решил свести с ней счёты таким образом.

— Не говори ерунды.

— Ты в курсе, что Аннет теперь известная художница? Катается по миру, устраивает выставки в Париже, Венеции, Нью-Йорке и чёрт знает где ещё.

— Да знаю я. Кто бы мог подумать? Мне казалось, что легче слона научить рисовать, чем Аннет.

— Вот видишь, ты до сих пор на неё злишься.

— Если бы не я, Аннет утонула бы тогда на пленэре, — я начал злиться, Джама и в училище доводил меня своими тупыми шутками, сколько раз хотел набить ему морду.

— В смысле?

— В прямом. Забыл, что ли, как я вытаскивал её из реки, а вы все стояли на берегу и спокойно смотрели, как она тонет?

— Такого не было, ты и вправду сочинитель! Ну и фантазия у тебя, Тамик.

Меня чуть кондрашка нехватила от его слов, я уже хотел разбить смартфон, но решил, что он мне ещё понадобится. И стал дальше обзванивать однокурсников и однокурсниц.

«— Привет, Ольга!

— О, Тамик, привет! Рада тебя слышать. Я рассказывала мужу о тебе, он даже читал твой “Пленэр”.

— Спасибо. Я вот что хотел спросить...

— Я вся внимание, Тамик.

— Помнишь, как тонула Аннет на пленэре?

— Нет. А на каком курсе это было, не на третьем, случайно?

— Ты дура, что ли? На третьем курсе я с вами не учился! — я не мог совладать с охватившим меня гневом и орал как сумасшедший. — Я, мать твою, воевал в это время!

— Ты что кричишь, Тамик? У меня и так жизнь не сахар, муж уходит к другой, молодой, а мне уже за сорок.

— Извини, пожалуйста, у меня было две контузии, — я сделал несколько глубоких вдохов, закурил и перешёл на шёпот, меня понесло. — Знаешь, я свою жену столкнул с обрыва, и она разбилась насмерть.

— Господи боже мой, что ты такое говоришь? Я включила громкую связь.

— Муж, что ли, ревнивый?

— Ещё какой ревнивый, к тому же капитан милиции. — Дело, небось, уже на меня шьёт, скажи ему, что я пошутил. Ладно, пока».

Даже Света не помнила, как я вытаскивал из сумасшедшей горной реки нашу гениальную однокурсницу. Но ей было приятно, что я написал про неё в рассказе,

и даже предложила мне поехать вместе куда-нибудь за границу. Все расходы она брала на себя, сказала, что муж оставил ей в наследство доходный бизнес и она теперь всё время путешествует. Мы говорили по видеосвязи, и я никак не мог поверить, что эта некрасивая, рано увядшая женщина была моей богиней четверть века назад. В голове вертелась строчка из «Руслана и Людмилы»: «Наина, где твоя краса?»

Конечно, я мог спросить у самой Анны, как всё было на самом деле, но боялся звонить ей из-за той дурацкой байки в рассказе.

Прошло ещё несколько лет, и однажды я всё-таки набрал номер Анны. Боже, как она обрадовалась моему звонку! Сказала, что я её спаситель.

— Стоп, значит, это не сон, не выдумка?! — от волнения с меня слетели очки, но вместо того, чтобы поднять свои стекляшки, я наступил на них и раздавил. — И я реально спас тебя тогда на пленэре?

— Конечно, если бы не ты, меня бы не было на этом свете! Знаешь что, Тамик, а приезжай к нам в Питер, познакомлю тебя с мужем, он очень известный художник, его картины висят в самых престижных галереях мира, у нас большая квартира, можешь жить сколько захочешь.

— С удовольствием, только скажи, пожалуйста: ты читала «Пленэр»?

— Я слышала от наших, что ты написал про нас, но, дорогой, дай мне два дня.

— Да хоть неделю!

После нашего первого восторженного разговора я звонил Анне ещё раз пять и спрашивал, как дела с «Пленэром». «Никак, родной, дай мне ещё три дня, а лучше садись на "Сапсан" и приезжай в гости, сам же и прочтёшь нам с мужем свой замечательный рассказ, ты ведь любишь читать свои произведения? Нет, у меня плохая дикция», — и т.д.

Анна позвонила мне сама через месяц, голос у неё был злой: как ты мог написать такое, Тамерлан, боже, что я тебе такого сделала? Знаешь, на самом деле мне пофиг, но «Пленэр» прочла моя золовка, она и так ненавидит меня, и теперь я не то что не могу пригласить тебя, но прошу больше не звонить мне, гнида!

Лада Щербакова

Тётя Лошадь

Рассказ

Посвящается Оле

— Господи, ну откуда она взялась на мою голову? — Соня металась по комнате. — Ты бы её слышал! Суржик — это мягко сказано. Эти бесконечные «шо» и «гы». Знаешь, что она мне сказала? «Ложи свою сумку сюда!» У меня чуть конвульсии не случились. Паша, ты меня вообще слышишь?

— Слышу-слышу. — Сонин муж застыл перед стеклянной витриной, заполненной благородного вида бутылками. В руках он держал ещё одну, безуспешно пытаясь найти для неё свободное место. — А что говорит папа?

— О-о! Он так мило закатывает глаза: «А что не так? Я тоже всегда путаю». То есть он хочет сказать, что на старости лет у него случилось помутнение рассудка и он забыл русский язык!

— И где же он её откопал? — Паша любовно разглядывал свои сокровища. За много лет он собрал достойную для непрофессионального ценителя коллекцию виски. — Как думаешь, шотландцев рядом с англичанами лучше не ставить?

— Это же бутылки, а не собутыльники, морду друг другу точно не набьют! — фыркнула Соня. — Где откопал? Где-где, на ридной Украине. — Обессилив от броуновского движения, она плюхнулась в кресло. — Помнишь, пару лет назад он к друзьям ездил? Вот там и познакомились. В каком-то кафе. Она то ли официанткой, то ли поваром работала. Так они, оказывается, всё это время поддерживали телефонный роман.

— А почему она только сейчас приехала? — Павел наконец определился с локацией и осторожно раздвигал бутылки, освобождая место для нового экспоната.

— А потому что у неё раньше муж был! А потом сплыл. Свалил куда-то. А она на крыльях любви понеслась к своему принцу.

— Да уж, принц ещё тот. — Павел водрузил бутылку на полку, сделал шаг назад и довольно кивнул: то что надо. Он закрыл стеклянную дверцу и повернулся к жене: — Ну а чего ты так переживаешь? И ему хорошо, и тебе меньше мотаться придётся. Да и спокойнее как-то, когда он не один. Квартира на тебя оформлена, так что волноваться вообще не о чем.

Лада Щербакова окончила философский факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат социологических наук. Автор рассказов, напечатанных в коллективных сборниках («Пашня», «Твист», «Вечеринка с карликами» и др.). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— А почему он мне раньше о ней ничего не рассказывал?

— Ну, тебе бы это вряд ли понравилось...

— А мне и сейчас не нравится! — взвилась Соня. — Он не заикался о ней никогда, и тут на тебе — здравствуйте, я ваша тётя. Это, конечно, его дело, вот только кормить её кто будет? И так пропасть денег на больницы и лекарства уходит. А на папину пенсию особо не разживёшься.

— Она же может на работу устроиться.

— Да кто её в таком возрасте и с украинским паспортом на работу возьмёт? Разве что вагоны разгружать — там такой потенциал, о-го-го!

Паша приподнял правую бровь:

— Потенциал? Хм-м. И как же она выглядит?

— Как выглядит? — Соня скривила губы. — Ну, как бы тебе сказать? Она такая... большая. Большая такая тётя. Тётя Лошадь.

* * *

Тётя Лошадь приехала из Бердянска. Звали её Люся. Именно Люся, а не Людмила. Чёрным по белому в её жёлто-синем паспорте было написано: Загоруйко Люся Степановна. Люся была младше Сониного отца на семнадцать лет и выше на целую голову. Рядом с ней Пётр Аркадьевич, мужчина не самого выдающегося телосложения, выглядел тщедушным подростком. А вот у его подруги выдающегося было много, начиная с сорок третьего размера ноги и заканчивая коротко стриженной головой ярко-лилового цвета. Сходство с мгновенно прилепившимся прозвищем усиливали длинные мускулистые ноги, которые Тётя Лошадь с гордостью выставляла на всеобщее обозрение: мини-юбок и разноцветных лосин в её гардеробе было великое множество. Но самой примечательной частью её тела был бюст. Раздавая женские прелести, Бог Люсю не обидел, даже наоборот — слегка переборщил: встряхнул баночку с волшебным порошком, а крышка и соскочила.

Люсины без пяти минут шестьдесят выдавало только лицо. Южное солнце выжгло на нём причудливую паутину морщин, сбившихся в кучки в уголках губ и глаз. Битву за молодость Тётя Лошадь вела проверенным веками способом: её оружием были тональный крем, румяна, тушь и помада. Застать Люсю без макияжа было практически невозможно. Утром, едва проснувшись, она открывала косметичку размером с небольшой чемодан и начинала преображение.

— Стою я возле лифта, жду, дверь открывается, и тут она мне навстречу! — докладывала мужу Соня после очередного визита к папе. — У меня чуть коленки не подкосились. Щёки пунцовые, веки зелёные, а губы, губы... — Соня замотала головой, не в силах передать словами эмоции. — Ей бы гримёром в театр Кабуки или мастер-классы по боевой раскраске шаманам давать. Очередь бы выстроилась!

— Ну вот, а ты говорила, что ей работу найти будет сложно, — посмеивался Паша. — И куда же она направлялась?

— Ни за что не угадаешь. Выносить мусор!

* * *

В отличие от жены Паша ничего криминального в увлечении тестя не видел, но, зная характер своей второй половины, старался в дискуссии не вступать. Время от времени он хмурил брови, с недоумением наблюдая, как Соня, надувшись, гремит кастрюлями, покрикивает на сына или отчитывает Люсю за переставленный на другую полку утюг. Соню в Люсе раздражало всё. Глядя на новую подругу отца, она искренне

недоумевала, как эта женщина может ему нравиться. Она вспоминала хрупкую маму, её крошечного размера туфли и изящное концертное платье, недавно выскользнувшее из шкафа. Сейчас в родительском шкафу висели футболки пятидесятого размера, джинсы с вышитыми на попе розами и густо облепленная стразами косуха из фиолетового дерматина.

— Вот, все вы мужики одинаковые, — бухтела Соня. — Женитесь на интеллигентных девушках со вторым размером, а в глубине души мечтаете о какой-нибудь Люсе минимум с пятым. И как она всё это богатство на себе носит?

— Завидуешь? — хихикал Паша, пытаясь ущипнуть жену за весьма скромные прелести. — Она, наверно, капуста в детстве много ела. Даю тебе честное благородное слово: о Люсе я не мечтаю, ну разве что о Памеле Андерсон! Но не часто! И совсем чуть-чуть! Так, всё-всё, пошутил! Не дерись! Купить капустки?

— Я столько не съем! — отмахнулась Соня. — Ты только представь, если к моей хилой тушке такое богатство прицепить?

— Ну а что? Зато кружку с пивом поставить можно! И бутерброд положить! — веселился Паша. — И чего ты вообще так волнуешься? Баба как баба. И масштабы её сисек Петра Аркадьевича явно не пугают. А то что она Данте от Дантеса отличить не сможет, ему точно по барабану. Для твоего говорливого папы Люся — кладёзь. Молчит, поддакивает и в рот заглядывает. Мечта, а не женщина!

Получив лёгкий толчок в бок, Паша меняет тональность:

— Меня во всей этой любовной истории другое удивляет: а он-то ей зачем? Пётр Аркадьевич — чудесный старикан, но на принца явно не тянет. На Украине что, все гарные хлопцы младше семидесяти перевелись?

* * *

Единственный «гарный хлопец» в Люсиной жизни — её бывший муж — исчез года полтора назад. Сел за баранку своей газели и не вернулся, только сообщение прислал — мол, не жди, дорогая, уехал начинать новую жизнь. В новую жизнь муж уехал не с пустыми руками. Незадолго до отъезда он взял большой кредит под залог квартиры, вписав жену в поручители. Люся подмахнула бумаги не глядя, а спустя полгода получила грозное извещение из банка. Знакомые организовали Люсе консультацию у лучшего в Бердянске юриста, который за половину её зарплаты предложил целых три варианта решения проблемы: либо искать пропавшего мужа, либо выплачивать долг, либо отдавать банку заложенную квартиру. Долг отдавать было нечем, с квартирой расставаться не хотелось, поэтому Люся стала искать мужа. Но пока она безуспешно обзванивала родственников и знакомых, писала заявления и ходила в полицию, её задолженность банку выросла до астрономических размеров. Вдобавок ко всем несчастьям один за другим скончались её старенькие родители, не подозревая, что тем самым спасают от полного краха свою непутёвую дочь. Поплакав над могилками, осиротевшая Люся подписала документы на передачу квартиры банку, перевезла вещи в унаследованную хрущёвку, подала заявление на развод, пристроила подруге кота, после чего собрала свои скромные пожитки и уехала к Петру Аркадьевичу в Москву.

* * *

На незнакомый мир московской окраины Тётя Лошадь смотрела с опаской. Соне она призналась, что ни разу не выезжала за пределы Запорожской области. На вопросы о том, как же ей это удалось, Люся разводила руками: «Та где же взять столько

грошей?» Соня хмыкала и пожимала плечами. «Было бы желание, к нему и деньги приложатся», — искренне считала она, уверенная, что все эти Люсины заморочки — ни что иное как фобии и узость кругозора. Напуганная многочисленными телебайками о нелюбви «москалей» к украинским приезжим, Люся поначалу без острой нужды из дома не выходила. «Та ещё побьют! — отмахивалась она. — И зачем нам опять в магазин? Ещё ж картошки полный кулёк! Давай нажарю!»

Жарить Тётя Лошадь любила от души. Щедро плеснув в сковороду растительного масла, она бросала в её урчащую, взрывающуюся пузырями утробу всё, что находила в холодильнике. На запечённые в духовке отбивные она смотрела с большим подозрением (так из них же весь сок утёк!), а паровые котлеты и вовсе вызывали у неё чувство неподдельной брезгливости. Постный борщ с белыми грибами, приготовленный Соней, Люся посчитала малопригодным к употреблению. К следующему её приезду она сварила «настоящий» — наваристый украинский борщ с буряком, щедро сдобренный чесноком и толчёным салом. — Лучше брать кусок на кости, с жирком! — объясняла она, доедая вторую порцию. — А то надо же шо придумали: борщ без мяса варить!

— Я ей говорю, Люся, папе нельзя жирного и жареного, это же сплошной холестерин, у него давление скачет! Ему диета нужна! А она на меня смотрит, как будто я ей высшую математику объясняю. Она своими драниками и шкварками папе всю пищеварительную систему подорвёт! — негодовала Соня.

— С салом и чесноком, говоришь? — живо заинтересовался Паша. — Ещё и с пампушками!? М-м, что-то давно мы с Петром Аркадьевичем пивка не пили, надо бы в гости съездить... Как он себя, кстати, чувствует?

* * *

Пётр Аркадьевич чувствовал себя хорошо. Соня с удивлением наблюдала, как её потухший после смерти мамы отец разогнул вечно сутулую спину и навестил ближайший секонд хэнд, где приобрёл ярко-жёлтую рубашку, белые брюки и туфли «под крокодила». Он пропустил плановые анализы и зарегистрировался в Facebook. Как-то раз Соня с ужасом обнаружила два припаркованных на лестничной клетке расшатанных велосипеда. Пётр Аркадьевич и Люся приобрели их за бесценок у каких-то забредших во двор алкашей. Соня кричала на папу и хлопавшую накладными ресницами Тётю Лошадь, расписывая ужасные последствия такой немыслимой глупости: от сломанной шейки бедра до тюремного срока за скупку краденого. Пётр Аркадьевич уверял дочь в полной секретности столь выгодной сделки и абсолютной безопасности двухколёсных прогулок: «За меня, доця, не волнуйся, папа у тебя ещё о-го-го!» Соня, которую отец в последний раз называл «доцей» лет двадцать назад, дёрнулась как ошпаренная, бросилась в гостиную, где обнаружила аккуратно развешенные на телевизоре гигантского размера бюстгальтер и трусы в горошек.

— Пардоньте, пардоньте, — Тётя Лошадь с виноватым видом протиснулась в дверь и собрала бельё. — У нас сушилка сломалась, завтра верёвку прикуплю!

— Зачем верёвку? — Соня оцепенело взирала на Люсю.

— На балкон пришпандорим — вещи сушить! — Тётя Лошадь прикрыла за собой дверь, а Соня сжала кулаки и тихо зарычала.

* * *

Малоросские словечки сыпались из Люси как из рога изобилия. Все её «кулёчки», «мряки» и прочие «клаптики» вызывали у Сони зубовой скрежет. Тётя Лошадь «скучала за» своим оставшимся на Украине котом, рассказывала, как она «смеялась с него», когда тот «раздербанил» её веник, устроил полный «гармыдер» и виновато «телепал» хвостом, будучи пойманным на месте преступления. Разницу между «положить» и «класть» она так и не усвоила.

— Ну что может быть проще? — кипятилась Соня. — Обезьяну научить можно! Я каждый раз боюсь, что схвачу поварёшку и хлопну её по башке! Потом меня посадят в тюрьму, и Тёмыч будет расти сиротой!

— Медитируй, — усмехался Паша в ответ на жалобы жены. — Полезная для душевного здоровья вещь. И для семейной жизни тоже — меньше бурчать будешь и на меня, и на Тёмыча. Ну, не сделал он вчера математику, устал, чего ты на него собак спустила? Он что, теперь на всю оставшуюся жизнь неучем останется?

Соня, насупившись, яростно толкла горячую картошку. Паша подошёл и мягко приобнял жену.

— Ты из-за этой Люси всё время какая-то напряжённая, далась она тебе. Давай-ка я тебе кое-что покажу. — Он принёс из соседней комнаты деревянную, пахнущую старым погребом коробку, осторожно открыл. — Смотри, какой я «Макаллан» на аукционе поймал! Три года за ним охотился! — Он прижал бутылку к щеке. — Ах, ты ж моя прелесть! Специальный выпуск — его к юбилею Её Величества королевы Елизаветы разлили!

Соня равнодушно скользнула взглядом по бутылке.

— На твою коллекцию уже, наверно, машину купить можно! Даже не представляю, сколько ты денег вбухал! А сам с разбитым телефоном уже полгода ходишь!

— Телефон подождёт. Работает, и ладно. А этот «Макаллан» со временем только в цене вырастет! Мы его с тобой на золотую свадьбу выпьем! — Паша открыл витрину и торжественно водрузил бутылку в центр экспозиции. — Хотя я бы и сейчас от рюмочки не отказался. Составишь компанию? У меня открытый ром есть!

Соня замотала головой — «не, не хочется».

— А зря, тебе бы не помешало. Ну, тогда я сам. М-м, понюхай, как шоколадкой пахнет! Так о чём мы только что говорили? Люся... поварёшка... Ах да! О медитации. Ты в следующий раз, как услышишь её суржик, вдохни поглубже и представь, что у неё изо рта вылетает... бабочка!

— Я боюсь, что только галушку могу представить, — ухмыльнулась Соня. — Помнишь, как у Гоголя? Только они Пацюку сами в рот прыгали, а у неё выпрыгивать будут. Интересно, а она Гоголя читала? Ой, ну я спросила...

* * *

Люся Гоголя не читала, Люся Гоголя смотрела. Свои пробелы в образовании Тётя Лошадь всю жизнь ненасытно восполняла кинематографом. В приоритете были старые советские фильмы — их содержание и главных героев Люся знала наизусть. Она прекрасно ориентировалась и в судьбах актёров — их браках, разводах, сердечных делах и прочих биографических коллизиях. Соня подозревала, что все «гроши», которые Тётя Лошадь зарабатывала на ниве украинского общепита, та спускала на глянцево-журналы, а позже — на видеокассеты. Познания Люси в сфере кино были поистине энциклопедическими, но, к сожалению, абсолютно бесполезными.

Люся хранила их, как старый сундук с бабушкиными приданым, — куча пропахшей нафталином былой красоты. Раз в год хозяйка этого наследства вытаскивает давно пожухлые, но дорогие её сердцу наряды на свет Божий и развешивает проветриться на чуть морозном ноябрьском воздухе. Потом всё это добро снова отправляется в сундук — до следующей перетряски.

И всё-таки однажды Люсины «сокровища» сослужили ей добрую службу. Зависнув возле газетного лотка, она листала свежие киножурналы, комментируя их содержание скужающей продавщице. Слово за слово, и Люся обнаружила рядом с собой заинтригованную её рассказом аудиторию. Она с радостью распахнула крышку заветного сундука и одарила благодарную публику изрядной порцией светских сплетен. Люся поведала, что брак известной актрисы с пожилым режиссёром, увы, распался, а молодой красавчик — любимец публики — ушёл от своей невесты к её брату. Через полчаса у Люси была работа. Она наняла состоятельную пенсионерку, которая когда-то работала директором одного не самого большого, но вполне известного столичного театра. К моменту встречи с Люсей она сменила уже четвёртую домработницу, агентствам не доверяла, и в новую знакомую влюбилась с первого взгляда. Люсины знания о любимом ею актёрском мире её восхитили. На следующий день Люся отправилась в соседний квартал на свою первую уборку. Квартира была не маленькой, а плата за услуги более чем скромной, но Люся не унывала.

Пётр Аркадьевич гордился своей подругой невероятно. Он звонил всем знакомым и рассказывал, что его Люсенька устроилась на работу в сфере клининга в артистическом доме. Хозяйка была довольна — и уборкой, и готовностью Люси в любой момент поддержать беседу о дорогих её сердцу Василии Лановом и Владиславе Дворжецком. Люся драила полы, стирала, гладила и, в конце концов, окончательно сразила благодетельницу своим фирменным гороховым супом с копчёными рёбрышками. Проглотив тарелку в один присест, хозяйка попросила добавки и живо заинтересовалась, какие ещё блюда умеет готовить Люся. После голубцов, тушённых в сметане, и жареных «пальчиков» из баклажан плата за Люсины услуги ощутимо возросла.

* * *

Шли месяцы, папины анализы держались в пределах нормы — не лучше, но и не хуже. Его звонки дочери стали реже, а традиционные жалобы на жизнь сменились будничными новостями. Пётр Аркадьевич рассказывал о грибной поляне, которую они с Люсей нашли во время прогулки, о пирожках с капустой, испечённых ею на выходные, о новом чудодейственном лекарстве из Европы... Соня слушала вполуха, ссылаясь на параллельный звонок и быстро сворачивала разговор. В отличие от Сони Люся была идеальным собеседником. Она заинтересованно кивала, вскрикивала «да ты шо!» и артистично закатывала глаза, не отрываясь от лепки вареников или жарки котлет. Пётр Аркадьевич, вдохновлённый её вниманием, выговаривался всласть.

Соня изо всех сил старалась не ворчать, но её по-прежнему угнетало присутствие в родительском доме постороннего человека. До приезда Люси каждая вещь была здесь знакомая и родная. Что-то она покупала сама, что-то привезли из давно затёртого в её памяти города детства. С этим городом она с юных лет была на «вы» и чем старше становилась, тем сильнее чувствовала свою инаковость. При первой же возможности она сбежала оттуда, а потом увезла родителей, сохранив в шкатулке памяти только самые драгоценные, самые трогательные воспоминания. Время от времени Соня открывала крышку старого пианино и гладила пожелтевшие от времени клавиши. Она вспоминала маму и её изящные кисти с тонкими пальцами, порхавшие

по клавишам. Над инструментом висела картина с розовыми, дышащими нежностью пионами — папа купил её на последние деньги у какого-то забулдыги на набережной; а на самом пианино стояла чёрно-белая ваза из толстого стекла — свадебный подарок родителям. Однажды Соня приехала, зашла в комнату и ужаснулась. Многолетний симбиоз был варварски нарушен: вместо вазы из пластикового постамента выпрыгивал фаянсовый дельфин, а сама ваза изгнана на пыльный подоконник.

Дом с катастрофической скоростью наполнялся новыми предметами. На первые заработанные деньги Люся купила чашку с котиком, подушку с котиком и множество глянцевого журналов.

— Ты представляешь, она всего Чехова в диван засунула! — негодовала Соня. — А на освободившуюся полку поставила, как ты думаешь что?

— «Тараса Бульбу»? — приподнимал левую бровь Паша.

— Очень смешно.

— Поваренную книгу?

— Нет!

— Тогда сдаюсь!

— Фотографию котика!

— Бедный Антон Павлович, — драматично вздыхал Паша. — Какое невыносимое унижение!

— Ага, и Булгакова туда же! — не замечая иронии, кипятилась Соня.

— Ну, вдвоём им всяко веселее будет, сообразят там что-нибудь на двоих! Может, и мы с тобой тоже? Как насчёт кампари? Давай Тёмыча спать уложим и какое-нибудь кино посмотрим. Обещаю: котиков там не будет!

* * *

Приближалась весна, а вместе с ней день рождения Петра Аркадьевича. Соня съездила навестить папу и вернулась мрачнее тучи. Едва ступив на порог, она замогильным голосом сообщила мужу новость:

— Они решили праздновать юбилей!

— Ну и отлично, салатиков поедем! Я Петру Аркадьевичу давно «Ред Брест» обещал подарить! — Паша радостно потёр руки. — Ты не представляешь, какая сегодня невероятная гонка! Гамильтон на первом круге вылетел, иди скорее садись! У феррари есть шанс!

— Паша, каких салатиков, какой «Ред Брест», как я это недоразумение людям покажу!

Паша на мгновение замер, потом взял пульт, выключил телевизор и внимательно посмотрел на жену.

— Соня, всё, хватит.

— Паша, что хватит, что хватит? Ты что — правда не понимаешь? Но к нам же Васютины придут, а ещё дядя Толя с тётей Тосей, мы же прошлый юбилей с мамой отмечали!

Паша встал, подошёл к жене, положил ей руки на плечи и аккуратно сжал:

— Прошлый — с мамой, а этот — с Люсей. Давай куртку снимай, и пойдём скорее гонку смотреть.

Соня резко вырвалась и убежала в спальню, громко хлопнув дверью.

* * *

В преддверии праздника Люся драила квартиру так, будто ждала в гости как минимум президента. Перестирала все шторы, она переключилась на мебель и отполировала все имеющиеся в доме поверхности до зеркального блеска. Соня с подозрением наблюдала за волшебным преображением давно обветшавшей квартиры. Склонности к идеальной чистоте она у папиной подруги раньше не замечала. Ровно наоборот — периодически ворчала на пыльные подоконники и захламлинные углы, не понимая, как Люсю до сих пор не выгнали из «сферы клининга». Помимо любви к котикам и кино, у Тёти Лошади была ещё одна страсть — вдыхать новую жизнь в использованные предметы. Она бережно хранила пластиковые контейнеры из-под еды. Некоторые из них превращались в мыльницы, другие — в вазоны для рассады, третьи — в коробки для прищепок. Люся стирала целлофановые пакеты и делала тряпки из старых футболок. Пока Люси не было дома, Соня надевала резиновые перчатки, собирала весь этот «хэндмэйд» и выбрасывала в мусор, а через пару недель находила очередного лазутчика.

Как-то раз, накануне праздника, ступив на балкон, она обнаружила не привычную свалку, а ошеломившую её пустоту. Кроме старого буфета и стула, там ничего не было. Соня недоверчиво огляделась: а где всё? Тётя Лошадь сделала загадочное лицо, поднесла указательный палец ко рту и зашептала:

— А я сегодня всё выбросила, ну почти всё, там такая свалка была, одних гвоздей ржавых — килограммов двадцать, наверно, не знаю, что Петя собирался ими заколачивать! А проводов, проводов — слона задушить можно! — Люся захихикала. — Ты только папе не говори, сам он и не заметит!

— Люся, а там, в буфете, коробка жестяная лежала с отвёртками, её ты тоже выбросила? — с нарастающим беспокойством спросила Соня.

— С отвёртками? Ну да, зачем нам столько? У него новых три штуки в комод лежат!

— Люся, он эти отвёртки с юности собирал, когда ещё на заводе работал. Там у каждой своя история. Если папа пропажу обнаружит, его инфаркт хватит.

Люся позеленела и бросилась в коридор, поспешно натягивая сапоги.

— Сонечка, родненькая, ты ж меня не выдавай, я сейчас мигом на мусорку сбегая, я найду, найду.

Соня криво ухмыльнулась: ну-ну, попробуй. И чеканя каждое слово, добавила:

— Но чтобы ни один предмет из этого дома больше не исчез без моего ведома!

Через час чумакая и благоухающая помоями Люся торжественно вернула коробку с отвёртками на законное место.

* * *

Очередным камнем преткновения стало праздничное меню. Соня снова негодовала:

— Она меня в могилу сведёт! С меня семь потов сошло — объяснять, зачем нужен цезарь и капрезе, если все нормальные люди в её представлении закусывают оливье и селедкой под шубой.

— Ну а что, почему нет? Селёdochка да под холодную водочку — самое то. — Паша вяло поддерживал разговор, не отвлекаясь от шахматной партии с сыном. Тёмыч молчал. Ни тому, ни другому не хотелось попасть под горячую руку.

— Ты что — дядю Толю не знаешь? Ему же только утиное конфи да беф бургиньон подавай, а у тёти Тоси вообще на рыбу аллергия.

— А ты собираешься готовить беф бургиньон? Так-так, а что вы, молодой человек, скажете, если мы вашего коня съедим?

— Что-что? Что мы съедим? Чайник кипит, не слышу. В общем, не знаю пока — что, но я лично свиной окорок есть не буду!

— А чем тебе свиной окорок не угодил? Ух ты, смотри, что твой сын творит. Он у меня из-под носа ладью увёл!

Соня поджала губы и махнула рукой.

— Да ешьте что хотите. Хоть свинину, хоть конину, хоть сало в шоколаде.

* * *

День рождения праздновали шумно и весело. Люся встречала гостей в новом обтягивающем платье с павлиньим узором, которое переливалось изумрудно-лиловыми бликами, идеально подчёркивая цвет её волос. Глубокое декольте обнажало грудь, а боковой разрез — обтянутую в чёрный чулок поджарую ногу. Каждый раз, когда Тётя Лошадь поднимала бокал и тянулась через стол чокнуться с гостями, её бюст норовил выпрыгнуть наружу. Дядя Толя одобрительно кряхтел, Паша хихикал, Соня закатывала глаза, а Пётр Аркадьевич гордо поглаживал свою подругу по коленке, превознося её многочисленные достоинства. Люся сияла как медный таз и с обожанием смотрела на именинника.

— Где она этот Deer Purple раздобыла? — наклонившись к уху жены, прошептал Паша.

— Не знаю, в каком-то дисконте. Кошмар. Ты видел, как у дяди Толи челюсть отвисла?

— Ага, и вместо беф бургиньон он в неё за милую душу несанкционированный оливье закидывает! Пожалуй, и я ещё ложечку съем. — Паша потянулся к миске с салатом, но, увидев приподнятую супругой бровь, замешкался и положил себе в тарелку Сонин фирменный «Цезарь».

Гости нахваливали угощения, пили за здоровье именинника, вспоминали молодость. Соня, сначала напряжённая, в конце концов разомлела от вина и искренне смеялась, слушая давно заученные наизусть истории. Время от времени она поглядывала на отца: что-то в нём её беспокоило. Пётр Аркадьевич живо поддерживал беседу, принимал поздравления, причмокивал, пробуя подаренный зятем виски, но взгляд его периодически смещался, сползал в сторону и зависал в невидимой точке. Соня подседала рядом:

— Пап, всё хорошо? Устал?

— Всё хорошо, доченька, какие же вы молодцы, такой праздник мне устроили! А стол-то какой — и закуски, и окорок — просто царский!

Соня поморщилась, но ничего не сказала, а Пётр Аркадьевич, помолчав минуту, взял дочь за руку и пристально посмотрел в глаза:

— У меня к тебе просьба.

— Какая?

— А может, споёшь, а? Ты так давно не пела! И не играла! Сделай папе приятное напоследок!

— На какой такой «последок»? — удивилась Соня. День рождения был в самом разгаре. — Конечно, спою, если хотя бы один аккорд вспомню, — улыбнулась она.

Соня вытащила из-за шкафа гитару, сдула с неё пыль. Её студенческая «Кремона» откашлялась, задребезжала, радостно откликнувшись на приглашение давно забросившей её хозяйки. Соня пробежалась непослушными пальцами по струнам, взглянула на отца — какую? Пётр Аркадьевич грустно улыбнулся и молитвенно сложил руки.

Соня поняла без слов. Когда-то давно она спрятала эту песню в дальние закоулки памяти, как и город своего детства. Соня бросила взгляд на мамин портрет на стене и тронула струны. Сколько же лет она её не пела? Сколько же лет они вместе её не пели? Соня набрала в лёгкие побольше воздуха и неожиданно звучным контральто затянула: «Ты че риченька, нэвэлыченька, хочу переско-очу!» Голос плохо слушался, срывался, каждый звук давался с трудом. «Выдайте мэнэ, моя матинко, за кого я схожу». К горлу подступило что-то тяжёлое, давящее. «Чом ты не прийшов, як мисяць зийшов...» Дыхание перехватило, Соня на миг остановилась, и в этот момент чей-то чужой голос грянул над ухом: «Я тэбэ чека-а-ла!» Люся, прикрыв глаза, уверенно подхватила уже почти сорвавшуюся мелодию: «Чи коня не мав, чи стежки не знав, маты не пуска-ла» Соню прошиб холодный пот, она невольно мотнула головой — нет, пожалуйста, не надо! Но Люся, окрылённая своим успехом и третьим бокалом каберне, ничего не заметила и с упоением продолжала: «И коня я мав, и стежку я знав, и маты пуска-а-ла...». Соня, пересилив себя, снова запела. Голос её стал глуше, нежнее. Пётр Аркадьевич прикрыл глаза и слегка раскачивался, предаваясь воспоминаниям. Паша тревожно переводил взгляд с одной женщины на другую. Даже Тёмыч отложил в сторону свой вечный смартфон и заворожённо молчал, глядя на мать. Песня закончилась. Соня молча отложила гитару, а Люся радостно раскланивалась под аплодисменты гостей.

Несколько секунд в комнате царило молчание. «Ты как?» — Паша приобнял жену. — Соня беззвучно кивнула — «нормально». По спине её пробежала судорога. Дядя Толя кашлянул и робко произнес:

— А может, цыганочку?

Цыганочку! Цыганочку! — зашумели гости. Соня посмотрела на довольного папу, стряхнула оцепенение и снова взяла гитару. Цыганочка взвилась и закружилась. Люся вскочила из-за стола, расправила плечи и пустилась в пляс, сотрясая пространство колыханием своих божественных форм. Эх, раз, да ещё раз, ещё много-много раз... Пётр Аркадьевич ринулся следом. Гости хлопали, подпевали, притоптывали. Паша, прищурившись, разглядывал честную компанию сквозь пузатый бокал. В какой-то момент он, как в замедленной съёмке, увидел Петра Аркадьевича, несуразно завалившегося на бок, резко дёрнувшуюся в сторону руку тёти Тоси с фужером, из которого взметнулась ввысь пунцовая струя, и через мгновение — густо засыпанный осколками пол, на котором распластался тесть.

* * *

Из больницы Петра Аркадьевича забирали на коляске — ноги слушались плохо.

— Ну как же так, — причитала Соня в кабинете у доктора. — У него же анализы были стабильные, он столько лет держался! Почему так резко? — Её спина, неестественно прямая, будто приросла к спинке стула, а руки нервно теребили старый любимый берет с зелёным помпоном.

— Так бывает. — Доктор снял очки и потёр усталые глаза. Его смена закончилась. Уже звонила жена: дома ждали горячие щи и рюмка холодной водки. — С таким заболеванием рецидивов можно ожидать в любой момент даже на фоне стабильных

анализов. У вашего отца крепкое здоровье, и если бы не его диагноз, мог бы сто лет прожить. Тяга к жизни у него потрясающая. Уж сколько лет его наблюдаю.

— Вот именно, — не отступала Соня. — Давайте ещё что-то попробуем, он и сейчас сдаваться не собирается.

— Сейчас уже сложнее. В кости просочилось, потому и ноги отказывают. Попробуем притормозить, но на чудо я бы не рассчитывал. Есть одно средство, его только в прошлом году в Европе одобрили, до нас оно только пару месяцев назад дошло. Препарат дорогой, его заказывать нужно — вы как можно быстрее в поликлинику идите, оформляйте, направление я выписал.

Соня набрала в лёгкие побольше воздуха и изо всех сил сжала уже изрядно помятый берет:

— Доктор, а какой прогноз?

Доктор вздохнул, на горизонте замаячили холодные щи и тёплая водка.

— Сильно зависит от того, как на него препарат подействует. Если поможет — хорошо, если нет... — Доктор развёл руками.

— Доктор, сколько?

— Софья Петровна, ну я же не Господь Бог!

— Доктор!

— От нескольких месяцев до года. Если организм на препарат хорошо отреагирует, может, и больше. Рецидив серьёзный, делать более точные прогнозы я не возьмусь.

Соня дёрнула изо всех сил и, наконец, оторвала ни в чём не повинный помпон. Она сидела не двигаясь и смотрела на него в полной растерянности, не понимая, что она делает в этом пропахшем болью кабинете и как этот зелёный пушистый шар очутился у неё в руке.

* * *

Возле машины Соню и Петра Аркадьевича ждали Паша и Тётя Лошадь. Пётр Аркадьевич вжался в непомерно огромное для него инвалидное кресло. Люся кинулась обнимать его, а он, уткнувшись колючей щекой ей в шею, жалобно забормotal: «Ну и доставил я вам хлопот, мои дорогие. Теперь буду всем в тягость!» «Петя, та ты шо такое говоришь! А ну-ка, давай, хватайся за меня!» Люся уверенным жестом остановила ринувшегося на помощь Пашу и, подхватив старика, как тростинку, подняла его из коляски. «Давай-давай, ещё шажок, всё у нас будет хорошо. Сейчас домой поедem, я котлет наделала паровых и пюрешку с маслицем, всё как Соня велела!» Она ловко упаковала коляску в багажник, села в машину и велела трогаться.

По дороге домой Соня молчала. Отвернувшись к окну, она разглядывала неожиданно быстро оттаявший после долгой зимы город. Ещё вчера сугробы лежали, а теперь — лужи. Ну надо же, она и не заметила, когда весна пришла. Паша вёл машину, отвечая на бесконечные звонки по работе. Пётр Аркадьевич, забившись в угол, тяжело вздыхал, а Люся болтала без умолку — про сбежавшего на блудки и вернувшегося без одного уха кота, про соседку-заразу, которая сутками дымит на лестничной клетке, про хозяйку квартиры, которая собралась в Израиль навестить сына с внуками.

— Нам придётся медсестру найти — папе уколы делать, — очнулась, наконец, Соня. — Я завтра в поликлинику схожу, там узнаю, ну или сервис какой-нибудь поищу.

— А зачем медсестру? Я сама могу. Тоже мне делов-то — укол сделать, — живо отозвалась Люся.

— Ты? Уколы? — Соня с недоверием обернулась. — Люся, давай всё-таки доверим это дело профессионалам. Я папиным здоровьем рисковать не хочу.

Люся, как и Паша, обычно старалась с Соней не спорить, но на этот раз стояла на своём.

— Да не волнуйся ты, Соня, усе сделаем, как надо! Умеем, приходилось. — Люся как-то странно ухмыльнулась и на мгновение замолчала. — Ты на этот счёт не переживай! — с неожиданной твёрдостью добавила она.

Соня хотела было возразить, но в этот момент они приехали. Возле подъезда Люся так же легко выгрузила Петра Аркадьевича из машины, усадила в кресло и велела Соне и Паше возвращаться домой. «Ехайте уже, отдыхайте, у вас ребёнок один дома. А мы сами справимся. Денег? Нет, денег пока не надо — у нас ещё есть».

* * *

— Что доктор сказал? — Павел изучал скудное содержимое холодильника, краем глаза поглядывая на жену. Осунулась-то как, и глаза что у побитой собаки. — Пельмени будешь? Мы с Тёмычем вчера пачку купили — ещё осталось. И полбутылки вина. Налить бокальчик?

— Паша, а водка у нас есть?

— Водка? Ты же не... Он встретился взглядом с женой — хрупкой, поникшей, взъерошенной, достал из дальнего угла шкафа початую бутылку, отвинтил крышку и налил полную стопку.

* * *

Жизнь Сони завертелась по замкнутому кругу: дом — папа — поликлиника. И снова папа. Домой Соня возвращалась поздно, целовала полусонного ребёнка, ложилась с ним рядом на кровать, обнимала и вдыхала его родной запах. Иногда она засыпала вместе с ним, а утром, едва закрыв за мужем и сыном дверь, садилась за очередной проект. Работать приходилось много, деньги улетали со страшной скоростью. После обеда снова ехала к папе. Ржавеющая годами система здравоохранения надсадно скрипела. «У терапевта на две недели вперёд всё расписано», — не поднимая головы, сообщала голосом робота сотрудница регистратуры с пегими плохо покрашенными волосами. От пациентов её надёжно отделяла стеклянная перегородка: «Хотите вызвать доктора на дом? А у него что — температура?» «Нет, температуры нет, он просто умирает». Соне хотелось взять молоток и разбить это мутное стекло, а заодно треснуть от всей души по неряшливой макушке. «Чтобы заказать это лекарство, нужно собрать подписи всех заведующих и главврача. Сейчас мы это сделать не можем, Варвара Ивановна в отпуске. Приходите через две недели».

Пётр Аркадьевич угасал на глазах. Ещё недавно бодрый пожилой мужчина, он превратился в беспомощного старика. Жизнь утекала из него всё быстрее и быстрее. Она как будто спохватилась, засидевшись в его больном организме, и теперь поспешила на выход. Первые пару месяцев Сонин отец с трудом, но ещё поднимался на ноги и медленно перемещался по квартире, опираясь на палку. Потом перестал вставать совсем. Ни он, ни Люся не желали слышать о сиделке. Тётя Лошадь справлялась со всем сама: купала Петра Аркадьевича в ванной, делала уколы, освоила пароварку и научилась готовить диетические супы-пюре. По вечерам она сажала своего Петюню в инвалидное кресло и вывозила гулять.

Спустя два месяца лекарство так и не пришло. Главврач разводил руками: все вопросы в Минздрав, наше дело маленькое — заявку отправить. Соня стучалась во все двери сразу: она обивала пороги кабинетов, писала жалобы, пыталась выйти на нужных людей. Система не поддавалась, но лекарство в конце концов нашлось. Его нельзя

было получить, но можно было купить. Вкрадчивый голос работника фармсклада продиктовал адрес и сумму. Соня хрипло поблагодарила и пообещала перезвонить позднее.

— Сколько-сколько? — изумился Паша. — Да за такие деньги живую и мёртвую воду найти можно! — Ладно, не переживай, придумаем что-нибудь. Ну всё, хватит с похоронным лицом сидеть. Я же говорю — придумаем! Пошли уже спать, а? Утро вечера мудренее.

Через несколько дней, гуляя с папой в парке, Соня получила от мужа перевод на нужную сумму. Телефон не отвечал. Вернувшись домой, Соня обнаружила пустую витрину. В ней осталась только одна бутылка: на верхней полке одиноко возвышался королевский «Макаллан».

* * *

Лекарство не помогло. После первого приёма Люся и Соня воспряли духом, так как Пётр Аркадьевич немного поддурманился и повеселел. У него улучшился аппетит и настроение, но анализы позитивных изменений не показали. Ещё через пару недель показатели поползли вниз. Доктор разводил руками.

— Видимо, опоздали мы с препаратом. Не повезло, не повезло. Пациенты на ранних стадиях дают устойчивую ремиссию, а на поздних... — доктор вздыхал. — Я ему новые обезболивающие назначу — внутривенно.

Соня вновь подняла вопрос о сиделке. Женщины вполголоса беседовали на кухне — подальше от ушей больного.

— Люся, к чему этот образцово-показательный героизм, ты в конце концов надорвёшься! Мелкий-то он мелкий, но всё равно не ребёнок. Мне ещё тебя лечить потом не хватало!

— Да не суетись ты, Соня. На этих сиделок денег не напасёшься. Ничего, не надорвусь, своя ноша не тянет, — спокойно возражала Люся.

— При чём тут деньги! А если ты заснёшь, а ему в туалет надо или «скорую» вызвать? Ты, конечно, молодец, но это просто опасно! Ему профессионал нужен! — настаивала Соня.

Люся грустно вздохнула:

— Да чужой он для них, понимаешь? Представь, какая это тоска, когда помираешь, а рядом не ты, не я, а какой-то профессионал. Сиделка его по голове не погладит, слово доброе не скажет. Я Петюню в чужие руки не отдам, — решительно отрезала она.

— А уколы внутривенно он сам себе делать будет? Всё равно придётся медсестру нанимать, — всё сильнее раздражалась Соня.

— Не придётся. Я и внутривенно могу.

Соня опешила:

— Ты это серьёзно? Ты вообще понимаешь, какая это ответственность? Это же вена!

— Понимаю, Соня, понимаю, не переживай, умею я, училась.

— Где? В кулинарном техникуме?

— Та не, — Тётя Лошадь отвернулась к окну и часто заморгала, — жизнь научила.

— Ты что, работала медсестрой?

— Не, Соня, я работала... мамой.

Соня вдруг ощутила, как холодная рептилия шевельнула хвостом где-то в глубине живота. У неё пропал голос, и она сипло пробормотала:

— У тебя есть дети?

— Были, Соня, были. — Люся горько вздохнула. — Доча. Хорошая была девочка, весёлая, умненькая. На одни пятёрки училась. И говорила так чистенько-чистенько, ну прямо как ты. Муж мой — папаны ейный — всё шутил, что её в роддоме подменили.

Люся на несколько секунд замолчала, Соня перестала дышать.

— Не повезло ей, моей Ксюшеньке, тринадцать лет ей было, когда мы её потеряли. Пять лет мы с ней по больницам маялись, там всему и научилась. Денег-то на сиделок не было. — Люся всхлипнула, потом встрепенулась: — Ой, Соня, да что с тобой, вот глупая я баба, зря тебя расстроила! Всё ж уже давно больём поросло.

Соня почувствовала, как окаменели руки и ноги. Накатила тошнота. Она с трудом встала, вышла из кухни, добрела до кровати, рухнула лицом вниз и глухо завывала.

* * *

Из открытого окна на балконе тянуло ночной прохладой. Соня принялась — сквозь сырость пробивался нежно-сладковатый запах. Неужели жасмин? Опять она всё пропустила. Дождь закончился. Где-то внизу дребезжали остатки сбегающей по водосточной трубе воды, приятная влага облепила опухшее от слёз лицо. Краем уха она слышала, как в соседней комнате ворочается и постанывает отец, громыкает на кухне посудой Люся. Потом всё затихло, и в комнате послышались робкие шаги. Тётя Лошадь просунула голову в дверь — можно? Соня кивнула. Она усадила Люсю на стул, а сама устроилась в инвалидной коляске. Вовремя Люся балкон освободила — подумалось с горечью.

— А знаешь, Люся, — неожиданно начала Соня, — я, как сейчас, раньше тоже не говорила. У меня такое зычное «г» было — почище твоего даже. Я, когда в Москву приехала и в университет поступила, сразу эдакой Фросей Бурлаковой себя почувствовала. Друзья мои студенческие надо мной хихикали и просили: а скажи: «гегемон» и «Гагарин».

— А шо такого? Шо не так?

— Да всё так, просто русская «г» — она другая, она звонкая, а не глухая, и по мне сразу было видно, то есть слышно, откуда я родом. А ещё все смеялись, когда я баклажаны синенькими называла.

— А как надо?

— Ну как — баклажаны и надо, синенькие — так только на Украине говорят. Народ, помню, надо мной издевался: а что, у вас помидоры — это красненькие, а огурцы — зелёненькие?

— Ой, ну придумали!

— Ага, смешно. Я с этой буквой «г» боролась, как с врагом народа, чуть не по губам себя била. Быстро отучилась. Правда, из меня до сих пор словечки разные выскакивают — типа «жменьки». Мы с Пашей как-то до хрипоты спорили. Нет, он говорит, такого русского слова! А я говорю — есть! В словарь полезли. А там оно есть, но так и написано — «украинизм».

— Так кто победил-то?

— Никто. Оба правы. Знаешь, о чём я всё время думаю? — Соня почувствовала, как глаза снова наполняются влагой. Она отвернула лицо к окну. — Как же это, наверно, жутко, когда утекает из тебя жизнь, и ничего, ничего ты с этим поделать не можешь! Он же ещё осенью планировал тебя в Прагу отвезти, деньги копил, не говорил тебе — хотел сюрприз сделать. — Соня повернулась и увидела, что Люся плачет,

размазывая по щекам поплывшую тушь. — Ой, Люся, давай я тебе салфетки принесу, где-то тут в комнате упаковка была, сейчас свет включу.

Тётя Лошадь рыдала в голос. Соня гладила её по руке и одну за другой подсовывала салфетки. Люся вытирала глаза, лицо, слой за слоем стирая остатки грима. На полу росла кучка разноцветной бумаги. Снова забарабанил дождь. Люся вскочила, открыла окно пошире и высунула голову наружу. Она долго стояла не шелохнувшись, потом вытерла лицо насухо рукавом халата, грустно улыбнулась и посмотрела на Соню.

— Пойдём уж, наверно, спать, план по слезам мы с тобой на сегодня выполнили!

Соня сидела, прижав к груди ворох грязных салфеток, и с изумлением смотрела на Тётю Лошадь, как будто видела её впервые.

— Соня, ты будто привидение увидела, шо, шо не так?

Соня покачала головой:

— Люся, ты, оказывается... такая...

— Какая?

— Такая красивая!

* * *

Отцвёл жасмин, за ним кудрявые ирисы, утомительно долго благоухали розы, посаженные Люсей в начале лета на газоне возле подъезда. Дни стояли обманчиво тёплыми, подозрительно безоблачными, как будто и нет никакой осени на горизонте, и не будет её уже никогда. Или будет, но не для всех. Осень не торопилась, отсиживаясь в засаде, короткими вылазками просачиваясь в стан врага — то охровым пятном мелькнёт в зелени берёзы, то резким порывом ветра вздыбит безмятежную гладь пруда.

— Знаешь, она такая молодец, держится так бодро, как будто и не спит по ночам. Стойкий оловянный солдатик. Если бы у меня столько сил было! — Соня бесцельно бродила по комнате, собирая разбросанное на полу лего, засовывая в цветочные горшки пальцы — сухо-не сухо? Она то присаживалась на краешек дивана, то снова вскакивала, бросаясь вытаскивать забившийся под тумбу носок или сполоснуть забытый в раковине стакан.

— А ещё розы свои поливать ходит каждый день. С ведром. Я головой о стену биться готова, а она огурцы солит. И вообще, всё время что-то готовит. Морозилка варениками забита, на балконе — одни банки, ступить негде.

Паша закрыл крышку ноутбука и пристально посмотрел на жену.

— Соня, а давай ты нам с Тёмычем тоже что-нибудь приготовишь, а то мы устали одной пищей да бургерами питаться. Я бы, например, от куриного супа не отказался!

Соня дёрнулась, как от пощёчины, замерла и ошарашенно посмотрела на мужа.

— Супа?

— Ну да, из курицы. С лапшой и морковкой. Ты всегда очень вкусный варила. Я и забыл, когда в последний раз его ел. Не говоря уже про всё остальное...

Соня растерянно молчала, губы её обиженно задрожали.

— Ты случайно не забыла, что Тёмычу через неделю в школу? — спокойно продолжил Паша. — Он за лето вытянулся, как бамбук, ему всё новое покупать надо. Он очень хочет, чтобы ты с ним в магазин сходила.

Соня тихо кивнула. Затем сглотнула подступившие слёзы, взяла сумку и направилась к выходу.

— Ты куда? — окликнул её Паша.

— За курицей. Скоро вернусь.

* * *

Пётр Аркадьевич ушёл в начале сентября. Последние две недели он почти не приходил в себя, ничего не ел и не мог произнести ни слова. Соня садилась рядом, брала отца за невесомую руку и вспоминала прекрасные моменты своего детства. Как вместе обдирали с деревьев незрелые орехи, а потом счищали с них зелёную кожуру. Пальцы становились коричневыми и не отмывались несколько дней. Как ловили в лимане тупоголовых бычков и сушили их на азовском ветру. Как искали под дождём потерянную мамой серёжку — и нашли же, нашли!

Время от времени Соня чувствовала слабое движение папиных пальцев и понимала: он её слышит. Она радовалась и продолжала говорить, до осиплости, до изнеможения, надеясь, что эти истории, как спасательный круг, смогут удержать его на плаву. Подожди, я ещё вспомнила. И ещё. В комнату входила Люся, трогала её за плечо, ласково, но настойчиво уводила прочь. «Отдохни, Соня, и пойдёшь поесть, а то тебя скоро ветром сдует».

Соня послушно глотала вареники, почти не ощущая вкуса. Не съев и половины порции, отодвинула тарелку и уронила голову на руки.

— Люся, я так устала, — глухо произнесла она. — Так устала... И ничего, совсем ничего не могу для него сделать.

— Можешь, — хрипло откликнулась Люся.

— Что?

— Отпусти.

* * *

Через девять дней после похорон Тётя Лошадь попросила Соню заказать ей билет на поезд и стала собирать вещи, чем вызвала настоящий переполох. Хозяйка артистического дома срочно нашла ей клиентуру среди бывших коллег по цеху. Соня предлагала жить в квартире сколько угодно — продавать не собираются, а Тёмычу до неё ещё расти и расти. Васютины звали приглядывать за дачей — всё равно они по полгода в Испании живут. Никакие уговоры не помогли.

— Не, Сонюшка, не могу я здесь без Пети. Куда ни гляну, везде на него натываюсь. В окно выгляну — а там розы. Ещё цветут, представляешь? Как будто он мне весточки с того света шлёт. — Люся грустно улыбнулась. — Домой мне пора. Да и за Барсиком своим я соскучилась. Лучше вы ко мне приезжайте на следующее лето — у нас море тёплое, песочек жёлтый, Тёме точно понравится! А квартиру сдавать надо — лишние гроши никогда не помешают!

В конце концов Соня сдалась и купила билет. Купейный. Соврала, что последний остался. Люся охала — ну зачем такие растраты, могла бы и на автобусе! Она упаковала свой старенький чемодан, в который влезла вся её немногочисленная скраб. Четверть чемодана занимал набор театрального грима, подаренный накануне её бывшей работодательницей.

На вокзал приехали за час до отхода поезда — Люся боялась опоздать. Под мышкой она держала не влезшую в чемодан подушку с котиком, а из её сумки торчала голова фаянсового дельфина. Паша с Тёмычем тащили огромные баулы, наспигованные Соней всякой необходимой всячиной — от нового миксера до верблюжьих одеял. Уже в купе Соня, отправив своих мужчин на перрон, присела рядом с Люсей на полку и сунула ей в руки конверт: «Держи, это тебе. Не-не, даже не спорь, это от папы. Я ему слово дала. Это он на поездку вашу копил, ну и мы с Пашей от себя добавили. Ты съезди в Прагу или ещё куда, ладно? Он бы этого хотел. Обещаешь?» Люся заглянула в конверт: «Господи, Сонюшка, да ты... да вы что, я таких деньжищ никогда в руках не держала!» «А ты и не держи, спрячь куда подальше, сама знаешь куда, вон, уже твои соседи идут. Ну давай, не забывай нас, ладно?»

Тётя Лошадь захлопала носом. Соня встала и обняла её за плечи. Наклонив голову, она увидела, что макушка у Люси уже не фиолетовая, а совершенно седая.

Игорь Корниенко

РЕЗИДЕНЦИИ
АСПИ

Волшебная кнопка

Рассказ

Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ) — объединение четырёх крупнейших союзов писателей и Российского книжного союза. Писатели самых разных направлений и взглядов собрались вместе для поддержки текущей словесности и литературного процесса. Занятия с начинающими литераторами, помощь писателям в трудной ситуации, создание сети литературных резиденций, творческие командировки писателей — число масштабных проектов АСПИ, охватывающих всю Россию от Калининграда до Чукотки, продолжает расти.

Представляем один из проектов АСПИ — «Литературные резиденции». Каждый месяц 42 писателя по направлению Ассоциации едут работать в дома отдыха и санатории на Орловщину, в Оренбуржье, в Каменск-Уральский и Пятигорск, под Благовещенск, в Бердск и в легендарное «ахматовское» Комарово. В бердской резиденции АСПИ и был написан этот рассказ нашего постоянного автора Игоря Корниенко.

Перед смертью ясней проявляется будущая жизнь. Только теперь уже не твоя, жизнь других, без тебя. Видимым становится невидимое. Понятней куда и зачем всё это...

Дед Егор, как сам выразился, — «прозрел и второе дыхание обрёл», схватил внука Алёшу, потянул из посёлка к главной, центральной дороге.

— Слушай и запоминай, — велел.

Сухой пергамент кожи дедовой ладони навсегда в Алёшиной памяти врезался прикосновением иного, потустороннего, рукопожатием самой Смерти, пропитанного сладко-тошнотворным запахом медикаментов и всяческого недержания... Дедушка говорил без умолку про каких-то духов огня и море трупов, собачьи будки вместо жилых домов, живых мертвецов вместо людей, Конец Света, говорил задыхаясь, повторяясь... И это сильно напугало маленького Лёшу, он не то что произнести, думать о тех дедушкиных словах не мог, боялся, что одна лишь мысль может превратить бред умирающего старика в явь...

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса им. Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Живёт в Ангарске.

— Вот это твой путь в жизнь. — Поднялись на дорогу, дед ткнул костлявым, жёлтым, куриным, совсем не человеческим пальцем в едва видимую полоску в самом центре дороги. — Эта вот стрелка твоя, указка по жизни, следуй за ней, понял?! — показал направление. — И придёшь куда надо, найдёшь себя, признание своё, свой смысл жизни! — И для пущей убедительности стукнул, «чтоб на всю жизнь запомнил», внука по уху.

— Так там, куда показываешь, дед, там, по уму-то, конец дороги, — тёр красное ухо Алёша. — Налево надо идти тогда, если к началу-то.

Почесал лысину дед Егор, а внук тем временем выдал своё прозрение:

— Если дорога идёт направо, то идёт она к концу, ведь так, все ведь дороги заканчиваются, поэтому надо идти назад, налево, туда, откуда дорога берёт свой разбег... И стрелки-то нет ни в одну сторону. Получается, идти можно хоть куда...

— Да иди ты к елене матери, сопляк! — замахнулся дед. — Правая сторона всегда правая! Верная! Истинная и божия! Левое — от дьявола! Налево только изменники и нехристи ходят!

Ловко увернулся от второй плюхи внук.

— И кладбище там так-то, — погрозил правой стороне дороги кулаком. — Покойников туда несут. И тебя, вот увидишь, тоже!

— Так кладбищем дорога не заканчивается, дурная твоя башка! — дед постучал по своей лысой голове. — Думай наперёд всегда, вдаль смотри и по сторонам, дальше дороги смотри! Все дороги ведут на кладбище, но у дорог нет конца! Ты голову-то включай почаще, а к голове душу и сердце подключаешь, третий глаз!.. Или тоже хочешь, чтоб как у меня, как я, перед смертью только научиться видеть?! Шаг до могилы, и на тебе, увидел дорогу, смысл узрел, глаз во лбу открылся...

— Третий глаз? — и Алёша забыл про больное ухо.

— Ну так, а я тебе про что?! Да, третий глаз. Глаз души, то, что не увидеть простыми зенками. Кто тебе на жизнь, окромя деда, глаза-то откроет?! Вот и смотри теперь не в оба, а в три глаза! Разуй глаза! Развяжи. Сбрось шоры и смотри. И увидишь всё как есть и ясней ясного!.. И стрелки тебе проявятся, и другие всяческие указки... — Невидимое видимым станет! Только научись правильно на всё смотреть, видеть душой! И в третий раз замахнулся дед на внука, на этот раз просто, «на добавочное, и бог любит троицу»: — Да если б мой дед мне всё это поведал, да вместе с подзатыльником прозревающим, да шиш бы я жизнь свою вот так бы заканчивал, и так бы прожил — шиш! Я бы смотрел во все глаза куда шёл, и никуда б не вляпался, ни на какие грабли, ни в какое б дерьмо, ни во что б сроду не угодил...

Одним ухом слушал внук деда, даже вполуха; смотрел Алёша по дедушкиному наказу, широко раскрыв глаза и рот для большего эффекта, на петляющую дорогу из битого асфальта с едва различимой разметкой, смотрел, как забирается дорога на кладбищенский холм и срывается, исчезает за зеленью и крестами, соснами и искусственными цветами, мраморными памятниками и остроконечными оградами...

Через три дня похоронная процессия немногочисленных поселковцев прошла этой дорогой до свежeweкопанной могилы — нового и теперь уже вечного дома деда Егора, а внук Алёша впервые посмотрел на многое другими глазами. Тремя глазами.

— Чтобы открыть глаз души, третий глаз, тебе, внук, вот что надо сделать, — зашептал неожиданно и едва слышно дед, озираясь по обеим сторонам дороги. — Ты испугаешься, к бабке не ходи, отнекиваться будешь, поплачешь, покричишь

на деда, и на себя покричишь, помолишься, может, даже, но сделаешь всё как дед накажет, ибо это его последняя воля. — И громче, пронзив слепым взглядом белой запущенной катаракты глаза Алёши до самого сердца: — Ты ведь знаешь, не маленький, что последняя воля покойника — закон! Всё, что перед смертью человек пожелает, должно быть выполнено. А иначе, — дед страшно закатил глаза к такому же, заражённому катарактой, пустынному небу, — иначе покоя не даст мертвец, с того света достанет и заставит исполнить последнюю волю сполна!..

Всё, что делает внук, — это слушает и кивает. Дед шепчет на ухо, постоянно оглядываясь, и кажется мальчику, что глаза его вот-вот выскочат из орбит.

«Такое в голову не может прийти нормальному человеку», — думает внук, но ничего не говорит, ни звука не издаёт, дышать перестал. Голос, как и пергаментная куриная ладонь, чудится внуку, теперь поселятся в нём навечно: голос из могилы, с другой стороны жизни, не жизни голос, шуршащей пожухлой листвы голос, голос мокриц и пауков...

— Ты должен сделать всё как я велел, Лёшка. — И уже не дед, а Смерть мерещится, стоит с ним рядом, и дышит пылью дороги, и обнимает, и шепчет на ушко: — Всё точь-в-точь, по плану, я уже начал всё подготавливать с раннего утра, как прозрел... Как увидел будущее яснее ясного... У нас с тобой, Лёшка, ещё есть время подготовиться к твоему прозрению...

Дедушку в оставшиеся до смерти дни, уверен Алёша, подменили. Это заметили и домашние.

«Перед смертью не надышишься», — народная мудрость в случае с дедом Егором обрела иное значение...

— Будто ты, дед, и видеть лучше стал, и ноги не болят, — носишься, как погляжу, электровеника быстрее, — бабушка что-то подозревает, смотрит из-под цветной косынки следователем. — Ты б полежал лучше...

— На том свете отлежусь, — огрызается дед. — Лучше под ногами не мешайтесь! Дел неуправляемое, пока в ящик не спровадили... Ящик этот себе сам сколочу, слышь, бабка?! И завет оставлю вам, слышь?! Чтоб строго соблюли всё, что накажу, без вопросов и проволочек!..

Вздыхает старуха, наученная слушаться во всём безоговорочно мужа, угождает:

— Всё как скажешь, дед, всё так и будет, разве когда не по-твоему было?

Доволен ответом дед, что слов нет. Подмигивает внуку белой катарактой:

— Лёшку в помощники вот тока возьму, за пару дней управимся, сколотим мне вечный дом, и дела последние домашние, огородные, да дела вечные решим.

— Да, бать, вечные дела само то одной ногой в могиле решать, — вставляет, а как без этого, свои три копейки Лёшкин отец. — У тебя ж вся Вечность впереди, нарываешься ещё...

— Ух, — замахивается дед. — Иди, умник, жене помоги с бельём, всё равно в завещании у меня Лёшка наследник.

Сын слушается. Внук думает: вот из-за мамы, такой худенькой, хрупкой, тихой и всегда с тёплыми руками, он может и дать слабину, спасовать в дедушкином последнем деле, «проекте прозрения».

— Твоего прозрения, — уточняет всякий раз дед. — Твоего открытия смысла жизни, правильного видения всех вещей мира, положения, представления!..

— А что если не откроется?! Что если у меня этот третий глаз того?.. — косится на белые зрачки деда внук. — Если с катарактой мой третий глаз вдруг, что тогда?

— Тьфу, садовая твоя голова, — сплюнул дед и топнул ногой для солидности. — Это же глаз души, сколько можно повторять, он видит в темноте, и сквозь стены, и сквозь время и пространство. Людей нутро видит, истинную сущность людскую и всех вещей в этом мире. Изнанку видит третий глаз. То, что верно, — то и видит. А ты про катаракту... Ну сам подумай, у души какая может быть катаракта?..

Алёша подготовился, Алёша ответил:

— Но ведь у всех злодеев, убийц-маньяков, плохих людей, ты сам говорил, гнилые пропащие души!

Плюнул ещё смачней, ещё громче топнул дед:

— А ты у нас кем будешь, голова два уха? Маньяк-убийц аль какой иной злодей, извращенец, мож?.. Чего ерунду городишь! По подзатыльнику, видно, затосковал, вот и мелешь как помело. Душа у него с катарактой, ишь что удумал! Брось, делай всё, что дед, пока жив, говорит, а потом уже своей головой думать будешь и смотреть, как надо, как верно и правильно, ясен пень?! — И смотрят в Алёшу совсем не дедушкины глаза, и Алёша готов поклясться, что не дед это его, подменили деда. Кто подменил? Может, небо последних дедушкиных дней или земля в ожидании нового гостя?..

— Ясен, — буркнул внук, — ясней ясного.

— То-то ж, — подобрел дед, задрал голову и смотрит в самое солнце. — Это Ондал мне такой шанс уйти спокойно и бесстрашно. Осознанно и с пониманием, что оставляю в этой дальнейшей жизни... Я не боюсь уходить, тебя оставляя наученным, и ты не бойся ничего! — Вернулся от солнца к внуку: — Ни в эти дни, ни в последующие!.. Ясно?

«Ясно», — кивает Алёша и смотрит на солнце, а оно такое вдруг стало близкое, такое родное, словно дедушка его сделал собой. Солнце-дед вдруг шлёпнул по спине:

— Хорош мечтать, нам с тобой ещё о-го-го сколько сделать надо. Айда волшебный ящик колотить!..

Час за часом Алёша проникался речью деда, и уже совсем не страшны казались его мысли, идеи, предсказания...

Уже и Смерть, что изредка, но возникала вместо старика Егора, по-дружески близка, привычна и обыкновенна...

Стирается разделительная полоса дороги, между жизнью и смертью стирается, между небом и землёй, ежесекундным и вечным...

Сном и явью...

Алёша впервые за многие годы дедушкиной болезни уснул с дедом на его старом, скрипучем — «болтливом» — диване, и приснился ему сон, будто завещал дед ему свои глаза.

Чёрным по белому и строго настрого велено: пересадить глаза деда Егора внуку Алёше в пользование на всю оставшуюся жизнь сразу после смерти старшего родственника.

И вот он на белом операционном столе, в белой палате, и люди в белых халатах вокруг, и белый свет ламп, и белые глаза дедушки плавают в банке головастиками-переростками...

И голос, во сне Алёшином и голос виделся белым:

— Будет больно, ведь жизнь — это боль. Но пройдёт. Ведь всё проходит. Ты закрой свои глаза, а когда откроешь, это уже будут глаза твоего деда...

— Но там же катаракта, как так?!

— Ну, а третий глаз тогда тебе зачем?

И белыми губами, с белым-пребелым лицом Алёша закричал:

— Так нету его у меня пока! Не открылся ещё!

— А это что? — и вместо банки с дедушкиными глазами — зеркало, а в нём Алёшино белое лицо и на лбу полоска, царапина, шрам, что вдруг открылся самым что ни на есть настоящим человеческим глазом. Глаз во весь его широкий, дед уверял — «ленинский», лоб.

Глаз подмигнул, Алёша завопил, проснулся от боли во лбу, — это он стукнулся спросонок о дедушкину лысину.

Проснулся и дед:

— Какого ты дерёшься-то?..

— Деда, не хочу, чтобы ты умирал, — прогнусавил, не сдерживая слёз, Алёша, — не надо.

Дед закричал на пару с диваном, поднялся, сел.

— Не умирай просто... Мне ведь, если умрёшь, твои глаза в наследство носить придётся... А они ж с катарактой. Да вообще просто не умирай, и всё.

Обнялись.

— Я тебя буду во всём слушаться и помогать во всём... И мы вместе кучу ящиков волшебных наделаем, если надо, только не умирай...

— Эка сон тебе весёленький приснился, видать. Да, глаза тебе в наследство достанутся такие, что все обзавидуются, ни у кого таких в мире глаз нет! И в век не будет! Глаз-рентген. И раз такое дело, сны тебе свои подарю... Тож в добавок к твоим снам. Не ной. Ни сейчас, ни когда умру, ни в жизнь не ной! Плачь один на один с собой. Про себя, в себе плачь, и никогда не ной!

Вытер слёзы внука горячей шершавой ладонью дед. Улыбнулся Алёша:

— Глаз души, он что, во лбу откроется? — Ощерился: — И в школу тогда, ни на какую математику дурацкую не надо...

— Может, и во лбу, не знаю, — засмеялся дед. — У меня ж нет его, вот у тебя откроется — и поглядим... Пусть хоть где, главное — не в шоколадном... — и дед загоготал так громко и звонко, безудержно и весело, что сбежались все домашние, и кот заглянул проверить, что за балаган. Смеялся дед, смеялся внук, бабушка пришла первой и тоже заразилась, — так, по цепочке, за несколько минут от смеха затрясся весь дом, и кот Васька не устоял.

Для волшебного ящика, «гроба», дед чего только не использовал: тут и листы ДВП, деревянные рейки, картон, поролон, гвозди, скобы, суперклей.

— В конце концов, мне в нём лежать — какой хочу, такой и сварганю, рубанок мне в помощь, пила под руку.

То, что дед плотник от Бога, все в посёлке знали. И что такой выдумщик-затейник, и что с Богом всю жизнь в споре, с батюшками, «но чтоб с последним домом так? Пристанищем собственного тела... С гробом?» — дивился-шушукался посёлок.

Волшебный ящик — «там ведь всё как у иллюзионистов, тебя в нём закрывают и, вуаля, ты исчезаешь» — дед решил, конечно же, выкрасить в свой любимый цвет — сиреневый.

— Я родился, когда во всю сирень цвела, этим цветом пропитался с молоком мамкиным, мне почти девяносто, а молоко до сих пор сиренью пахнет... Так что давай галопом за сиреневой краской.

— Никаких венков, искусственных цветов, букетов, — велел дед в завещании... Ящик решили украсить, как и положено волшебным ящикам, по-волшебному: всевозможными светодиодными гирляндами, лентами на батарейках...

— Цветомузыку, конечно, лучше бы, — сетовал дед Егор. — Не доплясал я по молодости под бегающие огоньки свою песню-танец. Помню, с бабкой твоей только ради этих огоньков и таскались до клуба и не плясали, вот те крест, просто стояли в темноте под мерцающими разноцветными огоньками и думали об одном и том же, одну на двоих мечту... Теперь дотанцую, допою, — вздыхал дед, скобами прикрепляя очередную гирлянду к откидывавшейся крышке ящика. — Без бабки, но допляшу... Так жизнь, внучок, устроена: начинаете танцевать её, эту жизнь, вдвоём, а заканчиваете танец уже поодиночке.

Мамам не нужно прозрение, третий глаз, — материнство награждает их всеведением, всезнанием, ясновидением...

Вот и мама Алёши подозвала сына и сходу, глядя в глаза:

— Что это вы с дедом задумали, рассказывай...

Алёша и к этому был готов, дед предвидел, поэтому наученно отчеканил:

— Не хочу, чтоб дед просто взял и ушёл от нас, хочу, чтоб эти дни всем запомнились, ему особенно... И чтобы за сумасшедшего его все считали, не хочу, пусть думают, что это — чтобы мне угодить, дед гро... ящик волшебный в сирень выкрасил и гирляндами новогодними... А чего тут такого? Я тоже так хочу уйти и тож в завещании всё пропишу...

Поцеловала мать Алёшу в макушку:

— Ты умочка, только маму не обманешь, мы сердцем всё видим, душой...

— Но я честно, мам... — вырвался из объятий сын, состряпал, как дед научил, кислое, «мол, обиделся», лицо.

— Просто делай, как тебе твоя мальчишечья душа говорит, сердце подсказывает, и головой думать не забывай, — и кулаком как бы невзначай погрозила, продолжая по-доброму, по-матерински улыбаться.

Что бы дети за всю свою жизнь ни натворили, матери со всем всегда разберутся — это истина, это закон, это жизнь!.. — усвоил аксиому Алёша.

А вечером за ужином дед объявил, что завтра, после захода солнца, он заберётся в свой волшебный ящик, все, кто хочет проститься, пусть приходят проститься, ночь внук Лёша пусть проведёт с ним, а с солнцем ящик можно выносить.

— И чтоб без всяких горланий, кликушеств и «ой да на кой ты нас», — напомнил один из самых главных своих заветов. — Зеркала можно не закрывать, сроду в них не гляделся, а теперь и подавно. Ну а если прям совсем от меня что нужно кому будет, все вопросы к Лёшке, его за себя оставляю.

Таков завет и последняя воля!

Дед Егор вроде и жил не сказать что незаметно, всегда на виду, всегда при людях, при деле. До болезни, по крайней мере, ни один праздник поселковский не пропускал, но за эти три дня прямо вспыхнул и засверкал как никогда, будто и вправду перед смертью второе дыхание открылось, прозрел, и боль от болезни, метастаз запущенных, отступила... Посёлок стоял на ушах от одного вида «гроба Егорова», который спецом дед выставил на всеобщее обозрение в саду на двух табуретах.

Сиреневый, с красными — идея внука — звёздами, с разноцветными гирляндами, яркой вспышкой по глазам, по сердцу, по небу...

— Цирк, а не гроб, а с Богом шутки плохи... — шушукались. — Фокусник дед Егор, того гляди и на том свете начудит, вернётся...

По завету деда, с наступлением темноты волшебный ящик водрузили на стол в зале.

Дед забирался в него, и вылезал, и снова нырял в ящик, и опять назад «подымить», «по нужде», «по делу», «посмотреть», «походить», «попить и перекусить», «потанцевать»... раз тридцать, не меньше.

После танца с бабушкой — последний танец без музыки под мерцающие, пульсирующие огоньки — дед расчувствовался и решил не выбираться «до прихода», «точнее, ухода», «до перехода, ещё точнее» из ящика — сияющего, перемигивающегося всеми цветами, прямоугольного — «на гроб ведь совсем не похож» — монолита.

Попрощаться, несмотря на поздний час, пришли «по очереди только, внук за секретаря», все домашние и друзья с соседями, и пара-тройка просто хороших знакомых...

— Второй час ночи, и никто не спит, — негодовал, ворчал и довольно улыбался дед Егор. — Вот оно, вот, — взмывали жилистые руки вверх из светоящика — вот оно, счастье и жизнь! Вот! Смотри, внук, и не упускай из виду. Завтра мы пойдём по той самой дороге и обратно, ты вернёшься без меня по тем самым стрелкам... Вернёшься другим. Новым. Прозревшим!..

Я не буду смотреть на вас с неба и из-под земли смотреть на вас тоже не буду! И не спрашивай, садовая ты голова, откуда я буду смотреть, сам знать должен... Ты, главное, не забудь про волшебную кнопку... Смело жми её и разделяй...

— И разделяй? Ты хотел сказать «отделяй» или «залезай», «вылезай»? А, деда? Голос у Алёши дрожит...

Слёзы, а дед строго-настрого запретил их, выскользнули из глаз внука. Алёша смахнул их, Алёша выдохнул совсем не по-детски, Алёша сказал:

— Ну ты, дед, даёшь... Конечно, знаю! Ты будешь смотреть на нас из нас, из каждого из нас... Из меня и из бабушки, из мамы с папой и даже из кота Васьки будешь глядеть, следить, чтоб никто и ничто...

Всё случилось так, как и завещал дед, будто видел, Алёша зуб даст, чтобы так и было, дед всё предвидел, всё, вплоть до мелочей.

Проговорил с дедом до рассвета, под цветомузыку огоньков и аромат сирени, а с первым проблеском зари Алёша нажал на волшебную кнопку в волшебном ящике.

Яркая разделительная полоса горит и светится белым светом, и Алёша понимает, что спит, что сон, что заснул, и... Вовремя сдерживается, чтобы не закричать. Проснулся. Тихие голоса, движение... Алёша выдохнул. Догадался, что парит. Он летит...

Алёша не слышал, как искали его домашние по всему посёлку, не слышал, как мама сказала отцу:

— Пойдёмте без него, дед же предупреждал... Они так сдружились за эти дни, пусть побудет один, поплачет, он с дедом всю ночь провёл, зачем ему видеть, как его закопают... Навсегда...

Повернул голову направо Алёша к двум светлым точкам, прижал к отверстиям глаза, и вот она — дорога, и разделительная полоса под ним, её он не видит, чувствует.

Мир его детства отсюда смотрится совсем иначе. По-другому.

По-взрослому?..

По завету деда. А его от бабушки отделяет всего лишь лист ДВП, лист, скрывающий в волшебном ящике второе дно. Внук прокатится с ним до последнего. Когда три горсти упадут на крышку ящика, Алёша снова нажмёт волшебную кнопку, и вуаля...

Вот они пролетели рядом со старой, времён СССР, но хорошо сохранившейся, каменно-бетонной, автобусной остановкой.

— Страны нет, автобусы сто лет как не ходят, а дело рук человеческих живёт, стоит, и век ещё стоять будет! — обязательно бы проворчал дед, как делал всегда, попадись остановка ему на глаза, или заговори кто про автобус, или что наподобие...

Улыбнулся внук, отвёл взгляд от отверстий, что просверлили с бабушкой каких-то двенадцать часов назад, и вместо темноты над собой увидел свет, в точности как свет разделительной полосы из сна:

— Только полоса эта совсем не разделительная никакая, а соединительная полоса! — прошептал в эту яркость прозрения внук. — Я вижу это, слышишь, дед? Соединительная полоса и дорога...

Ты же тоже это видишь, дед? Ведь видишь?

И тихонечко постучал по шершавому листу второго дна, постучал тому, кто над ним в ящике, совсем, совсем рядом, чуть выше... Постучал, в полной уверенности, что услышит стук в ответ.

Как и договаривались...

20 июня — 20 июля 2022 года

Бердск, Обское море, санаторий «Крона»

Первая литературная резиденция АСПИ в СФО

Владимир Панкратов

Лёша Козихин

Рассказ

Вот он я, думал Лёша Козихин, смотря на себя со стороны, опять иду домой по этому пути, хотя сколько раз уже хотел пойти другой дорогой, через бульвар, но всегда вспоминаю об этом, когда уже не свернёшь, где-то на середине, когда прохожу мимо голубятни, синие деревянные стены которой сплошь обиты игрушками. Выглядит нелепо, будто мусорный контейнер перевернулся, но в голубятне есть голуби, более того, она обнесена сеткой-рабицей, как-то подошёл поближе рассмотреть, что там навешано, и кроме старых кукол, часов, машинок, водяных пистолетов увидел на стене фотографии в раме за стеклом, разделочную доску, лопасти от вентилятора, — такой музей невинности, вывернутый наружу. И сколько раз я думал, что про неведомого хозяина голубятни было бы интересно написать рассказ: вот он, простой человек, который, наверное, проработал всю жизнь на одном заводе, инженером или конструктором, а сейчас на пенсии, обил дома балкон вагонкой и устроил там мастерскую, а ещё починил старую голубятню, купил голубей и сделал им дом-терем, все соседи знают, что он собирает ненужные предметы, и несут ему, а он пристраивает их на синюю стену. Но так же, как и с моей дорогой домой, мысль про хозяина голубятни приходит в голову только когда я вижу и вновь удивляюсь странной постройке. Когда же я думаю не о том, что вижу вокруг, а о том, про что написать рассказ, выдуманный пенсионер редко кажется мне подходящим на роль главного героя. Где я, а где этот пенсионер. И кто ж тогда напишет про меня? Хочется и правда написать что-то про условного себя, про человека своего возраста, которого я лучше всего знаю и понимаю, про старикана ещё успеется. Но лучшее, что пока придумывается про себя — это как я иду в сотый раз мимо голубятни и думаю, что про неё написать было бы гораздо интереснее, чем про меня.

Лёша Козихин сидел в подвальном зале галереи, название которой он постоянно забывал, и смотрел на пенсионера с густыми усами разных цветов: сверху просто

Владимир Панкратов — журналист, редактор. Родился в Ташкенте в 1990 году. Учился в Ташкентском государственном техническом и Московском городском педагогическом университетах. Писал книжные рецензии для портала «Горький», Esquire и других изданий. Создал литературную премию для молодых авторов ФИКШН35. Победитель премии для книжных блогеров «Блог-пост». Рассказы и статьи печатались в журналах «Волга», «Знамя». В «Дружбе народов» публикуется впервые.

русые, книзу тёмно-коричневые, как будто прокуренные, а ещё слева и справа пятнышки поседевших волос. Это было похоже на кусочек кошки. Его звали Андрей Петрович или как-то так, Лёша не помнил. Дальше он перевёл глаза на Леру Козлову. Её имя он знал, потому что иногда спал с ней. У неё такие шикарные волосы, зачем она собирает их в пучок, думал он порой. Но вслух не говорил, потому что не понимал: это похоже на комплимент или наоборот. Лера была стопроцентным воплощением того типажа внешности, который ему нравился, но, конечно, они не совпадали во всём остальном (это, *конечно*, с иронией, добавлял в мыслях сам Лёша).

Рядом с ней сидел паренёк, известный среди собравшихся тем, что был пожарным. Все как-то не уставали говорить при случае, дескать, у нас даже пожарный есть (его называли пожарник). Лёша же не переставал удивляться, как жизнь придумывает людей, гораздо более похожих на выдуманных, чем герои любой выдуманной истории, — или, наоборот, не боится делать их настолько грубо выдуманными. Пожарный был очень молодой и красивый, с идеально ровными зубами, говорили, что он ведёт довольно популярный тик-ток. Голову его венчала роскошная шевелюра с густыми локонами до плеч, будто сюда поместили кусочек писателя Сорокина. Как хорошо, что он именно пожарный, думал Лёша, а не кто-то вроде программиста, тогда в этом персонаже было бы мало интересного. Программистом был сам Лёша, и вот себя-то он, как все нормальные люди, считал как раз совершенно неинтересным, даже скучным. Эту свою скучность он искренне считал чем-то само собой разумеющимся и был по этому поводу как-то даже отталкивающе спокоен. Не то чтобы он смирился и принял себя — скорее, всегда и воспринимал это как факт, как две ноги, две руки. Другие чаще неодобрительно принимали это за отсутствие амбиций; Лера говорила, что он не верит в себя и почему-то не смотрит на себя со стороны; Лёша только хмурил лоб.

Рядом с пожарным сидела... «Начнём, наверное?» — спросил пенсионер с усами.

Лёша Козихин постоянно забывал название этой галереи. Она уже закрылась, но они сидели в тёмном подвальном зале, где тоже проходили выставки и на стенах сейчас висели чьи-то огромные фотографии чьих-то тел. Только в центре зала горела пара лампочек, скудно освещая лакированный столик со сладостями. Оказываясь перед этим столом, Лёша всякий раз вспоминал, что надо бы тоже что-нибудь с собой брать. Скоро на меня станут косо смотреть, думал он, что я не приношу печеньки.

«Начнём, наверное?» — спросил пенсионер с усами. Он здесь как бы предводитель; усы у него были очень густые, выжженные, прокуренные. Раз в месяц тут собирались разные люди, распивали бесконечный чай и обсуждали рассказы друг друга.

Начать было решено с пожарного Кости, чью фамилию Лёша никак не мог запомнить (она у него была такая интересная, вычурная). Про рассказ, написанный пожарным, первой взялась говорить Лера Козлова. Её фамилию Лёша как раз помнил.

Такие шикарные волосы, зачем она собирает их в пучок, думал он сейчас. Вместо того, чтобы смахивать на ведьму, она предпочитает быть похожей на ведущую новостей.

Они чаще встречались у неё, чем у него. Ему было тридцать лет, а спал он на одноместной кровати, чем сильно удивил Леру в их первый раз (он называл кровать «полуподкой», как бы доказывая, что она на самом деле больше, чем про неё думают). Лера не видела здесь ничего смешного, и ночевали они у неё, даже несмотря на то, что она снимала комнату, а он квартиру.

Иногда, лёжа в сине-фиолетовом свете её белой икеевской комнаты, он мог сказать что-то вроде: почему, дескать, в этой их компашке все пишут только про себя, разве не интереснее выдумывать героя с нуля, почему бы не заставить читателя пережить более неординарный опыт, чем переживает он каждый день. Сочинения ведь интереснее изложений.

Лера отвечала на такое, что героев, выдуманных с нуля, не бывает, и даже у Лёши. И про себя он не пишет не потому, что не хочет, а потому, что стесняется. Или потому, что думает (вот уж затёртый стереотип), что про себя ему написать нечего. В целом же всё это разговоры ни о чём — пусть каждый пишет о чём хочет. А ему вообще больше нравится рассуждать, чем создавать, ему бы быть каким-нибудь искусствоведам, а не автором.

Понятно, что ни о чём, думал Лёша, но интересно же узнать, что думают про это другие. И потом, разве это не самое занятное — порассуждать ни о чём. А автором он себя и так не считал (в отличие от Леры; она относилась к этому серьёзнее, отправляла тексты на конкурсы, ездила на семинары). Для него писательство или, как он сам это называл, *писанина*, было просто хобби. Он катается на лыжах, собирает чёрные трассы, и что он, лыжник, что ли? Неплохо разбирается в рок-музыке, может угадывать альбомы Big Thief, Interpol или The National по первым секундам их песен. Играет в компьютерные игры, когда-то выигрывал чемпионаты с командой однокурсников. И вот — придумывает истории. Не больше. Ему нравится, когда герои совершенно обыденны и в то же время могут чем-то удивить. Хоть какая-то зацепка, хоть что-то необычное. А сам он что? Лыжи. Музыка. Компьютерные игры. Прост, как серые семейники.

Лера не убеждала его в обратном. Ей не нравились мужчины, которых надо было убеждать, что они в чём-то хороши. Она всегда была готова поддержать — но не уговаривать. Грош цена такой твоей поддержке, говорила ей её подруга Лена Стопмашина.

Хотя вообще-то у Леры были некоторые слова для Лёши. Вот он программист, а кем был раньше? Машинистом метро. Кто бы догадался. Ещё он «эксперт по волосам», как его называли в этой их компашке: кажется, он мог составить каталог всех возможных у человека лысин и залысин, степеней волнистости волос и их жёсткости, причёсок и париков, волосатости рук, коленок, промежностей и других частей тела. А главное, у него была какая-то странная чуйка на людей, предметы и явления из ряда вон выходящие, при этом, когда он их встречал в реальности, то выдумывал про них истории и всегда, абсолютно всегда — угадывал правду. Полный интроверт, в таких случаях он шёл на контакт с незнакомцем, лишь бы проверить свою версию, и постоянно оказывался прав.

Всё это Лера порой хотела ему сказать — но не говорила.

Лёша считал, что с Лерой ему повезло. Если говорить о внешности, она была стопроцентным воплощением того типажа, который ему нравился, — но, конечно, они не совпадали во всём остальном; это *конечно* с иронией добавлял в мыслях сам Лёша. Впрочем, разный юмор и слишком серьёзное ко всему отношение (с её стороны) не мешали им говорить о фильмах и книгах (и никогда ни в чём не соглашались). Кто-то из их писательского кружка — лучше пусть будет подвального кружка — сказал, что Лера смотрит и читает всё подряд «в хорошем смысле слова». То есть не потому, что вкуса нет, — просто так она *собирает* свою насмотренность, расширяет представления об инструментах нарратива... Лёше такой подход казался странным, зато с ней он мог обсудить «Фантазии Фарятьева» Авербаха или «Шультес»

Бакурадзе — с кем ещё он это сделает? Что будет, когда она встретит *настоящего* парня, он думать не хотел. Как и о том, почему она с ним общается и иногда спит.

На сегодняшнее обсуждение Лёша отправил рассказ про левую лестницу.

Раз в месяц небольшая группа людей собиралась на нижнем, подвальном этаже маленькой галереи, уже после её закрытия, чтобы до ночи распивать бесконечный чай и обсуждать рассказы друг друга. Лера Козлова была завсегдатаем, она не пропустила ни одной встречи и помнила все сюжеты, которые здесь когда-либо обсуждали. Ещё она больше всех смотрела фильмов и читала книг и, наверное, поэтому в своих оценках была всегда самой строгой. Тебе бы быть каким-нибудь критиком или искусствоведам, а не автором, говорила ей её подруга Лена, которая тоже сюда ходила, — видно же, что тебе чужое разбирать интереснее, чем делать своё. Леру такие слова обижали, но она этого не показывала.

Дошла очередь до Лёшиного рассказа, Лера постоянно забывала его фамилию: то ли Козицын, то ли Козихин. Лёша был похож... а впрочем, поздно описывать Лёшину внешность, вы всё равно уже представили себе своего Лёшу, и от этого образа теперь не отойти; точнее, вы представили какого-то друга-знакомо-го или просто известного вам человека, и вот он теперь для вас и будет Лёша до самого конца. Лёша действительно был таким, каким вы его представили, — и Лере он такой очень нравился.

Да, рассказ про две лестницы. Находятся они в метро, совершенно одинаковые, расположены рядышком и обе ведут на спуск. Но повёрнуты они к человеческому потоку так, что ближе оказывается правая; а по левой никто не ходит. Ступеньки на правой за много лет поистерлись и стали матовыми, на каждой из них ближе к середине появились еле заметные углубления, деревянные перила округлились по краям. На левой лестнице ступени темнее, а перила ярче; редко, очень редко кто-нибудь по ней пройдёт. От этого левая лестница грустит. Лестницы и эскалаторы, автомобили и гаражи, мосты и дороги, здания, фонари, качели — всё, что придумано и создано человеком, чахнет и хиреет без использования. Оно не мыслит себя без взаимодействия с создателем, как одомашненная собака не представляет жизни без хозяина. Лучше поистерпаться и состариться под миллионом человеческих ног, чем остаться никому не нужным, как сирота. Левая лестница тоже хочет, чтобы по ней ходили и бегали, чтобы на её перила опирались, чтобы на ней просто стояли и разговаривали. Она обладает некоторым сознанием, которое позволяет ей видеть соседнюю лестницу и толпы пассажиров. Она откуда-то понимает, что тоже создана для этих людей, и грустит, что почти никто не идёт к ней. Но её сознания не хватает, чтобы понять, *почему* люди идут по другой стороне, она воспринимает это как должное, как слепое с рождения животное не знает, что бывает зрячая жизнь. Она не понимает, что люди не ходят по ней из-за ошибки этих же людей в проектировании, из-за того, что её построили на неудобном месте под неудобным углом. И она терпеливо и неумолимо ждёт, что что-то поменяется.

Лёша всегда придумывал что-то подобное, будто реальные живые люди были ему неинтересны. Нет, про людей он тоже много писал, но про каких-то странных, которых Лера никогда не встречала в жизни. Каждый раз он присылал тексты про всё более и более вычурных героев, словно брал себя на слабо; вот уже и до лестницы дошёл. Хотя, по правде сказать — в этом было сложно признаваться, — только его рассказы она открывала на почте с настоящим интересом. Жаль, что с его умением

видеть детали он ничего не пишет про обычных, ничем не приметных горожан, думала Лера. Жаль, что такого умения нет у неё.

Синий терем в полутьме становился болотным и растворялся среди деревьев. Только игрушки на его стенах еле-еле излучали серый свет. Казалось, они незаметно двигаются. В тереме жили голуби.

Лёша Козихин наконец добрёл до него и встал как вкопанный, будто пойманный серебристым излучением. Шумели сверчки. Голуби спали. Копшение предметов на стене прекращалось, как только Лёша пытался выхватить взглядом любой из них.

Кто охранял этот дом? Человек с седыми волосами? С большим животом? Мастер на все руки. Здесь, под голубями, он прятал свои игрушки, думал Лёша. Валики. Садовые ножницы. Фанера. Удочки. Пила. Оконные рамы. Пластиковые бутылки с чем-то жидким. Разобранный вентилятор. Спицы от велосипеда. Пластмассовый таз.

Низкий потолок. Лампочка на скрюченном шнуре. Бетонный пол. Железная зелёная дверца в полу. Накрыта ковриком. Квадратная. С ручкой, скрывающейся в самой дверце. Под ней лестница вниз. Металлическая, узкая. Погреб с полками. Банки. Компоты, варенья. Огурцы, помидоры. Ещё одна дверь, теперь в стене. Металлическая. Толстая. За ней совсем маленькое помещение. В ней одноместная кровать. На кровати женщина. Рука привязана к столбу. Спит.

Дверь голубятни начала отворяться, вызвав едва заметное движение воздуха в плотной темноте. Лёша вышел из ступора, но удержался на месте, стараясь не двигаться. Из чёрной дыры выкатывалось белое пятно. Большой человек. В белой майке. Натянутой на животе. В растянутых трениках. Лица было не разобрать. Только отражали слабый свет белые волосы.

Алексей Иванов

Иисусова молитва, или Старая бомжиха с рыжим котом на поводке

Рассказ

В этот момент Вера П. вдруг поняла, что пить больше нельзя. Момент был совершенно неподходящий: на последние копейки купила бутылку и зашла за старинную ограду в садик. Было тихо, тепло, пахло свежим ремонтом, сырой землёй и уборной. Скамейка, на которой она расположилась, стояла напротив полукруглой церковной стены со следами ремонта. В стене узкая дверь с маленькой иконой над нею. Работяги-ремонтники натоптали меловые следы. Самое место опохмелиться. Тем более что в местной «Пятёрочке» смахнула банку пива. Вера сунула руку в сумку, ощутила холодный, гладкий баночный бок, но услышала шаги, стрельнула взглядом в ту сторону, — из жёлтого домика с двумя дверями и буквами «м» и «ж» вышел высокий мужчина в рясе и камилавке. Поп.

Вера пошебуришила рукой в сумке, вроде поискала что-то, стараясь не встретиться взглядом с попом. Сейчас выгонит. А здесь так хорошо. На солнышке.

Шаги по песчаной дорожке стихли.

— Не будете возражать, матушка, если присяду рядом?

Вера пожала плечами.

Священник сел на скамейку, сдвинувшись к краю. Вера почти сразу почувствовала сладковатый, приторный запах ладана, свечей, мёда. «От меня-то, поди, псиной воняет!» — подумалось неожиданно. Неожиданно, потому что уже месяц, как не больше, во всё время запоя, ни разу не умылась. Да и в голову это не приходило, хотя обе соседки по коммуналке, Роза с Любкой, при каждом скандале кляли её «воровкой и грязнулей». Ну и матом, конечно. Вера отвечала с удовольствием, тут она могла с ними соревноваться. Не то что в супах или пирожках, которые, грешным делом, подворовывала. А чем питаться в запое? Не готовить же самой. Или помирать с голоду? На одном портвейне долго не протянешь. Уж лучше послушать этих куриц да подразнить лишний раз.

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор трёх романов (в том числе «Опыт № 1918», — М., ArsisBooks, 2019 — опубликованного в «ДН» в 2017 г., №№ 5, 6, 7), нескольких книг повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 12.

— Благодать какая! — вздохнул священник. — Весна! И всякая тварь Божья весну-то чувствует. И земля сама, и травка простенькая, и шмель весну знает! — он тихонько засмеялся. — Шмель прилетел, — сказал он, обращаясь к Вере, — верно, на медовый запах. Ну-ка, лети отсюда, поищи медку в другом месте! — он дунул на шмеля, и тот, ворчливо гуднув, улетел.

Вера, не поднимая головы, видела только его белые старческие руки, не привыкшие к работе. В одной он держал чётки и медленно перебирал чёрные матовые зёрна.

— Зачем вам чётки? — вдруг спросила Вера.

Чётки преследовали её. Кажется, впервые увидела их на руке старика, приходившего в их детский дом. Последние чётки носил её Мишенька. «Зачем тебе они?» — спросила она как-то. Когда они познакомились. Мишенька только начинал колотиться и всё отговаривал её, не давая ей дозу. На герыч её посадил бомж с Курского вокзала по кличке Моряк. Хотя, конечно, никаким моряком не был. Мишенька отдал ей чётки перед тем, как прыгнуть из окна. «Возьми и храни!» — кажется, так он сказал. И исчез в проёме. Она бросилась вниз по лестнице, а когда поднялась на последний, девятый, этаж, после того как, Мишеньку увезла не «скорая», а труповозка, вспомнила о чётках, но тонкая ниточка оборвалась. Вера не помнила где. Нашла только два зёрнышка от них. Да и то потом потеряла.

— Чётки вручаются при монашеском постриге, — ответил старик.

— Вы монах? — спросила Вера, по-прежнему не поднимая глаз.

— Да, по Божьей милости.

— Зачем?

— Кто-то должен служить Богу, — сказал он после секундного раздумья. — Его молят и просят все, а кто-то должен и служить.

— А что значит «служить» Ему? — она, наконец, взглянула на собеседника.

Тот улыбнулся:

— Если бы я знал, был бы великим просветителем, — он задумался, глядя куда-то чуть выше двери. Она тоже стала смотреть туда, но ничего, кроме чисто выбеленной стены, там не было. — Или святым. Они знали. Во всяком, случае думали, что знают.

Из двери, прихрамывая, уточкой, вышла нестарая женщина с ведром и современной шваброй-отжималкой наперевес.

— Ой, вы здесь, батюшка! — обрадовалась женщина. — А вас ищут, — и понизила голос, — к исповеди собрались, ждут!

Он кивнул.

— И это... — покосилась на Веру. — В трапезной вчера опять тараканов видели. Надо бы морилку какую от них купить.

— Есть такой спрей, — живо отозвался батюшка, — «Раптор» называется! — он поднялся со скамейки.

— Дорогие они все! — женщина оглянулась, из двери храма выглянула старушка в белом платочке.

— Батюшка, ждут! К исповеди!

Священник пошёл было к двери, сразу стало видно, какого он большущего роста. У самых ступенек оглянулся.

— Вам, мне кажется, — он, ласково улыбаясь, смотрел на Веру, — тоже поисповедоваться надо бы. Давно на исповеди были?

— Никогда! — почему-то с вызовом сказала Вера.

— А крещение принимали?

— Да, — это Вера помнила хорошо. Нянька из детского дома потихоньку водила девочек в храм — «покрестить».

— Пойдёмте! — он поднялся на ступеньку и стоял, открыв дверь.

Вера послушно, будто давнишняя нянька вела её за руку, пошла за ним.

— Вам вон туда, в ту дверь, — сказал священник. — И подходите ко мне первой, не ждите в очереди, — он стоял у полуоткрытой дверцы в таинственную глубину. — Иисусову молитву помните? — И не дожидаясь ответа: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости мя грешного!» Повторяйте много раз!

— Сколько?

— Сколько сможете!

Храм внутри оказался неожиданно высоким. И темноватым после весеннего солнца на улице. Пахло ладаном, сгоревшими свечами. Недалеко от ступенек к иконостасу стояла небольшая очередь. Вера поняла: на исповедь. Пристроила сумку возле арки, на боковине которой висела икона, огляделась и, словно подсказал кто-то, вытащила из-за пазухи мятый платок. Прикрыть голову. Очередь стояла молча, кое-кто, шевеля губами, читал тонюсенькие книжки.

«Господи Иисусе Христе... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...» — священник всё не появлялся.

Вынесли ящик-подставку, накрыли покрывальцем, сбоку, опережая очередь, подошли четыре женщины и мужчина. Хор, — поняла Вера, разглядев в руках первой женщины папку с нотами.

Священник в золотом облачении казался ещё выше, строже. Не похож на того старика, что сидел с нею на скамейке. Но это был он. Священник взглянул издалека, поднял толстую книгу в золотом переплёте и перекрестил ею стоявших в храме.

«Подойдите!» — жестом пригласил Веру и уложил книгу и крест на подставку. Вера оглянулась на сумку — брать-не брать — и почему-то не двинулась с места. «Господи Иисусе Христе...» — в который раз прокрутилось в голове...

Священник удивлённо оглянулся, снова жестом позвал.

Теперь все посмотрели в её сторону. Надо идти. Ноги странно ослабли и словно прилипли к полу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...»

— Иди, иди к аналою, — подтолкнула старушка, стоявшая рядом.

— Как зовут тебя?

— Вера!

— Какое хорошее имя! Расскажи о себе, — он, опершись на аналой, сложился едва ли не пополам, говорил чуть слышным шёпотом. — Не молчи, дай душе выговориться!

Вера почувствовала вдруг, как из глаз побежали слёзы. Она испугалась — не плакала с похорон Мишеньки. Да и тогда слёзы только навернулись на глаза. А сейчас лились.

— Пьёшь давно? — спросил старик.

— Давно.

— Колешься?

— Сейчас нет...

Он стоял, чуть ли не привалившись грудью к аналою, склонив к ней голову. Она чувствовала сиплое, старческое дыхание. Со стороны казалось, будто они срослись головами. Через полчаса, когда очередь на исповедь устала проявлять

нетерпение, регентша вызвала второго, молодого священника с бойкими карими глазами. Тот вышел, дожёвывая что-то на ходу и стараясь скрыть это.

— А что отец Александр? — молодой священник подставил регентше ухо. — Плачет? — и выразительно поиграл бровями. Давая понять, что и ему непонятны причуды старика. Регентша в ответ пожала плечами.

— Много, много грехов набралось, матушка, — шептал священник, по-детски утирая слёзы рукой. — Тяжкие грехи, как душа твоя жива ещё. А самый тяжкий — грех отчаяния. Как я могу отпустить его? И не отпустить не могу... Обещай неделю ходить ко мне на исповедь. Обещаешь?

— Нет!

— Почему?

— У меня сердце разорвётся...

— Видишь, как бесы-то поселились в твоём сердечке! — он вздохнул и с тихим стоном выпрямился. — Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью и щедротами Своего человеколюбия да простит ти чадо Вера, и аз недостойный иерей, Его властью мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! — старик всё ещё опирался одной рукой на аналой. — Поцелуй крест и святое Евангелие, — и истово перекрестил её. — А Иисусову молитву читай, читай всё время!

У выхода она оглянулась. Старик мелко крестил её и смотрел вслед, подслеповато шурясь. У старинных ворот церковного садика сидела старая бомжиха с рыжим котом на поводке. Вера остановилась возле неё, та мигнула, мол, иди-иди, от своих не берём. Бомжи, как и бывшие эки, узнают своих в любом наряде. Вера подумала, приостановившись на секунду, достала бутылку и сунула старухе. У той чуть не вывалилась челюсть от удивления. Вера, чувствуя какую-то особую лёгкость, вытащила и банку с пивом, окончательно смутив бомжиху.

Две недели Вера П. словно летала. Соседки, Роза с Любкой, не узнавали её, а ответственная за квартиру старуха Хая Гишевна просто называла ангелом. Вера ангелом себя и чувствовала. И вокруг что-то изменилось. Пришёл перевод из издательства, про который давным-давно забыла. Денежки, пусть чепуховые, оказались к месту: как раз свалились на голову квартирные счета, старые долги.

А потом страшная огромная луна стала всю ночь смотреть в окно. Прямо в глаза. Вера переложила подушку и легла задом наперёд, чтобы не видеть её, но луна отражалась в лаковой двери шкафа, отблеск её виделся в косо висящем зеркале и даже на вымытом и сдуру натёртом полу. И стал приходить Мишенька. Сначала почти незаметно, будто подглядывал из-за стекла, а после совсем зримо: красно-жёлтая рожа луны вдруг принималась корчиться от небесной судороги, — и появлялся Мишенька. Но не тот, что был перед самым концом, а маленький, каким его и не видела, с детских фотографий: красивый мальчик, аккуратно стриженный и причёсанный на косой пробор. Каждый раз спрашивал: ты жива? И ждал ответа. Она понимала, что если ответит «да», сразу спросит: «А для чего ты живёшь? Зачем?» И начиналась свистопляска: мешалась в голове Хая Гишевна с издательской редакторшей, Мишенькины друзья и знакомые, исчезнувшие бесследно ещё при его жизни.

По ночам, в неверном лунном свете все набивались в комнату: «Зачем живёшь? Зачем тянешь волынку? Ведь жизни-то нет! Это ж видимость! Люди играют в жизнь. Ты посмотри, оглянись, протри глаза! Одни прикидываются поэтами — ты им знаешь цену, другие ломают ваньку друг перед другом, тащатся в театр, смотрят белиберду, которую стряпают другие жулики, важно обсуждают её после, а третьи просто сопят,

как сурки и размножаются... Не думают, зачем живут, но всё равно играют то в продавиц, то в кандидаток медицинских наук в очках за триста долларов, то в потаскух у трёх вокзалов. Только и делают, что переодеваются, чтобы сыграть перед другими! А ты кто? Для чего смотришь на себя в зеркало? Кого видишь? Ах, не смотришь? Врё-ёшь! Боишься, как Миша, честно, с девятого этажа?» И по старинному зеркалу, притащенному когда-то с помойки, шли судороги. Особенно перед тем, как там появлялись странные тени. Тени выдавали себя за тех, кто когда-то смотрелся в зеркало.

Поначалу помогала Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...» Но лунная нечисть быстро к ней привыкла. «Посмотри на клоунов-священников! На постные лица, изображающие иконописную святость, смотри внимательно! Веришь им? Веришь? Смотри, как они лоснятся, на откормленные щёчки, животы, что уже и не пытаются скрыть под золотыми епитрахиями! А смазливые мальчишки со скромными рожищами!»

Страшно было, что время от времени нечисть говорила разными Мишенькиными голосами. Она помнила его студентиком с кожаной папочкой под мышкой, точнее, не его, а голос, помнила, как подсел на бульваре, спросил зажигалку, чтобы закурить, и, глядя сквозь огонёк зажигалки, спросил: «Как тебя зовут?» Сразу на ты, будто знал, чувствовал свою власть.

Приходила и старая бомжиха с рыжим котом. Сначала явился кот. Рыжая луна превратилась в его рожу. Рожа растягивалась, кривлялась в кривом зеркале и не исчезала, в отличие от зеркальных теней. Те, если их перекрестить под Иисусову молитву, на время скукоживались, затихали, как Хая Гиршевна, если покрыть её матом. А после кота повадилась и старуха. Тогда, уходя от церкви, от старика-священника, Вера оглянулась, — старуха грозила ей вслед кулаком. «Старая б...!» — но удержалась, видно, молитва, навязанная на язык священником, не позволила.

Бомжиха и сказала: «Что не идёшь к священнику, обещала приходить на исповедь каждый день! Иди, быстро!» — И тоже корчилась, как от хохота вместе со своим котом на поводке. Прочитала мысли, старая ведьма!

А идти в церковь не получалось. Не несли ноги. По пуду на каждой. Не сдвинуть. Вчера летала, носилась, как в тринадцать лет, когда влюбились впервые. А тут — только подумаешь о старике — по пуду. И не сдвинуть. И опять же поначалу, когда только решишься идти, помогала молитва. Но с каждым шагом уменьшалась её сила, убывала. Несколько шагов — и всё.

В один из дней удалось замешаться в жиденькую праздничную толпу возле храма. Войти со всеми было легче. Священник увидел её и снова позвал жестом на исповедь. Прежде всех. Вера не помнила, что говорила тогда. Так, отрывки. Что трудно идти в храм, ноги не несут. «Бесы идти не дают. Пути на ноги накидывают. Это как идти на крутую гору, — сипло, с одышкой, словно сам шёл в гору, сказал старик. — Трудно, ноги не идут, но надо. Хоть ползти. Не оглядываясь. Смотреть с молитвою Иисусовой только вверх, в небо, не оглядываясь».

Ночью выйдешь на улицу — на юге, низко над горизонтом ярчайшая звезда созвездия Девы, Спика. Бело-голубая. Мишенька учил находить её. И светит, не мигая. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...» — светит, не мигая. Будто забыли выключить.

Вдобавок на Бульваре зацвёл жасмин. Мишенька смеялся: «Не жасмин, а чубушник!» Всё равно жасмин. Сладко пахнет. Ночью, когда перестают гонять машины, слышно, как опадают его тяжёлые лепестки. Ночью легче дойти до храма. Он стоит, осевший в землю, придавленный временем, склонивши на бок главный

купол. На кресте блик, дальний отблеск звезды. Тут не помогает и молитва. Ноги не несут. Круг очерчен. За — нельзя. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий...» Кончается сила молитвы, помоги мне! Не молчи, дай знать, что Ты есть, дай поверить в Тебя! Почему по ночам является нечисть? Прошу, помоги, дай увидеть Тебя! Буду служить Тебе, только объявись, избавь от ночных мразей!

В ближайшем магазине узбек со смешным для русского уха именем Насреддин потихоньку отгёр её в угол и задышал жарко.

— Выпит дам, закусит дам! — и чуть не затолкал её в дверцу между полок. Из-за дверцы высовывались швабры и мятые, грязные коробки из-под фруктов.

Она машинально взяла первую попавшуюся бутылку и грохнула его по голове. На счастье, Насреддин был в тюбетейке. Удар пришёлся вскользь, он только ахнул и осел на пол, порезав руки осколками. Прибежал его хозяин-узбек, что-то кричал, пинал ногами осколки, велел Вере заплатить за вино. Чтобы избежать скандала. И что-то сломалось в ней. Медленно взяла ещё бутылку и пошла навстречу хозяину.

— Я сейчас заплачу, козёл!

Тот не стал дожидаться платы, юркнул в каморку с тряпьем.

— Заплатишь, заплатишь! — почему-то с ударением на последнем слоге кричал он оттуда.

Насреддин сидел на полу, бессмысленно скребя окровавленными руками. Пришлось растолкать любопытных и выйти из магазина. Уже подходя к дому, поняла, что несёт в руке бутылку коньяка и размахивает ею.

— Верочка, что с тобой, ты вся в крови! — встретила её ответственная Хая Гиршевна. И отступила, схватившись руками за лицо. Такого мата она не слышала никогда. Или, во всяком случае, давно.

Бутылка коньяка кончилась быстро. Быстрее, чем половина убывающей луны впёрлась в окно. Пришлось идти на улицу. Добавлять. И потом как-то прийти домой. На автомате. Зато без чертей в зеркале, без гнусных рож и злобно кривляющихся котов. А утром пошла в магазин за опохмелкой и специально прошла мимо храма. Легко! Никто не держал и не мешал. Нет этих сил, отступили!

В садике за старинной оградой у маленькой двери храма стоял молодой священник, жмурился от яркого солнца и торопливо докуривал сигарету. Держа её по-солдатски, в горсточке.

— Что надо? — окликнул он Веру. — Куда идёшь?

И узнал её. Курнул раз-другой, пригасил сигарету о каблук, поискал глазами, куда бросить окурочек, сунул в карман серой ношеной рясы.

— В отпуске отец Александр, за штат вывели! Иди отсюда с Богом! — и проследил, как она пошла к воротам. Сколько ещё будут ходить разные!

Вторая уже сегодня. Старуху с рыжим котом на поводке выставили уборщицы. Только котов и бомжей не хватало!

Молодой достал из кармана рясы сложенную вчетверо камилавку, встряхнул её, надел на голову и исчез в дверях храма.

Ирина Колесникова

Свидетельство о рождении

* * *

в доме чистили мандарины
стал игрушечным год большой
забираясь по серпантину
на макушку сосны живой
чтобы там незаметный глазу
ожидая бокалов звон
кто-то новый родился сразу
и все поняли, это он —
человек или год хороший
так на время своё не похожий

* * *

и жизнь, и смерть необъяснимы,
но тем и мучают меня,
когда по очереди мимо
мой дачный домик обходя,
они ещё не видят смысла
ворваться и пройти насквозь,
чтобы в назначенные числа
судьба, природа — всё сбылось

* * *

слово рваное ножевое
и закончился разговор
тянешь яблоко мне живое
и молчишь помню до сих пор
радость кислого примиренья
и сбежавшего червяка
мамин сад папин день рожденья
и дырявые облака

* * *

День задумчивый и грустный
хрустнет корочкой арбузной
и в копилку упадёт
на карманные расходы.
Бабушка приедет с дачи,
белых астр привезёт,
огурцов, кота, варенье,
трав сушёных от давленья
и остаток колбасы.
Встали в комнате часы,
и на улице темнеет,
будто человек болеет —
взрослый, маленький, какой?
Пахнет с улицы прохладой,
пахнет дымом и тоской,
и душе чего-то надо...
Лето стёрто, как помада,
с новой папиной рубашки
нервно маминой рукой.

* * *

когда наступал март
подруги моей брат
шёл с папой в цветочный
но это не точно
часа на четыре подряд

они покупали большие тюльпаны
мечтая уехать в заморские страны
и маму с сестрой посадив в жигули
по суздальской трассе влюблённо везли

и мне до них не было в общем-то дела
на счастье чужое я просто смотрела
машина исчезла но шапки мимоз
под окнами кто-то куда-то всё нёс

шёл праздник весны из квартиры в квартиру
и плакали мама вдвоём с тётей Ирой
опять не забили решающий гол
а папа решился и всё же ушёл

Мюд Мечев

Детство в Пуговичном переулке

Фрагмент повести

Об авторе и его книге

Мюд МЕЧЕВ (1929—2018) — российский художник-график, иллюстратор, пейзажист, Народный художник Российской Федерации. Наибольшую известность и признание ему принесли три цикла работ: иллюстрации к карело-финскому народному эпосу «Калевала» (первые подходы — в конце 40-х годов); более 400 гравюр к «Повести временных лет», созданные в 1975—1990 годах; иллюстрации к «Новому Завету», над которыми он пятнадцать лет работал с начала 1990-х. В 1993 году был награжден Иоанном-Павлом II серебряной медалью римского папификата «За гуманизм и достижения в искусстве». Работы Мюда Мечева хранятся в крупнейших музейных собраниях мира, в том числе в Третьяковской галерее, в собраниях Библиотеки Конгресса США и Ватиканской апостольской библиотеки.

Основанная на детских воспоминаниях художника повесть «Детство в Пуговичном переулке» датирована 1980—1991 годами. Впервые опубликована в московском издательстве «Волчок» в самом конце 2022 года.

Место действия — Москва, время действия — вторая половина 30-х годов XX века. Герой повести вместе с папой (художником), мамой (преподавателем), бабушкой (маминой мамой) и младшим братом живет в коммуналке в Хамовниках, учится в школе. Светлый мир, стоящий на взаимной любви, уважении к семейной истории, на революционных идеалах и непреложных принципах порядочности, рушится после ареста отца.

Как не просто выжить, но найти силы не сломаться, ведь отец, уходя навсегда, сказал: «Ты теперь главный мужчина в доме». И такой опорой для героя повести становятся слова любимой бабушки (папиной мамы). Завещание на все времена.

«Мой друг! Я полагаю, мы расстаемся навсегда... Возьми себя в руки и не плачь. Дело важное, и я хочу, чтобы ты запомнил мои слова на всю жизнь, ибо хотя то, что я хочу тебе сказать относится к вам всем, но почему-то моё сердце подсказывает, что я должна говорить это, глядя именно на тебя!

Мы живём в ужасное время! Но оно пройдет. И я верю, что ты увидишь иное время, и надеюсь, что и твой брат и твоя мама — тоже. Нам посланы большие

Мы благодарим издательство «Волчок» за предоставленную возможность познакомить читателей «ДН» с фрагментом повести Мюда Мечева «Детство в Пуговичном переулке».

испытания, и именно в это время легче всего будет разлюбить свою страну. Но создавали её многие, и твои деды и прадеды — также. Ты услышишь много слов о том, что ты должен любить свою родину, и тебе многие будут говорить: "Люби её — она самая свободная! Люби её — она самая счастливая!" И все это может быть справедливым или ошибочным. Но ты помни одно: Родина — не парламент, не банк с деньгами, не рай земной, хотя и так бывает, помни, что всем нам — она мать родная, и именно за это её люби. И другой родины у нас не будет, другой родины мы не получим. А будет ли она всем тем, что ей сулят, это будет зависеть и от нас, и от многого другого! И ещё. Помни, ты можешь быть бедным — это плохо, ты можешь быть глупым — это ещё хуже, ты можешь быть несчастливым — и это не лучше предыдущего, но если ты всю свою жизнь будешь помнить, что ты благороден и своей жизнью докажешь это, ты будешь — человек! Это мои последние вам и тебе слова...»

Сей бледный цвет не вдруг замечаем, ибо непригляден суть. Но сущее оному не отнимут ни ветер, ни светило небесное, ни губительная морозы зимняя, ниже самое время. Натуре недостает горечь им источаемую истребить, она — душа сего растения. А имя ему полынь суть — вечная горесть.

«Язык цветов». Сочинение шляхетного сухопутного кадетного корпуса воспитанника и кавалера русской службы виконта де-Севбо. 1793 года

Посвящается Оле

I

Осень. Облетели листья с деревьев, и за окнами комнаты серо, темно, пусто. Тихо в нашем переулке. Ведь мы живем не в центре, а на окраине, в Хамовниках. Дом наш большой, трехэтажный, из кирпича, и двор большой, огороженный со стороны улицы зеленым дощатым забором; у парадного нашего дома стоят скамейки, и на них восседают старухи, которые всё знают, а напротив дома — сараи. Наш район — старинный, до революции жили в нем, по словам бабушки Зинаиды, «порядочные люди», а теперь, по ее же словам, — «все кому не лень». И эти «кому не лень» населяют и наш дом, и дом напротив, и еще много других домов. Они шумные, крикливые, довольно грязные, вороватые, но все эти качества не мешают им заявлять при каждом удобном случае с гордостью о своем пролетарском происхождении... а стало быть, будущее принадлежит им, и они люди особые, и все это понимают и стараются с ними не связываться. В их квартирах целыми днями орало радио, на кухнях сушилось бельё и гудели примуса, и оттуда часто слышалась брань; и скандалы возникали то в одном, то в другом окне. По выходным они пели под гармонь песни, потом обедали, потом пили чай, потом — к вечеру — раздавались шум и крики, что-то падало и гремело, и зареванные женщины прибегали к нам звонить по телефону в милицию; появлялась милиция, и кого-то уводили...

Наш переулок называется Пуговичный, и если идти из нашего парадного входа, то попадешь в Лопухинский переулок, а если идти по нему дальше, то попадешь в Оболенский переулок, а оттуда уже видна усадьба Льва Толстого, которая стоит в Хамовническом переулке, и здесь же наша старинная церковь, а за ней — Хамовнический плац и Хамовнические казармы.

Я очень люблю наш район: он старинный, и домов много старинных, и названия — прелесть! Трубецкой переулок, Несвицкий, Божениновский, Чудовская улица, Крымский проезд!

Тихо в нашем Пуговичном переулке. Еще тише в наших двух комнатах в квартире на первом этаже. Мы жили как мыши: тихо-тихо говорили, тихо ходили, чуть слышно включали радио... Мы боялись. Мы боялись... Мы — это наша мама, бабушка Варвара Ивановна, брат и я. Мы жили в двух комнатах, а в третьей, за стенкой, жила наша соседка Дуся, и ее прозвище было Психичка, а наше — общее — Буржуи.

Мама наша нигде не работала — ее уволили, и целыми днями она или искала работу, или продавала вещи и книги, и мы все это держали в секрете, поэтому она по утрам всегда в одно и то же время уходила и приходила вечером, как будто с работы. Бабушка стряпала, шила и штопала, я ходил в школу, а брат сидел дома или гулял, он еще был маленький, и был глуп, и мог за столом спросить, например: «Мама, а когда придет папа?» Или: «А почему мы теперь не едим сливочное масло и не пьем молока?»

На что мама отвечала ему: «Масло и молоко вредны, а полезны толокно, черный хлеб...» «И суп из гороха?» — продолжал брат. «Да, и суп из гороха. А сейчас ешь и молчи».

А на то, когда придет папа, вообще не отвечала. Но он, конечно, дня через два забывал мамины слова и опять спрашивал то же самое или что-то похожее.

Бабушка Варвара Ивановна лицом мне всегда напоминала индейца, такое оно у нее было суровое, всё в морщинах. И она самая смелая из нас и самая молчаливая. Мама наша — красивая, но волосы совсем седые; и хотя одевается она красиво, но всем ясно, что никакой красивой одеждой бедность не скроешь, а я знал, что мы теперь — бедные, и очень страдал от этого, то есть не оттого, что бедные, — это-то не беда, это я понимал, — но оттого, что все нас презирали за это. Ведь мы были не просто бедные, мы были интеллигенты, мы были чистые, мы были «ученые», а по мнению нашего двора, позорнее этих сочетаний и быть ничего не могло. Бедняк должен быть грязен, рван, он должен ругаться, пить водку, петь песни, и, конечно, никаких, там, книг или картин у него не должно быть. Топчан с тюфяком, ну, стул, ну, стол, ну, корыто на стене, ну, чайник на столе. А то картин повесили, а самим жрать нечего! Но это, конечно, была самая безобидная причина всеобщего к нам презрения. Хотя... вот еще: наша мама говорила на «иностранном» языке, а моя бабушка — вторая моя бабушка, Зинаида — не только, в отличие от мамы, не скрывала этого, но и могла в магазине довольно громко обратиться ко мне по-французски, за что весь наш двор считал нас не только «буржуями», но еще и евреями, и это мне почему-то было обиднее всего. Я не думал, что это плохо, но очень уж они отвратительно ржали при этом.

Так мы и жили: тихо, бедно и всего боялись.

Но особенно нам было неприятно и нас все время пугало присутствие двух людей, которые почти все время стояли под нашими окнами у липы и делали вид, что отдыхают, беседуют и так просто... курят. Увидев их, мы с братом отходили от окна, но занавесок задвинуть не смели, мама не велела. «Пусть все знают, что нам скрывать нечего!» — заявила она однажды, глядя на человека в кепке, который стоял спиной к нашему окну и курил. «Не смейте задвигать занавесок! — сказала она. И добавила: — Мы — советские люди!»

И я уже тогда хотел умереть, так как страдал от такой жизни ужасно; и эти страдания становились еще ужаснее, когда я думал, что вся наша жизнь всегда и будет такая: то есть мы должны страдать, это наша доля, а все остальные — смеяться над нами и презирать нас. Хотя почти все от нас отвернулись и я понимал, что я барчук

и это позорно даже для меня, но в глубине души я также понимал, что и я, и вся наша семья не только не хуже всех остальных людей, но даже, может быть, и лучше: моя мама — профессор, моя бабушка Варвара Ивановна — революционерка, вторая бабушка...

Тут я несколько спотыкался в своих мыслях, потому что вторая бабушка, Зинаида, до революции была статской советницей и хотя и была виновата, что я барчук, а все мы буржуи, но я так любил эту бабушку, что, хотя мысленно и укорял ее происхождением, всякий раз, когда видел ее или думал о ней, понимал, что она — лучше всех! Как было ее не любить! Никакой работы она не боялась: шила, мыла, стирала, стряпала, умела топить печи, колоть дрова... была на турецкой войне, умела стрелять, ездить верхом, знала массу интересных вещей и вдобавок была умна и при этом весела! Да... еще один недостаток... Она молилась. Правда, по-французски, но — молилась. Где она теперь, ма гранд мер?! Вот кто бы объяснил мне, что происходит с нами, ведь я же не могу спросить об этом обо всем ни маму, ни бабушку. Ведь это ясно, стоит только посмотреть на их лица. Про брата и говорить нечего: мал и к тому же глуп как пробка, всем во дворе заявляет, что наш отец ушел, а потом вернется, а они ржут при этом до тех пор, пока он не начнет рыдать и бабушка не пошлет меня за ним, и хорошо, если еще мне удастся вернуться, не получив ни одного тумака! Тоже мне брат! Молчал бы! Ведь молчу же я. Молчит мама. Молчит бабушка. И на все это он и может только заявить: «Вот вырасту, тогда и замолчу!»

II

Так и идет время, и за всю эту осень произошли только два запоминающихся события, и оба они связаны с братом.

Однажды утром он обратил внимание на свою одежду и заявил, что... «более жить в этой одежде не желает!». После этих его слов за столом воцарилась тишина, и бабушка, и мама, и я — мы все смотрели на брата, а он, упоенный тем вниманием к нему, которое ощущал в эту минуту, повторил снова:

— Не желаю жить в этой одежде!

— Что ты выдумываешь? — спросила мама.

— Не выдумываю! Я одет как нищий... не модно! И у меня... — он всхлипнул, — нет радостей, необходимых ребенку!

— Замолчи... Вечером ты получишь новую одежду, — сказала мама, и губы ее задрожали.

Бабушка при этом стала смотреть в окно, а я пнул брата под столом так, что он тут же зарыдал, но мама, поднявшись из-за стола, ничего мне не сказала, а ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь, но все равно мы с бабушкой знали, что она ушла плакать; а брат этого ничего не понимал, так как был, как я уже говорил, глуп и, наревевшись, попросил у бабушки старые журналы, и она дала ему их. И я заметил, что он смотрит только журналы мод, и понял, что этот идиот выбирает себе фасон. А мама, одевшись и напудрившись, ушла из дома, как будто бы на работу, и я еще заметил, что после ее ухода на книжной полке вместо томов Мутера осталось свободное место, и бабушка сразу поставила туда свою шкатулку с шитьем, как будто бы это место нельзя было отдать мне для моего картонного замка, который стоит все время на полу возле батареи, и я все время боюсь, что на него кто-нибудь может наступить.

Вечером вернулась мама, и она была веселая. Брат, как всегда с ним бывает, когда он ожидает результатов своего вымогательства, был тих и даже как-то застенчиво деликатен. Прошел ужин. Брат молчал. Стемнело. Брат молчал, но губы его начали дрожать, и я тихо вошел в мамину комнату.

— Мама!

— Что?

— У него уже дрожат губы! Ты купила ему костюм?

— Да, а что?

— Дай его ему скорее. Он сейчас заревет!

— Боже! — воскликнула мама и бросилась к саквояжу, и вовремя, потому что, когда я вернулся в комнату, брат уже сидел прямо, неподвижно, а глаза его были налиты слезами.

— Сейчас придет, — сказал я ему.

На это он еще более широко открыл глаза и заревел. И тут же ему — ревущему — на колени мама положила серые в мелкую клеточку штаны, такую же курточку и вдобавок что-то вроде жокейского картуза! Словом, чудо! А он все продолжал реветь, и слезы капали на эту чудесную одежду.

— Перестань реветь, — сказал я ему, — ты испортишь костюм. Он и так уже весь закапан твоими слезами!

Брат замолчал, и бабушка, вытерев ему лицо, стала его одевать в этот костюм, а я подошел к дверям в коридор и прислушался, и по дыханию за дверями понял, что Дуся подслушивает.

— Отойди от дверей! — скомандовала мама, и мы с ней посмотрели на брата, а он, разряженный в пух и прах, смотрелся в зеркало. И я понял, что люблю его.

А потом мы стали готовиться ко сну, и брат долго ныл, чтобы ему дали спать в новом костюме и в жокейском картузе, и ныл, и ныл, я понял, что он мешает мне жить, и сказал ему: «Хочу, чтобы у тебя проснулась совесть!» «Нет у меня никакой совести», — ответил брат. А уgomонился он только после того, как ему было сказано, что костюм изменится и будет мятый выглядеть хуже старой одежды; на что брат заявил, что хуже его старой одежды быть ничего не может, а я с горечью ощутил снова, что мне-то уж теперь ждать обновления своего гардероба не придется, так как все досталось брату, и весь век, видимо, так и будет. И мы все легли, но прежде чем я уснул, я долго слышал сопение брата; а он все время ворочался — его костюм был положен на стуле рядом с ним, и он всё время его трогал.

Наутро стало ясно, что брат почти уgomонился и, возможно, примерно около месяца просить ничего не будет и все будет хорошо, но от удивительной глупости моего брата произошло ужасное событие. Он пожелал, как он сам сказал, «все время жить в этом костюме», и ему было разрешено в нем позавтракать... правда, без картуза. После завтрака ему было сказано, чтобы он снял костюм, но он выстонал его ношение до обеда — так кончилось его недолгое счастье с этим костюмом! И я, и даже бабушка Варвара Ивановна были поражены скоростью и неотвратимостью ужасающего рока.

Дело в том, что мой брат был не только глуп, он еще был ужасающе упрям, и я должен сказать, что именно это его качество и обеспечивало успех его вымогательских действий. Застегнув курточку косо и криво, он подошел к зеркалу, и через минуту мы с бабушкой уже слышали его рыдания. Вбежав в комнату, мы увидели, что он стоит перед зеркалом и горько рыдает, глядя в него на косо застегнутую курточку.

— Ко... коо... стюм... сло... сломался! — только и могли мы понять из его рыданий.

Бабушка расстегнула ему курточку, застегнула ее как положено, и он затих, но от зеркала не отходил, а сел перед ним на подушку, прямо на пол; делая вид, что играет, он любовался сам собой и даже произнес: «Какой я прекрасный человек!»

Я сел читать, а бабушка — штопать. За окном шел дождь, и в комнате было темно и тихо. И тут снова раздалось рыдания брата, так как он снова расстегнул курточку и снова криво ее застегнул. Бабушка опять ему все наладила, и у нас сделалась тишина. Я лег на сундук подремать, но перед тем как уснуть, услышал, как брат необычайно учтиво, ласково и умоляюще попросил у бабушки ножницы, и на вопрос «зачем?» ответил, что будет резать ими бумагу, и ушел на кухню, а я задремал.

Когда я открыл глаза, увидел брата, стоящего посередине комнаты, довольного и улыбающегося, в новом своем костюме с ножницами в одной руке и с... полый отрезанной курточки — в другой.

— Ну как? Хорошо? — гордо спросил он меня, а я смотрел на него во все глаза и себе не верил.

Я понял, что произошло: застегивая свою курточку, этот идиот никак не мог застегнуть ее правильно, а застегивал криво, и левая пола его курточки от этого получалась длиннее; вот он и выпросил у бабушки ножницы, пошел на кухню и там устранил «дефект» костюма, отрезав полу, которая была длиннее.

— Ты понимаешь, что ты наделал? — Я повернул его к зеркалу.

А бабушка уже расстегивала ему курточку, и, когда она застегнула ее правильно, отрезанная ужасная пола выпала из одной его руки на пол, а ножницы — из другой, и жуткая искромсанная новая курточка отразилась в зеркале; он так громко и горько зарыдал, что я испугался, что он умрет от этих рыданий. Бабушка молча сняла с него курточку, а он рыдал; потом штанишки, а он рыдал; потом она дала ему такого здорового шлепка по заднице, что я испугался, что она прикончит его, — бабушка Варвара Ивановна была очень сильная; но брат не умер ни от рыданий, ни от шлепка, а затих и был уложен с позором в нижнем белье на кровать, накрыт одеялом и так лежал, убитый горем, только изредка всхлипывая. Бабушка молча разложила его курточку на столе и стала прикладывать к ней отрезанную полу. Я догадался, что она будет ее пришивать, и мне понемногу стало как-то легче после всех этих ужасных событий, и тут брат позвал меня и спросил:

— Тебе не жалко меня?

— Конечно жалко!

— А мне — костюм... — и, не закончив фразу, он опять стал рыдать, но тихо, помня о шлепке.

— Не сердись на нее, — сказал я ему, — она сейчас пришьет полу.

— И он будет как новый?

— Ну... не совсем, но почти.

— И никто не заметит?

— Я думаю, что наша мама, во всяком случае, не заметит.

Тут он сказал:

— В своем горе я совсем забыл о счастливой жизни! Но теперь я сам буду жить счастливо и вам всё устрою! — и замолчал.

Последние его слова меня насторожили, и я спросил, что именно он нам устроит. И он прошептал мне на ухо: «Я вас всех озолочу!» Я остолбенел от этих слов, а он продолжал шептать... главное, по его словам, было узнать, действительно ли наша другая бабушка, Зинаида, статская советница, а дальше — дело простое: как только

выяснится, что это так, то, когда бабушка Зинаида придет, он попросит у нее несколько бриллиантов, и мы вместе с ним продадим их, и все будет хорошо! Я настолько обалдел от этого его проекта, что только и смог сказать, что прежде, чем их продать, надо иметь справку, откуда они. «Как ужасно! А я это не продумал! Но мы и это решим!» — уверенно сказал он.

И прежде чем уснуть, он успел вытянуть, пользуясь своим горем и моим к нему состраданием, обещание не только подарить ему котенка, но и упросить маму и бабушку разрешить ему оставить этого котенка. И, как с ним всегда бывает, когда его вымогательства успешно завершены, стал улыбаться и уснул, чему я был очень рад, потому что всегда очень страдаю от всяких таких событий и неурядиц и люблю мир и тишину.

К вечеру курточка была готова. Надо сказать, бабушка была мастерица: она не только тщательно пришила особенным стежком косо отрезанную полу, но, отрезав вторую полу, так же пришила и ее таким же стежком, и вышло, как будто бы так и было сделано на фабрике, вроде для красоты. Брат напялил и курточку, и штаны, надел картуз и так и встретил маму, и они с мамой прямо сияли, ну а мы с бабушкой, конечно, не могли радоваться так же, потому что опасались раскрытия этого события, но, поняв, что мама ничего не заметила, успокоились.

III

Ранним утром проснулся мой брат. И по тому, как он ничего не вымогает у меня, не врет, и не рыдает, и не ябедничает бабушке, я понял, что он задумал что-то важное. Через какое-то время он спросил у меня:

— Как ты думаешь, в нашей стране хорошие законы?

Я немного обалдел и минуту спустя, в которую я разгадывал суть этого вопроса, ответил:

— Самые лучшие в мире!

— Это хорошо! — отозвался брат и, слезая с кровати, задал новый вопрос.

И тут, мне кажется, если бы я не думал в этот момент об изготовлении кольца-«писки», я бы что-то понял, догадался, но мне для самообороны такое кольцо было очень нужно, и бритва золингеновская, чтобы осколок от нее впасть в это кольцо, уже найдена была, а вот кольца самого не было, я все гадал, где бы его взять или заказать, и невнимательно слушал брата, и поэтому на его новый вопрос: «Есть ли в СССР закон, который запрещает держать дома тигров?» — ответил формально, что, вероятно, такого закона нет, и брат ухмыльнулся довольным побегом умыться.

Но я совсем потерял бдительность, пропустив мимо ушей следующий его вопрос. Глядя на разложенный перед ним на полу громадный план Москвы, он спросил:

— Как ты думаешь, план Москвы двадцать четвертого года точный?

— Точный, — ответил я, думая в тот момент о том, что, разломав дедовскую золингеновскую бритву на несколько кусочков, я продам несколько из них, и у меня будут деньги на кольцо; оно по нынешним боевым временам должно быть с двумя лезвиями, и они оба должны быть на пружинах!

— Я думаю, что вся наша семья будет за котенка! — заявил брат.

Бабушка очень косо на него посмотрела, и я успел в это время положить за пазуху немецкий журнал АИЗ, в котором была конструкция бритвы-«писки», в совершенстве разработанная берлинским уголовным миром. А брат продолжал вещать, складывая план Москвы: — Когда будем нечаянно разливать молоко на столе, а котенок у нас

уже будет, мы будем его поднимать на стол, и он все молоко вылизет, и оно не пропадет!

«Идиот!» — подумал я, на нашем столе молока не было уже целый месяц, но вслух ничего не сказал, так как и бритва, и журнал были уже за пазухой, и мне не терпелось удрать из дома к Славику и отдать ему и этот заказ, и схему. Но сделать это оказалось не просто, потому что брат, сложив план Москвы, достал «Естественную историю для малолетних детей» Раффа и ныл, стоя перед бабушкой, чтобы она ему читала, хотя и сам бы мог; ускользнуть мне не удалось, так как бабушка, взяв книгу, передала ее мне, сказав:

— Почитай!

И я не посмел ей отказать, зная, что если я не почитаю брату, то она не выпустит меня из дома, и, проклиная и «ученость» брата и его настырность, сел и был удивлен тем, что брат моментально раскрыл книгу на известном ему месте и сказал: «Здесь!»

— Зачем тебе? — спросил я. — Ведь ты еще маленький.

Глава была о тигре, но тут я вспомнил, что брат мечтает, когда вырастет, стать дрессировщиком зверей. Он ответил и ошеломил меня тем, что сказал:

— Ну и что, что маленький?! А знаешь ли ты, что у меня двенадцать метров кишок?

Бабушка, оставив ложку в размешиваемой на керосинке каше, молча посмотрела в нашу сторону, а брат тогда добавил:

— Меня ждут большие дела!

Я, так как мне все это надоело, начал быстро читать: «Тигр, или бабр. Несравненно дичее и страшнее льва и есть быстрейший и лютейший зверь между всех четвероногих. Лев бывает иногда милостив и щадящ и умерщвляет не по склонности, а по нужде. Тигр же, напротив, умерщвляет все вообще, человеков и зверей, без разбора и голоден ли он или нет, в алчности же не щадит и собственную самку, и самих своих детей. Для того, когда давит он своих детей и самка его будет тому препятствовать, терзает он и ее купно. Теплые страны Азии, а особливо Восточная Индия, отечество тигрово. Шерстью он желтовато-бел с черными полосами, станом тоне и длиннее льва, но не так высок ростом — смотри таблицы десять фигуру два. Может ужасно резво бегать и на пять, и на шесть аршин шириною делать прыжки, также лазит на деревья для добывания на оных обезьян и птиц... Сила его такова велика, что может живую лошадь или живого быка, схватя в рот, так резво с оным прыгать, как бы держал он в роте зайца... Укротить тигра хотя возможно, но сие стоит зверовщику великого труда и терпения, пока оный до того дойдет, что осмелится разжимать ему рот и брать в руки, как кровь красный, его язык. Верхом же на себя садиться тигр отнюдь не допускает...»

И бабушка, и брат внимательно слушали все это, а когда я закончил, брат воскликнул:

— Уже, наверное, восемь часов семьдесят минут! Кошмар как много! Самое время, как сказано, для работы!

— Где это сказано? — мрачно спросила бабушка, вставшая в пять утра.

— В книге «Мозговая гигиена партактива», — ответил брат, разглядывая таблицу с тигром, а я, пообещав ему котенка, белого или серого, решил наконец смыться, но вышла из своей комнаты мама и спросила, что происходит, и мы ей ответили, но она плохо нас слушала и все глядела в окно на улицу...

И тут же, чтобы предупредить новые стоны брата о котенке, я, не откладывая дела, выпросил у мамы и бабушки разрешение и наврал, что у Славика, который живет на втором этаже, такой котенок есть, и у него — у котенка — нет ни блох, ни глистов,

он писает и какает в мисочку с песком, он не бешеный, очень тихий, а взять его можно, потому что... он им надоел. Ляпнув последние слова, я понял, что сказал глупость, потому что мама сразу же спросила: чем же он им надоел, если он такой хороший? Ну, я, конечно, не сказал, что этот вымышленный Славиков котенок разбил, там, вазу или украл колбасу, а сказал, что он им надоел, потому что все время спит. И брат тут же воскликнул, что он его от этого отучит! А бабушка спросила, что, может, этот котенок ест только ветчину или колбасу, на что я уже совсем смело ответил, что ни колбасу, ни тем более ветчину котенок не терпит, питается одним хлебом, молока не пьет, а только воду, и после этих слов мама стала внимательно смотреть на меня, но я успел отвернуться — будто бы за ботинками, чтобы идти к Славику, а на самом деле — чтобы она не увидела, как я начинаю краснеть. Дело в том, что я должен врать быстро-быстро, а потом уходить так же быстро или иметь предлог отвернуться, так как всегда после вранья я краснею. И так, одевшись, я пошел, но не к Славику, а к нашей хлебной палатке, чтобы там подкараулить и украсть палаточного котенка, и, проходя мимо наших окон, опять увидел этого человека, одного из двух, которых все боялись и старались не смотреть на них, и которые стояли под нашими окнами, делая вид, что они ничем не заняты, а просто дышат воздухом или курят, или читают газету, или смотрят на воробьев на булыжной мостовой...

Укрыв котенка, я прошел парадным ходом и мельком взглянул на нашу липу — человека уже не было. Мы вымыли котенка у Славика, повязали ему бант, и вместо жуткого грязного существа получилось милое веселое животное. Я отдал Славику все для бритвы-«писки» и пошел домой.

— Нет, он мало похож на тигра, — огорченно сказал брат, получив котенка.

— Но он же котенок!

На это брат ответил, что, мол, котята все равно из тигриной породы, он все это узнал из книги, но к этому времени он мне уже так надоел, что я прикрикнул на него, сел за стол и увидел, как бабушка с каменным лицом смотрит через окно на улицу, а там под липу уже пришли те двое и курят, повернувшись к нам спиной...

Я вернулся из школы и уже во дворе понял, что у нас что-то случилось, потому как бабушка стояла на нашем крыльце и смотрела вдаль, а когда я подошел, спросила:

— Ты не видел брата?

И тут же до этого говорившие между собой старухи на скамейке замолчали как по волшебству.

— Нет, — ответил я.

Бабушка взяла меня за руку, мы пошли домой, и, только когда мы вошли в комнату, она сказала:

— Брат пропал.

— Как... пропал?!

— Так. Ушел и не вернулся.

Тут я вспомнил утро, бросился к тому месту на стеллаже, где хранился план Москвы, и обнаружил, что его нет.

— Не волнуйся, бабушка, — сказал я, — он в Москве.

Но она уже плакала, сидя за столом, и слезы текли у нее по лицу, и по тому, как она положила бессильно руки на стол, было видно, как она измучена. Я подошел к ней, поцеловал ей руку и попросил разрешения уйти на поиски брата. Она ответила кивком, а когда я уже закрывал дверь, то услышал ее вздох и слова: «Чтоб вы сдохли!» Я оглянулся, она смотрела в окно на тех... двоих... И я не понял, к кому относятся эти

слова: к тем, что под липой... или к нам с братом. И, выходя через парадное в переулок, я понял, как я люблю своего глупого брата! Я мечтал его встретить — любого: смеющегося, плачущего, избитого, довольного, обкакавшегося, описавшегося — любого, но живого, и я пошел по нашим улицам, сначала на Крымскую, потом — на Смоленскую площадь, с площади — на Арбат, а с Арбата — опять к нам, через Божениновский, оттуда — на Девичье поле, и везде спрашивал о нем; но никто ничего не мог мне сообщить, и я повернул домой, уже со двора глядя на наши окна. Но ни в одном не было ни брата, ни бабушки, и свет в них не горел. Когда я вошел в комнату, бабушка сидела за столом у зажженной керосинки, брата не было, а на меня она даже не посмотрела. И я ей ничего не сказал. Мы, не зажигая света, стали так сидеть молча, я по своему обыкновению сел на старое решето с лежащей на нем подушкой и стал думать о нашей жизни и о том, что все-таки с нами произошло.

Я не помню, сколько прошло времени, помню только, что именно тогда я начал впервые понимать нашу бабушку Варвару Ивановну, которая иногда повторяла «чтоб вы сдохли!». И я впал в такое состояние апатии, что мне было все равно, что с нами будет. Но когда зажглись на улице фонари, у меня опять защемило сердце, и я стал думать о брате: где он, что с ним? Я думал и о маме, и о том, что с ней будет, когда она вернется домой и узнает, что брат пропал. Но тут бабушка встала из-за стола, пошла к вешалке, взяла платок, намотала его на голову и сказала:

— Я иду в милицию.

И сразу же после ее слов на улице раздался стрекот мотора, потом крики, в которых я слышал имя брата, мы с бабушкой побежали к окну в маминой комнате, в котором ожидали увидеть процессию, ведущую моего избитого брата; но увидели мы совсем другое: по нашему переулку ехал мотоцикл с ярко зажженной фарой, им правил милиционер, а рядом с ним в коляске сидел брат и, напоминая государственного деятеля со страниц журнала «Иллюстрасьон», кивал направо и налево, улыбаясь и делая ручкой. А за мотоциклом бежала толпа орущих ребят, и все старухи встали со скамейки. Мотоцикл проехал мимо наших окон, стрекотанье прекратилось, потом хлопнула входная дверь, я побежал отворять, а бабушка зажгла свет. И через минуту в нашей большой комнате стоял симпатичный молодой милиционер, держа за руку брата, из кармана которого торчал план Москвы.

И этот милиционер спросил только:

— Ваш?

Я ответил, что брат — наш, так как бабушка по обыкновению молчала, а брат заговорил быстро-быстро, и из всех его слов главной была фраза, что будто бы ему в милиции сказали, что если он точно сообщит адрес, то его доставят домой и дома будто бы пороть не будут. Милиционер полез в свою сумку и, достав какую-то бумагу, положил ее на стол. И тут бабушка впервые раскрыла рот и спросила, что это. Милиционер ответил: «Расписка». Я заглянул в нее — там было множество пунктов и говорилось о том, что такой-то потерянный ребенок возвращен. Милиционер сел заполнять эту бумагу, а брат очень внимательно смотрел на бабушку. Но бабушка была занята тем, что рылась в своем сундуке, и брат понял, что порка — во всяком случае сейчас — не состоится. И когда милиционер, унося свою бумагу, в которой я расписался за бабушку, и мешочек с сушеными яблоками, ушел, бабушка строго на нас посмотрела и сказала:

— Когда мама придет — молчите.

Мы пообещали, но я знал, что брат не сдержит слова, так как его распирало от желания рассказать о своих приключениях.

Через какое-то время пришла мама и, как часто с ней это теперь бывает, она была задумчива и рассеянна. Такое ее состояние — самое лучшее для сокрытия наших преступлений, и я много раз говорил об этом брату, но разве он что-то понимает! И мы замерли с бабушкой, когда за ужином он гордо произнес свою первую фразу:

— Сегодня я пел всем сердцем!

Мама удивленно посмотрела на него и заметила, что он говорит глупость, так как сердцем петь нельзя и это всем известно. (Дело в том, что наша мама, как и бабушка Зинаида, очень любила русский язык и не терпела, чтобы его коверкали.)

— Это — не глупость! — парировал брат. — Так как так говорят по радио.

Мама тут вздохнула и промолчала, а он продолжил:

— А до этого произвел на них неизгладимое впечатление!

— На кого «на них»? — устало спросила мама.

— На всех, кто столкнулся со мной.

Тут бабушка встала из-за стола и стала собирать посуду, а мама серьезно и строго посмотрела на брата:

— Чем же и на кого ты произвел такое впечатление?

— Я сказал им, сколько метров у меня кишок, и они все как один замолчали и посмотрели на меня!

— Говори всё! — приказала мама.

Но не надо было и приказывать, и он понес и понес, и даже бабушка не ушла со своей посудой, а стояла и слушала, и было что!

По словам брата, его главная мечта — тайна, и об этом он скажет, но потом, а сначала он хотел для этого разбогатеть и сделать это решил при помощи своего нарыва, который он хотел ребятам во дворе показывать за деньги.

— Но у них же нет денег, — возразила мама, и в ее глазах я увидел педагогический интерес. А брат ответил:

— Это и было моим промахом!

А деньги ему нужны были для того, чтобы попасть в зоопарк; и он решил, что так как денег у него нет, то он, наслушавшись радио и особенно опер, научится «умолять» людей и именно при помощи этого метода попадет в зоопарк.

— Так ты там был? — строго спросила мама.

— А как же! — ответил брат, и мама посмотрела сначала на бабушку, а потом на меня.

А брат продолжал рассказывать вздох и, по его словам, как только он при помощи плана Москвы дошел до зоопарка, подошел ко входу и, встав на колени перед контролером, зашел: «Я умоляю вас!» По его словам, это решило все! Обе контролерши подняли его с колен и, отряхнув от пыли, стали узнавать, что с ним; он объяснил, что живет рядом и хочет побывать в зоопарке, а тут уже, как всегда бывает в таких случаях, стала собираться толпа, и брат, запутавшись, сказал, что нечаянно вышел из зоопарка и боится потеряться от своих детей, и ему надо обратно; но тетеньки спросили: «От каких детей?» Тут толпа стала напирать, и он вместе с толпой попал в зоопарк.

— Для чего это тебе было нужно? — тихо спросила мама.

На это брат ответил, что эту тайну он не выдаст, а вот в милиции было даже еще лучше!

— В какой милиции? — спросила побледневшая мама, и мы с бабушкой уже отворачивались от брата как от полного идиота, а он продолжал свой рассказ.

«Сделав свои дела», брат вышел из зоопарка и по своему плану пошел обратно, но его заметил милиционер и, обратившись к нему, спросил, кто он и куда идет; брат

стал ему все объяснять и через какое-то время очутился в милиции, где его первым делом спросили, сколько ему лет, а он ответил: «Точно не знаю». А при входе в милицию он увидел бюст Сталина и вспомнил «свое государственное дело».

— Какое еще дело? — спросила бедная мама.

— Я спросил их, умеет ли товарищ Сталин управлять танком. И они все замолчали, а потом спросили: «Зачем это тебе, мальчик?» А я им сказал, чтобы в случае опасности спастись от поляков! Ведь товарища Сталина мы должны беречь больше всего!

По словам брата, молчание было очень долгим, а потом кто-то сказал, что надо немедленно узнать адрес ребенка и чтобы «духу его здесь не было». Адрес брат сразу же сообщил, но не было мотоцикла, и его повезли в детскую комнату, и там тетенька в милицмейской форме попросила его почитать стихи, а брат ответил, что стихи он ненавидит, а вот спеть может, и тетенька ему разрешила, и он сел на пол и запел.

— Ну и что же ты там пел?

— Я пел «Конная Будённого», потом «Всё выше», потом «Песню о встреч...».

— Хватит! — сказала мама. И добавила, глядя на нас: — И вы все хороши! —

И еще спросила брата: — Ты говорил там что-нибудь ненужное?

— Что ты! — ответил брат. — Только самое нужное!

И в это время мама, по-моему, правильно поступила, сказав нам всем:

— Всем молчать обо всём этом!

Брат, довольный, закивал, и мы больше ничего не узнали о его зоопарке и, хотя все это и вышло по-идиотски, мы были рады, что снова вместе. И тихо и мирно легли спать.

IV

Ночь прошла спокойно, наутро я стал собираться в школу, а брат, глядя на котенка, мирно спящего в углу, попросил у меня ласковым голосом две акварельные краски, и я, хоть и не хотел их ему давать, все-таки дал и ушел. Когда же, возвращаясь, я проходил мимо наших окон, то услышал за ними такой рев брата, что ясно стало: опять что-то стряслось из ряда вон выходящее.

Я побежал бегом, открыл дверь комнаты, навстречу мне бросилось маленькое животное с выстриженной шерстью, один бок которого был разрисован желтыми полосами. Ревущий брат сидел на стуле перед столом, на котором были йод, вата и бинты. Я ахнул, когда увидел его лицо: оно все было в кровь расцарапано когтями со лба до самого подбородка. Больше всего пострадали нос и губы.

Бабушка вытирала кровь ваткой, брат ревел в три ручья, а когда я спросил, что случилось, бабушка коротко сказала любимое:

— Чтoб вы сдохли! — И добавила: — Оба!

А брат все-таки смог выговорить сквозь слезы:

— Наконец-то я хорошо увидел свой гемоглобин.

На полу валялись ножницы, пучки шерсти и акварельные краски. Когда вымазанный йодом брат успокоился, шерсть была выметена и мои краски были снова у меня, брат, лежа на сундуке, все мне рассказал. Дело в том, что он мечтал вовсе не о котенке... а о тигре! Но даже и он со своим скорбным умом понимал, что никакого тигра он, конечно, во всяком случае пока не станет дрессировщиком, не получит, — и он решил этого самого тигра сделать из котенка. Для этого нужны были котенок, ножницы и краски. С котенка надо было состричь лишнюю шерсть и покрасить ему

бока «тигриными полосами»; еще он мечтал и о том, чтобы как-то зубы котеночные увеличить и затем приучить его рычать...

— Поэтому ты и ходил в зоопарк?

— Ну конечно! Я смотрел там тигра!

— А зачем тебе все это нужно было? — спросил я, глядя на него, такого жалкого, исцарапанного, лежащего на сундуке. И он, почему-то оглянувшись на бабушку, зашептал мне:

— Ну как ты не понимаешь?! Я не только играл бы с ним... Он бы стал расти!

— Ну и что?

— Ну и жил бы с нами. Ведь тигр — защита...

И он опять зарыдал.

И мне почему-то в этот момент история с тигром не показалась такой уж дикой. В ней было что-то очень хорошее, и я стал думать, что же это хорошее, но тут он спросил:

— Тебе меня жалко?

— Ну конечно. Только не плачь.

— Я мог бы превзойти самого себя. Моя дикая выходка укрепила меня в собственных глазах!

— Почему?

— Потому что... я стараюсь изобретать... а в этом деле, сам знаешь, без жертв не бывает. — И вдруг без всякой связи добавил: — Ах! Как бы я мечтал жить в комнате смеха!

— Это еще почему?

— Знаешь, во мне все время живут внутренние слезы, и это помогло бы мне от них избавиться. Нет, я всю свою жизнь посвящу изобретениям, и первое будет... восстановитель сил!

— Для чего?

— Чтобы никто не уставал!

— Знаешь, я рад, что ты успокоился.

— Спасибо. А скажи, в слове «Пикассо» — три «с»?

— Четыре.

— Вот фамилия! А я думал, что только в слове «СССР» так много «с»!

— Лежи и забудь о плохом.

— Его не было, — кротко ответил он. — Это — обычная жизнь изобретателя!

Вот такие дела. После всего этого на какое-то время мир и тишина воцарились в нашей семье, и я снова мог думать и молчать. А у нашей хлебной палатки люди в очереди вздрагивали, когда тощее существо с выстриженным боком, с которого дождь еще не успел смыть акварельные полосы, мяукая, шло. Старушки вздыхали, а некоторые тайком крестились, глядя в сторону глухого забора, за которым помещалась психиатрическая клиника, которую мы все называли просто: сумасшедший дом. «Это их дела! — шептали они. — Никому, кроме них, такое в голову не придет!»

V

Сегодня опять льет дождь. Гулять нас не пускают, брат лежит на сундуке, бабушка штопает. Тишина. Ствол нашей липы кажется совсем черным от дождя, трава под ней вытоптана аккуратным кругом. Это те двое вытоптали. Сейчас появится наш дворник и тщательно подметет из-под липы окурки, что они бросают. А, вот он

появился. Идет. Метла, железный совок. Он смотрит на землю, окурков нет. Потом — на наши окна, видит меня и отворачивается, стоит так молча, а потом уходит. Я думаю, что этих двоих уже неделю нет. Может, нам ничего и не будет? Может, уже все выяснилось? Может, нас не вышлют из Москвы? И внезапно горячая волна надежды посещает меня! Боже! Сделай так, чтоб нас не выслали! Сделай так, чтобы мама получила работу! Чтобы к нам опять относились как к людям! Ведь даже если мой отец в чем-то виноват, мы-то при чем? А может, за нас кто-то заступился? Какой-то важный человек? Ведь многие приходили к нам, пока с нами был наш отец. Вот они, наверное, и сделали так, что пока сняли этих двоих, а потом...

— Перестань шептать!

Ах, это бабушка.

— Сиди молча!

— Как я, — добавляет брат.

Хорошо, что хоть думать можно. Сидеть и думать. Ну, пусть молчать, но думать. Да я и не очень-то хочу говорить. Да... а бабушка Варвара Ивановна все-таки молодец, что так хорошо зачiniла курточку брату. Дурак я все-таки! Ну зачем я тогда, обозлясь, натер ей очки песком? Вот сидит она сейчас в этих очках и старается смотреть через них как-то сбоку, а тогда, когда я ей их натер, она сразу поняла, чья эта работа, и заплакала. Честно говоря, мне ее стало жалко, и я сам чуть не разревелся, но она виновата, конечно, — зачем было жаловаться дяде Лёше? А тот — тоже мне мужчина! — пришел и выпорол меня. Правда, я защищался и не дал снять с себя штаны, и порол он меня кое-как и все-таки не по голой заднице, и укусил я его раза три или четыре, хотя во время этих кусаний я получил пряжкой по голове, но что поделаешь — борьба! Плохой он, этот Алёша! Хотя нет, просто от него водкой пахло. Ведь дал же он бабушке сто рублей, когда нам совсем тяжело было. И он один только и зашел к нам. Нет! Не один! Еще Мария Михайловна! Вот кого обо всем спросить можно. Мне часто кажется, что все бояться — даже и мужчины, а Мария Михайловна вроде никого не боится, надо бы узнать этот ее секрет. Вот бы стать таким! А то я очень всего боюсь, и понять этого страха не могу, просто боюсь, и все холодеет во мне, и как-то руки и ноги мои становятся... ну, словом, кошмар! А про смелость Марии Михайловны я вспоминаю просто... ну, с восторгом!

Когда случилось это с нашим отцом, сразу появились те двое. Сначала они стояли под липой, потом сидели на ограде, и так как на ограде было сидеть им удобно, то там они и устроились, прямо как на насесте. Так и пошло: придут, закурят, на окна посмотрят — а мы ведь живем на первом этаже и все видно, — увидят, что дома, и усядутся на ограду.

Мама сразу бледнела, просто как бумага, когда видела их. И я придумал план, как от них избавиться, только он мало помог. Я вечером, очень поздно, сказав, что иду к Славику, вышел на улицу, побежал к помойке и взял там заранее заготовленный ломик. Вернулся, осмотрелся — пусто, тихо. Осторожно отодрал верхнюю планку, на которой они сидели, потом штакетник, потом вынул столбики — вот тут-то меня и увидел наш дворник! Я мокрый был весь от своих трудов, и когда увидел вдалеке его белый фартук, то подумал, что — конец... Но тут же стал придумывать, что бы такое ему сказать... Сердце мое было готово выскочить из груди, и я был так напуган, что не смог бежать. Но, к моему удивлению, дойдя до нашей хлебной палатки, он оглядел ее и повернул обратно. Он не мог меня не видеть! Это точно! С минуту я сидел прямо на земле и просто приходил в себя, а потом потихоньку перетаскал все рейки и

столбики к метростроевским баракам, потому что они жили с печами и всё, конечно, тут же прибрали бы, чтобы сжечь. Потом я обсушился у Славика и вернулся домой.

Но все вышло не так, как я задумал. Придя утром на свое место, эти двое удивленно осмотрелись — сидеть не на чем, — потоптались, закурили... и пришли к нам! Я помню, как бабушка Варвара Ивановна, будто в столбняке, выпустила их к нам в комнату. И они мигом, как были одетые, сели за стол и тут же снова закурили. И это были самые кошмарные дни, что я помню из нашей тогдашней жизни. Сначала они вели себя прилично; просто, я думаю, удобно им было, сортир в коридоре теплый, курят, — но для нас они были ужасны!

Но когда они освоились, то оказались совсем не такими, как можно было подумать, глядя на их молодые деревенские лица. Они начали с нами разговаривать — мы отмалчивались; потом — пугать, потом стали хамить бабушке, и вот тут-то все и произошло! Когда они сказали, что нас скоро выплют, бабушка Варвара Ивановна сказала: «Говно!» «Чего?» — спросил один из них. «Оба!» — сказала бабушка, и тут и вошла в комнату Мария Михайловна, я думаю, она сразу все поняла, но сказала: «Здравствуйте!»

В ее руках был портфель, одета она была очень прилично и выглядела довольно важно. Те оба сразу отвернулись к окну, но продолжали сидеть, а бабушка Варвара Ивановна, к моему ужасу, вдруг заплакала. Я очень испугался, про брата и говорить нечего — он уже рыдал прямо в голос. Бабушка Варвара Ивановна стояла прямо как столб, смотрела куда-то, а куда — непонятно, и плакала молча, не всхлипывая, и слезы текли по ее лицу из-под очков...

«Выйдите отсюда», — тихо сказала Мария Михайловна этим двум. Но они продолжали сидеть. «Выйдите отсюда, — повторила Мария Михайловна еще тише. И добавила: — А то я тут же позвоню куда следует!»

И тут они быстро встали, застегнулись, кепок им надевать не надо было, потому что они их и не снимали, и вышли. Я окаменел.

«Не нужно плакать, — попросила Мария Михайловна, и бабушка стала плакать тише, а брат стал тихо выть, потому что обычно его рыдания переходили в вытье. — И вот что надо сделать, — сказала Мария Михайловна, — надо дать денег дворнику или купить ему „мерзавчика“, и он починит ограду».

И тут Мария Михайловна посмотрела на меня, а я стал смотреть в пол.

«И они опять будут сидеть на ней, а не у вас».

Бабушка вздохнула, вытерла слезы подолом фартука, брат перешел с тихого вытья на всхлипывания, а потом бабушка и Мария Михайловна вышли в коридор. И как я ни прислушивался у замочной скважины, ничего из их шепота понять не мог. Но когда я провожал Марию Михайловну, то на лестничной клетке спросил у нее, не можем ли мы обратиться за помощью к товарищу Куклису, живущему во втором подъезде, ведь, говорят, ему звонил по телефону сам товарищ Сталин! «Нет!» — твердо сказала Мария Михайловна и покачала головой.

Вечером мы слышали, как за окном стучит молоток и визжит пила. Но занавески были задернуты. И мама спросила: «Что там делают?» «Ограду чинят», — ответил я, потому что бабушка отвечала обычно не сразу, а минут через двадцать-тридцать, если вообще отвечала. И после моих слов мама вздохнула и сказала: «Приятно нам будет в Октябрьские праздники смотреть на новую ог...» Но не договорила, а встала и быстро ушла в свою комнату, и на этом и кончился этот вечер.

А на следующий день, когда пришли эти двое, я смотрел на них совсем по-другому, и сердце мое билось иначе, потому что я понял, что Мария Михайловна совсем их не боялась, и мне захотелось стать таким же смелым!

VI

Утром, выглянув в окно, я вижу под липой окурок и замечаю, что сегодня пришел только один, и он, наверное, ждет прихода того... другого...

Бабушка зажигает свою керосинку в комнате, приносит треску, наливает масло на сковородку. На кухне мы теперь не готовим. Стоит нам туда зайти — появляется Дуся, и хоть и не сразу, но минуты через две начинает шипеть сквозь зубы: «Троцкисты... троцкисты... троцкисты...» Пока она произносит это слово тихо, надо успеть все сделать: налить воду в чайник или взять продукты из кладовки, — потому что потом она начинает повторять все громче и громче до тех пор, пока не начнет орать... Я слежу за бабушкой, она поглядывает в окно... И когда появляется второй, тот, что пониже, я опять ощущаю то неприятное чувство под ложечкой, которое у меня возникает каждый раз, когда я вижу во дворе ребят, ржущих над плачущим братом или прямо при мне рассуждающих про то, какие из наших вещей кому достанутся, когда нас вышлют; но теперь, кроме этого сосания под ложечкой, какое-то другое чувство появилось во мне, потому что я стал понимать, кем я хочу быть и кем не хочу! С тех минут я понял, что если хоть сколько-то проживу, то буду стараться стать таким, как Мария Михайловна. А это новое чувство было — отвращение! И я понял, что наша мама не права, когда говорит нам, что все люди равные, что все они справедливые, что все они любят друг друга... Нет, все было по-другому!

Трещит на сковородке треска, в слюдяном окошечке керосинки трепещет пламя фитилей, курят под нашим окном двое в кепках, брат дремлет на своем сундуке, а я сижу и думаю, что все наши беды начались с того дня, когда это случилось с отцом.

Однажды очень рано утром — еще было темно — меня разбудила бабушка Варвара Ивановна и велела быстро одеваться. Я уже застегивал курточку и спросил: «Это гости?» — потому что услышал топот в коридоре. Дверь отворилась, и первым, кого я увидел, был отец. Он показался мне очень расстроенным и каким-то не таким, как всегда. Следом за ним шел низенький человек в военной форме, потом красноармейцы, но без винтовок, а потом шла мама. И она была такая белая, что я испугался. Никто из вошедших не поздоровался, но я вежливо поклонился вошедшим и сказал всем, улыбаясь: «Доброе утро». Я помню, что никто и не взглянул на меня, а отец сказал: «Ну вот, тут мы живем».

Низенький в военной форме приказал: «Начинайте работать!» И тут один из красноармейцев сел у телефона, два других подошли к стеллажу, а сам низенький стал доставать бумаги из секретера. Когда он повернулся боком, то я увидел у него кобурку с револьвером на поясе, а на рукаве — красиво вышитый золотом меч в каком-то замысловатом ободке. Меня удивило, что низенький почти не читал бумаг, только быстро взглядывал, а потом, к моему ужасу, бросал их на пол. То же делали красноармейцы: они брали с полок книги и, пролистав их, бросали на пол. Испугавшись, что бумаги будут затоптаны и испортятся, я поднял их несколько и положил на стол низенькому. Но он мне даже не кивнул, а бабушка Варвара Ивановна так стиснула мне плечо, что я вздрогнул. Отец и мама стояли, взяв друг друга за руки, и смотрели, как низенький, выдвинув последний ящик секретера, быстро выкидывал теперь уже дедовские бумаги на пол, а я трясся от страха, что сургучные печати непременно потрескаются, если на них наступят.

...Через какое-то время все то, что было у нас на полках и в секретере, лежало безобразной грудой на полу. Красноармейцы попросили нас с бабушкой пересесть с дивана в кресло, которое перед этим они распоролы снизу и вынули оттуда конский волос, бросив его тоже на пол; так же они распоролы матрац с бабушкиного дивана, потом перевернули диван и, вспоров его снизу, в нерешительности остановились перед бабушкиным сундуком, на котором продолжал спать мой брат. Тогда бабушка закутала его в одеяло и взяла на руки, а красноармейцы присели перед сундуком, раскрыли его и стали вынимать оттуда вещи; и как до этого они бросали книги, так же сейчас они стали бросать на пол вещи. Но одну из вещей они долго вертели, а потом положили перед низеньким. Это был золотой полковничий эполет моего деда.

«Так!» — задумчиво сказал низенький. И что-то стал быстро писать в какую-то бумагу, а эполет положил в портфель из серого брезента. Мама и отец все так же стояли рядом, взявшись за руки, бабушка сидела в кресле с братом на руках, я стоял у входа в маленькую комнату.

«Здесь всё!» — сказал один из красноармейцев. «Пойдем дальше», — ответил низенький, и все они направились к маленькой комнате, как вдруг дверь в коридор отворилась. «Ну чего?» — спросил низенький еще одного красноармейца, за которым я увидел бледное лицо Дуси. «Вот... — сказал красноармеец. — В туалет просится». «Пустить. С полуоткрытой дверью! Потом перепроводить в комнату». «Есть!» — ответил красноармеец, и он с Дусей ушел. А низенький и двое красноармейцев, мама и отец вошли в маленькую комнату. Бабушка положила спящего брата опять на сундук и пошла за ними, взяв меня за руку.

Эта комната была у нас самая красивая; вообще-то обе комнаты были красивые: в большой — на стенах картины и гравюры, старинные тарелки в проемах окон, мебель красного дерева, бронзовые часы, большой павловский шкаф, дедовский секретер, над которым висела вышитая золотом и цветными нитками по шелку японская картина; но маленькая комната была особенная: в ней жили мама и отец, а в большой — проходной — бабушка, брат и я. И эта маленькая комната была такая: стены покрашены ультрамарином, карниз сверху — золотом, потолок — белый, рядом с дверью стоял громадный шкаф черного дерева, и в нем рукописные и старопечатные книги, на стене висела картина Моне, над дверями — маленький Пуссен, а над батареей стояла «Купава» Врубеля. Перед окном стоял большой письменный стол, перед ним — вольтеровское кресло, у стен — широкая тахта, и рядом — тронк, который мама привезла из Америки. И когда мы вошли в эту комнату, то низенький и красноармейцы вначале остановились и просто смотрели, ничего не говоря, а потом низенький сказал: «Работать!»

И красноармейцы присели перед шкафом, и тут же перелистанные книги полетели на пол, а низенький стал так же поступать с бумагами, которые он вынимал из письменного стола.

«Осторожнее, — попросила его вошедшая мама, — там письмо Крупской», — добавила она. Но низенький, взглянув на ручные часы, ничего не ответил, только бумаги у него полетели еще быстрее. Он осмотрел левую тумбу, средний ящик, а когда перешел к правой, то не мог выдвинуть верхний ящик и сказал не оборачиваясь: «Ключи!»

И мама, которая и до этого была бледной, при этих словах прислонилась к стене и закрыла глаза, а отец ее погладил по голове и сказал: «Вот ключи», — и положил их на стол.

Низенький открыл ящик и, отодвинувшись, застыл, как если бы увидел змею. А потом спросил: «Ваш?»

На что отец ответил: «Да, мой». И мама тут так вскрикнула, что мы вздрогнули, а отец силой усадил ее на тахту, зажал рот рукой и сказал: «Помни о детях!» И мама повалилась на бок.

Низенький, встав и держа в руке найденный в столе браунинг, смотрел, как отец разжимал маме зубы, чтобы влить ей в рот воду, которую принесла бабушка, а мама мотала головой из стороны в сторону, и глаза ее были закрыты. Тогда низенький положил браунинг на стол, вынул из своего брезентового портфеля какой-то пузырек и из него накапал в стакан с водой, и мама выпила все это. Она не смотрела теперь ни на отца, ни на меня, ни на бабушку, ни на низенького, ни на красноармейцев. Низенький убрал пузырек, спрятал браунинг в портфель, записал что-то в свою бумагу и взглянул на нас. Он был рябой, с белесыми ресницами, с маленькой головой и немного плешивый. И мама сказала ему: «Вами еще не рассмотрено письмо Крупской!» Низенький нехотя пошарил в правой тумбочке, высыпав из нее остатки бумаг на пол, и равнодушно сказал: «Его здесь нет». «Что же нам делать?» — прошептала мама. Низенький посмотрел на часы и сказал, зевнув: «Скоро за нами приедут», — и встал.

Он подозвал к столу отца и попросил его расписаться, потом расписались дворник с дворничихой, которых привел красноармеец из коридора. И потом все мы вышли в большую комнату. И низенький, и мой отец, и красноармейцы оделись и сели на стулья, дворник с дворничихой ушли, брат по-прежнему спал на сундуке, мама застыла у двери, а бабушка протягивала отцу какой-то сверток в газете. Все молчали... А потом послышался шум машины, и перед нашими окнами остановился серо-зеленый автобус. Меня подводят к отцу, и он поднимает меня и целует, и блестят его очки, и он говорит: «Помни, ты теперь главный мужчина в доме!» Потом он целует спящего брата, бабушку, целует много раз и обнимает маму и уходит с этими красноармейцами...

VII

Вот это событие все и изменило в нашей жизни. Где был отец, зачем его увезли, вернется ли он — я этого не знал, а спросить было не у кого. Когда мама позже утром вошла в нашу комнату, я окаменел: ее голова была вся седая; бабушка с братом тоже увидели, и бабушка только опустила голову и стала смотреть на чайник, а этот идиот брат спросил: «Мама, почему ты седая?» Но она не ответила... А когда мы позавтракали и мама собралась и быстро ушла, брат спросил меня: «Наша мама, что ли, старуха?» И я ему на это ответил довольно громко, потому что всегда заступавшаяся за него бабушка ушла на кухню: «Молчи, идиот!» И он зарыдал, а из кухни послышались истерические крики нашей Дуси и топот по коридору. Я бросился к дверям, открыл их и увидел бабушку со сковородкой, а за ней мелькало белое лицо Дуси, которая орала изо всей силы: «Троцкисты! Троцкисты! Троцкисты!»

И когда мы закрыли дверь и бабушка села у окна, и стихли вопли Дуси, то вот тогда я в первый раз и увидел за окном под липой тех двоих...

А чуть позже эти двое уже беседовали с Дусей, и она, мотая головой, что-то рассказывала им, а они кивали, глядя на наши окна...

А потом брат спросил бабушку: «Кто кинул на пол все книги и бумаги?» Но бабушка по своему обыкновению молчала, и тогда брат сказал: «А я знаю: это были сумасшедшие! Потому что только они так могут!» И тут бабушка наконец открыла рот и сказала: «Не смей говорить так, а то нас всех вышлют!»

Когда я вышел во двор, все ребята обступили меня, я смутился и стал смотреть в землю, и кто-то из них сказал: «Что смотришь, буржуй? Твой отец в Бутырке!» Я не знал, что такое Бутырка, и только собирался спросить, как получил первый удар в зубы. Рот мой мгновенно наполнился кровью, я нагнул голову, чтобы ею боднуть, но получил удар в ухо, и такой сильный, что упал. Из всего того, что потом произошло, я только помню, что, лежа на земле, я пытался закрыть голову руками, и почти все удары достались моей спине и заднице, но потом я отнял руки от головы и кого-то успел поймать за ногу, и он упал; чью-то руку я укусил, и по крику понял, что укусил хорошо, и уже начал радоваться, но рано — потому что получил по голове такой удар ногой, что сразу понял, что не кусаться надо, а голову беречь. Я попытался подняться, но получил ногой второй удар в ухо, и тут у меня все смешалось и поплыло перед глазами... Очнулся я оттого, что кто-то поливал мне голову водой. Я сел и первым делом увидел тех... двоих. Они стояли и смотрели на меня, и оба улыбались. Тут я ощутил еще одно чувство, пока разглядывал их одним глазом (другой у меня не открывался), и этому чувству я не знал названия и только потом узнал... Это была ненависть!

Какие-то незнакомые женщины подняли меня и отряхнули. Одна вытирала кровь с моего лица, а две другие спрашивали наших старух, с утра сидевших на своей скамейке и молча и невозмутимо глядевших на мое избиеение: «Почему вы не позвонили в милицию?» Они их спросили раза три, а старухи всё молчали и смотрели на меня и на этих женщин, и один из тех двух наконец крикнул: «Бросьте его! Он вредитель! Их отец — враг народа!»

И эти женщины отпустили меня, перестав поддерживать, и я снова сел на землю, а они поспешно ушли, и тут я опозорился: я всё терпел и, как показали события, многое вытерпел, но в этот момент я зарыдал. И так я сидел на холодной земле и понимал, что случилось что-то ужасное, что прежней жизни не будет и лучше мне умереть, и я рыдал и рыдал.

Те двое ушли за угол, старухи сидели на своей скамейке, от холода я стал успокаиваться, вынул платок и стал вытирать лицо, и платок весь стал красный от крови, а когда я с трудом поднялся и пошел домой, то, подняв голову, увидел, что из многих окон смотрят на меня люди, и во втором этаже за окном я увидел Славика. И пошел к нему.

Славик говорит, что удар по зубам был плевым, просто говно, а не удар! Я плюю в тазик несколько раз.

— Вот видишь, крови почти нет, и зубы целы. Я таких ударов получал знаешь сколько!

— А ухо?

— Ухо — хуже, но и его починим. Держи. — Славик подает мне топор, и я прикладываю обух к пылающему уху. — Да тебе просто повезло! Они что же, в рож... в лицо тебя не били?

— Вроде нет. В зубы и по ушам.

— Зубы целы, ну а уши... попухнут-попухнут и перестанут. Знаешь, сколько я таких ударов по ушам получал? Просто ужас! А ногой в живот дали?

— Нет... он у меня закрыт был.

— А по яйцам?

— Яйца тоже были закрыты.

— А поджопник был?

— Нет.

— Ну, тебе просто повезло. Поздравляю!

— Смеешься?

— Ну что ты! Хочешь знать, как меня в первый раз излупили? — Я киваю, и он продолжает: — Сначала дали в левое ухо, потом — в правое, потом под ложечку, и я упал. Потом два поджопника было... нет, три поджопника и два раза по шее. А когда я встал раком и укусил одного за ногу...

— Ты тоже кусался?

— Кусался...

— Хорошо!

— Знаешь, не очень... — Славик вздыхает. — Когда я одного укусил, вот тут и получил по яйцам, и они сказали: «У нас закон: за кусание — по яйцам!»

— Значит, это были метростроевские?

— Конечно они! Но... они не виноваты — их подучили. А знаешь, в других дворах бьют по закону.

— Это как?

— А так! — Славик загибает пальцы. — Бьют в голову, в лоб, по ушам не бьют и в корпус не бьют по сердцу, а под ложечку — можно, и в живот — можно, а по яйцам — нельзя, даже за кусание, а если упал, то совсем не бьют и даже помогают.

— Да?

— Да. Поднимают, там, водой польют или дадут фантик или даже конфету.

— Здорово!

— Еще бы! Поэтому их все уважают.

— А где они живут?

— А на Малых Кочках.

— Вот бы там жить, а, Славик?

— Что ты! С ума сошел! Закон законом, но, знаешь... у них режут!

— Как?

— А так! Наябедничал — и раз! — бритвой по горлу!

— Взрослых?

— Ну конечно взрослых. Но нас это не касается. Ну как ты?

— Лучше. Держи топор. — И я отдаю ему топор.

— Ну, все в порядке. Но теперь тебе привыкать нужно.

— К чему?

— К битью.

— А... как привыкать?

— Ну, пусть тебя брат лупит, а ты терпи. Ну, и я буду.

— Ну и что?

— Закалишься, как индеец будешь. Тебе дадут в зубы, а ты только улыбнешься — и ему в ухо! А главное, плакать не будешь. Это — главное!

— Спасибо, Славик!

— Ничего. В следующий раз заходи сразу.

— А будет... следующий раз?

— А как же!

Я еще раз благодарю его, выхожу и думаю, что, если бы я не увидел его в окне, я так бы и плакал... Хорошо иметь друга! А... будет ли он дальше со мной водиться? И знает ли он, что случилось у нас?..

VIII

...Как всегда мрачно бабушка сообщает, что пойдет за костями, а я должен остаться с братом.

— Закрой дверь и никого не пускай.

— Хорошо.

И она уходит в ларек к «Красной Розе»; простояв там часа четыре, она принесет целую сумку костей, сварит из них суп и сделает холодец.

Вот бы бабушка Зинаида приехала! Та уж наготовила бы из костей и «Упование артиста», и «Утро белошвейки», но самое вкусное — суп «Наполеон»! И делает она все быстро и как-то шутя, и поет, и рассказывает мне и про Париж, и про Лондон, и про войну с турками, где она была с дедушкой... Но больше всего я люблю рассказы про Рим! Вот бы там побывать! Когда она рассказывает, то достает старые журналы и все показывает: и где она стояла, и где дедушка ей что сказал, и потом куда они пошли или на чем поехали! — и про то, как там звонят колокола, и про площадь, которая не только площадь, но и в то же время солнечные часы, и про карнавал, и про музей Гарибальди, и про карабинеров в треуголках, а потом рассказывает про Пиноккио. А как всё весело делает: и пол вымоет смеясь, и окна протрет, и в магазин сбегает, — а ведь ей уже столько лет! А эта... Кошмар! Любое дело делает насупясь. Ворча. Нас ругает все время. Молчит по целым дням. А если вдруг начнет рассказывать, то все это будет про кандалы да про каторгу, да про Александровский централ!

А бабушка Зинаида и Штрауса видела, и Шаляпина, и Чехова, а когда начнет про Горького рассказывать, то никогда не расскажет до конца — всегда расхохочется и прекратит, сказав: «Далее — не для тебя!»

— О чем ты думаешь? — это опять брат. Впрочем, он мне нужен. Больше двух месяцев прошло, как меня излупили, но то одно, то другое — и к тренировкам по битью я так и не приступил. А сегодня меня уже ждет Славик.

— Знаешь, мне надо тренироваться.

— Ты будешь спортсмен?

— Ну... вроде. А ты будешь мне помогать.

— А как? — Брат даже подпрыгивает от нетерпения.

Да! Пока ему что-то объяснишь... Словом, результатом нашего торга с ним было следующее: он лупит меня каждый день на кухне, когда Дуся на работе, а я «поддаюсь». За это после какого-то количества «луплений» — а какого, это решу я — он получает от меня опять котенка, «уже в последний раз», и «делает из него медведя». Но по условиям торга этот котенок должен быть, во-первых, коричневый, во-вторых, очень большой, чтобы медведь из него «легче вышел», и, в-третьих, с хриплым голосом. И битье тоже, конечно, должно быть настоящее. И, обо всем договорившись, мы расходимся по своим местам, но вскоре брат, повздыхав, сообщает:

— Я написал пьесу!

— Какую?

— Про Пушкина, конечно.

— Прочти.

— Ну... пока готово только начало.

— Ну, пусть начало.

— Начало такое: ясное зимнее утро, кабинет Пушкина, он сидит, стук в дверь. «Кто там?» — «Это я, Бенкендорф». — «Входите». Бенкендорф входит. «Здравствуйте,

товарищ Александр Сергеевич!» — «Здравствуйте, товарищ Бенкендорф. Как поживает царь?» (В сторону: «Уу! Враг народа!») Ну как? — Брат смотрит на меня.

- Сила! И это все?
- По пьесе — да. Но я еще придумал кроссворд.
- Ну?
- Дыра в стене.
- Ничего не понимаю!
- Дыра в стене... Что это такое?
- Дыра и есть.
- Нет. Это — окно. Нравится?
- Вот это действительно здорово!
- Я так и знал, что хоть что-то у меня выйдет, — произносит он со вздохом.

...Я сплю, и снится мне сон, что все как-то уладилось, и что все хорошо, и что все мы вместе, и мама опять работает, а отец рисует картины и водит меня в театры, и даже бабушка Варвара Ивановна начала улыбаться... Но разбудил меня телефонный звонок. И это было так неожиданно, что я очень испугался и, открыв глаза, сел и уставился на телефон. Так и есть. Звонит. И брат испугался. Дело в том, что когда это все случилось, телефон перестал звонить, замолчал. Всю осень молчал. Мама часто поднимала трубку и слушала: исправен ли он? Но он был исправен... И вот теперь он зазвонил.

Брат хлопает глазами, и видно, что вот-вот заревет. Я хотел дать ему по затылку, но раздумал, так как теперь он мне нужен для луплений. Я подошел к столу, снял трубку и сразу обрадовался, так как услышал хрипловатый, знакомый и любимый голос бабушки Зинаиды! Она спросила, дома ли мы и всё ли у нас в порядке, на что я ответил, что у нас все в порядке и мы дома, а она сказала, что звонит с вокзала и скоро придет, но ближе к вечеру, так как ей надо получить багаж.

- Кто это? — спросил брат.
- Бабушка Зинаида.
- Вот хорошо! Наконец-то у нас будет весело!
- Будет! А теперь ты сиди, и если позвонит телефон, то не подходи и дверей не открывай.
- А ты куда?
- Я к Славику.
- На тренировку?

— Да, — ответил я и, накинув курточку, вышел на площадку, закрыл дверь и ошупью стал спускаться в подвал, потому что назначенное время уже наступило.

Спустившись по лестнице вниз, я обхожу круглые кучки дерьма и зловонные лужи, которые у нас здесь теперь появились. Зажигаю спичку и оглядываюсь. Никого. Я тихо позвал Славика, держа догорающую спичку в пальцах, и пошел внутрь подвала по узкому деревянному коридору, стараясь не наступать в лужи на цементном полу. Было тихо и пахло гнилой картошкой. Спичка догорела, и когда я ее бросил, то ощутил, как что-то мягкое опускается мне на голову, и получил внезапный резкий удар под ложечку, и тут же потерял сознание.

Очнулся я в одном из отсеков. Я лежал на полу, и под головой у меня было что-то мягкое. На полу горела свеча, воткнутая в бутылку, а рядом я увидел Славика, он сидел и молча смотрел на меня.

- Ну как ты?

- Вроде ничего.
- Тогда вставай.
- Не могу — голова кружится.
- Ничего.
- А... что со мной было?
- Я ударил тебя под ложечку.
- Ты с ума сошел!
- Нет, это начало учения.
- А мягкое... что было?
- А это я тебе тряпку бросил на морду.
- Зачем?
- Для испуга. Хорошо вышло?
- Да... замечательно.

— Вот и запоминай: когда идешь в темноте, то руки держи впереди морды, а сам жмись к стене и двигайся пригнувшись, чтобы встретить врага готовым. Запомнил?

- Да.
- А теперь вставай.

Я встаю. Он отряхивает меня и показывает мне сначала стойку, потом удары, и так — несколько раз, а потом говорит:

- Ну, бей меня.
- Куда?
- Куда хочешь, но не в низ живота.

Я стою и раздумываю, куда бы сначала его уда... Но тут получаю опять резкий удар под ложечку, хватаю ртом воздух, опускаюсь на колени и слышу:

- Долго не думай! А бей сразу и сильно! А вот сейчас я тебе дам по затылку!

Я быстро заслоняю голову руками, но... получаю второй удар под ложечку, на этот раз — ногой.

- Сволочь!

— А! Еще говорить можешь! — Сильный удар в ухо валит меня на пол, и, уже лежа на полу, я получаю удар в живот. И слышу: — Когда лежишь, голову прижми, колени — к груди и следи за врагом!

- Хо... хорошо.
- Бей! — Славик подает мне бутылку.

Я делаю движение рукой, чтобы взять ее, но... получаю удар по носу снизу левой.

- Никогда не верь врагу!
- Чтоб ты сдох!
- Идиот! Если ты не научишься, то тебя просто забьют! Действуй.
- Что же я могу сделать лежа?
- Идиот! Вот... смотри. — Он ложится на пол в той же позе, что лежу я. — Вставай

и подходи ко мне.

- Я встаю.
- Ну, смелее!
- Я делаю шаг.
- Ну, ближе!

— О-о-о! — только и могу сказать я, потому что зацепленные Славиком мои ноги внезапно подкашиваются, я падаю и, конечно, как всегда, как это у меня бывает, стукаюсь затылком о деревянную стену. В голове гудит, в животе боль, дыхания почти нет, а сердце так быстро колотится, что вроде готово вылететь.

Но я успеваю глянуть в сторону Славика: а он уже стоит и держит в руке ту самую бутылку, которую предлагал мне, и держит он ее за горлышко... Я что есть силы толкаю его руками и корпусом, и он тоже валится. Свеча гаснет, и я пытаюсь теперь понять, где его горло, потому что уже самая настоящая ненависть к этому методу обучения и к учителю охватила меня. Но моя рука не находит его горло. Именно в эту секунду там, в самом начале зловонного коридора свет электрического фонарика падает на стену, и мы оба замираем, и как по команде втискиваемся в узкую нишу стены. Шаги... Свет фонарика скользит по потолку... по стенам... опять шаги... Мне кажется, я знаю, кто это...

— Пусто тут.

— Идем дальше.

— Дальше одно говно.

— Отольем здесь.

Свет фонарика падает на пол, и нам слышно журчание... потом вздохи... шаги. И они уходят.

— Сексоты! — говорит Славик.

И это незнакомое слово кажется мне таким отвратительным, что я даже спросить не хочу, что оно означает. Я понимаю, что это были те двое, что стоят под нашей липой. И пропадает у меня в этот миг охота не только к тренировкам, но и вообще — к жизни. А Славик говорит:

— Пойдем!

Мы осторожно, обходя эти лужи и кучи, выходим на лестницу, и вдруг он замечает:

— И серут у нас в подвале сексоты. А вчера еще взяли двоих из нашего дома!

— Как взяли?

— Ну, увели, как вашего отца.

— Моего отца не увели.

— Сила! Что же, он сам ушел?

— Сам! — отвечаю я, и, верно, дрожание моего голоса заставляет Славика оставить эту тему.

— Увели вчера Тихонова с третьего этажа и Зильберштейна с первого. Из того подъезда, — Славик машет рукой. — Многих берут, подъезд несчастливый. А ты не бойся! Ты правильно поступаешь!

— Как?

— Ну, что врешь, что твой отец не арестован.

— Он и не арестован!

— Да ладно тебе! А правда, что у вас браунинг нашли?

— Правда.

— Дурак твой отец! Лучше бы он тебе его подарил.

— Зачем?

— А ты бы мне его показал, и мы бы его так спрятали, что его бы никто не нашел!

— Для чего его прятать?

— Потому что будет война!

— С кем же?

— С кем, с кем? С поляками, конечно. С кем же еще?

И тут я вижу, как открывается входная дверь и появляется мама. Молча она смотрит на меня, потом на Славика, ничего не говорит, ничего не спрашивает и так же молча выпускает меня в квартиру. Первым делом я бегу в уборную, потому что после

Славиковых ударов это просто необходимо. И сначала меня тошнит, а потом поносит...

Когда, вымыв на кухне руки, я сажусь за стол, брат говорит, понюхав меня:

— А от тебя плохо пахнет, правда, мама?

Мама молчит, а наша бабушка Варвара Ивановна насупясь собирает свой узел и смотрит куда-то в угол... Мама сидит напротив нее, и я понимаю, что брат уже рассказал им о приезде бабушки Зинаиды, и бабушка Варвара Ивановна собирается уходить, так как она всегда уходит, когда приезжает бабушка Зинаида. И мама что-то хочет сказать и наконец говорит:

— Останься, мама! — Бабушка молчит. — В это время мы должны быть все вместе. — Бабушка молчит. — Может быть, мы что-нибудь придумаем. — Бабушка молчит.

И тут происходит ужасная сцена: моя мама встает, бледнеет, лицо ее искажается... и... о, что это?!? какое-то сипение, хрип... она падает на диван... она хохочет? нет, плачет? кричит? Что это?!

Бабушка Варвара Ивановна бросает свой узел и стоит на коленях перед диваном, где лежит наша мама. А мама и плачет, и хохочет, и кричит! Варвара Ивановна зажимает ей рот ладонью... Вот мама только тихо всхлипывает. Бабушка поит ее водой, а мой брат — идиот! — уже воет, сидя на своей подушке.

— Не оставляй, не оставляй... меня одну! — шепчет мама. — Не... оставляй — умоляю! Мама!

Алексей Малащенко

Васильки памяти

Тому повезло, кто во взрослой жизни иногда умеет возвращаться в детскую память. Порой нелепо-невозможным кажется, что такое бывало, зато весело верить, что такое не повторится. Хотя бывает, что и повторяется.

Большая часть моего «политического детства» пришлась на Хрущёва.

Михаил Ромм, тот самый, который придумал фильм «Обыкновенный фашизм», писал: «...Про Хрущёва сказать было нельзя "красавчик", но "душенька" — говорили»¹.

На лице Никиты Сергеевича никогда не было безразличия. Чаще всего оно светилось улыбкой, но, если он сердился, становилось злобным. Обычно это случалось, когда он обвинял кого-либо — империализм или интеллигенцию — в чем-либо. Однако его ярость всегда была искренней, а не театральной.

Хрущёв — что на портретах, что на экране — выглядел моложавым. Не дедушкой. Он родился в 1904 году, но представлялся мне «мужчиной в самом расцвете сил», таким «Карлсоном, который живёт на крыше».

Не то чтобы в свои шесть-двенадцать лет я любил или не любил Хрущёва. Он воспринимался как обстановка в комнате, как двор за окном. Его портрет висел вместе с портретами прочих советских вождей, из которых запоминалась Фурцева, единственная тетка в составе Президиума ЦК КПСС. Фотки были скучными. Уже выйдя из пионерского возраста, я услышал в песне Галича: «Безликие лики вождей».

Самый большой, висевший в центре галереи руководителей портрет Ленина в глаза не бросался. Он был замечен по госпризникам, когда его развешивали на стенах домов, порой закрывая им окна. Интересно, как бы вождь мирового пролетариата отнесся к такому количеству своих физиономий? Возможно, в отличие от пришедших ему на смену «чудаков», приказал бы их убрать.

Интеллигентный большевик Глеб Максимилианович Кржижановский в 1924 году, выступая на вечере воспоминаний о Ленине, процитировал его слова: «Вы не можете представить себе, до какой степени неприятно мне постоянное выдвижение моей личности»².

Малащенко Алексей Всеволодович — российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама.

Алексей Всеволодович скоропостижно скончался, когда этот материал готовился к публикации. Редакция скорбит о потере своего давнего замечательного автора и выражает соболезнование его родным и близким.

Помимо статей, публицистики и воспоминаний мы публиковали и его рассказы. Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 4.

¹ *Михаил Ромм*. Четыре встречи с Хрущёвым. «Огонёк». № 23 (3181) 9—16 июня 1988.

² Цитировано по: *Н. Мор*. Живой голос современников. «Новый мир», № 4, 1970. С. 239.

Самый поздний портрет Ленина мне попался в 2022 году на конфетной обертке. Конфета, которой угостила меня жена Наташа, называлась «Ильич».

В столице стояли ленинские памятники, но они выглядели невзрачными и торчали то возле заводов, то у дверей научно-исследовательских институтов. В девяностые в чистеньком дворе на Красной Пресне я наткнулся на очень грязный бюст Ленина с отломанным носом. Вождя стало жалко.

В 1985 году в Москве воздвигли монументище при въезде на Ленинский проспект. Ничего ленинского, сравнимого с конной статуей Петра I в Ленинграде, соорудить в столице не сумели.

Главным памятником вождю мирового пролетариата служил мавзолей (до разоблачения культа — мавзолей Ленина-Сталина). Его посещали делегации партийных съездов, братских социалистических стран, а также простые граждане из советской провинции. Москвичи туда не рвались. Папа однажды сказал «давай сводим его (меня) в мавзолей», на что мама возразила — «не надо, еще испугается». И мой визит к саркофагу отложился почти на двадцать лет. Я попал туда лишь в 1971 году, когда на съезде комсомола работал переводчиком с делегацией Палестины. Впечатления тело Ленина не произвело. Это был манекен. Я оценил слова бабушки Сони, называвшей его «сушеным архиереем». Куда симпатичнее остались в памяти мумии фараонов в Египетском национальном музее в Каире. Какими живыми были пальцы на их руках.

До окончания перестроечного времени Ленин оставался божеством, пусть порой и жестоким (как античный Зевс). Пристегнутая к моей школьной гимнастерке звездочка с его изображением была иконкой. Как пелось в одной песне, «Ленин всегда живой...» (поэт — Лев Ошанин, который был хорошим поэтом).

Ветви оделись листвою весенней,
И птицы запели, и травы взошли.
Весною весь мир отмечает рожденье
Великого сына великой земли.
Ленин — это весны цветенье...

То был гимн египетскому богу Осирису, про которого мы читали в школьном учебнике истории. На кремлевском верху общество считали детским садом, которому можно втюхивать все что угодно.

В конце шестидесятых в русско-советском языке появилось слово «лениниана». Оно означало все, что писалось, говорилось, пелось, показывалось по телевизору и в кино про Ленина. Термина «сталиниана», тем более «брежневиана», получить уже не могло, хотя немало писателей, художников, композиторов в этом направлении работало.

Портретов Сталина не помню — их сняли через два года поле моего рождения. Изображения Маркса и Энгельса встречались редко. Маркс из-за большой бороды был узнаваем. С Энгельсом дела обстояли хуже — к его вытянутому лицу приходилось присматриваться. Слово «марксизм» было на слуху. Про «энгельсизм» ни в детстве, ни в юности я не слышал.

В 1972 году, когда я служил переводчиком в городе Мары (Туркменская ССР), в руки попался «Устав гарнизонной и караульной служб вооруженных сил СССР», принятый 8 сентября 1963 года и подписанный министром обороны СССР маршалом Советского Союза Р.Я.Малиновским. В приложении № 6, «Примерное оборудование караульного помещения», было прописано, что «в общей комнате для личного состава должны быть наряду с уставами, газетами и журналами, шахматами и шашками, столом для обеда и стульями еще и портреты». Чьи — не указывалось. Время от времени портреты снимались и заменялись на новые. Делалось это не по приказу начальника караула, а по распоряжению людей с самым высоким политическим чином.

Великих праздников с массовым развешиванием именитых портретов было два: Седьмое ноября и Первое мая. Их длинные официальные названия: Праздник Великой Октябрьской Социалистической революции и Праздник международной солидарности трудящихся. У нас дома они отмечались «торжественными завтраками» с пирожками.

Восьмого ноября 1967 года — на следующий день после седьмого ноября, когда отмечалось целых 50 лет советской власти — мы с одноклассником Сашей Пименовым гуляли по улице Горького от площади Пушкина до Манежной. Хотелось «пройтись по празднику». Дожде-снег, холод, пустые улицы. Ни единого светлого окна, закрыто все, где можно посидеть, выпить чаю или даже рюмку. Тошно. «Вот так», — сказал Саша. А в голове: неужели все это советское навсегда? На мрачной улице Горького ощущалось, что нас обманули и ничего путного от этой советской власти ждать не стоит. Отпраздновали.

В 1956 году родители получили новую квартиру, точнее, комнату в восемнадцать метров, прежде мы проживали на четырнадцати квадратных метрах вместе с маминной мамой, то есть моей бабушкой.

Квартира располагалась на третьем этаже дома № 12 по 3-й Тверской-Ямской улице. Прежде там жили немалые сталинские чиновники. Мы оказались в трехкомнатной квартире бывшего начальника следственного отдела госбезопасности генерал-лейтенанта Влодзимирского Льва Емельяновича. Даже по нынешним временам квартира была просторная. В ней имелся туалет с окном (!), за кухней — отдельная комната для прислуги.

Бывшего хозяина квартиры я не знал, его расстреляли в декабре 1953 года. А вот с его женой, веселой Софьей (Сусанной) Яковлевной Марьяновской, знаком был. И отношения у нас с ней, несмотря на разницу в возрасте — мне лет шесть-семь, а ей на несколько десятков больше (она только что вернулась из ссылки), — сложились самые дружеские.

Что такое ссылка, я тогда не ведал. Об истории жизни соседки родители не рассказывали. Зато все всегда улыбались друг другу, не обращали внимания на то, чья чашка на чьем столе стоит, а чья очередь подметать на кухне пол, не выясняли никогда. Если родители ожидали много гостей, меня отправляли спать к Софье Яковлевне. Мы не были типичной озлобленной коммуналкой.

Дом, в который мы переехали, еще незадолго до того был «на особом положении». Остатки этого «особого положения» мы, «рядовые» дети, выходя гулять во двор, ощущали на себе. Отрезанный от остального мира двумя железными, толщиной с детскую руку воротами, он был поделен на два садика, заходить на газоны не позволялось. В саду справа стояли четыре скамейки, на одной из которых постоянно восседала маленькая женщина лет от пятидесяти до семидесяти (в женских возрастах я не разбирался) в шубке-курточке.

Даму звали Слава Лазаревна, и она бдительным оком следила за соблюдением дворового порядка. Иногда подзывала мальчиков и девочек, чтобы сделать замечание. Замечания в основном сводились к тому, что мы топчем траву, раскачиваем огораживающий сад зелененький заборчик или просто громко кричим. Однажды она сказала десятилетней девочке, что та слишком высоко задирает ноги. Внимания на Славу мы обращали мало, самые дерзкие ее даже поддразнивали. Но она была частью двора, нашей общественной жизни.

Другую общественницу, Елену Андреевну Бабкину, мы инстинктивно побаивались. Бабкина жила в нашем подъезде на втором этаже и часто, стоя у окна, грозила пальцем малолетним нарушителям порядка. Могла выйти и прикрикнуть,

могла пожаловаться родителям. Поговаривали, что у Бабкиной было даже какое-то воинское звание.

Работы у общественниц хватало. Наш двор был проходным, но войти в него можно было только через ворота, которые по вечерам (года до 1958-го) закрывались на тяжелые замки. Потом запирать их перестали, и дворник, отвечавший за этот процесс, лишился важной части своей ответственной работы и заработка.

Прозывали дворника Хлус. Откуда такое прозвище — не знаю. По праздникам — на Седьмое ноября и на Пасху — он обходил квартиры, и жильцы давали ему денежку, мама, кажется — один рубль (пирожное в ГУМе стоило три рубля).

Хлус был рудиментом сразу двух режимов: царского и сталинского. На свой дворничий манер он всегда оставался частью порядка как такового.

Машин в нашем дворе, кроме старенького «Москвича» и одной «Победы», не водилось. Зато к нам приезжал старьевщик, которому Хлус всегда открывал ворота.

Наверно, жизнь в доме на Третьей Тверской-Ямской походила на мамину жизнь в ее доме на улице, названия которой я не знал, когда ей было столько же лет, сколько мне. И к ней во двор тоже приезжал татарин-старьевщик и протяжным голосом кричал: «Старье бере-е-ем». Голоса отца и деда старьевщика наверняка слышали и наши бабушки.

Я становился подростком и умнел. Тем временем Хрущёв, напротив, все меньше разбирался в происходившем вокруг. И его сняли.

Для простого советского человека падение Хрущёва было неожиданным. На этот счет у, слава богу, не забытого актера Михаила Казакова в воспоминаниях есть такой пассаж: о снятии Хрущёва со всех постов Казакову сообщил по телефону его приятель. И далее: «Четырнадцатого октября мне исполнилось тридцать лет... В одиннадцать часов вечера я на своем москвиче рванул в ресторан “Националь”, что напротив гостиницы “Москва”, докупить напиток, того самого, что стоил тогда 4 рубля 12 копеек, правда, без ресторанной наценки. Отоварился. Сел за руль и, пока разогревал машину, думал про себя: “Что за чушь, однако! Если Хрущёва сняли, отчего на фасаде гостиницы “Москва” в самом центре столицы висит панно с его изображением?” И буквально в эту секунду огромное панно дрогнуло и медленно поползло вниз. Как загипнотизированный, я сидел в москвиче, не в силах оторвать взгляда от снижающегося изображения Хрущёва...»¹.

Я же в связи с этим событием изобрел целый стих:

Портрет, ты меня раздражаешь,
Ты висишь уже много лет.
Ты думаешь, ты меня знаешь?
Нет, дорогой мой, нет.
Ты на меня не смотри.
Я и пыль-то с тебя не стираю вот уже года три.
Знаешь, я завтра встану чуть свет,
Сниму тебя и поставлю в угол.
А на твоё место повешу другой портрет,
Наверное, такое же пугало.

Поэт из меня никакой, но стишок тот был искренним. Актуальным он оказался и для следующих двух десятилетий.

Ощущения от исчезновения Хрущёва после октябрьского 1964 года пленума ЦК КПСС были простыми. В тот исторический день в вагоне метро я раскрыл газету «Правда» (мы ее выписывали) и прочел эту новость. О том, что произошло большее событие, я догадывался, но сопричастности к нему особо не ощущал. Впрочем, как и весь советский народ, который был слишком далек от власти.

¹ Михаил Казаков. Фрагменты. — М.: Изд-во «Искусство», 1989. С. 265—266.

Пока снимали Хрущёва, из космоса вернулись наши космонавты Комаров, Егоров и Феоктистов. Понятно, что на их торжественную встречу его не пригласили, а фотографии, на которых Никита Сергеевич беседует с космонавтами по телефону, как и ту, на которой он в 1961 году держит за руку Юрия Гагарина, надолго засунули в архив. По-человечески за Никиту Сергеевича было обидно.

Хрущёва смыло мгновенно. Вместо него появилось длинное слово «волюнтаризм», которое означало, что бывший глава партии «что хотел, то и делал», никого не слушая. Хрущёва не критиковали, а как-то «лягали» — за кукурузу, за то, что слишком много говорил и обещал... К тому же его шикарный лозунг «догнать и перегнать Америку» выглядел чем дальше, тем глупее. Присоединения им в 1954 году Крыма к Украине никто не заметил. Кто б мог подумать, чем эта «шутка» обернется спустя 70 лет.

В один прекрасный день 1964 года на концерте в Колонном зале Дома Союзов сатирики Рудаков и Нечаев, которых, как говорили сведущие люди, он очень любил, исполнили куплет, где пелось, как «в церкви провели сокращение штатов и сократили звонаря», и далее припев: «Снежок-снежок, белая метелица, и вообще с недавних пор звонари не ценятся». Раздался дружный смех и гром аплодисментов. В зале собрались те, кто все понимали и во всем разбирался. Я сам смотрел этот номер по черно-белому телевизору и тоже смеялся. Хотя за куплетистов было стыдно.

Еще ходил анекдот: при Сталине был культ личности, зато и личность была. Говорят, его придумали в КГБ. Хотя Хрущёв тоже был личностью, и уж во всяком случае не такой злобной.

Вместо Хрущёва у власти встала троица: Брежнев Леонид Ильич, Косыгин Алексей Николаевич, Подгорный Николай Викторович. Первым, на кого я обратил внимание, был председатель Совета министров Алексей Николаевич. Он казался очень деловым, хотя и немного скучным. Но его хотелось уважать. Вскоре после снятия Хрущёва он давал каким-то двум английским журналистам интервью, которое показали по телевизору, отвечал на вопросы коротко и понятно. Никаких присущих Хрущёву эмоций.

Брежнева было мало, Подгорного еще меньше. До населения быстро дошло внутривластное прозвище Подгорного — Пусто-Пусто: есть такая костяшка в домино. На Брежнева поначалу внимания не обращали. Ничего при нем не случилось: ни кукурузы, ни целины, ни карибского кризиса.

После снятия Хрущёва прекратилось преклонение перед вождями. Стало понятно: все они там хороши. После смены одной советской власти на другую, тоже советскую, все ждали чего-то лучшего, хотя чего конкретно — не представляли. Жизнь тускнела, магазины пустели, в них стояли очереди почти за всем; красивую одежду привозили из-за границы, приличная еда была в продовольственных заказах с растворимым кофе, печеньем и чем-то мясным. Иногда попадалась курица, не те знаменитые впоследствии «ножки Буша» — американская курятина, которая поддерживала нашу жизнь в канун исчезновения СССР, а жирная венгерская курица.

Было жалко себя, было жалко и Родину.

Кстати, что такое Родина? Ведь это не только то место, где ты сознательно или случайно был произведен на свет. Почему ее надо обязательно любить и можно ли ее не любить? Вопрос пресквернейший. Родину-то не выбирают. Кому как повезет.

О величии Родины много рассказывали в школе: и про Великую Октябрьскую социалистическую революцию, и про Великую Отечественную войну, и про то, как «широка страна моя родная...», где, между прочим, «так вольно дышит человек». Широту, величину Родины я усвоил еще до школы благодаря политической карте мира. Карта была размером в полкомнаты, я по ней ползал. И гордился тем, что она

такая большая, что ее можно гладить шестилетними ладонями. Это тебе не Англия, которую прижмешь одним пальцем, что я иногда и делал.

Про Родину пелось много песен. Наизусть помню: «У дороги чибис, у дороги чибис <...> это нам с тобою, всем нам дорогое, это наш родной, родной любимый край». Но это, простите, о русской родине. Пели ли про чибиса сверстники из Узбекистана, Туркменистана, Грузии и прочих республик, я не представлял. И водился ли тот самый чибис на краю каракумской пустыни или у подножия Алтайских гор?..

Хорошо было, проживая в двух-трех остановках метро от Кремля, ощущать все вокруг «великой Родиной». А какой представлялась Родина моим казахским, грузинским, не говоря уже о латвийско-литовско-эстонских, сверстникам?

В песне из военного детектива «Щит и меч» Родина начинается «с картинки в твоём букваре <...> с той песни, что пела нам мать <...> с окошек, горящих вдали <...> со старой отцовской будёновки» (кто помнит, как она выглядит, и кто знает, что сшили ее по мотивам шлема русского *дореволюционного* воина?).

Где теперь те горящие вдали окошки и дорога проселочная, которой не видно конца? Та, песенная Родина пропала. Ни «старую отцовскую будёновку», ни московский бизнесцентр я назвать Родиной не могу и не хочу. У каждого своя Родина во времени и в пространстве. Где-то эти родины совпадают, а где-то — нет.

Для меня Родина начиналась с деревни Черепково, в которой родители с 1957-го по 1964 год снимали дачу, точнее, половинку небольшого домика. Там, в черепковской подмосковной глубинке, все было *мое*. Я еще не вырос в москвича, был равнодушен к городу, а здесь становился частью окружающего мира.

То, что в Союзе Советских Социалистических Республик живут не только разные люди, но и разные народы, я увидел на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (в 1959 году переименованной в Выставку достижений народного хозяйства), обходя фонтан «Дружба народов». Фонтан был грандиозен. Как и сама ВСХВ/ВДНХ. Меня водили туда много раз, и никогда мы не могли обойти всю ее разом.

Все тамошние павильоны делились на две части. Одни — про разные народы: азербайджанский, армянский, белорусский, грузинский и далее по алфавиту; другие — про разные производства: машиностроение, химию и т.д. Выставка была копией Советского Союза в миниатюре, точно выстроенной в идейно-политическом плане. Перед входом стояли «Рабочий и колхозница», свидетельствуя незыблемость и правоту советской идеологии. А уже потом — великий фонтан интернационального единства, которое опиралось на единство классовое. То есть сначала ты рабочий и колхозница, а потом уже узбек, украинец, русский, грузин... Так оно и было на самом деле, до известного случая с развалом СССР.

Себя я видел советским. Да, учили мы русский язык, который воспринимался как советский язык, хотя такого понятия не было и быть не могло. В классе третьем-четвертом я знал, что есть «советская пионерия». Если б кто-то сказал тогда про «русских пионеров», я бы просто не понял. Но вот то, что Хрущёву, когда он прилетал в Ташкент или во Фрунзе, букеты цветов вручали узбекские или киргизские пионеры, видел. «Русские пионеры» никаких цветов никому не вручали (наверно, им не доверяли).

Вот за что можно сказать спасибо советской идеологии и пропаганде, так это за то, что национализм ей был чужд. Коммунизм не подарок, но национальная озлобленность в его идеологию не входила. Даже деление на «старших» и «младших» братьев было не столь заметно. Национальная обособленность, конечно, существовала, что и способствовало распаду Советского Союза, но рухнул он все же из-за экономики.

Не почуял я национальных проблем и когда в мои семь лет папа с мамой возили меня в Сухуми к деду Грише. Дед Гриша еще до войны сбежал на Кавказ от бабушки Симы и обрел счастье с польской женщиной, которую звали Елена Михайловна.

Как ее звали по-польски, я так и не узнал, как не знаю, откуда она взялась в Сухуми. Ее этническое происхождение никого не интересовало.

Не интересовала и национальность мальчишек, с которыми я с утра до вечера возился в проходном дворе длинного барака, где обитали деда Гриша и ЕлМих (так она подписывалась в письмах). Постепенно выяснилось, что моими товарищами были греки, абхазы, грузины, армяне и цыганята. Богатейший материал для статьи о межнациональных отношениях в СССР. Никто ни к кому не обращался «эй, ты, грузин, армянин, цыган...». Все были «детьми проходного двора», а не «носителями разных этнических культур».

Музыку песни «Мой адрес Советский Союз» написал Давид Тухманов, слова — Владимир Харитонов. В ней много вранья. Например, слова: «Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня». Песня была сотворена в 1972 году, когда всякий нормальный человек догадывался, что самое главное и есть личное: квартира, дача, автомобиль «Жигули», холодильник с колбасой, нормальная, а не «инженерская» зарплата. К тому же, если главное «сводки рабочего дня», то Советский Союз — прежде всего адрес рабочего места у станка, в коровнике или в канцелярском кресле. Песенку хорошо исполнили «Самоцветы», для которых их личное так же было главнее «сводок рабочего дня».

И все же такая страна была. Я не из тех, кто тоскует по СССР и вспоминает о нем с лирическим благоговением. Советскую власть обожали далеко не все, и меньше всего те, кто профессионально понимал ее ущербность и непригодность для нормальной человеческой жизни.

Но СССР был землей, где мы родились, выросли, познакомились и подружились. Для меня, востоковеда, для коллег из советских республик, взрослых «мальчиков и девочек», СССР был местом общения и, да, дружбы. В этой «квартире» мы жили и не представляли, как можно жить иначе.

В 1991 году мы вдруг поняли, что общежитие распалось.

В 1992 году в городе Чимкенте (ныне Шимкент), что на юге переименованной в Республику Казахстан тогдашней Казахской Советской Социалистической Республики, в новенькой, по тем временам шикарной гостинице шла востоковедная конференция, на которую собралась публика с самых разных концов необъятной родины: от Ленинграда и Москвы до Еревана, Баку, Фрунзе, Ташкента и Хорога (столицы Горного Бадахшана, что в Таджикистане). Щедрые хозяева устроили вечер с участием учениц местного хореографического училища, с которыми можно и нужно было потанцевать. А мы, человек десять, сбившись в одном большом номере, пели Высоцкого и украинские песни. Оказавшийся в нашей компании посол Монголии затянул протяжную «песнь Чингисхана» (так он ее назвал), мелодия которой отвечала нашему грустному настроению.

Чимкент 1992 года не связан с детскими воспоминаниями, но тогда мы чувствовали себя брошенными, осиротевшими детьми. Некоторые участницы конференции и нашего застолья даже всплакнули. Это было прощание и со страной, и друг с другом, потому что все понимали, что наши встречи неимоверно осложнятся и видятся многие из нас в последний раз. Так оно и случилось.

Скажи тогда кто-нибудь, что некоторые наши постсоветские «отчизны» будут враждовать и даже воевать друг с другом, мы бы не поверили.

Для многих Родина означает еще и государство. Никто не спорит, взаимосвязь тесна. Но это не одно и то же. С чего начинается Родина, допустим, можно догадаться, а вот с чего — государство? С «Боже, царя храни», «Интернационала», трижды

переписанного советского гимна, с генсека, президента, с прихода династии Романовых в 1613 году или с ее свержения в 1917-м?

Отношение к государству двойственное: с одной стороны, оно нужно и неизбежно, с другой, когда оно делает мало чего хорошего, хамит, его хочется ломать революционным путем. А может, лучше его вообще не трогать, а то будет еще хуже? До уразумения, что государство можно и нужно совершенствовать, перестраивать, менять тех, кто им руководит в данный момент, на более толковых, большинство не доросло. Да и лень этим заниматься. Один советский лозунг гласил: «Государство — это мы», а кому хочется менять себя? Французскому королю Людовику XIV, в апреле 1655 года сказавшему: «Государство — это я», — было проще, речь-то шла всего об одном персонаже, а меняться всем сразу невозможно. Практика показала: какими мы все были, почти такими и остались (остаемся).

Но в детстве государство ощущалось как нечто незыблемое, точно как пелось в советском гимне — «союз нерушимый». Сталин говорил про человек-винтиков и был прав, потому что именно эти детали и держали государство в целости. Раскрутите винтики — хоть в самокате, хоть в космическом корабле, — и механизмы развалятся. В 1991 году эти винтики и раскрутились.

Главной и самой понятной частью государства была армия, Советская армия. Войну, в которую мы играли, едва научившись ходить, выиграли солдаты, бойцы Красной армии.

Армию смотрели (по телевизору) на параде. Парады проводились дважды — на 7 Ноября и 1 Мая. Первомайский парад, не помню когда, отменили. В самом деле: празднуют, понимаешь, международную солидарность трудящихся всех стран, а тут — танки. Уцелевший ноябрьский парад стал вдвое дороже. Я им наслаждался. Маршал на черном ЗИСе, солдаты, дружно и могуче кричащие «ура», а за ними — пушки, танки и ракеты. Но было одно печальное для меня обстоятельство: перед колонной суворовского училища шли юные барабанщики — мои ровесники в красивой форме и с гордыми лицами. И всякий раз бабушки, которые смотрели парад вместе с папой и мамой, говорили: «Какие мальчишки, какие труженики!» — и бросали взгляд на своего внука, дескать, не то что ты. Меня это задевало, вызывало комплекс неполноценности. Оттого, наверно, до самого повзросления суворовцев я не любил.

Парадам предшествовали тренировочные вечерние проезды военной техники по улице Горького. Мы, мальчишки, стоя на тротуаре, вдыхали запах горючего, дрожали от рева моторов и с завистью поглядывали на видневшиеся в люках шлемы танкистов. Танки дышали непобедимостью. Я ими гордился, следовательно, гордился государством.

На чердаке черепковского дома случайно обнаружилась книжечка «Военная хитрость и сметка», где было написано, что «военная хитрость и сметка прививаются советскому воину еще в мирное время...»¹. Это было про меня. На военную форму я смотрел с уважением и умел отличать старших офицеров с большими звездами от младших — с маленькими. Самым уважаемым воинским званием было полковник. Полковники носили папахи, что придавало им особую солидность.

Когда, поступая в первый класс, я надел гимнастерку и подпоясал ее жестким ремнем с железной пряжкой, чуть-чуть почувствовал себя «военным солдатом» и был этим горд. Когда, уже в третьем классе, гимнастерки сменили на серые гражданские пиджачки, расстроился — в нем чувствовал себя не по-мужски.

Так что мальчиком рос я вполне милитаризованным.

В 1972 году в Советскую армию вернули чин прапорщика. Это вызывало во мне, уже двадцатилетнем, удивление, если не сказать обиду. Прапорщик казался пережитком

¹ Д.Гребенщиков. Военная хитрость и сметка. — М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1955. С.4.

прошлого, он служил в царской армии, про которую мы тогда слышали только плохое. В разных фильмах эти прапорщики то расстреливали, то пытали красноармейцев и партизан. Да еще поговорка была «вся рота шагает не в ногу, один господин прапорщик шагает в ногу». Прапорщик в Красную армию не вписывался.

Чужим для нее оставался и поручик — тоже белогвардеец. Обращения «товарищ поручик» не существовало. Зато была песня «Не падайте духом, поручик Голицын». Напевать ее мы стали уже в старших классах. Были там и такие слова: «А в комнатах наших сидят комиссары и девушек наших ведут в кабинет». Симпатии к комиссарам это не добавляло. Вообще, восприятие комиссаров становилось все более скептическим, даже несмотря на романтическое окуджавское «и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной». Те, которые вели девочек в кабинет, пыльных шлемов явно не носили.

Армия должна с кем-то сражаться, на то она и армия. Настоящей войны в то время не хватало. Зато у Советского Союза было много врагов, злые физиономии которых заполняли журнал «Крокодил». Врагов рисовали художники Кукрыниксы: Куприянов-Крылов-Соколов и Борис Ефимов. Делали они это «на пятерку» — американский президент Эйзенхауэр, испанский диктатор Франко, немецкий канцлер Аденауэр, глава тайваньской клики Чанкайши... — эти и прочие империалистические ироды были ужасны, но не страшны.

Конечно, неприятности империалисты и их пособники могли учинить. Особенно НАТО (созданное в 1949 году, за два года до моего рождения). К НАТО я относился плохо, знал, что в нем собрались все наши недруги, а в детском воображении оно представлялось толстой каменной стеной, за которой поднимались неприятного цвета башни.

В 1955 году появилось СЕАТО — Организация Договора Юго-Восточной Азии, которая просуществовала всего-то до 1977 года. В 1958 году возник доживший аж до 1979 года Багдадский пакт. Если НАТО выглядело крепким серым замком, то от всех этих СЕАТОВ и пр. оставалось чувство размазанной по тарелке невкусной каши. Почему — не знаю. Уважения они не вызывали. Ясно было, что со всей этой шайкой ничтожеств наши танки легко справятся.

Созданный СССР в 1955 году *наш* Варшавский договор представлялся яркой, внушительного вида картой.

В окружающем мире обитали, однако, не только враги. Было много друзей из социалистических стран — Болгарии («братушки»), Чехословакии, Венгрии, Польши, Кубы. На слуху были имена руководителей: ГДР — Вальтера Ульбрихта, Венгрии — Яноша Кадара, Польши — Владислава Гомулки, Болгарии — Тодора Живкова... В 1971 году Ульбрихта сменил Эрих Хонеккер, и вскоре появилась шутка, что Брежнев любит его больше других вождей, потому что тот умеет целоваться лучше их всех. Чемпионом в этом состязании был сам Леонид Ильич.

Социалистические вожди всегда улыбались и благодарили СССР.

Самым симпатичным выглядел глава Вьетнама Хо Ши Мин. Его улыбке хотелось верить. Еще был кубинский революционер Фидель Кастро. Относились к нему с уважением, тогда пропаганда требовала, чтобы оно было просто-таки восторженным. Ясное дело — революция! И где! В Америке, напротив самих Соединённых Штатов!!! И стихи слагали, и песни пели. Не знаю почему, но эти песни распевать не хотелось — они были лишние, что ли. Не хватало у меня нужного пафоса.

Кастро примелькался быстро. Он казался слишком уж большим другом Хрущёва. Популярным был анекдот: заходит Фидель Кастро к Хрущёву, снимает бороду и говорит: «Всё, больше не могу, Никита Сергеевич». А тот ему в ответ: «Надо, Федя, надо».

Больше всего любили китайцев. Может, потому что они были малорослыми, скромно одетыми (на фотографиях) и оттого выглядели младшими братьями. В недавно построенном в Лужниках спорткомплексе на женском волейбольном матче Китай — Польша до отказа забитый зал дружно скандировал: «Китай, Китай, давай, давай!»

И так кричали мы до середины 1960-х. Потом что-то поменялось. «Наш» Мао Цзэдун перестал быть нашим. В 1966 году грянула Великая пролетарская культурная революция. Появились хунвэйбины. Профессором в то время я не был, в китайских делах разбирался как все, то есть на уровне средней школы, хунвэйбинов невзлюбил сразу. Корежило и то, что китайские неприятности называли великой, пролетарской, культурной, да еще и революцией. Испортить такие замечательные слова! Ведь ими описывалась вся наша советская история. Запомнился газетный текст 1967 года: «Прославленная на весь мир китайская классическая опера принесена в жертву культа Мао Цзэдуна. Блистательные исполнители, воспитанные в тысячелетней традиции классического искусства, превращены в читчиков цитат из трудов “великого кормчего”». Промелькнула лихая зарубежная цитата, мол, Мао — «Тимур XX века»¹. При чем тут Тимур, было непонятно, но к Тимуру этому у советских людей отношение всегда было негативным. Тимур, или Тамерлан (1336—1405) был тюрко-монгольским захватчиком, которому ныне в центре Ташкента стоит грандиозный памятник.

К тому времени во дворе я обзавелся парой матерных слов и напевал песенку:

И, конечно же, знаю отлично я,
Как они произносятся,
Только что-то совсем неприличное
На язык ко мне просится...
Ху... вэйбины...

Кроме китайского постоянным политсюжетом оставался Вьетнам, где в 1960-е годы шла война против американцев. С одной стороны, все было понятно: в Южном Вьетнаме «хозяинчают» марионетки Вашингтона, народ голодает и потому ведет против них и их американских хозяев справедливую партизанскую войну. В Северном Вьетнаме при помощи СССР строится социализм, и северные вьетнамцы не могут не помогать своим южным братьям. В отместку американские империалисты все время бомбят Северный Вьетнам, но «ихние “фантомы”» сбивают. Сначала сбивали из зениток (это показывали по телевизору), а позже — ракетами. Успешно сражались вьетнамские асы, которых, как выяснилось, готовили в советских военных училищах. О том, что кроме них МиГ'ами управляли летчики невьетнамской национальности, в конечном счете тоже стало известно. Появился анекдот: почему во Вьетнаме нашим летчикам трудно управлять самолетами? Потому что им приходится пальцами разводить глаза, чтобы походить на вьетнамцев. (Анекдотец был не нов — первый его вариант появился во времена корейской войны, когда советским пилотам приходилось изображать корейцев.)

К вьетнамской войне быстро привыкли. Она стала «дежурным блюдом» советской пропаганды.

Еще друзьями были народы Азии и Африки. Негров я уважал. Чернокожие страдали, поскольку были рабами у американских и прочих эксплуататоров. «Хижину дяди Тома» читал, к тому же в Детском театре шел спектакль под таким же названием, в котором мама играла одну из главных ролей.

В 1959 году мы купили телевизор и поставили его в коридоре. Софья Яковлевна и новые соседи, молодые брат и сестра Борис и Галя, не возражали. Телевизор был

¹ За рубежом. 20—26 января 1967 г.

большой редкостью, и его смотрение походило на поход если не в театр, то как минимум в кино. Телевизору верили больше, чем газетам, читать которые было скучно. Телевизор уважали. Слово «ящик» вошло в обиход намного позже. Стали появляться передачи на международные темы. Начиналась новая информационная теле-эпоха. В 1962 году я вместе с остальным народом начал смотреть «Камера смотрит в мир». В 1969-м — «Международную панораму», в 1974-м — «Девятую студию», которую вел Леонид Зорин. Много позже журналист и телеведущий Леонид Парфёнов написал, что Зорин живостью не отличался. А кто ею в советские времена отличался? Талантливыми ведущими были Бовин, Боровик, Зубков, Сейфуль-Мулюков — называю лишь те фамилии, которые первыми пришли в голову. Да, те международные программы были по большей части однотипны и глупо-идеологичны, но добрые полжизни я ухитрялся находить в них что-то полезное и даже любопытное. К тому же они сопровождались кадриками Парижа, Нью-Йорка, Каира, Рима. Пропагандистское долдонство скользило мимо ушей. Хамов вроде нынешних к пропаганде не допускали. Сравнивать те программы с аналитическими передачами эпохи перестройки и девяностыми годами, когда «все было дозволено», даже собственное мнение, некорректно (а тогда, нынешних я просто не смотрю).

«Клуб кинопутешествий» (позднее — «Клуб кинопутешественников») особенно притягивал, когда его вел кинорежиссер Владимир Адольфович Шнейдеров. Там показывали то, чего ты не только не видел, но и, как тогда казалось, не увидишь. Звучала песня «Множество стран на планете светят огнями столиц...». Столицы эти, океаны, джунгли и иностранные улицы располагались в другой галактике, путь к ним измерялся световыми годами. То была *за-граница*, куда попадали из числа знакомых моих родителей единицы, и то в основном — не дальше Польши, Болгарии и ГДР.

О чуждости «заграницы» пелось в известной песне на стихи Михаила Исаковского:

Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюсь с тобой,
А я остаюсь с тобою,
Родная навеки страна,
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна.

Рассказывают, что лояльный к советской власти Маршак однажды в беседе с друзьями назвал ее арией домашнего гуся.

Маршак во многом разбирался, но только не в экологии. Потому и написал:

Человек сказал Днепру:
— Я стеной тебя запру <...>
— Нет, — ответила вода, —
Ни за что и никогда!
И вот к реке поставлена
Железная стена.
И вот реке *объявлена*
Война,
Война,
Война! (курсив мой. — А.М.)

Слова «экология» в моем детстве не существовало. Природу любили, но с ней надо было бороться, побеждать ее «капризы». Любить ее учил едва ли не единственный трогательный писатель Виталий Бианки, чьи рассказы порой читали по радио.

Теперь выключаем телевизор и радио. Два слова о неизбежном нашем пионерстве.

Вступление в пионеры было первым общественно-политическим шагом. Принимали в пионеры всех. Лозунг «Пионер всем ребятам пример» был странным, поскольку получалось, что пионер должен быть примером всем остальным пионерам.

Устраивались торжественные линейки — форма: белый верх, темный низ, — разносы: «Плохо учишься, а еще пионер». Случались сборы металлолома, во время одного из которых мы утащили сваленные возле находившейся по соседству со школой больницы МОНИКИ батареи парового отопления. Потом пришлось по снегу тащить их обратно. Когда катишься по России на поезде, видишь несметное количество брошенного железа. Никаким пионерам, ни старым, ни новым, собрать его не под силу.

По телевизору показывали торжественные приветствия разным съездам: юные пионеры маршировали мимо рядов делегатов, а самые бойкие читали стихи, посвященные ленинской партии.

Выходила скучнейшая газета «Пионерская правда», а по радио, кажется, раз в неделю звучала «Пионерская зорька», которую я слушал только тогда, когда ее вела моя мама.

Были пионерские песни, например:

Взвейтесь кострами, синие ночи,
мы — пионеры, дети рабочих...

Над смыслом их я не задумывался. Неверно, потому что не был дитем рабочих. Как назло, в голове чаще вертелся стишок из какого-то фильма, где кулацкий сын напевал:

Пионеры юные, головы чугунные,
Сами оловянные, черти окаянные...

Пионерским салютом, то есть взмахом правой руки над головой, овладеть было нетрудно, как и зазубрить клятву «Всегда готов», но... ощущение пионерства испарялось, а в седьмом классе мы стали стесняться носить алые галстуки. Идейности они не прибавляли и превратились в детские атрибуты. Хотя в школе повязывать их приходилось. В вышедшем в 1955 году фильме «Старик Хоттабыч» оба юных героя не снимали галстуков даже на ковре-самолете.

По телевизору пели пионерские хоры, главными певуньями в них были пионерки с дамскими формами, на их груди галстуки выглядели неуместно, если не сказать извращенно.

Лично я не помню ни одного случая, когда кого-нибудь из пионеров изгоняли. Такое произошло лишь в спектакле Центрального детского театра «Друг мой Колька», там с игравшего роль пионера молодого мужчины старшая пионервожатая снимала галстук. Выглядело нелепо.

Пионерство как метод политического воспитания оказалось несостоятельным. Добрую память о нем сохранили, возможно, побывавшие в Артеке. Я этим лагерем любовался только издали, из крымского города Гурзуф, даже не им, а Медведь-горой, под которой лагерь располагался, и завидовал пионерам, плававшим на маленьких катерках. Те пионеры были привилегированными детьми.

На наше пионерство, а потом и комсомольство пришлось множество песен о трудностях, которые беспрестанно требовалось преодолевать. Сочинялись они талантливыми композиторами и поэтами.

Чуть охрипший гудок парохода
Уплывает в таёжную тьму,
Две девчонки танцуют на палубе,
Звёзды с неба летят на корму...
Верят девочки в трудное счастье.

Музыка великой — без шуток — Пахмутовой, слова Николая Добронравова, с которым мама училась на одном курсе.

А наше незабвенное:

Люди идут по свету,
Им вроде немного надо...

Гимн советской идеологии. Нам — не всем, ясное дело — действительно требовалось немного. В то же время велено было жить хорошо и весело, несмотря на «временные трудности», про временность которых я помню со школы. И все время следовало чем-то жертвовать во имя светлого будущего. Жертвовать, однако, хотелось все меньше и меньше, как и радоваться более чем скромной жизни.

Нормальный человек рано или поздно умнеет, задает себе, обществу, государству вопрос: почему счастье должно быть обязательно трудным, а он, человек, должен довольствоваться немногим? В советские времена обещали светлое будущее, предлагали потерпеть, сколько терпеть — не говорили.

Теперь бедность оправдывается особой идентичностью, принадлежностью к русской цивилизации, в основе которой нестяжательство, жертвенность, презрение к сытости и проч. Этим российская традиция должна принципиально отличаться от западной, носители которой только и думают о том, как бы им жить еще лучше. Нам же достается опять «верить в трудное счастье».

Писатель Паустовский в апреле 1917 года написал: «Народу нужен хлеб, земля, его права — его воля, нужно прочно склотить свою жизнь, чтобы не думать мучительно о завтрашнем дне...»¹ Как все просто. И, заметьте, этого хотят *все* народы, что западные, что восточные. «Трудного счастья» хочет абсолютное меньшинство, и это самообман.

Пока я подрастал, триада «православие, самодержавие, народность» была запрещена, о ней, кроме историков, уже мало кто слышал. Ее компенсировала констатация того факта, что «партия — наш рулевой», звучавшая в известной песне. КПСС была тождественна православию, самодержавию и народности вместе взятым.

Самой частой речевкой был лозунг «Слава КПСС!». Он звенел на всех собраниях и съездах. На съездах его выкрикивала «группа приветствия», в которую назначали горластых мужиков, скандировавших: «Ленинской партии слава, слава, слава!» Народ отвечал анекдотом. Грузин говорит: кто такой Владимир Ленин — знаю, кто такой Иосиф Сталин — тоже знаю, но скажи, кто такой Слава Капэээсэс?

Любая пропаганда лжива по определению. Ее цель — вдолбить в человека только одну точку зрения: государства, партии, монарха, исключив всякий иной взгляд. Пропагандист априори уверен, что он умнее своего слушателя и зрителя. Отсюда у него ощущение безнаказанности.

Литературный критик Наталья Иванова отождествила пропаганду с дрессировкой². В нашей стране эта дрессировка была одной из основ политики. До определенного момента она очень успешна. Но потом человек, нехоти для себя, вдруг просыпается... и перестает в нее верить.

Страшную вещь скажу. Первой пропагандистской книгой был Талмуд, за ним Евангелие, позже — Коран. Возмутились? Прошу прощения. Но именно там излагались бесспорные истины и постулаты, которым всем надлежало следовать и которые

¹ Константин Паустовский. Подборка «Из разных лет». — «Новый мир», 1970, № 4. С.97.

² Наталья Иванова. Трагедия преданности и её комедия. — «Огонёк» № 21, май 1989.

запрещалось нарушать. Разбираться, как писалось Евангелие и как редактировался Коран, — дело богословов и религиоведов. Но ведь «улучшались» же, редактировались священные книги. Или я неправ?

Последней из священных книг была программа КПСС.

Лет с тринадцати я начал слушать нехорошие радиостанции, прежде всего пресловутое Би-би-си. Все знали присказку: есть обычай на Руси ночью слушать Би-би-си. И слушали, внимали Анатолию Максимовичу Гольдбергу, которого писатель Войнович справедливо назвал «великим комментатором». Бибисишные известия были увлекательнее наших.

Слушал и радиостанцию «Свобода», которая была совсем уж антисоветской. Там выступали диссиденты — тогда это было новое, непривычное слово. Хулил советскую власть и «Голос Америки», но его я ловил реже, тамошние дикторские голоса звучали скучновато. Больше всех нравилось Би-би-си.

Все вражеские станции приходилось «ловить», то есть беспрестанно подкручивать настройку, поскольку волну постоянно забивали.

Ходил анекдот:

— Рабинович, вы слушали вчера Би-би-си?

— Да, конечно.

— Ну, и что передавали?

— УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.

Зато не глушили радио Китая. Китайские дикторы на грамотном русском языке «поливали грязью» советских ревизионистов, используя выражение «клика Брежнева». Имя своего собственного вождя они произносили уважительно: «Товарищ Мао Цзэдун», добавляя к слову «товарищ» букву «а», получалось «товарища Мао». Китайское радио походило на юмористические концерты.

Папа рассказывал, что уже после 1968 года в Праге, в ресторане, куда его пригласили чешские знакомые, он услышал такой эстрадный номер. Артист пародировал передачи «Голоса Америки», потом Би-би-си, еще каких-то радиостанций, а напоследок — советского радиовещания, по которому беспрерывно повторялась только одна фраза: «А у нас все хорошо».

Одним из главных слов пропаганды было слово «подвиг». Внушительный хор на сценах и по телевизору мычал: «Зовет на подвиги советские народы коммунистическая партия страны». Подвигом было все: освоение целины, строительство заводов, победа на Олимпийских играх, порой даже хирургическая операция. Сама жизнь в нашей стране считалась подвигом.

Михаил Жванецкий (это уже когда детство мое завершилось) нагло брякнул: «Героизм одного это преступление другого». Лучше не скажешь. Добавлю, что это не только преступление, но и непрофессионализм, элементарное невежество и глупость тех, кто все время посылает кого-то на подвиг. Такой глупостью переполнена вся человеческая история, но в отечественной ее особенно много.

Исключительно важную роль в политике и пропаганде играли запреты, причем они бывали самыми идиотскими, особенно когда доходило до низового — областного, районного — уровня. В 1965 году родители повезли меня в Ялту, в «Дом актёра», где первый заплыв «до буя» по Чёрному морю я совершил под надзором артиста Василия Ланового — капитана Грея, Павки Корчагина и принца Калафа.

В свои четырнадцать лет я шлялся по городу-курорту в шортах. Оказалось, разгуливать в коротких штанах было запрещено. Меня остановила милиция. На первый раз простили. Но тем же днем случился международный скандал: в Ялту приплыли итальянские туристы, и все в шортах. Их отловили. Несчастные макаронники

так и не поняли, в чем они провинились. Их, понятно, отпустили, а местные милицейские идиоты даже получили нахлобучку. С нынешних возвышенных философских позиций не было ли то «конфликтом цивилизаций»? Я же тогда подумал: как много дураков у советской власти, что само по себе было возмутительным диссидентством, пусть и инфантильно-инстинктивным.

(В нынешние времена советский запрет на ношение шортов чем-то напоминает борьба против нетрадиционной сексуальной ориентации. Это даже не идеология, а просто глупость. В античную эпоху боги, герои и их творцы ни в чем нетрадиционном себе не отказывали. Ну и что?)

Советская политика «спотыкалась» на частностях — стилягах, битлах и... джинсах, выдавая все это за дурное влияние западной цивилизации. Понимая, что при всех потугах родной экономики отвлечь от буржуазных штанов нашу молодежь невозможно, начальство пошло на хитрый ход. В магазинах появились «техасы» — польского производства серые брючки, которые были призваны заменить буржуйские джинсы. Мне такие техасы купили, но они вечно мялись и быстро дырявились. Не то чтобы это воспринималось как трагедия, но зависть к носителям настоящих джинсов и обида на государство, не умевшее делать штаны лучше американских, остались.

В эпоху «джинсовой неполноценности» была популярна песенка Визбора о том, как встретились какой-то африканец и наш соотечественник — технолог Петухов. Африканец все время вопрошал, почему, мол, у вас и того нет, и сего, даже климат противный, а Петухов отвечал ему одними и теми же словами:

Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей.

Дескать, все-то мы умеем, а делать толком ничего не можем. За кордоном, конечно, хуже, но и коллективизацию делали американскими тракторами, и родное имя «Жигулей» — фиат. Признание, что «у них лучше», не отменили ни советские пятилетки, ни особая российская идентичность. Здесь уместно вспомнить другой анекдот, который появился чуть позже: после осмотра одного советского завода японской делегацией у гостей спросили об их впечатлении, те все время восхищались, какие у нас красивые дети, а в конце добавили: но все, что вы делаете руками, никуда не годится. Версия того же анекдота: на вопрос, насколько мы от вас отстали, улыбчивые японцы ответили — навсегда.

К истории я прикоснулся в третьем классе, когда читал изобиловавший цветными иллюстрациями учебник по этому предмету аж для пятого класса. Там много рассказывалось про несчастных рабов и была на всю страницу картинка босой рабыни с маленькими мальчиком. Рабыня выглядела красивой и, скажем осторожно, очень женственной (сексуальной, но думать так я тогда не умел и не смел).

Хозяевами таких рабынь и рабов были *рыбовладельцы* — поначалу я читал небрежно, путал буквы и удивлялся, почему рабами владели *рыбовладельцы*.

Отечественную же историю я сразу стал понимать правильно. Цари были злые. В учебнике они критиковались. Особенно за крепостное право. Исключением был Пётр Первый, которого похвалил даже двоечник из «Доживём до понедельника», сказавший, что, по его мнению, после Петра хороших царей у нас больше не было. Вообще про всю историю до 1917 года писалось только плохое. «Царская империя» приносила народу сплошной вред, мучая и угнетая его.

Несмотря на это печальное обстоятельство Россия побеждала то в Полтавской, то в Бородинской битвах, а также на Шипке. Но это было делом рук не царей, а великих полководцев: Суворова, Кутузова и адмирала Нахимова. Случались великие поэты —

Пушкин и Лермонтов, но от этих вредных для царизма стихотворцев он быстро избавлялся с помощью дуэлей.

Хорошими были, несмотря на свое княжеское происхождение, декабристы, которые «разбудили» Герцена. Герцена я не читал. Однажды начал «Былое и думы», но быстро заскучал. Были еще съездивший из Петербурга в Москву Радищев, а потом Чернышевский.

После декабристов пошли разночинцы, народовольцы, за ними наконец марксисты. Из старших классов мы усвоили Группу освобождения труда, которая состояла из Плеханова, Игнатова, Засулич, Дейча, Аксельрода. Состав легко запоминался по первым буквам фамилий. Революционеров сажали в тюрьмы и отправляли в ссылку. А потом родился Ленин, который быстро научил революционеров, как правильно бороться. Среди марксистов были большевики, которых было больше, и меньшевики, которых было меньше. Про разницу между первыми и вторыми долго рассказывали и в школе, и в университете, но суть разногласий проскальзывала мимо ушей. Ясно было только то, что большевики умнее и лучше. Об этом повествовалось в фильме «Ленин в Октябре». Благодаря Ленину большевики победили.

Потом была Гражданская война, потом коллективизация с индустриализацией, потом Великая Отечественная война, а после нее становилось все лучше и лучше. Про культ личности в учебнике не говорилось.

Такой истории нас учили и такой историей нас воспитывали.

Однако про то, что однажды произнесла моя бабушка — «при царе было лучше», — я почему-то не забывал. Это невзначай подготовило меня к критическому ее (истории) восприятию. Кто знает, может, при царе было и на самом деле лучше? Ведь, судя по статистике, Российская империя развивалась побыстрее, чем ее сегодняшняя правнучка. Но об этом мы узнавали постепенно, с опозданием лет этак на тридцать.

Вместо заключения

В детстве всякая голова пуста и радостна. В нее можно посеять все что угодно родителям, бабушкам, государству. На тех детских «грядках» многое засохло, что-то прополола жизнь, но что-то взошло, зацвело и растет до самой старости.

Воспитывали меня дома правильно. Без — ну, почти без — антисоветчины. Пастернаковский «Доктор Живаго», которого — в миниатюрном формате, с тончайшими страницами — кто-то провез из города Парижа в 1964 году и дал мне на два дня почитать, не понравился.

О сути происходившего вокруг я постепенно догадывался сам. И мечтал о том, что впоследствии, уже в зрелые годы оказалось перестройкой.

Замечательный актер Евгений Весник — мама с ним часто общалась — назвал свою книжку воспоминаний «Дарю, что помню». У Весника «подарки» куда круче моих. У него — розы, у меня — васильки. Но ведь у каждого свой кусочек памяти, который тоже может пригодиться тем, кому еще жить да жить.

Ася Умарова

Полка с чувствами

В одном из своих интервью режиссер Андрей Тарковский сказал: «Художник питается своим детством всю свою жизнь. Оттого, какое его детство, зависит, каким будет его творчество»¹. Для меня малая родина — это место, где сконцентрированы детские воспоминания. Это первое восприятие мира и ощущения, которые остаются с тобой навсегда. И если сегодня я окажусь в тех местах, где прошло детство, они не будут ничего значить для меня без прошлого.

Есть три малые родины, куда возвращаюсь мысленно снова и снова, — это Городовиковск в Калмыкии и два села — Кесалой и Пролетарское — в Чеченской республике. Но все по порядку.

Я родилась в Городовиковске и росла там до восьми лет. Летом и зимой наша семья ездила в село Пролетарское, где жили родители отца и матери. Мама тогда училась заочно в грозненском пединституте. До того она уже окончила педучилище и преподавала в школе. Если телефонный разговор мамы затягивался, она набрасывала на листочке бумаги незнакомку с волнистыми волосами и стрижкой «боб».

— Да, да, да, — говорила мама в трубку и настойчиво обводила карандашом воротник пиджака на рисунке.

А папа отучился в Городовиковске на зоотехника и работал в заготовительной конторе. Он иногда брал меня с собой на работу; на грузовике мы отвозили мясо в лабораторию, а там одна улыбчивая женщина под микроскопом его разглядывала. Иногда позволяла поглядеть и мне. Папа в кабинете заполнял документы, считал на калькуляторе и все время старался меня накормить. А когда был в особо хорошем настроении, рисовал карикатуры, изображая нас в виде смешных животных.

В гостиной у нас стояла «стенка», забитая книгами. Родители выписывали собрания сочинений любимых писателей. Папа читал детективы и приключенческую литературу, а мама — романы и русскую поэзию. Больше всего ей нравился Сергей Есенин, в доме на видном месте стоял его портрет.

Умарова Ася Рамазановна — чеченская художница и прозаик. Родилась в 1985 году в Калмыкии. Окончила филфак Чеченского государственного университета. Повести и рассказы публиковались в журналах «Юность», «Звезда» «Нева», «Дружба народов» и др. Автор сборников рассказов «Унесённая ветром» (Москва) и «Холодные патроны» (на арабском языке, Эр-Рияд). Живёт в Чеченской Республике.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 10.

¹ https://vk.com/wall-31579470_10379

— Самый красивый — Сергей Есенин, — повторяла мама. Они и внешне были похожи: голубые глаза и кудрявые светлые волосы.

За ужином обсуждали прочитанные книги. На нижней полке «стенки» стояли мои детские книжки. Родители никогда не говорили: «Вот, мы тебе купили книги. Ты обязана их прочесть». Я просто им во всём подражала и — читала. Это были немецкие, русские, английские, дагестанские, восточные сказки — сказки народов мира. Поэтому я росла с пониманием того, что существуют различия между конфессиями и культурами. И у нас дома собирались люди разных религий и национальностей, и я дружила с такими же ребятами, бывала у них в гостях. У Арама ела клубнику в саду, а его бабушка сидела на диване и крутила ручку кофемолки. В их армянской семье часто пили кофе, а потом эту привычку переняли и мы.

А нашу немецкую соседку я однажды ввела в заблуждение. В первом классе я ножницами разрежала тетрадь пополам и решила записывать все, что увижу во дворе. Вдобавок связала для этого блокнота бежевую сумку, вышила на ней розовый тюльпан и прикрепила ляжку. Мама пересаживала цветы на клумбе, и я заметила на лопате мертвого червячка. «Мама, ты его убила!» — воскликнула я. «Отойди», — спокойно ответила она. Я записала: «Червяка убили». Но так как не знала еще всех букв, то напортачила и выбросила листок. Мы сходили в гости. Встречает нас вечером та самая соседка и выражает соболезнование, показывая изумленной маме мою бумажку: «Ну, как же. Ведь Увака убили. Вы мне записку оставили». Потом они долго смеялись.

По выходным было или шумно, или чрезмерно тихо.

— Тише. Не шумите. Папа читает, — шептала мама.

Мы в доме передвигаемся в носочках. А однажды с братом так галдели, что папа прогнал нас из дома, и мы так и стояли перед забором в носках, хихикали и боялись зайти. Подбегали дети и удивлялись. А когда мы рассказывали, что мешали папе читать, они в ответ вежливо улыбались.

Малая родина для меня — это воображаемая полка с чувствами, сотканными из воспоминаний. В прозе и в рисунках я придаю большое значение этому. У каждого есть такая полка, которая хранит истории из прошлого. Вот и моя «полка детства» — это полка той нашей «стенки». Я храню свои книги, как когда-то это делали родители.

Иногда меня спрашивают, на каком языке я думаю. Я мыслю картинками. Так было всегда. Сначала все представляю, а потом обращаю в слова. Набрасываю линером эскизы героев, ситуаций, символов и закрепляю кнопками поверх мудборда¹. В детском садике говорили по-калмыцки и по-русски, в первом классе — на русском, дома — чеченский и русский были равноправны. Мама пела мне перед сном русские колыбельные. С третьего класса я изучала арабский в сельском медресе, но научилась только читать и писать. А вот писать прозу могу только на русском.

Городовиковск. Папа забирает меня и младшего брата из садика позже всех. А уже дома сообщает, что маме сделали операцию, мы пойдем к ней завтра в больницу.

— А теперь — спать, — командует он.

Полночь. Отец дремлет перед телевизором. Мы с братом не можем уснуть. Не хватает маминой сказки на ночь. Как-то на душе без нее стыло. Мы капризничаем, плачем, канючим, что хотим к маме сегодня, а не завтра. Брат толкает папу, будит. Он спросонья наспех одевает нас и сажает на санки со спинкой, которые тащит за

¹ Мудборд — «доска настроения» (от англ. mood-board). Так называют презентацию, собранную из фотографий, иллюстраций, паттернов, слоганов, шрифтов и цветовых схем.

веревку, торопливо шагая через площадь Ленина. Тишина вокруг, никого нет. У больницы папа ссорится с охранником, который нас не пускает. Мы сидим и наблюдаем. Папа подтаскивает санки к забору. Помогает нам перелезть и перепрыгивает сам. Пробираемся к освещенному окну. Папа по очереди хватает нас и подкидывает перед окном. Оно расположено довольно высоко для первого этажа. Когда папа подбрасывает меня, то через стекло я мельком вижу маму. Она силится улыбнуться, но ей тяжело. Рядом с ней родственница. Папа, как клоун в цирке, подбрасывает нас по очереди, словно мы апельсины. Мы смеемся. Родственница сначала не понимает, что происходит. Затем смущенно закрывает лицо.

— Всё? Успокоились? Достаточно? — уточняет папа, и мы блаженно киваем.

Папа машет на прощание. Возвращаемся домой. Мне кажется, что счастливее семьи нет на свете. Улица холодная, безлюдная, громко скрипят резиновые подошвы папиных ботинок. Комья снега из-под обуви летят нам в лицо. А в душе такой восторг, такое тепло, и папа кажется таким огромным.

Помню, папа водил нас на новогоднюю ёлку к себе на работу. Оживленный зал. Но вдруг папа исчез. Началось новогоднее представление, мы зовём Деда Мороза. Он появился и протянул кулек с мандаринами и орехами. Я только ухватила, а он назад, в мешок. Расстроилась. А он опять дразнит, только вцепилась — обратно в мешок. Еще немного — и разревусь, потому что дети начали смеяться. Взглянула на Деда Мороза — и узнала отца. Борода на резинке, а щеки и нос накрашены помадой. Не могла в это поверить: конечно, я всё поняла неправильно, выдумала, что Дед Мороз — это папа; папа же работает в заготовительной конторе и доставляет мясо на проверку той улыбчивой женщине. И всё же с тех пор я смотрела на него как на волшебника.

Сирень возле нашего дома в Городовиковске, тутовник, груши, виноград, росшие в огороде. Если кто-то из знакомых бывает в этом городе, прошу сфотографировать наш дом, в нем уже давно живут другие люди. Помню вкус блинчиков, что приносила одна калмыцкая семья, жившая напротив. Помню резиновые шины, которые папа надувал насосом, чтобы мы плавали в алюминиевом глубоком «корыте». Нашу оранжевую палатку, с которой ходили на озеро, где цвели камыши. Папа ловил раков. Попадая в кипящий котелок, они становились оранжевыми. И солнце тоже было оранжевым. Папа хватал оранжевого рака и гонялся за нами вдоль берега.

Пролетарское. С мамой встречаем ее отца — дедушку. Стоим у лесополосы из акаций, а впереди большая отара овец, дожидаясь, пока пройдут. Поднимается пыль. Мы кашляем. Появляется дедушка в лиловой тюбетейке, с посохом и сумкой. Его жена, моя бабушка, вяжет всем шерстяные носки. Дедушка каждое лето стрижет овец, а она обрабатывает эту шерсть и сучит из пряжи нитки, наматывая на веретено. Помню вид бабушки со спины, как она сидит на деревянной скамейке, растягивает кудель, вращается веретено. Такое умиротворение. Седые волосы собраны и заколоты гребешком на затылке, на плечах цветастый платок и круглые золотые серьги в ушах. Вокруг летает овечий пух. Она поет грустные народные чеченские песни. Одна про девушку из Кесалоя, чей парень ушел на Великую Отечественную. Вокруг снуют кошки, играют с клубками. Рядом стоят блюда с молоком.

Мама тоже умеет вязать. Она вязала свитера и жилеты — папе, мне, брату, родственникам, ну и — себе. Каждый раз надо было непременно сфотографироваться

на память в маминой обновке. В фотостудии, просматривая готовые фотографии, а они были черно-белыми, мама в сердцах восклицала:

— Узора не видно на свитере, узора! А я так старалась.

Бабушка пекла воздушные лепешки на кефире, варила кукурузную кашу, фасоль и делала из молока сметану, творог, сыр. Когда ее навещали внуки, шупала наши бицепсы. Так она оценивала наше здоровье. Если внуки худые, то должны непременно съедать все что в тарелке.

Дед моего отца носил бежевую шляпу с полями, кирзовые черные сапоги, брюки галифе, серый пиджак и посох держал горизонтально за спиной, продев под локти. «Чэо!» — как будто с каким-то иностранным акцентом восклицал он, погоняя лошадь. Мне нравилось кататься в его деревянной бричке. Особенно в яблоневом заброшенном саду, где он косил высокую траву. Листья и яблоки хлестали по лицу, когда дедушка погонял лошадь, лучи света пронизывали кроны деревьев. Было такое ощущение, будто искупалась в душе из солнечных бликов. Мне казалось, что у бабушки самая интересная работа на свете. Но больше всего он любил спать — он засыпал стоило ему очутиться на диване или в кресле. Однажды он пас коров. Постелил плащ на траву и уснул. А когда пробудился, приподнял плащ, а под ним — змея, но она живо уползла. Его любовь поспать обросла легендами.

Мне кажется, по-настоящему я встретилась с родиной и поняла смысл этого слова только после встречи с селом Кесалой. Это село, откуда выслали в 1944 году моих бабушек и дедушек в Казахстан, где потом родились папа и мама. Отец маминой мамы был председателем колхоза в этом селе, на границе Грузии и Дагестана. Впервые после выселения они побывали в нем через пятьдесят лет. Это случилось благодаря папиной маме. Она болела, ей ничто не помогало, и она попросила: вот если бы я оказалась в Кесалое, непременно бы выздоровела. Папа поехал туда вместе с родственниками и друзьями и наспех соорудил землянку. Когда повезли бабушку, взяли и меня. Мы оставили машины в Шарое и арендовали осла — на случай, если бабушка устанет. Я впервые увидела высокие горы, густо поросшие деревьями. А в Кесалое — березы. Увидела туман. Такое густое белоснежное море, что невозможно было ничего разглядеть на метр впереди. Я и фильмы Тарковского люблю отчасти за то, что там много туманов, напоминающих мне о Кесалое. И мультфильм «Ёжик в тумане» тоже люблю. В университете прозвали меня Ёжиком В Тумане, потому что всегда мыслями где-то витаю.

Узкая тропинка вела к нашей землянке. Бабушка остановилась. Она задыхалась. Усадили ее на осла, но через несколько метров тот запрямился и встал как вкопанный.

— А ну, залезай ко мне на спину, — скомандовал папа бабушке.

Она засмеялась:

— Ты не выдержишь, я же толстая. Да что ты выдумал, — охала бабушка, но послушно вскарабкалась папе на закорки, обхватила его шею, а папа подхватил ее ноги.

— А ты не думай об этом, — ответил он. — Представь, что я твоя лошадка. Говори: «Но! Но! Поехали!»

Папа еле шел по узкой вертлявой тропинке, да еще и я цеплялась за его брюки. Стало жалко папу, ведь ему было тяжело. Но он ради своей мамы был готов на все. Она была единственным человеком, которого он слушался независимо от логики и здравого смысла.

В самом Кесалое бабушка побывала в местах, где раньше жила с семьей, у мечети, на кладбище. Больше всего ее восхищала горная речка, чьи берега были усеяны гигантскими белыми валунами, а между ними росла дикая малина. Папа собирал ягоды пригоршнями и угощал нас с бабушкой. Маленький двоюродный братик попросил малины, а он в ответ, как ребенок, пожадничал: «Сам рви. Это — Асе». Стало неловко, наверное, мальчик обиделся. Бабушка считала, что у речки воздух особенный и легче дышится. А дедушке настолько там понравилось, что они переехали жить в землянку.

В Кесалое водятся волки, медведи, змеи и орлы. С ними связаны многие легенды. Рассказывали, например, что когда-то двое мужчин услышали рев медведя. Они по голосу определили, что тот просит о помощи. Медведь приблизился и протянул окровавленную лапу, из которой торчала острая ветка. Они вынули ветку и обработали рану травяным настоем. Раньше носили с собой лекарственные настои вместо аптечки. Один мужчина оторвал рукав от рубашки, и они замотали медведю лапу. Потом велели ему через день прийти на то же место, в то же время. Часов тогда ни у кого не было, ориентировались по солнцу, по восходу и заходу. Через день медведь дожидался их на том же месте. Они обработали рану и обвязали новой тряпкой. А медведя попросили больше не приходить, так как лапа уже заживала.

Папа отличался тем, что всегда держал слово. Не знаю, как можно вот так рассчитать возможности и понять, что ты можешь сделать, а чего — нет. За всю его жизнь ни разу не было, чтобы папа не сдержал обещание. Когда он привез нас с братом к дедушке в землянку, в Кесалой, во время войны в Чечне, я хотела его спросить, когда он придет за нами, но неожиданно выпалила ерунду:

— Я останусь без подарка на Новый год?

Папа сказал, что подарок будет. Недели через четыре, поздно ночью, он появился в землянке и принялся доставать из рюкзака гостинцы: мне, брату, двоюродным братьям и сестрам. Дедушка ругал его за то, что он так рисковал, говорил, что он сумасшедший. А папа ответил: мужчина должен держать слово.

Когда после встречи с нами папа возвращался через разрушенный Грозный, он попал под обстрел. Одна мамина знакомая спасалась с семьей и, выезжая из города, заметила вдалеке белую папину машину, по обе стороны которой рвались снаряды. Отец пытался справиться с управлением. Он беспорядочно крутил руль, комья земли от взрывов барабанили по капоту. Машину подбросило, и она завертелась как юла. А когда, наконец, остановилась, она увидела, как отец утирал слезы рукавом свитера. И тогда все, кто был с ней в машине, тоже заплакали. Им показалось, что он уже не сможет выбраться. Но папа собрался, резко выжал педаль и стремительно рванул вперед. Я никогда не видела папу плачущим, но слышала про это две истории.

Папа был главой села Кесалой и умер в 2003 году в этом же селе. У него просто остановилось сердце. С тех пор я ни разу не была в Кесалое. И вряд ли побываю. Мне тяжело даже представить это, потому что тамошние красивые горы с березами и малиной забрали у меня самого близкого человека. Говорят, та землянка, где мы жили, давно провалилась, сровнялась с землей, а крыша поросла травой.

Наверху нашей «стенки» всегда возвышался большой деревянный орел. Для папы было важно, чтобы эта птица «жила» наверху. Это давало ощущение полета, легкости. Это был его мудборд. Орлы летали над Кесалоем.

— А ну, вон до того дерева и обратно! — скомандовал как-то папа мне и брату ночью, даже не взглянув на нас. Все его внимание было приковано к отдаленному дереву. Тишина пережеглась кваканьем лягушек, гулом, доносившимся из села Пролетарское.

— Пап, страшно же, — заканючили мы.

Он знал, что мы боимся темноты.

— Ничего не хочу слышать! А ну, вон до того дерева и обратно, — повторил он, подбоченясь и глядя на дерево.

Мы с братом, совсем маленькие, бежим что есть силы, обнимаем дерево — и обратно. И как же мы были счастливы, что получилось, что смогли!

— Вот видите... А то страшно, страшно... Ну, не страшно же? — Папа обнимает нас, и мы плачем от счастья.

Как-то он вернулся с работы без продуктов, но набрал в горах облепихи, чтобы не приезжать домой с пустым рюкзаком.

— Это облепиха. Знаете, она очень полезная! В ней столько разных свойств и витаминов! — рассказывал папа, доставая из рюкзака ветки с оранжевыми ягодами.

Папа и после смерти навещает меня во сне с этим рюкзаком. Достает из него торт, фрукты, сладости и жаждет накормить, как раньше.

Во время стажировки у бельгийских художников в Музее современного искусства в Генте я долго искала среди красок, кистей и карандашей ластик. Наконец, подошла к художнице.

— Зачем тебе стёрка? — удивилась она.

— Как... Если будут ошибки, я должна стереть и исправить.

— Зачем? Ошибки — это прекрасно, — улыбнулась художница.

С тех пор я почувствовала в работе на бумаге свободу, которой мне так не доставало. И если бы сегодня явился волшебник и предложил ластиком стереть некоторые моменты из детства, я бы ни за что не согласилась.

Туман сгущается над моей «полкой с чувствами». Из-за гор эхом зазвучали тоскливые песнопения покойной бабушки, а мимо мчится покойный дедушка на бричке. Встаю на цыпочки перед освещенным окном, пытаюсь дотянуться до мамы в послеоперационной палате. Надо мной парит деревянный орел, что стоял на нашей «стенке». Мимо проносится белая папина машина, вдоль которой падают с неба бабушкины бежевые клубки пряжи, а следом — бабушкины кошки, они ростом с папу. Вторая покойная бабушка сидит у горной речки среди белых валунов рядом с медведем, у которого перебинтована лапа. Падает с неба малина вместо дождя, и я слышу папин голос: «Это для Аси». Лакомлюсь малиной и гуляю вдоль книжных полок, между которыми колышутся на ветру тюльпаны, связанные бабушкой, мамой и мной.

Ганна Шевченко

Игра в слова

Когда мне предложили написать о своей малой родине, я подумала: ну кому интересны чужие сны, фантазии и воспоминания о детстве? Но вот выдался спокойный день, текущая работа сделана, читальный зал пуст — я дежурю на кафедре и играю в слова.

Мои родители познакомились и поженились в городе Советске Калининградской области. Мама попала туда по распределению после ленинградского медучилища. Папа служил в армии младшим офицером после военной кафедры Донецкого политехнического института. Когда мама мной забеременела и пошла в декретный отпуск, отец привез ее к себе на родину, в село Камышатка Шахтёрского района Донецкой области.

Бабушка Аня с дедушкой Ваней жили там с начала 50-х годов. Познакомила их война. В 1941 году они были подростками — дедушке 17, бабушке 16, — и мобилизации не подлежали. Жили в разных областях, бабушка в Донецкой, дедушка в Полтавской. Но когда фашисты оккупировали Украину и погнали эшелоны с молодежью в немецкие трудовые лагеря, судьбы их пересеклись. Они попали в один лагерь в соседние бараки, работали у станков друг напротив друга. В свободное время заключенным разрешалось писать письма, играть в карты, читать газеты. В газетах встречались кроссворды. Бабушка рассказывала, если они с подругами не могли разгадать какое-нибудь слово, то бежали в мужской барак к Ване Шевченко — он всегда все знал. Они оба — и бабушка, и дед — до войны окончили педучилище, и бабушке ужасно нравился самый умный парень лагеря, хоть был он тогда тощий и невзрачный.

В 1945 году, когда Красная армия вошла в Германию, молодежь освободили. Девушки вернулись на родину, парней забрали служить в армию, добивать фашистов. Прощаясь, бабушка и дедушка обменялись адресами, и спустя некоторое время приехал Ваня к своей Ане в поселение Ольховатка Донецкой области.

Бабушка сразу его и не узнала — он после лагеря отъелся, возмужал, раздался в плечах, вырос на полголовы. На нем была красивая военная форма, а на груди медаль «За освобождение Берлина». Бабушкины подружки шептались: «К Нюрке генерал приехал». Поженились. Дедушка забрал бабушку к себе на Полтавщину. Там они прожили несколько лет, там родился их первенец — мой отец. Но жилось им нелегко: ютились в небольшой съемной комнате, и денег едва хватало.

И вдруг бабушка получила письмо от своей матери, что в соседнем селе Камышатка строится новая школа и набирают молодых учителей и даже дают собственное жилье. Молодая семья тут же собрала вещи и отправилась в путь. Так они оказались в моей любимой Камышатке.

Сначала администрация выделила им небольшую хатку-мазанку. Там они прожили лет десять. На моей памяти это был курятник. А бабушка с дедушкой, взяв ссуду, построили красивый светлый дом.

Село со всех сторон окружено холмами. Они наплывают один на другой, сдерживая степные ветра. В самой низине течет узкая речка. Вдоль реки по обоим берегам растут вербы. Думаю, с высоты птичьего полета они похожи на соцветия брокколи — такими монолитными, плотными и сочными кажутся эти деревья. От реки ко дворам тянутся длинные огороды.

Дома тогда строили однотипные: кирпичные, выбеленные известью, с высокими темными фундаментами и серыми шиферными крышами. Перед окнами разбивали небольшие палисадники. Ставни и двери дедушкиного дома были покрашены синей краской. Перед крыльцом — небольшая асфальтированная площадка, за ней клумба с пионами, лилиями и ночными фиалками. К летней кухне пристроили беседку. После того, как бразильские сериалы хлынули на экраны телевизоров, пристройку стали называть «бунгало». Летом от солнца спасали яблоня и груша, посаженные между верандой и калиткой. Сорт яблони никто не знал. Это было мое любимое дерево — ветки его располагались так удобно, что я забиралась на толстый сук и сидела там, наблюдая за суетой во дворе: как бабушка подметает асфальтовую дорожку, а дедушка точит тяпку, готовясь к прополке. Яблоки на этой яблоне вызревали такие сочные и душистые, что соседи с удовольствием уносили домой по ведру — несмотря на то, что у каждого имелось по несколько яблонь и свой урожай зачастую девать было некуда.

За вагонеткой росла груша. Здесь дедушка устроил для меня бассейн: забрасывал в вагонетку шланг и качал из скважины родниковую воду. Когда солнце ее нагревало, я проводила там самые жаркие часы, визжа и разбрызгивая по двору светящиеся капли. Грушу дедушка называл «одеколонной» за странный парфюмерный привкус. В августе плоды наполнялись соком до треска, и стоило запустить зубы в спелую грушу, сок заливал подбородок и слышалось жужжание пчел, слетевшихся на аромат.

Сохранились фотографии той поры, сделанные в летнем дворе. Длинноногая мама с русалочьими волосами и миловидным лицом сказочной Алёнушки стоит в коротеньком платьице, прильнув к молодому отцу, а он обнимает ее за плечи и сверкает ямочкой на щеке.

Наша молодая семья занимала самую теплую комнату. У противоположных стен стояли кровати, разделенные столом и креслом. В изножье детской кровати от угла до двери тянулась книжная этажерка, собранная дедушкой из крашенных досок. В противоположном углу находился Порт-Артур — так бабушка называла место под вешалкой для одежды. Свое название этот закуток получил из-за хаоса. Чего только не было в этой маленькой кладовке: старые газеты, журналы, дедушкины безрукавки, которые зимой он надевал под пальто, бабушкины калоши, бурки и пуховые платки.

Печь стояла в кухне, а кирпичная груба выходила к стене рядом с детской кроватью. Зимой я могла спать без одеяла и не замерзала даже под утро, когда печь прогорала и во всем доме становилось прохладно.

Под окном росла узкая полоска вишняка, за ней виднелся огород — он широким полотном спускался к реке. Летом я засыпала под мирное кваканье лягушек, а просыпалась от пения петуха. Ближний надел огорода бабушка засаживала кукурузой. В июле я тайком от бабушки срывала недозревшие початки с шелковистыми волосами и играла в принцесс. А в августе, когда кукуруза созревала, бабушка варила зрелых «принцесс», и семья съедала их на ужин.

В расцвете лет бабушка была первой модницей села — делала химическую завивку, красила губы, носила туфли с квадратными носами и лаковый ридикюль. Дедушка был довольно крупным мужчиной с добрым простоватым лицом, одевался в светлые рубашки и мешковатые пиджаки. Бабушка, женщина нервная, всегда с тревогой ждала чего-то недоброго и часто раздражалась по пустякам. С возрастом

врачи стали ей выписывать успокоительные препараты. Дедушка же, напротив, был уравновешенным и юморным, он заземлял электричество жены ровным настроением или шутивными выходками. Начнет, бывало, бабушка что-нибудь раздраженно выговаривать деду, а он станет посреди комнаты да как мяукнет мультипликационным голосом, и все начинают хохотать.

Мама, отсидев со мной полтора года в декретном отпуске, пошла работать фармацевтом в соседний поселок. Бабушка к тому времени вышла на пенсию, и я оставалась с ней. Всю свою жизнь она проработала учителем младших классов. Дедушка к тому времени уже был директором и преподавал историю. Когда бабушка плохо себя чувствовала, он брал меня на занятия и сажал на заднюю парту или за директорский стол в своем кабинете. Мне нравилась эта диковинная комната с красным флагом в углу, гигантским столом и россыпью интересных вещей на его поверхности: дыроколом, чернильницей, перьевыми ручками и небольшим гипсовым бюстом Ленина.

Однажды завуч привела в кабинет старшеклассника и положила на стол отобранную во время урока колоду карт. Дедушка спросил, не играл ли он на деньги. Мальчик отрицательно замотал головой. Дедушка отпустил нарушителя и положил карты себе в карман, а вечером, после ужина, учил меня играть в подкидного дурака.

Я очень любила бабушку и дедушку. Часто, забравшись к деду на колени, я просила рассказать «про царей», и дедушка описывал одного за другим русских правителей: в каком году родился, отчего умер, и кто после него пришел на престол. Я слушала эти истории, как волшебные сказки. Еще дед наизусть читал поэмы Некрасова, стихи Пушкина и Тютчева. Но нашей любимой игрой были «путаные истории». Когда мама вечером начинала готовить меня ко сну, я кричала из своей комнаты «дедушка, спаси меня!», и дед забирал меня к себе. Мы лежали обнявшись, и дед убаюкивал меня сказочными импровизациями: «Посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая, стали ее тянуть, а оттуда курочка Ряба как выскочит, да как пукнет!» Я хохотала на весь дом, а потом, успокоившись, засыпала у дедушки под боком. После отец забирал меня и, спящую, уносил в детскую кровать.

Папина сестра тетя Люда жила с мужем в Краматорске, но они с семьей часто приезжали в село к родителям и оставляли погостить сына Вовку, моего двоюродного брата. И тогда дедушка доставал с полки свои энциклопедии и тренировал нашу с братом память, заставляя на скорость заучивать названия рек, морей, стран, имена государственных деятелей. Президента Заира, руководившего республикой в те времена, помню до сих пор — его звали Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга. Пишу по памяти, честное слово!

Когда мне исполнилось пять лет, отцу, как молодому специалисту, шахта «Булавинская» выделила двухкомнатную квартиру. Мне ужасно не понравилось это место. После дедушкиного белоснежного дома, окруженного садами и заливными лугами, новая улица, где стояла наша двухэтажка, напоминала трущобы для бедняков из сказок Братьев Гримм. Рыжий сталинский дом был окружен облупленными сараями, кусками покосившегося выцветшего забора и небольшими летними самодельными кухоньками, похожими на ведьмины избушки. Как только мы перебрались в новую квартиру, родилась младшая сестра Таня и меня отвели в детский сад. Это было ударом. Выросшая на сельских просторах среди дедушкиных яблонь и бабушкиных пионов, водившая дружбу исключительно с цыплятами и кошками, я не смогла вписаться в казенную жизнь и, как дикий зверек, держалась особняком. А когда воспитательница пыталась уложить меня в постель на послеобеденный сон, я представляла, как кричу: «Дедушка, спаси меня!» Но дедушка не приходил. После нескольких недель стресса меня отвезли обратно в село, и к родителям я окончательно переехала только перед школой.

Но с этим переездом сельская жизнь для меня не закончилась — все свои школьные каникулы я проводила у бабушки с бабушкой. Сюда же приезжал и двоюродный брат Вова, и наши подростки младшие — моя сестра Таня и Вовкин брат Лёша. В соседские дворы к бабушкам и дедушкам привозили внуков из разных городов и все мы, сдружившись, проводили каникулы большой компанией. В солнечную погоду резвились на купальне. Речушка была узкой, метра три-четыре шириной, но по берегам росли тенистые вербы, дно устилал песок, и в самых глубоких местах вода доходила до шеи. Текла она вдоль нижних огородов, и у каждого двора была своя купальня. Нам полюбилось место, где в воду вдавался огромный пенёк — с него ныряли «рыбкой» и «бомбочкой». Вода была прохладной даже в самую жарку пору. Нароботавшись с утра в огородах, мальчишки и девочки мчались к реке и прыгали в воду на полной скорости, а вынырнув, как норштейновские ежики, плыли на спине по течению, глядя на деревья и небо.

Я помню это ощущение счастья, когда изнуренное тело взрывает воду, а потом вдруг наполняется свежестью и покоем. Мне казалось, вместе с сияющими каплями вокруг разбрызгивается широкая, восторженная душа, рвущаяся из маленькой детской груди.

Так проходило каждое лето. Мы помогали в огороде своим старикам, купались в реке, носились шумной гурьбой на велосипедах по окрестностям, строили шалаши, играли в выбивного, в футбол, в прятки, ставили дворовые спектакли для своей родни. Какое счастье, что тогда еще не было интернета и наше детство прошло на природе, а не в виртуальной реальности. Недавно шла по большому торговому центру и наблюдала, как бабушки выгуливали детей в игровой зоне. Комфортные батуты, пластиковые полосы препятствий, скалодромы с мягким ковролиновым покрытием, имитирующим траву. Люди одомашнили себя окончательно. А в нас сохранялась еще хоть капля дикости. Но однажды мы выросли, и все закончилось.

Когда бабушка и дедушка умерли, отец продал дом — кто будет жить в селе, где нет работы? Там поселилась молодая семья: муж, жена и двое детей. Семья оказалась пьющей. Приехав в 2010 году из Москвы, я попросила отца свозить меня в Камышатку, посмотреть на любимые места и сходить на могилу к старикам. Картина, которую я увидела, была удручающей. Калитка свалилась с петель, забор покосился, краска на ставнях облупилась, некогда белые стены стали серыми, беседку разобрали на дрова, а от обильного палисадника осталось несколько клочков любимых бабушкиных флоксов.

А в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт, кто-то из папиных знакомых, побывавших в тех местах, рассказал, что жильцы жаловались на военных — мол установили «Грады» прямо в огороде и помяли всю кукурузу. Это последнее, что я слышала о своей малой родине.

Евгений Ямбург

Горевание

Памяти Марианны Гончаровой

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностью: были.

В. Жуковский

Завершила свое земное существование Марианна Гончарова.
Закончил свой земной путь большой писатель — Марианна Гончарова.
Перед лицом этой последней данности остается молчать, скорбеть и горевать.
Ибо где найти слова для передачи той боли, которую не передать словами.
У Марианны такие слова были — ВОТ КАК ОНА САМА ПИСАЛА О СМЕРТИ.

«...Кого ни спурносишь, на кого ни взглянешь, на челе каждого нормального взрослого, а иногда и не очень, человека, есть печать невосполнимых потерь. Не о деньгах я сейчас, не об имуществе.

Я о людях. Об ушедших людях. Нет, не от вас ушедших, не из вашего дома в другой, а вообще — из мира. Из дней и ночей. Из осени и весны. Из времени вашего общего ушедших. Навсегда.

Такие потери есть и у меня.

Одна странная знакомая говорит, что боится прощаться и провожать уходящих в иной мир людей. Она в своей довольно уже длительной жизни не провожала и не прощалась вообще и ни с кем, а было довольно много тех, кого следовало бы ей оплакать. Лида — её зовут. Лида или по-другому, ну да ладно — она, эта всегда очень нарядная Лида, говорит, вот приду прощаться с человеком и понимаю, что это я в очередь становлюсь, что постепенно подвигаюсь всё ближе и ближе. Не хочу этого всего чувствовать. И не буду. Я боюсь. Я боюсь! И не говорите при мне об этом. Мне неприятно. Мне страшно. Так кричит и топает ногой Лида.

А мне не страшно.

* * *

Вру.

* * *

Да. Вру. Тут другое. Я не боюсь преодолевать этот страх, вот так верней. Владка, моя подруга, часто внушала мне, что про смерть можно и нужно говорить и даже шутить, смеяться нужно, потому что это ведь часть нашей жизни. Ну, финальная. К чему это умалчивание и скорбная почтительность? Ещё никто не был от этого застрахован. Так шутила Владка, да.

Резо Габриадзе, как он говорит сам, старик среднего возраста, в интервью “Радио Свобода” сказал:

“Уход — это серьёзное дело. Вы молоды, в вас кипит жизнь, и мои ответы будут вам непонятны. Лет через пятьдесят поймете. Если бы я умел разъяснять такие сложные вопросы... Прочтите Ветхий Завет и четыре Евангелия”.

Какой толковый и простой совет: “Прочтите Ветхий завет и четыре Евангелия”, иными словами, живите и думайте. Потому что для того, чтобы прочесть и, главное, понять Ветхий Завет и четыре Евангелия, нужны усилия ума и души всей нашей жизни. А уж когда будем уходить, тогда всё и поймем. Я уверена. Так вот. Прекрасные, благородные люди уходили. Покидали меня вселенные — незаменимые, значительные, родные, — уходили из земной жизни. Не со всеми ушедшими я успела попрощаться. Не потому, что боялась, как нарядная Лида, а в силу того, что не успевала я приехать вовремя, чтобы проводить к последнему пристанищу дорогого мне человека.

Ушли мои Зиновий и Полина, дедушка мой и бабушка из Одессы. Их надлежало отпустить в тот же день, ну так положено было, так они попросили оба. Ушла Наташа Хаткина, моя милая драгоценная подруга, писательница и поэт из Донецка. Умерла мамина учительница словесности, лучшая подруга, любимая Берточка. Ангел нашей семьи Берта Иосифовна Гинзбург. Благородная, интеллигентная, тоненькая и красивая, внимательно прислушивалась она, слегка наклонившись корпусом к собеседнику, с неизменной сигаретиной в углу рта — так она мне и запомнилась навсегда, наша Берточка.

Прямо на моих руках умер Чак. Товарищ мой верный, безмерной души и благородства рыцарь и защитник. Да, здесь, на Земле, он был собакой. Там сейчас он несёт привычную службу — ангелом. Не простым ангелом — ангелом-вестником, ангелом-проводником. И это доказано. Совсем недавно ночью он приходил к нам, тихонько царапнул дверь и вежливо поскулил. Это был точно он, наш Чак. Он всегда был интеллигентен и тактичен, наш Чак. Его услышал только мой папа, тогда уже совсем растерянный и больной. Папа с трудом поднялся и пошёл открывать. Мама проснулась и спросила:

— Боря, ты куда?

И папа ответил:

— Пришёл Чак. Надо открыть.

Папа вскоре ушёл вслед за Чаком.

Одна знахарка, добрая, светлая женщина Леся, как-то сказала мне, что не стоит волноваться и болеть душой о том, что умирающим одиноко и страшно там, в том самом тоннеле. “Нет, — сказала Леся — а она знала, о чем говорит, — нет, каждого, слышите, каж-до-го, и праведного, и грешного, встречают там и не дают пасть духом родные и знакомые. Никто не уходит в одиночестве — никого не слушайте”, — успокаивала Леся. Я представляю себе, как мой папа шёл робко и неуверенно, но ориентиром ему служил приветливый, пушистый рыжий хвост моей собаки. Чак и тут, на Земле, никогда и никого из нас не оставлял в беде. Что уж говорить о другом мире. И он привел моего папу к недавно ушедшему в безвременье брату. Они были хоть и погодки, но похожи как близнецы — не различить. И друзья были не разлей вода. В детстве их звали Бузя и Вузя. Бузя — это мой папа, Вузя — это мой Вова, папин брат. Два брата, да. Теперь они вместе.

Ушли Славинские, Татьяна и Юрий, красивые люди, люди великих дел и тяжелых страданий и ошеломительных поступков. Мы с ними только познакомились, и просто

не успели стать верными друзьями. А должны были, потому что очень совпадали. Не хватило у них времени, у Тани и Юрия.

Не всем я успела рассказать, как дороги они мне были, эти великодушные, праведные, пламенные, возвышенные люди. Да вообще — кто же говорит другому человеку так неестественно глупо по-киношному, например, за чаем или на прогулке — слушай, а ведь ты мне так дорог, знаешь ли. Да?

Папа бы меня просто засмеял. И Наташа. И все другие... И даже Чак бы хмыкнул недоумённо и отошёл бы в сторонку...

Конечно, они бы все смеялись, мол, чего это ты ударились в несвойственную нашей весёлой компании патетику: дедушка, Полина, папа, Вова, Славинские, Берта Иосифовна, Наташка, Чак... И Владка...»

(Из книги «Дракон из Перкалаба». Повесть о Владке Павлинской.)

Поэты — пророки, они заведомо знают обстоятельства своего ухода.

«И умру я не на постели при нотариусе и враче» (Гумилёв).

«Чьи-то локоны запутались в петле (Цветаева).

И Марианна, конечно же, ведала, что путь её недолог. Потому так спешила и создала невероятно много.

А я, к стыду своему, до поры даже не догадывался о существовании этого прекрасного автора. Но в конечном итоге всё решают волшебные встречи: с Богом, с человеком, с книгой.

Эта книжка попала ко мне волшебным путем. Роль волшебного почтальона сыграл мой добрый друг — замечательный аниматор Гарри Бардин. После презентации своей новой работы в киноклубе старшеклассников, уходя, он, ни слова не говоря, оставил у меня на столе маленькую книжечку. Скользя глазами по обложке и не увидев там его фамилии, я, откровенно говоря, забыл про этот подарок. Название книги «Тупо в синем и в кедах» также мало о чем говорило.

Так и пролежала эта книжка недели полторы, пока я не приступил к разбору книжных завалов на своём столе. Рассеянно начал листать невзначай оставленный классиком мультипликации подарок. Откровенно говоря, фамилия автора — Гончарова — мне тогда ни о чем не говорила.

Но с первых же абзацев я в буквальном смысле слова впился глазами в текст и с той поры полюбил книгу и автора раз и навсегда. Николай Карамзин повторял, что человек изображается в слоге своём. В книге Марианны Гончаровой поражали простота, нежность и занимательность слога. А ещё тонкое чувство юмора. Позже, прочитав всё, что вышло из-под пера этого автора — повести, детские сказки, юмористические рассказы, — я в полной мере оценил масштаб личности писателя.

Было ещё одно обстоятельство, которое зацепило меня не в меньшей степени, нежели отточенное литературное мастерство Марианны Гончаровой. Дело в том, что долгие годы жизни я посвятил так называемой госпитальной педагогике, организуя специальные школы для детей с диагнозами, угрожающими их жизни. Среди них большая часть — это онкологические больные. А главная героиня повести, Лиза Бернадская, внезапно узнаёт о своём страшном диагнозе.

Так вот, будучи профессионально глубоко погруженным в медицинские, психологические и педагогические проблемы этих детей, я не нашёл в повести ни одной (!) ошибки. Создавалось такое впечатление, что автор проработал с этими детьми долгие годы. Что, разумеется, невозможно, поскольку в Черновцах, где жила Марианна Борисовна, нет таких специализированных клиник, как в Москве. Одного таланта мало, необходимо глубокое и серьёзное изучение материала, чтобы не соврать даже в мелочах.

Трижды перечитав повесть, я попросил у Гарри Яковлевича телефон Марианны Гончаровой. И излил на неё весь поток захлестнувших меня эмоций. По дрожащему голосу почувствовал, что разговариваю не с мэтром, купающимся в лучах своего

таланта, но с живым и трепетным человеком. Согласитесь, ещё одна важная деталь в оценке личности писателя.

Жанр повести необычен: это повесть в письмах девочки и ответах её penfriend (партнеров по переписке), а также её дневниковые записи в Интернете. Избранный жанр важен, ибо он возвращает нас к «Письмам русского путешественника» Карамзина, а с другой стороны, текст пропитан острейшими современными проблемами: буллинг в школе, локальные войны, стигматизация (навешивание социальных ярлыков) и так далее. Не случайно подруга Лизы, девочка-чеченка, говорит героине: «Все мы беженцы. Мы — от войны. Ты — от болезни».

После третьего прочтения у меня родилась идея создать в школьном театре спектакль по мотивам повести «Тупо в синем и в кедах». Именно по мотивам, ибо одно дело — спектакль, а другое — инсценировка. Название пришло само собой: «Бледная Лиза». Отсыл всё к тому же Карамзину, но в современном контексте. Жанр — мюзикл, в котором должны присутствовать яркие вставные номера: чеченские, гуцульские, украинские, русские песни и танцы, отрывки из произведений Густава Малера («Болезненная девочка»), фрагменты из мюзикла «Ромео и Джульетта». О чем спектакль? О силе духа, которая помогает преодолевать физические и социальные недуги, о взрослении. А ещё о толерантности. Слово, которое сегодня у многих вызывает презрительную гримасу. Но оно легко заменяется русским словом «великодушие». Это то, что Достоевский в своей Пушкинской речи назвал всемирной отзывчивостью.

Год сложнейшей подготовки, построены необходимые декорации, но тут грянула катастрофа. Накануне спектакля пришёл приказ, запрещающий в связи с COVIDом все массовые мероприятия. Не скрою, я провел бессонную ночь. Как объяснить юным актёрам, что спектакль, к которому они готовились целый год, отменяется?

К слову сказать, в разгар пандемии, когда были закрыты все театры, замечательная актриса Алиса Фрейндлих записала рассказы Марианны: «Поликарповна», «Бабушка, к доске!» и «Зельман, тапочки!». Эти мудрые и пропитанные юмором рассказы звучали на радио, морально поддерживая жителей города в период вирусной блокады, как когда-то, во время блокады военной, моральный дух ленинградцев укрепляли стихи Ольги Берггольц.

Вот что было написано в анонсе, предшествовавшем чтению рассказов Гончаровой Алисой Фрейндлих:

«В мае 2020 года на сайте БДТ имени Г.А.Товстоногова в рамках "карантинного" радиотеатра великая, легендарная актриса Алиса Фрейндлих читает рассказы Марианны Гончаровой в цикле "Записки из Молескина"...

“Мне так удивительно, как чуткая Алиса Бруновна находит голосом, интонацией то, чего я вообще не придумывала, а оно там оказалось. Как она из смешного делает печальное, а из печального — очень смешное!” Этими словами поблагодарила великую актрису Марианна Гончарова — современная писательница, чьи рассказы Алиса Фрейндлих выбрала для своего аудиопрокта на портале БДТdigital.

“Добрая, нежная интонация этой писательницы сегодня нужна гораздо больше, чем какие-то драматические серьёзные вещи, которые сейчас будут синхронны с ситуацией, — считает Алиса Бруновна. — Я её открыла для себя и хочу просто поделиться с вами. Тот, кто знает её, будет рад ещё раз это услышать, а тот, кто не знает, может быть, проникнется и поощрит её книжки”, — признается актриса.

Но вернемся к нашей постановке. Было очевидно, что в режиме радиотеатра спектакль полноценно воспринят не будет.

Под утро пришло трудное решение. Мы будем играть спектакль в пустом зале без зрителей, но постановка будет транслироваться в Интернете. Юные актёры работали самоотверженно. А в Интернет пришли тысячи людей из России, с Украины, из Израиля и Америки. Среди зрителей известные деятели культуры, адвокаты и правозащитники, поэты и музыканты. Конечно же, постановку смотрели дети из наших госпитальных школ, разделяющие жизнь и судьбу Лизы Бернадской. Но самое

главное — спектакль смотрела и Марианна Борисовна. После постановки актёры получили возможность в онлайн-режиме услышать её нежную восторженную оценку.

Поразительно, но у меня, часто имеющего дело с гибелью онкобольных детей, казалось бы, закаленного человека, при известии о кончине Марианны подступил комок к горлу и задрожали пальцы. И это при том, что позади семьдесят лет жизни, а смерть уже давно бьёт по нашему квадрату, и большая часть моих ровесников давно на погосте.

И в сознании мгновенно вспыхнул вопрос ветхозаветного Иова: за что? за что страдают праведники? А Марианна, несомненно, из них. Когда я спросил Марианну, откуда это невероятное проникновение в психологию смертельно больного подростка, — это как костер, который обрушился на меня сверху, — ответила она.

Но такой огонь сжигает художника дотла. Почему? Всё дело в испепеляющем сострадании. Жена Максима Горького слышала стон и глухое падение тела мужа. Влетев в кабинет, она застала его лежащим навзничь на полу, почти бездыханным. Перевернув его на спину и с трудом приведя в чувство, она увидела красное пятно на его животе. До падения Горький описывал эпизод, когда бандит пырнул ножом в живот его главного героя, в которого он полностью перевоплотился. Такова сила воображения подлинного художника. Но красное пятно на животе было!!! Это то самое, что называется у людей верующих «стигмой».

Так и Марианна, которая приняла на себя боль девочки-подростка.

Горевание — процесс, который испытывают все после потери близкого. И в день погребения Марианны я открываю пятьдесят пятый центр, где проходят обучение с верой в выздоровление лизы бернадские. А врачующая книга Марианны уже распространяется по госпитальным школам.

Передо мной пронзительная и одновременно веселящая душу фотография. Как я уже говорил, из-за вспышки ковида юные актёры вынуждены были играть спектакль в пустом зале, без зрителей. Но он транслировался в Интернете. После представления мы вышли на связь с Марианной.

И повесть, и постановка — с открытым финалом. Лиза Бернадская в реанимации... Дальнейшая её судьба неведома...

Насколько я знаю, Марианна не собиралась писать продолжение. Но один из юных актёров во время видеоконференции задал детский вопрос. Выживет ли Лиза? Марианна на секунду задумалась и ответила: выживет и выйдет замуж за доктора Натана. Фотография запечатлела взрыв радостных эмоций актёров и их аплодисменты.

Последнее, что успела сделать перед уходом Марианна, — она написала двадцать четыре страницы продолжения повести. Марианна подарила жизнь Лизе и ушла сама...

Вот этот божественный текст. (Публикуется впервые.)

Сегодня, благодаря Интернету, читатель может познакомиться со всеми текстами Марианны Гончаровой. Но для тех, кто ещё не знаком с повестью «Тупо в синем и в кедах», необходимо сделать некоторые пояснения.

Кузя — ласковое домашнее прозвище мамы Лизы. Дима — прозвище папы. Мистер Гослин — прозвание обожаемого младшего братишки.

Прощение у родных Лиза просит за проявленную слабость. Оказавшись под прессингом школьного буллинга, в одной блузке она вылетела на улицу под холодный проливной дождь, после чего случился рецидив болезни.

Марианна Гончарова

Дневник Лизы Бернадской

Книга вторая. Фрагмент

* * *

Путь далёк мне...
Дальше как?
Путь далёк мне. Я уйду... Не так...
Путь далёк мне. Я пойду. Небо низко...
Путь далёк мне. Я пойду. Небо...

* * *

Путь далёк мне...
Я пойду...
Низко небо... Нет. Небо низко.
Ветер... Ветер злобен.
Травы... вялы.
Пал туман.
Призрак... счастья... тускл и дробен.
Жизнь... та-та-та-та... обман. А! Вот так: «томительный».
Жизнь — томительный обман... А дальше?

* * *

Путь далёк мне... Нет. Не вспомню. Не вспомню.
— Сделайте потише, посплю ещё! Спать хочу.

* * *

Пить...

* * *

Как громко! Кажется, Мишенька запустил волчок, и тот, весь наполненный чем-то, гремит и звенит. Слишком долго... Слишком громко. Ми-ша! Откуда у Мистера Гослина столько силы, что волчок его музыкальный никак не остановится, а звонит и трещит так резко и неприятно. Мишенька такой внимательный всегда, ласковый, зачем-то наделал столько шуму...

— Мишенька... — куда-то делся мой голос, и что-то мешает сказать. — Мистер Гослин... Сделай потише. Пожалуйста...

* * *

Собака играет с морем. Море играет с собакой. Волна невысокая, она добегают до берега, бьётся о парапет набережной и от резкого удара взлетает вверх кружевной сверкающей стеной, и в эту стену впрыгивает собака, кусает брызги и смеётся. А волна

Гончарова Марианна Борисовна (1957—2022) — писатель, журналист, переводчик, режиссёр. Жила в г. Черновцы (Украина). Автор многочисленных книг прозы, в том числе: «Этюды для левой руки», «Дракон из Перкалаба», «Дорога. Записки из Молескина», «Кошка Скрябин и другие», «Тупо в синем и в кедах. Дневник Лизы Бернадской». Лауреат литературных премий: Русская премия (2013, Москва), премия им. Исаака Бабеля (2017, Одесса), премия им. Владимира Короленко (2019, Киев).

резко с грохотом опадает на плиты и растекается. Собака какое-то время ждёт, что волна ещё вспрыгнет, поиграет с ней, трогает её лапой, лает: «Вставай! Вставай! Играть! Играть!» Но волна отступает... Море качается, хохочет, дразнит, н-на тебе, собака! И к берегу бежит следующая, молодая свежая сильная волна, бьётся о парапет и — ууууух! — опять встаёт сверкающая на солнце хрупкая водная стена... И неизвестно, кому веселей: собаке или морю. Морю или собаке.

Так продолжалось бы долго, но море устало, потяжелело, волны уснули. И собака просто сидит на набережной и смотрит, как садится солнце, как укрывается оно гигантским одеялом, из-под которого светится сначала яркая рыжая макушка, потом только горящий краешек, а потом...

— Эй, — вопросительно тявкает собака.

— Эй... — это сказала я.

— Завтра приходи, — прошелестело море, оно ворочается, удобно укладываясь в свои берега. — Будь здесь завтра. Поиграем.

— Буду, — ответила я.

Стемнело.

И я опять погрузилась в тепло и во тьму. Завтра, если вспомню, приду. Буду завтра. Если вспомню...

* * *

Кузя? Это Кузин голос? Что она говорит? Из-за эха я не могу её понять. Как в большом гулком пустом зале. Она говорит быстро, слова сбиваются в гулкий комок. Он гудит и звенит, слова в нём перепутались и сами себя повторяют. Не разобрать.

«Кузя! Просто! Говори! Медленней! И я пойму. Мам?! Что у тебя с голосом, всё же хорошо, — я хочу сказать, но не могу. — Чуть-чуть отдохну, посплю», — хочу я сказать. Но опять не могу. Мне мешает *это*. Из-за *этого* я не могу встать и записать в дневник про собаку и море. Откуда в моей памяти собака и море? Может, это я — собака. Или я — море? Спать хочу.

* * *

Кузя, почеси мне спину, Кузенька, я же — слонёнок. Почеси мне спинку. Ножки у меня ещё слабые. Хоботом коротеньким держусь за чей-то хвост. Слониха. Хорошая. Мама. Мы с мамой, тётушки мои, старшие сёстры и братья, мы все идём прощаться с убитым слоном. Мне страшно, очень страшно. Я ещё маленькая и боюсь увидеть смерть. Больно нам всем. Каждому из нас роздано боли поровну. Она, как горькая ярко-лиловая отравка, растекается по телу. У меня пока совсем мало тела. А горя досталось много. И мне нестерпимо больно. В глазах то темно, то яркие пятна. Старшие чувствуют мою боль. Они гладят хоботами мою спинку. Медленно и скорбно подходим мы к месту, где лежит убитый слон с отпиленными бивнями. Стоим и переливаемся ярким лиловым огнём, так в нас всех болит эта унижительная кончина патриарха, эти впопыхах спиленные кем-то бивни. Она саднит, ломает моё тело, мои ноги. Один за другим кланяемся и тихо печально уходим. Я ухожу последней. Мама подталкивает меня, и я опять путаюсь в своих ногах, падаю, кто-то помогает мне встать, я хватаюсь хоботом за мамин хвост. Мы идём, идём, идём. А он остаётся лежать. Большой. Беспомощный. Над ним кружат грифы. Я, маленький слонёнок, иду, спотыкаюсь и плачу от горя и боли. Я не могу этого осознать, понять, принять. Как взрослые слоны. И долго не могу успокоиться. Грифы эти... Ужасно! Страшно! Грифы...

* * *

— Слезы! — кричит чей-то голос, и потом опять шумно, громко, не разобрать.

* * *

Пыльно. Мне тяжело дышать. Я глотаю... Глотаю... Сглатываю. Пыль. Пыль. Вдыхаю пыль. Жую пыль. Я пыльная, древняя, седая и нечёсаная цыганка. Я сижу на обочине, иногда с трудом, устало и равнодушно поднимая веки, чтобы посмотреть на грязные клочья пыльного марева, повисшие на ветвях скрюченных деревьев.

Глаза мои затуманились, юбки давно потеряли цвет, я вся превратилась в неотделимую часть этой обочины с пыльными колючими низкорослыми кустами и выжженными солнцем, то там, то здесь, мелкими травками... Я сама воплощённая пыль. Пыль хрустит на моих зубах. Я с удивлением трогаю рукой пробившуюся на рассвете тонкую зелёную травинку, свежую, слабенькую и яркую. Я думаю, что завтра она погибнет под горячими лучами и превратится в мелкий колючий стебель, непригодный ни для чего. Сiju и постепенно превращаюсь в унылый карандашный рисунок, покрытый неряшливыми пятнами и быстро выцветающий...

* * *

Нет-нет. Я девочка. Понимаю. Человеческая. Маленькая.

И я понимаю — я ухожу.

Я жду, что там встретится мне оплаканный мною безымянный индийский слон. Он выйдет из молочного тумана мне навстречу. Сначала появятся мощные крепкие бивни, потом большая голова, потом — весь... Обнимет меня.

— А вот и ты, мой маленький слонёнок! — обнимет своим хоботом. — Ты плакала?

Я кивну, да, я плакала.

— Тебе больно? — спросит большой слон.

— Нет, — отвечу я.

Отличная у нас будет компания. Там не будет со мной *этого* и можно всё. Я выберу быть слонёнком. Возьму моего большого слона за хвост. И мы пойдём, пойдём, пойдём... Только вот чешется...

Мам, почеси мою спину, ну мам, ну Кузя!

* * *

Исследую себя. Брожу по своим сосудам как по незнакомому городу. Чувствую свою неподвижность. Из-за *этого*.

Между «там» и «здесь» обнаружила слой... пограничный... Знаю, чувствую, что я тут. Лежу. Я иногда чувствую это место, иногда нет — оно никакое. Ни-че-го... Сейчас я очень хорошо его чувствую. Нет, к понятию времени оно не имеет никакого отношения. Я здесь давно обитаю и всё исследовала. Я — в «ничего». Тут темно, спокойно, тепло. Иногда из «там» приходят знаки. Например, собака, слонёнок, пыль, шум толпы. А из «здесь» — звуки. Меня всё время кто-то зовёт и мешает спать. И ещё какой-то знакомый любимый голос... Не понимаю, разобрать не могу.

Бывает, что говорят все... Не знаю, кто они. Такое жужжанье и разноголосица как в... как... Забыла... Кто эти люди? О чём они? Не надо так громко. Голоса поднимаются вверх, вверх, там собираются в тучу и падают мне на лицо, на руки тёплыми каплями.

* * *

У меня где-то есть братик. Брат. М-м-м... Миша. Мишенька. Мистер Гослин. Почему «Мистер Гослин»? И где он? Если бы я услышала его голосок, потрогала его ручку, я бы...

* * *

Ночь... Почему всегда ночь? Кто вышивал по небу золотыми нитками? Интересно посмотреть его с изнанки. Все узелки остались снаружи — сверкают и подмигивают. Подмигивают и сверкают.

Здесь можно быть самой собой. Здесь можно понять время. А «там» времени нет.

* * *

Откуда-то странные ритмичные звуки. Откуда они? Кто их издаёт? Птица... Нет. Как будто молоточки из кузни. Нет. Это музыка. Музыка... Как давно я не слушала музыку.

— Лизочка... — Кузя что-то говорит, но её голос запутывается в узелках золотых ниток в небе. Я ничего не понимаю... Мне мешает *это*...

* * *

...Записать всё! Запомнить! Про голоса. Про собаку... Море... Слон. Убитый слон. Мне так важно всё-всё запомнить. И рассказать. Хоть кому-нибудь. Не могу. Не даёт *это*!

* * *

Кузя... Её голос. Она монотонно бубнит: «Чья не пылью затерянных хартий... Солью моря пропитана грудь, Кто иглой на разорванной карте...»

— Не спеши, — я хочу сказать... — а то слова опять собьются в комок.

«Отмечает свой дерзостный путь и, взойдя на трепещущий мостик, вспоминает покинутый порт, отряхая ударами трости... — Кузя всхлипывает и стонет... — Отряхая ударами трости... Отряхая...

Что случилось, Кузя? Ты забыла? Расстроилась? Я знаю, как дальше. Не плачь! — Я тороплюсь, чтобы успокоить маму, — ... ударами... трости... клочья пены... с высоких ботфорт... — хочу подсказать я, но мне мешает *это*... Как мне мешает *это*! Уберите! Уберите *это*! Там Кузя плачет! Скажите ей, передайте: «...ударами трости клочья пены с высоких ботфорт!» «...ударами трости клочья пены с высоких ботфорт!»

Почему *это* меня держит и мной руководит?! Моё тело, захваченное *этим*. *Это* во мне живёт, мной кормится, мной дышит... Я... Вот-вот и оно доберётся до моих мыслей. И тогда я перестану быть собой. Не хочу!

Что-то кусает меня. Укусило и держит... Жалит... Больно. Надо запоминать всё, что со мной происходит. Иначе *это* превратит меня в марионетку. В куклу. Я буду стучать ножками и ручками как... как кружевница — коклюшками.

Ну вот, застучали, застучали ручки, ножки...

* * *

— Лиза... — Кузя сказала и принялась вытирать моё лицо, моё тело чем-то влажным, горячим, приятным. Хорошо... Я хотела сказать: спасибо, мне хорошо, только пусть никто не смотрит и убери, пожалуйста, *это*... Мам, *это* мной управляет! *Это* не даёт мне пошевелиться, мам! Убери *это*! Я привязана *этим*. А Кузя кричит что-то о глазах, о пальцах... И сразу какие-то люди принялись жужжать. И все трогают меня. Ну зачем ты их позвала, Кузя? Укрой меня! Зачем они все здесь? Нам было так спокойно и хорошо. Все они кричат и суетятся. Опять что-то жалит меня. Укус очень печёт. И никто не уберёт *это*. Всё! Я спать хочу! Не надо ничего! Всё...

* * *

Холодно. Мне холодно. Из тёмной двери сюда прошла Лилит. Я долго не могла понять, кто эта женщина... Лилит же! Это Лилит, мама моей подруги... Лали... Лилит держит за руку мальчика. Маленького. Лет пяти? Мишенька?! Мистер Гослин? Мальчик прячется за спину Лилит и не хочет, чтобы я его разглядела. Они подходят ко мне, но ничего не говорят. Лилит смотрит мне в лицо, ласково треплет малыша по плечу, отходит к ряду стульев и садится. О, нет... это не Мишенька... Другой какой-то незнакомый мальчик. Сын Лилит? Значит, брат Лали? Младший? Кто же это? Мальчик остаётся стоять рядом со мной, с любопытством меня разглядывая. Спрашивает:

— Ты летала на самолёте? — И добавляет: — Я летел. Только недолго. Я думал, там интересно! А нет.

Я хочу его попросить закрыть двери, холодно. Но следом входят и садятся с Лилит рядом Полина и... Тони... Да, англичанин Тони. Потом в комнату входят Агния и с ней высокий молчаливый мужчина... Он подходит ко мне и спрашивает: «Лизок, помнишь, я подарил тебе море?» Дед! Это мой дед! Ещё какие-то люди идут, идут, садятся на стулья у стены. Кузя! Мистер Гослин! Маленький мой. Сосредоточенный. Серьёзная мордочка... А где Дима? — хочу спросить я. — И почему вы все тут собрались? Люди время от времени встают, уступают место другим входящим и хором кричат одно слово. То ли «пиши!», то ли «пляши!»... А мой дед и незнакомый мальчик разговаривают, мальчик хвастается, что он летал на самолёте, только недолго. С удовольствием глядя друг на друга, разговаривая про море и самолёт, они держат меня за руки с двух сторон.

И этот их ритуал или игра, вот удивительно, я понимаю, это странно, но покорно подчиняюсь их правилам. Они держат меня за руки, за пальцы, крепко.

Димы всё нет... Наверное, все ждут его, поэтому не уходят. И тут что-то происходит. Включается свет, становится немного теплей, и в комнату очень быстро, почти бегом, деловито входит такой... Такой знакомый! Такой замечательный, умный... весёлый... энергичный... деловитый. Такой обаятельный... И сильный... Я откуда-то знаю его. Птицы... Он точно сказал мне однажды «птицы». Почему? Кто он? Как его зовут?

Он подходит ко мне близко, но не глядит мне в лицо, говорит что-то уверенно и резко. Громко говорит и отрывисто. Как будто командует. И все, кто сидел, быстро встают и торопливо, не оглядываясь, смущаясь, стыдась, уходят. И дед, и мальчик тоже пошли, пряча глаза... Дед, куда вы уходите? Человек этот, ну который говорил мне когда-то «птицы», оглядывает пустую комнату, говорит «ну, так...» и тоже уходит. Размеренным пружинистым шагом, не оглядываясь. Я смотрю ему вслед и очень хочу, чтобы он остался, побыл рядом со мной, поговорил... И ещё хочу спросить уже заодно: «Кто вы? Как вас зовут?» И попросить убрать *это*.

* * *

«Кризис», — сказал кто-то рядом со мной. Чётко, ясно, без эха. Кризис! Но опять этот гул, топот и сотни голосов. Все кричат: «Пиши! Пляши!» И ещё кричат: «Кризис! Кризис!» Сумасшедшие какие-то...

ДНЕВНИК ЛИЗЫ БЕРНАДСКОЙ

Аудиозапись, тест, 10 октября 8.40

— Раз-два-три. Проверка. Это Лали. Мы с братом дарим Лизе этот корейский диктофон, сделанный как японский. Давай, Лизок, скажи что-нибудь историческое. Сделаем тестовую запись твоего голоса, генацвале! А через год сравним, да? Хрипишь ты сейчас, как прадедушка, дорогой моему сердцу, ворчливый как я не знаю. Давай, говори: «Это Лиза...»

— Это Лиза. Я... записываю... на этот диктофон... свой голос. Ужасный... Ко мне... пришла... Лали... Моя Ла...лечка... Я рада.

Лали? По...чему ты пла...чешь?

Конец записи. 1 мин. 23 сек.

Аудиозапись 12 октября 12.43

Говорю... ещё... медленно.

Лали...

приходит...

почти каждый...

вечер.

Позавчера...

она приходила...

ко мне рано утром...

и принесла...

мне по...дарок.

Дик...тофон.

Конец записи. 5 мин. 12 сек.

Запись 22 октября 15.01

Мне гораздо лучше. Ко мне приходил Мишенька! Он сел рядом со мной, не побоялся. Сидел, и пока мы с Кузей и Димой разговаривали, смотрел на меня пристально, рассматривал. А потом вдруг резко прижался ко мне всем тельцем. И мордочкой потянулся к моему лицу. Я видела, что у него слёзы в глазах и он сдерживается. Я видела... Но что ж такое — моя душа не отзывается... В другое время я бы уже рыдала. А сейчас... Я понимаю, как бы это сказать, теоретически... Мне жаль его теоретически... Моё сердце

дрогнуло один разочек, когда я услышала его торопливый топоток ещё в коридоре. Приходили Полина с Агнией, Лали с Лилит. Я понимаю, что должна быть рада. Очень рада. Что вижу их всех. Но не понимаю, почему у меня внутри пустота и ничего ни на что не отзывается...

Конец записи. 3 мин. 17 сек.

Запись 30 октября 18.10

Сегодня тридцатое октября. Я в больнице, но уже в обычной палате. Говорить больно. Мне кажется, что... моё восстановление... остановилось. И вчера было хуже... чем позавчера. А сегодня хуже... чем вчера. И не хочется... говорить... Поэтому будет медленно и глупо. Больше не могу... Всё.

Конец записи. 3 мин. 23 сек.

Запись 26 ноября 12.07

Было так.

— Дыши, Лиза! — приказывал мне кто-то. — Дыши! — кричали разные голоса. Я тогда слышала гул, вроде даже знакомый, как на вокзале или где? И увидела Кузю. Над моим лицом. Она заливалась слезами и смеялась, прижав кулачки к щекам. Надо мной суетились люди... Женщины. Какой-то человек... В пижаме, тогда мне показалось... Нет, это был такой костюм специальный. Который носят врачи. Я была в реанимации. Я не спрашивала, как в кино: «Где я». Сразу поняла, что лежу не просто в больнице, а в реанимации. Я не знаю, сколько я спала, но мне кажется, что мне знакомы эти ширмы, эти стойки для капельниц, эти люди и этот доктор. Знакомое место. Знакомые запахи. Опять в больнице. Ощущение было неприятное ещё и от холода. Меня трясло. И рот сводило от холода. Сейчас я понимаю — это была паника из-за того, что я опять попала в больницу.

Кузя как будто услышала меня и наклонилась надо мной, приговаривая:

— Лизок, не бойся, у тебя просто двустороннее воспаление лёгких... И больше ничего.

Правда.

— Ничего себе «просто»! — проворчал доктор.

У меня во рту и дальше, в горле и ниже в груди, была трубка.

Конец записи. 10 мин. 52 сек.

* * *

В тот день я покрутила подаренный диктофон в руках. Если можно называть это «покрутила». У меня были очень непослушные пальцы. И всё тело. Да и сейчас... Но Лали тогда велела: «Записывай репортажи о своём здоровье, о температуре и самочувствии, о настроении и планах. Раз не можешь ручкой, карандашом или на компьютере, записывай голосом. Потом самое интересное перепишешь в компьютер. Или в свой дневник». Лали на днях обещала принести мне мой старый дневник, мою потрёпанную тетрадку, которую Полина велела завести для... не помню, для чего. Для реабилитации, социализации после лечения? Или для сочинений по английскому? Не помню. И когда у меня появятся силы, я должна буду прочесть, что же случилось потом... когда... Потом... Не могу. Сил нет пока. Поэтому Лали пока не приносит мой дневник. Она поступила в медакадемию и очень обстоятельно и сознательно учится. Не могу сказать сейчас, что я тоже хочу учиться. И поступать куда-нибудь. Зачем... Устала.

* * *

Сейчас я уже знаю, что была интубирована трубка ИВЛ. Мама мне рассказала, что сам аппарат они отключили, потому что я всё утро 20 сентября сопротивлялась, пыталась поднять руку ко рту, чтобы выдернуть трубку. Но когда они отключали аппарат, я переставала дышать сама. Они кричали мне все — и врач, и медсёстры, и нянечки, и мама — все хором: «Дыши! Дыши!» Сейчас не могу вспомнить, но, вероятно, я их слышала, просыпалась от собственного хрипа и какое-то время старательно дышала, если это хрипение через трубку называется так. А потом уставала и снова ныряла в черноту, и меня снова трясло и кричали: «Дыши!»

Через какое-то время я окончательно проснулась, нашла глазами врача — это было трудно, смотреть и распознавать, — я, наверное, сделала это не с первого раза. Засыпала, потом снова пришла в себя и кончиком языка дотронулась до трубки так, чтобы доктор видел. Это было такое усилие, что я устала и опять закрыла глаза. Но у меня в грудной клетке была трубка, и я знала, что если сейчас опять усну, она будет мной владеть ещё очень долго. А мне срочно нужно было что-то сказать. Договорить то, о чём я догадалась. Обязательно и срочно сказать всем. И доктор понял. Наверное, я не первая, кто просит именно так — глазами и языком. А как иначе? Руки? Руки лежали вдоль тела и были привязаны к поручням кровати. Я умоляюще смотрела на доктора и касалась трубки кончиком языка с большим трудом. Глаза всё время закрывались и хотелось спать. А Кузя рассказывает сейчас, что мои глаза тогда отекали и косили, и я смотрела на доктора не умоляюще, а зло и требовательно, как маленький свирепый монголо-татарский языческий божок.

Врач понял и ответил:

— Э, нет! Сначала попробуй поднять голову.

Наверное, я долго собиралась, потому что искала в моём туманном сознании, где именно, в какой стороне моего непослушного тела находится голова. И нашла. И даже обрадовалась. Какое оказалось незнакомое чувство, эта маленькая радость. Как будто Кузя меня умыла тёплой водой. Вот примерно такое. Я честно пыталась поднять голову. Не получилось. Но доктор мне поверил и как-то очень быстро, одним движением вынул трубку.

И я прохрипела:

— Натан.

— Кто? — спросила Кузя.

— Это был доктор Натан.

— Где?

На ответ «не знаю» у меня уже не было сил. Я знала отчего-то, что должна это сообщить всем. А почему — не знаю.

Я правда сейчас совершенно не понимаю, зачем, почему я должна была всем сообщить о докторе Натане. Где он был, когда, почему надо было спешить, не понимаю. Но когда я назвала его имя, опять тёплая волна накатила на всё моё тело. И я наконец согрелась, повернулась на правый бок и заснула так, как будто вовсе не была больной. Главное, что я всем сказала «доктор Натан». А остальное — или позади нас всех, чего я не помню, или впереди нас, чего мы пока не знаем.

* * *

Я хорошо осознавала, что соорудила эту беду сама. Для моей семьи и наших друзей. Сейчас я понимаю, какая это мелочь, та глупая детсадовская травля, и моё к этому отношение, и моя реакция, по сравнению с тем, что пришлось пережить моим родителям, Мишеньке, Агнии, Полине, Лали и всем-всем моим дорогим. Я не сгорала от стыда только потому, что у меня не было никаких сил чувствовать что-то, кроме боли в руках, ногах, жжения в груди, желания пить и спать. Я ничего не чувствовала. Внутри у меня был картон. Рассыпающаяся влажная старая картонная папка вместо души. Достаточно было для меня и того, что я могла сама дышать, могла сама глотать, сама могла кое-как двигать руками и ногами, вставать и даже подходить к окну. Всё сама. Я была как растение, которое только-только пробилось из-под земли. У него ведь нет никаких чувств. Оно своей головой тянется к теплу, а корнями — к воде, не задумываясь о будущем или о прошлом. И всё.

* * *

Кузя и Дима ведут себя со мной — так говорит одна медсестра, — как с разбитым яйцом. Бережно, ласково. И всё мне говорят... предупреждая... вопросительной интонацией.

Агния же оказалась смелей. И это мне нравится. Она рычит на меня, что такой угрюмой, мрачной, молчаливой она меня не знает. И я должна быстрее встать на ноги и восстановить энергетический баланс нашего семейства. А то всё развалилось и не складывается.

Я ответила ей с тяжестью на душе почти серьёзно, что, по-видимому, меня подменили в реанимации. И выдали им другую девочку, некрасивую, злую и непоправимо равнодушную. А ту унесли куда-то.

— Ну да... — говорит Полина. — Такие девочки, как наша Лизочка, всем нужны. Украли. По коллективному сговору. И продали инопланетянам, — печально добавляет она. — Но ты, милая чужая девочка, уж постарайся отвечать нашим ожиданиям. А то...

Не знаю, до чего бы дошли наши с Агнией и Полиной размышления вслух, но в палату пришла девушка с папкой. И спросила, глядя в какой-то листочек:

— Бернадская? Елизавета?

— Лиза! — ответила за меня Агния.

— Она даже в паспорте Лиза, — переглядываясь с Агнией, добавила Полина.

Агнию с Полиной попросили уйти.

Это была психолог.

* * *

Психолог, хорошенькая. Представилась, и я сразу забыла её имя. От волнения. А на бейджике не смогла прочесть, что-то с глазами. Села красиво... Такая изящная. Сняла туфельку с пятки и держала её на пальцах ноги, покачивая ею. Ногой и туфелькой. Заглядывала мне в лицо, задавала вопросы... Я отвечала односложно. Я ей не верила. Какая-то она... притворяшливая. Мне показалось, что она меня не слушала. И ещё — ей было нерадостно. И ещё... Наверное, мне показалось, что она не такая, за кого себя выдаёт. И оттого ей скучно. Был конец рабочего дня, она уже думала о другом, планировала вечер... А может, никакого вечера у неё и нет. Может, она одна, поэтому такая унылая.

Она предложила говорить, о чём я хочу. Рассказывать всё, что я хочу. И мы с ней промолчали почти час. Я тупила, смотрела в пол и возякала пальцами по одеялу. Она просто рассматривала меня, почёсывала шею и жмурилась, как кошка, и что-то время от времени чиркала в свой журнальчик.

— Что вы пишете? — спросила я для того, чтобы что-то сказать. Ну не молчать же всё время.

— Это так... Для себя... — ответила она. — У вас есть друзья?

— Есть. А у вас?

Она оставила мой вопрос без ответа. Может, не расслышала.

Я устала. Она поняла. Оставила листочек с рекомендованными препаратами, встала, попрощалась и вышла. Я сразу уснула.

* * *

— Ну? И зачем ты обидела девушку? — сокрушалась Кузя.

— А зачем она приходит ко мне с банальщиной... «У вас есть друзья-а-а?!» — кривляюсь я. — С унылым безразличным лицом? Психолог должен искать в человеке другие, ещё не продавленные кнопки. Он должен вселять такую веру, чтобы она, эта вера, вызвала удивление собой, своими резервами, недоумение даже, чтобы дух захватывало... Чтобы вызвать во мне прорыв, открытие себя, своей силы... Ну, или бессилие... И тогда уже пить разные рекомендованные таблеточки... И кстати, она ни разу не назвала меня по имени.

— По-моему, ты выздоравливаешь, Лизок, — засмеялся и констатировал Дима. — Узнаю брата Колю.

Дима как-то фальшиво смеялся. Невесело смеялся бедный уставший Дима. Я виновата...

* * *

Сегодня она опять пришла, села. Психологиня. Так красиво села. Изящно-изысканно изогнувшись. Ужасно красиво, прямо нечестно, так красиво. И так безупречно, что прямо уродливо. Как будто много раз репетировала. Перед зеркалом репетировала. Любуясь собой.

Она опять уткнулась в свой журнальчик, в котором завела на меня досье, помолчала, подробно разглядывая меня с ненужным мне сочувствием, а потом спросила:

— А какое у вас хобби? — И уточнила, как для дурочки: — Хобби — это увлечение... Какое?

Я помолчала. Но волна раздражения из-за этого «хобби — это увлечение» сковала моё тело, мои мысли, мою голову, таким фальшивым было её показное сочувствие...

— Увлечение? — переспросила я, стараясь быть послушной, хорошей, той бывшей Лизой... И ответила, что... моё увлечение учиться... всему... Я очень люблю учиться. И читать...

— Угму, угму... — одобрительно кивала она и отмечала что-то в моём досье. И туфелька красивая на пальцах ноги висела и качалась, качалась... Меня затошнило. А пятка светилась... Розовая. Я её, эту девушку, так для себя и назвала — Розовая Пятка.

— А ещё? Ещё какое увлечение? — отмечая что-то карандашиком в клеточках, спросила она, не глядя на меня. — Читать и...?

Она мне опять показалась такой равнодушной, что я ответила:

— Болеть...

— Угму, угму... — опять прогукала она.

— И умирать.

— Что? — Розовая Пятка от неожиданности притопнула туфелькой, та наделась ей на ногу целиком. И психолог тут же превратилась в саму себя, но растерянную, ненамного старше меня, девушку. Которая тяжело поступала, тяжело училась, наконец начала работать... И я смутилась, потому что сейчас, когда она надела туфельку, я почти ей поверила.

— Это все мои увлечения, — стала оправдываться я. Но судя по недоумению, этот ответ её не устроил, и я затараторила, объясняя: — Я не играю в спортивные игры, не танцую, не рисую и не пою. Не клею, не леплю, не пишу романы, не шью наряды для кукол... Я с самого детства читаю книги, учусь, болею и время от времени умираю!

Мы помолчали... Розовая Пятка смотрела на меня растерянно, с недоумением.

— Последнее я делаю абсолютно бездарно и некрасиво. А почему вы не носите колготки? Разве вам не холодно? Я всё время мёрзну, и мне холодно на вас смотреть...

— У вас... — прошептала она, — наверняка низкий гемоглобин...

— А-а-а... — кивнула я. — Точно-точно. Валентина Диомидовна говорила. А вы? Вам не холодно?

— Я... я... я не... Я ношу брюки. А колготки... Они же синтетические. У меня ноги от них чешутся. А тут, на работе, я переодеваюсь. В форменное платье... Мы все такие носим... мы... обязаны... — извиняющимся тоном проговорила она. По-человечески сказала, как будто мы сидели где-то на лавочке в парке или в кафе.

Она так растерялась, что мне стало жаль её, и я сказала:

— Красивое платье. Хотя и форменное. Вам к лицу... — И добавила от всей души: — Честное слово.

Она поверила мне. Но больше не приходила. А доктору Валентине Диомидовне, она сказала, что я вполне адекватная, что она, Розовая Пятка, мне не нужна, что я очень сильная и убедительная.

* * *

А моё выздоровление началось вот с чего.

Дима принёс мне планшет с какой-то записью. И всё забежал проверить, посмотрела я или нет. Дима же работает в этой же больнице. Наладчиком компьютеров и другой медицинской аппаратуры. А я даже забыла. И так обрадовалась, что вспомнила не только место его работы, но какие кактусы у него стоят на подоконнике и фигурку человека-паука, подаренную Мистером Гослином, у Димы на столе, и нашу общую фотографию в саду в тот день, когда к Полине приехал Тони и делал ей предложение. И вот Дима забегает в очередной раз, а мне безразлично, что там, на планшете, и я ещё ничего не смотрела. Он взял планшет и включил видео. Я стала смотреть, чтобы не огорчать Диму. А там было так: студия какой-то утренней программы. Милая ведущая заговорила на английском: о нововведениях в лечении лейкемии и реабилитации после пересадки костного мозга. Я не всё понимала, меня даже удивило, что я вообще что-то помню и понимаю... Ну ладно. Его имя ещё не назвали. Он ещё не вышел в студию и не сел в приготовленное кресло. А уже я знала,

что сейчас увижу доктора Натана. В тот момент у меня внутри тихо зазвенело от радости, и откуда-то из-за камер он вышел своей стремительной пружинистой походкой... Я поймала себя на том, что совершенно не могу понять, что со мной происходит. Что это в моей груди, в моих глазах, в моих пальцах... Со мной что-то прекрасное происходило, и оно охватило меня так, что мне стало жарко и весело...

Я потом проматывала это короткое интервью — это был релиз большого документального фильма — я перематывала сто раз, останавливала видео, разглядывала Натана, слушала его голос как музыку... Смотрела как он чешет нос, как он элегантно ёрзает в кресле... И всё в нём было прекрасно... Я долго не могла понять почему... Может, потому что я его боготворю и всё ему прощаю? Нет. Он был абсолютно честен не только с ведущей, но и с самим собой. Естественность и непринуждённость — его вторые имя и фамилия. Как же приятно было его разглядывать. Никаких намёков, кривляния, суеты или закатывания глаз. И, прощаясь, он разулыбался, но не поймал совершенно искреннюю удивлённую улыбку ведущей, на краю этой своей улыбки, адресованной ведущей, у него уже были другие важные дела, он, не оглянувшись, пошёл. Деловито, торопливо, пружинисто... Знакомо. Очень знакомо.

И наконец, однажды, когда я в очередной раз посмотрела это утреннее интервью, увидела его доброе лицо, я захотела музыки, хорошей музыки, например, Баха... Полининого любимого Баха.

Я ещё не могла двигаться, но — вот честно — я представила, что когда-нибудь буду танцевать. И туфельки представила, как у моей психологини. И платье! Платье такое прекрасное...

В тот замечательный день я дотянулась до моей тумбочки, с большим трудом разыскала в выдвижном шкафчике Кузину сумочку-косметичку, нашла там расчёску и расчесала свои отросшие волосы. Сама!

И с того дня принялась старательно выздоравливать.

* * *

Кузя спросила, помню ли я, что было со мной в реанимации...

Я помню только как приехала скорая. Мне сделали какой-то укол. И ладошку Мишеньки помню. Как я её пожала. Потом в ту мою руку, в которую вцепился Мистер Гослин, поставили капельницу, и мне пришлось Мишенькину ладошку отпустить...

Нет. Потом не помню. Нет.

Верней, так: я была в темноте и покое. Не так, как раньше — под водой, нет. Я лежала в тепле, где, как мне казалось, не было понятия времени, вот это я точно знаю. Потому что мне это было не нужно. Только мне мешала трубка в лёгких. Всё. Нет. Не помню.

— Жаль, — ответила Кузя, — у тебя так менялось выражение лица всё это время... А Дима считает, что ничего твоё лицо не менялось. Это я выдумала, потому что только и делала, что смотрела тебе в лицо, читала тебе какие-то книги, вспоминала стихи...

Стоп-стоп, а какие стихи ты читала, Кузенька? Она отмахнулась, мол, всё, что помнила, всё читала подряд.

* * *

Всё утро проскулила. Были бы силы рыдать, я бы рыдала...

Бедная моя Кузя... Бедный Дима. Бедный Мистер Гослин. Бедные Агния и Полина! Бедные мои Лашхия! Осенью должен был жениться один из Лалиных братьев, но прадедусшка сказал, что нехорошо это. Наш — он сказал — наш друг, наш ребёнок лежит в больнице. Надо подождать. А невеста обиделась и вышла замуж за другого...

Прадедусшка сказал, вот видишь! Как хорошо, что мы отложили свадьбу. Практически из-под венца сбежала. Но Лалин брат страдает... «Что сделаешь, сердцу не прикажешь», — так говорит Лилит и пожимает плечами. Почему-то мне кажется, что ей не очень нравилась будущая невестка.

Во всём я виновата сама! Я одна во всём виновата!

* * *

Смотрю на планшете то, что мне разрешено. А мне разрешено немного. На планшете стоит родительский контроль. Пфффф... Ну... Я вообще-то обещала,

что не буду через него продираться. Это им я обещала. А себе я пообещала, что буду хорошей.

Агния с Полиной принесли мне флешку со своими, как они говорят, романтическими «кинами» и сериалами. Наверное, первый раз я рассмеялась вслух, когда на шестом или седьмом кино я увидела один и тот же поворот сюжета: жена вставляет ключ в замочную скважину, входит в дом и слышит звуки — её муж в постели с любовницей. И когда в шестой или седьмой раз я услышала: «Дорогая, это не то, что ты подумала...» — я стала гоготать как гусыня!

И ведь таких фильмов много. Они что, востребованы сейчас? Фу, какие бездарные сценаристы, актёры и режиссёры.

Спросила осторожно, зачем Агния с Полиной это смотрят... Полина посуровела и ответила:

— А другое кино не показывали всё это время. Попробуй сама посмотри авторское кино, когда твой ребёнок лежит в реанимации на ИВЛ. Смотрели эти киношки и сериалы, чтобы забыться. Вот и сейчас посмотрели новенький... Когда тебе супчик перетирали... — и заплакали обе.

Я пристыженно прикусила язык. Потянулась к Полине, к Агнии, обняла одну огненную голову, вторую серебристую, они схватили меня в охапку и как завоют!

— Ну, расскажите, что вы смотрели сегодня... — беспомощно пыталась я их отвлечь. — Агнешка, о чём был этот фильм? Там было в самом начале: «Это не то, что ты подумала, дорогая...»?

Агния, какая молодец, как будто развернулась на крутом повороте, принялась хохотать. Так нас, троих, хохочущих, икающих, утирающих сопли и слёзы, и застал доктор Слава. Он заглянул сначала, а потом вошёл в палату, не раздеваясь, в куртке и бахилах. Заехал проведать меня и встретиться с Димой. Он, увидев нас, спросил тревожно:

— Что здесь происходит? Лиза, что? Что болит? Что?!

И Агния, наша королева-мать, захлёбываясь в смехе и слезах, произнесла:

— Славочка! Это не то, что ты подумал!

И мы с Полиной и Агнией опять принялись ржать и плакать как ненормальные.

Этот день как будто вернул мне меня. И я стала часто плакать. И смеяться. Психологиня сказала мне, что девушка должна смеяться, потому что... мужчинам это нравится! Какая-то она... Хотя... Зачем я её обидела...

* * *

Доктор Слава из больницы поехал к нам домой. Верней, к Диме. Как он его называет, к Димычу... Они дружат давно, ещё с того времени, как... Димыч вроде как входит в их команду победителей: доктор Варений Алексеевич, доктор Слава и капитан корабля доктор Натан!

Капитан корабля... Хм... Мне кажется сейчас или я вспомнила, что Кузя читала мне Гумилёва в реанимации? Или мне приснилось? Надо спросить. Точно читала! Правда, читала же... О золоте с кружев розоватых брабантских манжет. Или всё-таки не читала, и мне это приснилось?

Да, так о докторе Славе. Короче, Агнешка их вкусно покормила. Они потом сели разбираться в каком-то хитромудром аппарате. Димыч же у нас очень востребованный айтишник именно в медицинской аппаратуре. Как он говорит, было время «насобачиться», а доктор Натан говорил о нём, что у Димы подготовленный ум, и что открытия к таким только и приходят. А потом доктора Славу уговорили остаться ночевать. Доктор Слава сыграл с Мистер Гослином партию в шахматы и с трудом вышел на ничью, хотя, как выяснилось, серьёзно занимался шахматной композицией. Таким образом, Мистер Гослин готовит свой ум к будущим открытиям. Потому что открытия не приходят в неподготовленный ум, не падают на глупую голову яблоком с дерева. Пусть только будет здоров наш Мишка, ангел мой. Агнешка объявила, что пересчитала свои наливки и домашнее молодое вино, подаренное семьёй Лашхия, и объявила, что сами мы не одолеем его и требуются волонтеры. Все опять посидели за столом, и это было первый раз с весны, что они так беспечно разговаривали, никуда не торопились и даже смеялись над историей «Это не то, что ты

подумала». Хахаха! Когда все разошлись спать, Дима со Славой выпили, как говорит Дима, опираясь на кого-то из великих, «для блеску глаз», но не смогли остановиться и просто напились. И Димыч плакал... (Об этом мне, не жалея моих чувств, и правильно! рассказала Агнешка.)

Я одна во всём виновата.

* * *

Я не совсем понимала, что со мной не так, почему внутри тошнит и дрожит и где я успела накосячить в этой своей новенькой жизни. И решила извиниться перед Розовой Пяткой. Я выползла из палаты и побрела, пошаркала, держась за стеночку. В коридоре было прохладно, в больнице ещё не топили. Я быстро замёрзла в своей пижаме. И какая-то медсестричка вовремя поймала меня, оттащила практически на руках, такую длинную шпалу, обратно в палату и наябедничала доктору Валентине Диомидовне. И услышав быстрый топоток её туфель — вот уже какая прекрасная и милая моя Валентина Диомидовна, естественная и мудрая, — я закрылась одеялом, оставив только глаза. Во-первых, я грелась, во-вторых, поняла, что сейчас получу и на орехи, и на всё остальное. Валентина Диомидовна ворвалась ко мне в палату, запыхавшись, и воскликнула:

— И молодец! И умница!

Я осторожно высунула нос из-под одеяла и поинтересовалась:

— Валентина Диомидовна, вы меня ругаете или хвалите?

— Хвалю, конечно, — ответила Валентина Диомидовна и вот тут уже принялась меня ругать. Ну как ругать... Скорей, корить... Что надо по чуть-чуть, а не на длинные дистанции, что надо составлять план, куда ты хочешь пойти, надо предупреждать, что надо одеваться потеплей...

* * *

И я начала свои тренировки. Я действительно придумывала план на каждый день и список всяких нужных дел, вроде того, чтобы умыться самостоятельно, помыть голову — поступок, принять душ — подвиг. Главное — добрести до Розовой Пятки и как-то извиниться за грубость, хамство... Ну не знаю за что... Зудит это во мне, моё безмолвное хамство по отношению к ней, недоверие, и от этого нет безопасности вообще. И всё это — списки, планы, победы и подвиги — я записывала на диктофон.

И наступил день, когда я добрела до двери кабинета Розовой Пятки и приготовилась извиняться. Сердце стучало так, что видно было, как в такт дрожит пижама у меня на груди.

* * *

Она сидела спиной к входу на своём письменном столе, болтая ногой, на которой качалась туфелька. А рядом с ней, очень близко к ней, копаясь в компьютере, сидел мужчина. Розовая Пятка взбивала ему волосы и очень звонко и фальшиво хохотала. («Мужчины любят женский смех...») Я уже поняла, кажется, теперь, что знала всё и раньше, но не могла поверить. Я знала всё, даже не рассматривая в подробностях всю эту тупую и пошлую сцену... С первой встречи с Розовой Пяткой я это знала. Я ошибалась только в одном: в своём чувстве вины по отношению к Розовой Пятке. Это для меня стало открытием самой себя. Оказывается, я многое знаю, многое предвижу, этого не осознавая. Многое знаю из того, что ещё должно случиться... Только этого ощущения не могу осмыслить. Напряжение, гулявшее в моей груди, в животе, в дрожащих ногах столько времени, спало. Мне стало скучно. Потому что за письменным столом сидел Дима. Он смотрел в экран монитора, но вид у него был ужасно глупый, лицо горело красными пятнами, волосы, встрёпанные рукой Розовой Пятки, торчали рогами, и глаза... Глаза были какие-то игривые, не Димины, и не знаю, как написать... Жирные! Вот, они были жирные, Димины глаза. Он перевёл свой взгляд с монитора и первым увидел меня. Он не поверил, что я пришла. Своими ногами. Так далеко. Почти шестьсот шагов.

— Ты?.. — он хотел спросить, наверное, как я сюда добралась. Но я уже была тут. И вопрос отпал как ненужный.

Розовая Пятка оглянулась и спрыгнула со стола в свои туфельки. Я машинально прошептала начало моей извинительной речи: «Извините. Я не хотела...» — но и она уже была ни к чему.

Я так летела в свою палату, разбрасывая ноги, роняя тапочки, цепляясь за всё и всех, что попадалось на пути — каталки, медсёстры, кушетки, стулья, стены, — что Дима не мог меня догнать. Он вбежал в мою палату, когда я уже лежала в постели, накрывшись одеялом с головой. И вдруг я вспомнила... Ничем другим я не могу назвать это ощущение, как озарение... Я откинула одеяло, села и сказала Диме:

— А ведь ты даже не пришёл на мои похороны, Дима... Тебя там не было! Там были все, даже твой отец нашёл время прийти. Тебя все ждали. А ты не пришёл. Почему?

Дима стоял оледеневший от моих слов, остолбеневший, лохматый, весь красный, испуганный, беспомощно прошептал сакраментальную, уже совершенно ненужную тупейшую фразу «это не то, что ты подумала», и я принялась дико хохотать. Сколько ненужных слов мы с Димой произнесли за пять минут. Сколько глупых, никому не нужных слов. Я стала кричать про свою вину, что это я! я! я всё испортила в нашей семье! Что я его, Диму, испортила, но почему он не подумал, как будут Кузя и Мишенька? Как же Кузя и Мишенька? А потом, слава Богу, я ослепла, чтобы не видеть жирные Димины глазки, и потеряла сознание.

* * *

Что-то случилось с моими глазами. Село зрение.

— Не беда, Лизок. Починим. Реклама клиники Горобца у нас в журнале ежемесячно. Так что скидку они сами предложат. Но я тебе другое скажу, люди, страдающие плохим зрением, чуткие, — сказала Кузя. — У них хорошая интуиция. Недаром ведьмы были близоруки.

— А ещё у них бывает косоглазие... — добавил всеведущий Мистер Гослин и посмотрел мне в глаза внимательно, видимо, рассчитывая на то, что я рассмеюсь. Я кое-как растянула губы в улыбке и попыталась скосить глаза, чтобы его развеселить...

Бедные мои все... Бедная моя Кузя... Она превратилась в прозрачную стрекозу. Глаза, тоненькое тело, длинные ножки. Когда они с Мистером Гослином идут ко мне в больницу, я смотрю на них из окна, кажется, что это идут два ребёнка. Девочка постарше, мальчик поменьше. Брат и сестра. В одинаковых вязаных шапках с помпонами. Идут, разговаривают о чём-то, выходят на газон пошуршать: только там остались сухие листья. И дворники, которые граблями и метлами убирают всё к зиме, разрешают. Они, наверное, думают: да ладно! Это же дети. Пусть поиграют.

* * *

Мне дают телефон на время... Вот удивительная вещь: как будто я очнулась не через месяц, а через пятьсот лет. Даже за это время всё поменялось...

Мне принесли телефон. Показали, как им пользоваться.

— Здравствуй, Лизок! — прозвучал знакомый голос.

И я задохнулась. И всю свою внутреннюю армию бросила на подавление бунта моего организма. Я была в такой точке кипения, что ничего не могла ответить. Я отключила телефон.

Он перезвонил как ни в чём не бывало. И спросил:

— Что ты делаешь?

— Гуляю. По просторам себя.

— Хорошее начало. Молодец.

Лали учатся, поэтому приходит только в субботу вечером. Спросила она вдруг осторожно, когда мы сидели в полутьме в моей палате и не хотели включать свет, помню ли я, что случилось в школе и почему...

* * *

Я стала помогать Мишеньке с уроками. Он легко справлялся. Я просто сидела рядом и смотрела, чтобы он не отвлекался и не лез в учебники, которые ему привёз

Тони, чтобы, как малыш говорит, «цифровок побольше, чтобы поинтересней». Он даже не говорил «посложнее», он говорил «поинтересней». Хотя это его «поинтересней» и означало «посложней», чего он совершенно не осознавал.

Мишенька опять пошёл в школу.

Меня смущает, что при его способностях, он приносит домой из подготовительной школы не «солнышко», не весёлый «смайлик», а значок «кислый колобок». Как он называется официально, не знаю, так его называет Мишенька. За что?! Потому что не отступил столько-то клеточек сбоку, несколько клеточек снизу, не начертил поля или начертил, но не столько клеточек, сколько надо, много исправлений и ручка мажется, потому что потекла. «Пиши аккуратно!» — всё время пишет учительница красным (красным!) фломастером (фломастером!). И всё это от скуки и рассеянности. Он давно считает в уме, умножает, делит и стремится дальше, потому что дальше — «циферки» интересней. Кузе сначала было не до этих замечаний, она сидела со мной. Мишенька часто ночевал или у Полины, или в семье Лашхия. Полина на эти замечания учительницы сначала только пожимала плечами. А потом, застав Мишеньку в слезах из-за очередного «кислого колобка», возмутилась, мол, а нельзя писать карандашом? Весь мир пишет карандашом — так исправить проще, так даётся шанс ребёнку быть успешней, так удобней, аккуратней — ошибся, стёр, исправил. И последнее задание в школе дарований Мишенька сделал карандашом. Учительница даже не стала проверять, а перечеркнула и поставила оценку «туча и дождь».

«Всё, — сказала Кузя, — мы в школу дарований больше не ходим. Надо искать хорошего репетитора — математика. И вообще, ничего не запрещайте Мистеру Гослину. Если он ещё не дорос, значит, не будет решать, читать, выполнять задание. Если дорос, значит, это его». И Мистер Гослин, который всё слышал из своей комнаты, вышел в пижаме, шлёпая босыми ногами по холодному полу, и сообщил, что он не подслушивал, но всё слышал. И добавил, что он уже дорос, и всё — его.

* * *

И, как обычно происходит в моей семье, когда принимаются сложные решения, благодаря моему маленькому брату и я обнаружила в себе самой интерес к цифрам, которого не было никогда. Я вдруг увлеклась игрой в большие числа. Не понимаю, как это происходит и скоро ли пройдёт. Мишенька может объяснить, как он перемножает единицы, потом десятки, сотни, как он складывает... А я просто вижу их в моей голове сразу... Забавно. Я складываю их легко, перемножаю, нахожу корень квадратный... И не осознаю, как я это делаю. Это как спазмы мышц — я не знаю, откуда они начинаются, не успеваю проследить, что со мной происходит, потому что приступ быстро заканчивается. Но если спазмы — это ужасно неприятно и может захватить меня неожиданно, да так, что темнеет в глазах, то к игре надо настроиться, сосредоточиться, как будто ты собираешься прыгать с шестом, чего я тоже никогда не делала. Но это взмывание моих мыслей, настроения, моей души вверх происходит по моей мысленной команде. Как это славно, легко и сколько удовольствия доставляет эта «игра в циферки», как мы с Мишенькой это называем. И мы играем на равных.

Всего один печатный лист... Но в нём сказано буквально всё, повесть проступает целиком.

На память приходит история другого замечательного писателя — драматурга Александра Володина. После войны он подал документы в ГИТИС. На экзамене он успел написать лишь одну страничку, но у него скрутило живот, и он покинул аудиторию. На следующий день Александр Володин пришёл забирать документы и с удивлением узнал, что зачислен. Мудрые экзаменаторы прозрели его талант в одной странице текста!

То же и у Марианны Гончаровой.

И последнее. Подлинная педагогика буквально струится у неё с кончиков пальцев. Но по сути — подлинная литература и есть педагогика.

Евгений Абдуллаев

Снова обидно за поэзию

Нет, внешне всё обстоит благополучно. Поэты не бедствуют. Одеваются прилично. Посещают разные фестивали, форумы, фесты и прочие фуршеты. Меньше, чем в тучные годы, но всё же посещают.

И книги свои издают почти так же регулярно. Готовлю сейчас в следующий номер обзор новинок года; думал, не наскребу и пяток чего-то стоящего... Нет, уже за двадцать перевалило. И продолжают дариться и присылаться.

Так что с поэтами всё более-менее в порядке. Ожидали, что будут гонения — нет пока гонений. То ли руки до поэтов еще не дошли, то ли оные руки просто на них махнули. Ну, пописывают что-то, почитывают где-то, попечатавают как-то.

Бывают времена, когда чем лучше поэтам, тем хуже поэзии. И наоборот. Хотя жесткой зависимости здесь, конечно, нет.

Поэзия превращается в какую-то необязательную забаву, место которой, в лучшем случае — на специально отведенных площадках, в худшем — нигде.

Проходит, скажем, какое-нибудь большое литературное или, шире, культурное действо. Приглашают поэтов. Что делают приглашенные поэты? Присутствуют. Выступают, если дадут слово, — с речами или докладами. А со стихами? А поэтические чтения? Почти не припомню.

Прошел в Ташкенте XV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Приехали российские поэты. Марина Кудимова, Максим Амелин, Андрей Коровин, Евгения Баранова, Анна Маркина. Может, кто-то из других стран СНГ, не в курсе. В конце первого дня — выступление Молодёжного симфонического оркестра СНГ. Сидим, слушаем. Прекрасное исполнение, разнообразный репертуар. И вот сидящий рядом Андрей вполголоса говорит: а почему никому в голову не приходит организовать аналогичное выступление для поэтов стран СНГ?

Увы. Если привозят музыкантов — музыканты должны выступить. Если привозят поэтов — поэты могут просто посидеть и помолчать.

Как это, собственно, на второй день форума и случилось. На секции по литературе СНГ выступали разнообразные управленцы; долго докладывали о своих достижениях, в конце приняли какую-то декларацию или обращение (точно сказать не могу, к этому времени уже благополучно эвакуировался из зала). Ни одному из названных поэтов не предложили даже просто выступить. Поэты задумчиво изображали публику, пока тоже не спаслись бегством.

И ташкентский форум — не исключение; аналогичное встречал на других, и в других городах. Поэтов — иногда — зовут. Но за вычетом собственно поэтических фестивалей (которых всё меньше), чтения стихов от них никто не ждет.

Это не упрек организаторам. Ни в коей мере. Это просто показатель отношения к звучащему поэтическому слову сегодня.

Спасение утопающих, конечно, может быть делом самих утопающих. Самим договориться, посидеть и почитать стихи. Так оно и происходит. Скажем, на Школе поэтической критики, проходившей в начале октября в Пушкинских Горах; прекрасно, кстати, организованной. Поэтов было достаточно и среди «мастеров» (Дмитрий Бак, Владимир Козлов, Борис Кутенков, Елена Погорелая...), и среди «подмастерьев» (Евгений Коновалов, Анна Трушкина, молодой питерец Богдан Хилько...). Собрались вечером и читали себя по кругу. Друг другу, кому ж еще?

Может, просто поэтические чтения сегодня — устаревший жанр? Хочешь почитать или послушать стихи — добро пожаловать в Сеть. Хоть «в буквах», хоть в видеозаписи.

Всё это так, но почему-то эти же сетевые возможности для музыкантов не отменяют живого исполнения: концерты, музыкальные вечера. Для актеров — театры, для художников — выставки. Хотя всё это, по идее, тоже можно просмотреть в Сети.

Что же не так с поэзией?

Нужно, впрочем, уточнить, с *какой* поэзией.

С *массовой* поэзией, интегрированной в шоу-индустрию, всё более-менее благополучно. И чтения, и промоушен, и паблисити, всё наличествует. (По крайней мере, так было до недавнего времени; сейчас здесь тоже всё в брожении...)

Но с эстрадной поэзией в плане доступа к массам всегда было неплохо. На них, массы, она и рассчитана, и так или иначе до них доходила. В виде текстов песен, в виде собственно стихов — хотя это *собственно* стоило бы поместить в кавычки: массовая поэзия никогда не бывает только поэзией, только стихами. Это всегда стихи плюс еще что-то: перформанс, акционизм, даже проповедь.

Как точно заметил Александр Бараш: «Выступления в 1960-е годы на стадионах были для публики в одночасье и концертом, и проповедью, по жанру ближе всего к шоу популярных проповедников в Америке»¹.

Неудивительно, что один из лидеров «стадионной поэзии», Евтушенко, уже в 90-е искренне возмущался, почему его не зовут почитать стихи в православном храме, с амвона²... И прочитал бы, кабы пригласили. С той актерской «задушевной» интонацией, которая звучала, вероятно, так свежо в пятидесятые-шестидесятые (и так искусственно — в девяностые-нулевые). Главное — аудитория, а уж где читать — футбольное поле или православный храм — дело десятое.

Нет, отличие массовой поэзии от немассовой не в том, что «немассовый» поэт пишет только для «избранных» и не хотел бы расширить круг своих читателей. Хотел бы. Дело, думаю, в другом. Немассовая поэзия — поэзия самодостаточного и самодовлеющего слова. Которому не требуется в виде гарнира ни артистическая декламация, ни владение искусством зажигать аудиторию.

Само чтение «немассового» поэта построено не на стремлении воздействовать на слушателей и манипулировать ими, а на желании донести до них смысл (даже множественность смыслов) стихотворения. Это различие в чтении стало заметно уже в начале прошлого столетия, когда поэтические чтения вышли из стен салонов и дворянских собраний.

«Читал он очень просто, не прибегая к обычным тогда приемам исполнения — не нажимал, не рычал, не пел, но сдержанно выявлял содержание произведения,

¹ Бараш А. Своё время. — М.: НЛО, 2014. С. 113.

² Олеся Николаева: «Евтушенко напоминал евангельского Нафанаила, в котором "нет лукавства"» // Татьянин день. Молодёжный интернет-журнал МГУ. 4 апреля 2017 года. (<https://taday.ru/text/2200382.html>).

умело, продуманно вел ритм стиха», — вспоминал о чтении Брюсова Владимир Фефер¹.

Та же простота, контрастировавшая с эстрадным чтением поэзии, была присуща и декламации Блока. «...В своеобразной и целомудренной манере своей читал он свои стихи, не помогая им переливами голоса...» (Юлий Айхенвальд)².

Так читает и большинство современных не-эстрадных поэтов: не «помогая» стихам ни рычанием, ни напеванием, ни бодрой рэперской скороговоркой. И — еще одно отличие от эстрадной поэзии — не нуждаясь ни в каком музыкальном сопровождении. Повторюсь: серьезная поэзия для своего чтения нуждается только в самой себе. То, что слабым стихам помогает, сильным — не то чтобы вредит, но выглядит досадно излишним.

Приведу — раз уж разговор коснулся истории поэтического чтения — еще одно мемуарное свидетельство.

«Так вышло, — вспоминает Сергей Чупринин, — что летом 1987 года я вел подряд два вечера в честь 80-летия со дня рождения Арсения Тарковского.

И первый, в Центральном доме архитекторов, получился, на мой тогдашний вкус, весьма ладным. Арсений Александрович долго читал... <...> И шли песни — удивительно много песен, от “Вот и лето прошло...”, какое все знают, до стихотворений, в гитарных руладах буквально преображавшихся.

Готовимся ко второму — уже в Центральном доме литераторов. Арсений Александрович ко всему относится очень благодушно, любые предложения устроителей принимает. И только вот этого — он рукою изображает треньканье по струнам — лучше бы, говорит, поменьше. “Так, может, совсем не надо?” — переспрашиваю я. “Мне — не надо, — отвечает поэт. — Но выдержат ли слушатели только стихи?”

Слушатели, а зал был, конечно, полон, выдержали³.

Слушатели, думаю, выдержали бы и сегодня.

Время, конечно, изменилось; в конце 80-х массовым был интерес не только к эстрадной поэзии, но и к поэзии более сложно устроенной. Не только к сопровождаемой «гитарными руладами» — но и к той, которая в них не нуждается и их избегает.

Но списывать всё на «пришли иные времена» не стоит. Нынешнее малолюдьё на поэтических чтениях — не только от упадка интереса к серьезной поэзии. Это и проблема *литературного менеджмента*.

Да, у поэта могут быть хорошие менеджерские задатки. Но каким бы он ни был толковым организатором, устраивание поэтических чтений, встреч, вечеров — дело всё же не поэтово. Сложно совмещать в одной голове два этих умения: писание стихов и организацию полноценных чтений. Где в зале были бы не только «свои»: собратья и сестры по поэтическому цеху, плюс пара-тройка сочувствующих филологов. Но и, например, старшеклассники, студенты. Просто образованные — и не очень — люди.

Для того, чтобы (в том числе) устраивать такие вечера, и должны существовать литературные менеджеры. Распространять информацию, рекламировать — а не просто, как сейчас это обычно делается поэтами, оповещать на своей страничке в соцсетях в робкой надежде на перепост.

Есть и другие вещи, которыми поэты уже так привыкли за последние лет тридцать заниматься сами, что даже не способны представить, что это может (по идее, даже

¹ Фефер В. Брюсов в «Школе поэтики» / Публ. А.М.Смирновой. Предисл. и прим. И.Ф.Кунина // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. — М.: Наука, 1976. С. 818.

² Айхенвальд Ю. Александр Блок // Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. В 3-х выпусках. — М.: Научное слово, 1906—1910. Вып. 3. 1910. ([https://ru.wikisource.org/wiki/Александр_Блок_\(Айхенвальд\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Александр_Блок_(Айхенвальд)))

³ Чупринин С. Вот жизнь моя: Фейсбучный роман. — М.: Рипол Классик, 2015. С. 119.

должен) делать кто-то не из поэтического цеха. Например, распространение стихотворных сборников. Издатели этим заниматься, как правило, не хотят, сами поэты — не умеют. Нужны литменеджеры.

Но как раз в наших палестинах это зверь исключительно редкий. Сравните. «Литературный менеджер», введенное в поисковик Google'a дает примерно 844 соответствия — причем значительная часть из них связана с не-российскими реалиями. Тогда как поиск на literary manager — около 94 300 результатов. Более чем в сто раз больше.

Может, конечно, разговор о литературном менеджменте сейчас не ко времени. Литература (как и общество) расколота, тут бы как-то сохранить то, что еще есть, а не мечтать о развитии института литературного менеджмента. Да и вряд ли на современной серьезной поэзии можно заработать, а без этого ни один менеджер не станет гнуть спину. Эстрадная поэзия — другое дело; или даже еще более золотиносная жила — любительская поэзия. Ее уже и так давно и успешно окучивают литературные менеджеры, вроде Дмитрия Кравчука (сайты stih.ru и proza.ru) или недавно ушедшего Александра Гриценко, с его «Интернациональным союзом писателей».

Но если не получается пока что-то делать, надо хотя бы что-то думать. Проектировать, вычерчивать мысленные чертежи нашего литературного будущего.

Тем более что даже настоящее преподносит порой сюрпризы, не обязательно неприятные. Сколько видимых и невидимых миру слез было пролито о состоянии литературной критики. Дипрофессионализируется, исчезает... Но вот последние года три стали вдруг возникать курсы литературной критики. В одной литшколе, в другой... Семь лет назад, когда только начинал преподавание в литературных школах, не мог даже этого представить: востребована везде была только проза, проза и еще раз проза. Теперь людям стала интересна и литкритика, как она вообще делается. Критиками, конечно, станут из них единицы; но и это неплохо. Так, глядишь, и курсы литературных менеджеров появятся, что-то начнет понемногу меняться.

Литературный менеджмент — это, конечно, не панацея; всего лишь один из инструментов литературного процесса, со своими плюсами и минусами. Но что-то должно меняться. Иначе — обидно за поэзию. За прозу, конечно, тоже, но за поэзию — чаще. Просто очень обидно.

Борис Минаев

Банный день

Голая правда

Все знают апокриф о «Ревизоре» — царь Николай I посетил первую постановку и благодушно пошутил о том, что в пьесе высмеяна вся Россия, но больше всего досталось ему самому.

Мне всегда хотелось понять: почему такая адская сатира на чиновничество, на бюрократию, на режим, на устройство страны, на ее казенную тупость, свирепую сущность, на взятки и насилие — почему эта сатира не то что не была запрещена, а стала самой популярной русской пьесой на двести лет вперед?..

Чтобы нырнуть туда, в гущу событий, надо очистить, отмыть свой взгляд от всего, чторосло за эти почти двести лет. Именно такой способ избрали авторы последней по времени версии «Ревизора», идущей этой снежной и довольно тяжелой зимой на московской сцене.

Дело происходит в бане. Актеры, соответственно, все практически голые (в простынках) — все три часа. Основные конфликты и сценические повороты происходят в воде. В первые ряды летят брызги (зрительницам первого ряда выдают водонепроницаемые прозрачные балахоны). Актеры рискуют поскользнуться — и поскальзываются. Внимание зрителя свободно перемещается от гоголевского высокого смеха на розовые пятки, лодыжки и прочие подробности. И с этим ничего не поделаешь — таковы «правила игры».

Понятно, почему Сергей Женовач, режиссер спектакля «Лабардан-с» (на сцене «Студии драматического искусства») — пошел на этот вполне рискованный шаг.

Нет, не только с целью изумить и порадовать зрителя — но и для того, чтобы именно что очистить гоголевский текст от налипшей традиции, от коросты «костюмного» Гоголя, от привычного мундирно-рющечного подхода. От того, чтобы мы все время вспоминали, в каком веке (позапрошлом) все это происходит.

Нет.

«Ревизор» происходит всегда, «Ревизор» происходит с нами, «Ревизор» происходит везде, где есть русские, — и для этого маловато обрядить героев в малиновые пиджаки, дать им мобильники и изобразить приемную губернатора.

Нужны средства посильнее.

Таким средством и оказалась баня.

Как говорится, чистый эксперимент, во всех смыслах.

Театральная метафора — сильная вещь, и если она удачна, то разворачивается непрерывно и долго еще заставляет в себя всматриваться, вдумываться — голые персонажи «Ревизора», это ведь, в сущности, полное соответствие замыслу автора: гоголевский смех именно что нас всех обнажает, делает беззащитными и слабыми, слишком нежными и откровенными, наивными и простодушными, то есть

«голыми» — перед лицом какого-то Зрителя, обзирающего нас сквозь свой безжалостный монокль. Все персонажи «Ревизора» все время делают что-то интимное, слишком «человеческое», в этом секрет комедии, им все время хочется крикнуть: ну хоть немного застегнитесь, прикройтесь, оденьтесь, ну хоть в какие-то правила этикета, нормы морали, но нет...

Они «раздеваются» при любом удобном случае — и когда влюбляются, и когда дают и берут взятки, и когда гnevаются, и когда боятся.

Такое вот слишком натуральное, слишком откровенное человеческое «естество».

В сущности, именно этим, возможно, Гоголь защитил и оправдал их, причем на двести лет вперед. «Ну это же люди! Просто люди, пусть отвратительные, но люди! Простите их! Хотя прощать, конечно, очень не хочется...» — как будто воскликнул он, и мысль его светит, как одинокая звезда, вот уже сколько эпох, сколько революций и войн она пережила, а по отношению к русскому начальству и русскому народу она по-прежнему равно актуальна, все та же нагота добродушного, ничем не прикрытого, никакими «законами и установлениями», правилами и мундирами, человеческого естества просвечивает сквозь этот «водевил».

...Но не только в этом, конечно, дело.

«Ревизор» я смотрел много-много раз, но почему-то именно в этот — вспомнились мне советские командировки от газеты «Комсомольская правда» или от журнала «Вожатый», когда для меня, «ревизора» из столицы, накрывались пиры и ломились столы в самых разных присутственных местах: в школе, в библиотеке, в кабинете директора какой-нибудь фабрики. Пирьы эти были не то чтобы изобильными: ну, бутерброды с дефицитной колбасой нарежут, конфеты выставят шоколадные, салат оливье женщины дома сделают и принесут. Помните, где именно Хлестакова угощают и заставляют напиться до положения риз, наесться до отвала, в том числе неизвестной рыбой лабардан? В таком вот присутственном месте, в «богоугодном заведении», в больнице. Неподходящее место для пиров, но другого почему-то не нашлось — а где еще можно «спокойно посидеть»?

И как откажешь такому наивному непосредственному гостеприимству и радушию?

Этот «хлестаковский комплекс» мне хорошо знаком.

Именно у Гоголя, конечно, лучше всего описан уездный город N как космос, как удивительное явление — гармоничный мир, который замкнут сам в себе, настолько цельный и самодостаточный, что разрушить его способно только что-то небывалое — да и то ненадолго.

Ну вот разрушили его гражданская война или перестройка — и что? Надолго ли?

Когда Иван Александрович Хлестаков видит, что его принимают «не за того», и одновременно чувствует, что главная цель этих людей — защитить свою гармонию, свою цельность, он с ужасом и смехом на губах уезжает поскорей. В свою «столицу».

Не для того даже, чтобы его не разоблачили, — а чтобы им не навредить. Их покой не нарушить.

Но в чем же секрет этой двухсотлетней гармонии? Этой космической цельности?

Трудно ответить однозначно — наверное, прежде всего в существовании вот этой большой «семьи» городничего, всех этих служилых людей, каждому из которых отдан на откуп целый пласт жизни, целая отрасль — образование, медицина, почта или налоги, и главная их цель: ничего не изменить, ничего не нарушить, соблюдать иерархию, а самое главное — продолжать быть «семьей»; и не случайно, конечно, режиссер Женовач отправляет их в баню: у них друг перед другом секретов нет. Меркантильный интерес, большие деньги, всякие новшества типа выборов, которые появились в 90-е, — очень сильно вмешались в этот порядок, но опять-таки ненадолго. Потом все устаканилось.

Вот так существует этот «микромир» внутри большого российского мира, и в этом главная загадка.

Мне даже кажется иногда, что именно Николай Васильевич способствовал тому, что он так прочен и так неизменен, — настолько ловко и точно он его описал, как будто создал удивительный «клей», который склеил его на два века вперед.

Здесь как бы и нет «отдельных» людей, все они именно что *вместе*, «отдельность» Чацкого тут совершенно невозможна, а возможно — только быть заодно, всегда, везде, в любых обстоятельствах, оттого за три сценических часа ты настолько проникаешься этим духом голой правды, этой баней, что хочется воскликнуть: да пропади ты все пропадом, — и самому нырнуть в этот банный котел взаимозависимости всех от всех. Ну вот я хотел бы сказать, как мне понравился молодой актер Никита Исаченков, играющий Хлестакова, или совершенно неожиданный, как бы «стертый», намеренно «никакой» Дмитрий Липинский, играющий Городничего, или прекрасные, каждая по своему, Варвара Насонова или Виктория Воробьева, играющие, соответственно, Анну Андреевну и Марью Антоновну, — но не могу никого выделять, потому что все они всегда в бане, все они, по сути, одно большое народное тело. (Недаром некоторые реплики Хлестакова переданы совершенно другим персонажам, Ивану Александровичу тут не дают слишком «заноситься», «воспарять», «завираться», он лишь — «один из нас».)

И оно, это «народное тело», одновременно и простодушно, и мерзко, и мило, и отвратительно — и что с этим делать, совершенно непонятно.

Посвящение учителю

Бывают театральные события, которые совсем выламываются за рамки театра, за рамки привычного. Таким событием стала премьера документального фильма Елены Якович «Тише, идёт репетиция» в театре-студии «Мастерская Петра Фоменко». Фильм сделан к юбилею великого режиссера, и зрители, пришедшие в театр в тот вечер, увидели полную версию (телевизионная тоже, вероятно, появится на экранах).

Это фильм о том, как рождался новый театр, как в нем проявлялся особый, ни на что не похожий стиль, как исторически сложилось братство «фоменковцев», с их принципами и их языком.

Тут, конечно, напрашивается рифма с 1960-ми годами, когда возникали новые театры и новые театральные принципы, когда из бывших студентов во главе с мастером родились и «Таганка», и «Современник», — примерно то же происходило и в 90-е, и в последующие (и наследующие им) нулевые годы. Те самые 90-е, которые для многих (и уже навсегда) стали лихими и тяжелыми, для других означали — даже сквозь прыгающие цены и довольно скудное существование — эпоху новаторства и открытий.

То есть стали исторической платформой — новой жизни в искусстве, в культуре.

Именно это описано в фильме «Пётр Фоменко. Тише, идёт репетиция» — как шаг за шагом в сотворчестве бывших студентов и их мастера возникает совершенно новое явление. Режиссер использует в фильме обширный материал, который предоставил театр: съемки репетиций, обсуждений, поездок — Фоменко здесь открыт и прост, он откровенен, насколько возможно, и мы сквозь туман времени, довольно хорошо переданный любительскими камерами, с восторгом наблюдаем за его «актами творения».

Актеры театра — сестры Кутеповы (Ксения и Полина), Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Евгений Цыганов, Карэн Бадалов, Полина Агуреева и другие — рассказывают о том, как это было, как рождалась та или другая знаменитая сцена, как вел себя Фоменко в разных ситуациях, как вступал в конфликты и объяснял на пальцах актерскую задачу, как говорил о смысле той или иной пьесы.

Честно говоря, это воспринимается сейчас как чудо. Именно то, что ты всегда хотел узнать, вот эти «закулисные» вещи, скрытые от глаз зрителя подробности — явлены здесь во всей своей вкусной полноте.

Почему Фоменко так яростно держался за классику? За Толстого и Пушкина, Островского и Чехова, то есть за «хрестоматию», за авторов из «школьной программы»? Почему видел в них такие глубины, о которых мы и не подозреваем?

Может быть, думаю я сегодня, он предвидел, предчувствовал, через какие испытания придется ей пройти, этой «великой русской культуре»? Через очередную попытку умертвить ее глянцем и державностью или через попытку остракизма и отторжения? Наверное, была у него эта интуиция, по крайней мере, так кажется сегодня.

В фильме есть еще одно чудо, чудо превращения: Фоменко говорит не только сам, своими отрывочными, порой «зашифрованными» для других репликами, но и через своих любимых актеров. Они, ученики его школы, говорят — и его самого слышно прекрасно.

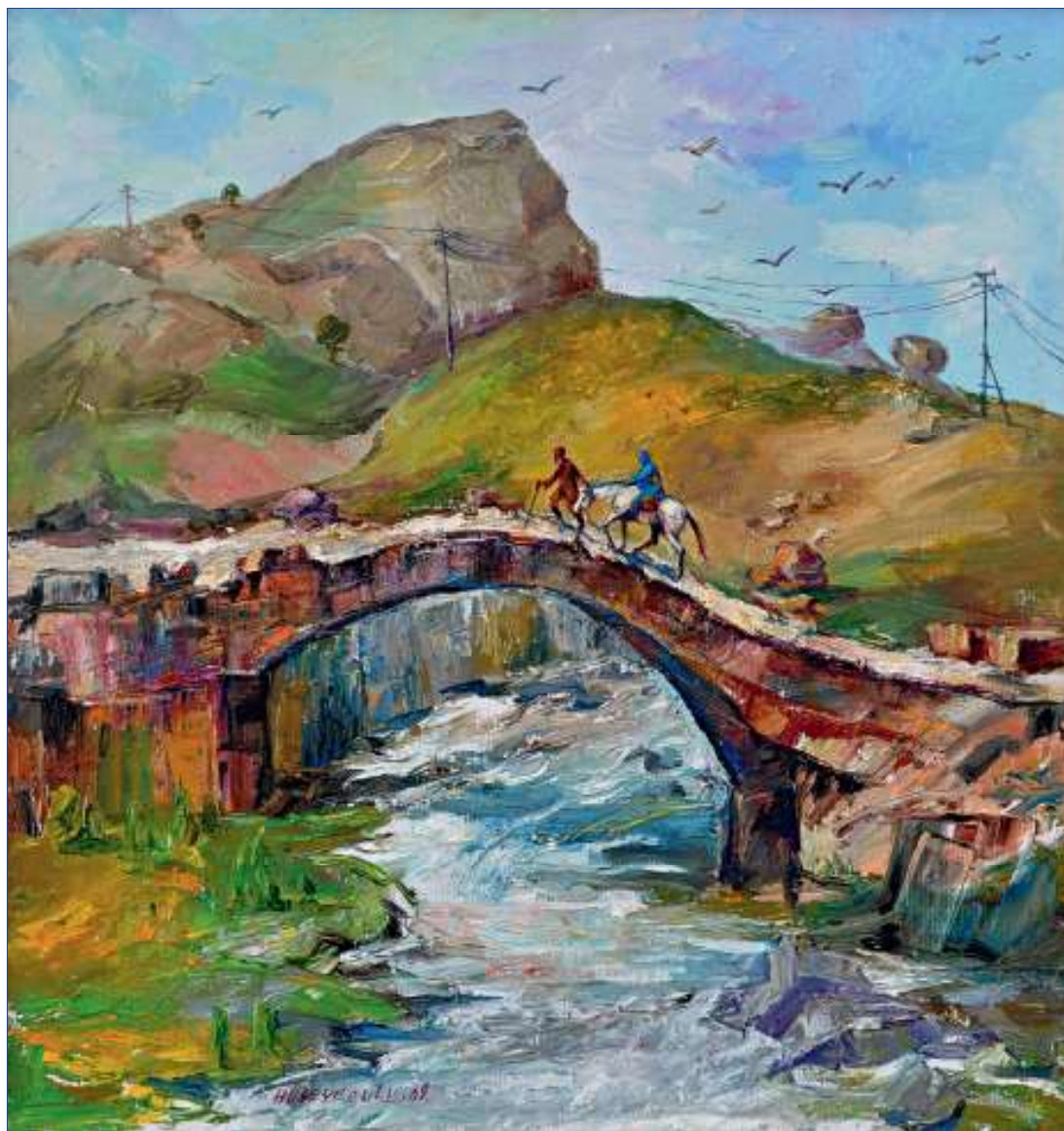
Причем нет — опять-таки — глянца и юбилейности. Говорят иронично, говорят с той любовью, с какой именно дети (любимые дети) могут говорить, говорят порой горько и страстно.

И Фоменко смотрит на нас сквозь них — со своей хитроватой усмешкой.

Не все театры — далеко не все — прошли сквозь это испытание, когда уходит основатель, главный режиссер, художественный руководитель.

«Фоменковцам» это удалось. Несмотря ни на что. Можно спорить о том или ином спектакле, но совершенно понятно, что это театр живой, действующий, театр в развитии.

Почему так, в чем секрет — на эти вопросы отвечает фильм «Тише, идёт репетиция». И отвечает довольно полно.



Гусейнкули Алиев

МОСТ. 2010.
Холст, масло



Мамедкерим Кулиев

АПШЕРОН. 2006.
Холст, масло



Мелик Агамалов

ЭДЕМ. 2011.
Холст, масло, смешанная техника



Мухаммед Оруджев

ВРЕМЯ ОБЕДА. 2013.
Холст, масло



Фархад Халилов
ИЗ ЦИКЛА ВСТРЕЧА. 2007-2008.
Холст, акрил



Орхан Гусейнов

ГОРОД ШУША. 2007.
Холст, масло



Эльдар Мамедов

БЕГУЩИЙ МАЛЬЧИК. 2005.
Холст, масло



Таир Салахов

ПОРТРЕТ БОРИСА ЕФИМОВА. 2006.

Холст, масло



Эльшан Гаджизаде

МОЯ ШУША. 2002.
Холст, масло

Andrey VOLOS. The Clouds of Transitions

In this novel rich with the events all the characters have their own story of the relationships with the protagonist, and the latter names himself differently to everyone of them. And whether all this takes place in fact, that is in reality that the author unrolls before us, or on the pages of the novel he is writing, it's up to the reader to choose.

Irina MURAVYEVA. Belkin

One more «literary» plot — the light, sparkling long short story about the very well-known — and at the same time unknown — character of Pushkin's chrestomathic stories. Who is he, Ivan Petrivich Belkin? A literary character? The hero of Pushkin's mystification? Or a real man, the author of these simple and so wise stories? The view and presentation of various events of his own turbulent life by Belkin not always coincides with the recognized subjects and characters of Pushkin's stories, and these overlays and different interpretations spread the art space of Muravyeva's story.

Poetry

«Pity is a sister of suffering» — it's one of the main motives of the philosophical lyrics by Olesya NIKOLAEVA which in our time reaches other heights: «Pity is a sister of Love».

Evgenij KONOVALOV meditates over eternal themes: love and death, which is «no more than a dot in the overabundance of words».

The collection of Irina KOLESNIKOV's poems («Birth Certificate») is full of memoirs of her happy sunny childhood — Mother's garden, Father's birthday, — which however is marked by the family drama.

Alexej MALASHENKO. Cornflowers of Memory

«What am I writing this for? Who is interested in somebody else's infantile politnostalgia?» — was asking himself Alexej Malashenko in his essay «The Policy of My Childhood» («DN», 2019, № 11). We hope many are interested in it including the young people for whom the middle of the last century is a faraway history and who want to know about those tempora and those mores not only from the articles and researches but also from the living, sometimes humorous youthful feelings-memoirs like these. «Lucky is he who being a grown-up person is capable to return into the child's memory. Sometimes it seems impossible to believe that all this really took place, but it's rejoicingly to believe that it will never happen again. Though sometimes it happens».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездицкого переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру** в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Министерство Регионального Развития
и Дальнего Востока России



Министерство Образования
и Научных Технологий



Министерство Культуры
и Национального Наследия



Министерство
Культуры

Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева

**3 приза
по 500 000 р.
в трёх
номинациях**

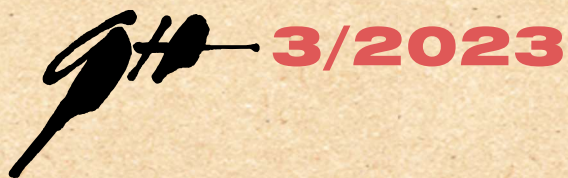
- Длинная проза
- Короткая проза
- Проза для детей

Прием заявок
с 1 февраля
2023 года

18+



премияарсеньева.рф



Читайте:

**Максим Гуреев. Из книги
«Андрей Битов. Мираж сюжета»**

«...до Большого Острова Битов добрался уже затемно. Обещанный "мотор", конечно, не появился. Пришлось ждать рыбаков и уже с ними через Железные ворота дошёл до Долгой губы, а там до монастыря подбросили лесники. Ехал и думал о том, что, наверное, он островной житель — Аптекарский остров, Соловецкий остров, — на карте пространство ограничено, невелико, вполне обозримо, но, находясь внутри этого пространства, начинаешь понимать, что его пределы весьма условны, потому как, пытаясь охватить их взглядом, обретаешь простор, натыкаешься на горизонт, беспомощно при этом грезишь об Империи, а она — вот она, тут как тут, торжественно не предполагает никаких границ, хотя они, конечно, гипотетически существуют, более того, они "на замке". По крайней мере, когда в детстве лежал на кровати и рассматривал карту, приколотую к стене, видел их...»

